

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Человек, эка странная полость! –
С красно-черной подкладкой мешок! –
Там кружит заварная веселость



В золотых
кислофонах кишок,
И раскрашенный,
страшный воздух,
Что застрял
в костяных веерах,
И уже не прознает
про отзвук
Свой –
вселенный
колеблющий прах.
Олег Юрьев

Рябинники на склонах полыхают.
И, предосенним солнцем освещен,
встал на поляне, где трава сухая,
единственный

на всю округу клен.
И я в минуту чистую
такую,

ловя листок
опавший на лету,
смеюсь,
дышу неистово,
ликую!

И плачу, глядя
в эту красоту.
Владимир Гнеушев



Мир лоскутный,
пестрядевый.
Он же – на заре сна;
Он же – светлый рай
медовый
Светлобокий, как блесна.
Мир растет неаккуратно,
Зодит рыба под водой,
И скрипуче, непонятно
Крыкнет птица

троекратно,
навидна во тьме седой.
Дождь прошел, на листьях
глицей.



Лука через края течет ...
Вдруг цыганка с везу
слышит

И сераками качнет
Воз проедет, и дорожка
Повернет, и ночь придет,
Жизнь, уставшая

немного,
Нити грубые прядет,
Время тает.

И пестрядевый
Мир приколочен
взгляд.

Ольга Мартынова

Отвыкнув за шесть лет от всех видов
транспорта, кроме «воронка» и столы-
пинского вагона, я ощутил душевный
подъем от одного
факта езды в обык-
новенном общем ва-
гоне. Правда, со-
мной был конвой,
но он мне не мешал,
благо парень попал-
ся подходящий; ни-
кто кругом не подо-
зревал, что он меня
сторожит.

Александр Борин



... стоит вспомнить «разнос», который
Макаренко učinил произведению на-
чинающей ленинградской писательни-
цы Натальи Гирей:
«Шестьдесят вось-
мая параллель». В
повести изобража-
ется один из «труд-
лагерей» НКВД. Ре-
цензия была напеча-
тана в «Литгазете»
от 15 июля 1937 года
под заголовком
«Вредная повесть».

Гетц Хилли



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Ценко Барев • Ален Безансон
Николас Бетелл • Иосиф Бродский
Владимир Буковский • Армандо Вальядарсс
Игорь Виноградов • Галина Вишневская
Георгий Владимов • Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский • Пауль Гома
Милован Джилас • Пьер Дэкс • Эжен Ионеско
Оливье Клеман • Роберт Конквест • Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов • Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный • Амос Оз • Булат Окуджава
Ярослав Пеленский • Норман Подгорец
Андрей Седых • Виктор Спарре • Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti
via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward D. Losansky
3001 Veazey Terrace, N.W.
Washington, D.C. 2008 USA

Япония Гёсуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку
по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «Континент» – © В.Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

65

1990

КОТИНЕНТ – CONTINENT

Revue trimestrielle

Dates de la parution:

debut du janvier, d'avril, du juillet et d'octobre

Publiee par l'Association des Amis

de la revue «Continent»

16 , rue Lauriston

75116 PARIS, France

Prix 60 francs

Directeur de la publication

Vladimir Maximov



Imprimé en Pologne

Набор – Анатолий Копейкин

**Верстка сделана с помощью русской версии
программы «Вентура», разработанной
Игорем Ошаниным**

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Слуцкий – Из неопубликованного. Стихи	7
Наум Ним – Звезда светлая и утренняя. Повесть	23
Вадим Антонов – Генеральный палач. Поэма	114
Александр Афанасьев – Николай Угодник и Параша. Рассказ	126
ПОЭТЫ ИЗ АССОЦИАЦИИ «КАМЕРА ХРАНЕНИЯ»	
Олег Юрьев, Ольга Мартынова, Дмитрий Закс, Валерий Шубинский	150
Валерий Роньшин – Три рассказа	172
КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ	
Александр Сопровский, Светлана Кекова, Владимир Гнеушев, Андрей Дементьев	184
Людмила Улицкая – Народ избранный	211
РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ	
Руслан Козлов – Записки обреченного оптимиста	227
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Петр Манолов – Размышления с приписками	243
ЗАПАД – ВОСТОК	
Гётц Хиллиг – Царапины на образе «святого»	255
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Николай Терентьев – «Находим вполне нормальным»	281
ИСТОКИ	
Александр Борин – Шарага. Глава из книги воспоминаний	301
ИСКУССТВО	
Семен Черток – Бюрократ среднего звена	333
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Светлана Беляева – Невеселые парижские размышления о московской жизни	343
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	365

НАША ПОЧТА	369
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
А. И н н о к е н т ь е в – Параллельные миры	389
Н. Г о р б а н е в с к а я – «Национализмы моей части Европы»	392
И. С о к о в и н – Под знаком «Серебряного века»	395
Семен Ч е р т о к – Еврейский вопрос в свете рампы	399
КОРОТКО О КНИГАХ	403
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	409
НАША АНКЕТА	
«Сумасшедшим можно быть в любое время».	
Интервью с Венедиктом Ерофеевым.	
<i>Ведет Леонид Прудовский</i>	411

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Стихи

Публикация Юрия Болдырева

Возможно, я нарушаю волю Бориса Абрамовича Слуцкого, передавая его стихи в зарубежное русское издание. Сам он не делал этого никогда. И к тем одному-двум случаям, когда стихи его все же оказывались в антологиях или иных изданиях, вышедших на Западе, отношения не имел: у кого угодно могли оказаться его ходившие по рукам в 60-е годы непечатные стихи. Впрочем, как и приписываемые ему. Так, недавно в «Русской мысли» Ольга Гриз, благосклонно откликаясь на его книгу «Стихи разных лет», попеняла мне (составителю), что я не включил в нее стихотворение «Поэты, побочные дети России» (на самом деле принадлежащее Герману Плисецкому) и «В рыбацком поселке у плеса...» (соответственно – Якову Акиму), а стихотворение «Двадцатые годы, когда все были...» воспроизвела с большими искажениями, естественно возникающими, когда текст многократно переписывается, перепечатывается или записывается с голоса любителями. Выверенных, авторизованных текстов Слуцкого за границей никогда не было. Почему?

Ведь как стало ясно сейчас, в его рабочих тетрадях копилось и скопилось огромное количество стихотворений, которые он желал бы увидеть напечатанными и которые журнальными и издательскими редакциями отбрасывались незамедлительно, как только они туда попадали (Слуцкий, надо сказать, сам себя не цензурировал, оставляя это занятие сонму разного рода чиновников, получавших за то зарплату, и ставил в подборки и книги все, что писалось, – потому-то кое-что иногда и проскакивало). Можно ведь было собрать отборную книгу и тиснуть ее за границей – многие из его окружения так делали, да и его положение участника войны, признанного мастера позволяло надеяться на не слишком крутые оргвыводы. Однако этот вариант он никогда всерьез не рассматривал.

В один из самых черных дней своей жизни (может быть, в самый черный), когда он выступил на собрании московских писателей, созданном для предания анафеме получившего Нобелевскую премию Бориса Пастернака, Слуцкий, впрочем, не произнес ни одного лицемерного слова – только то, что действительно думал. Спешу тут же сказать, что ни этим, ни чем-либо другим он никогда себя не оправдывал – страшная вина была осознана тут же и, словно рана, кровоточила всегда: порукой тому стихи, просквоженные этим осознанием, этой болью, этим самосудом, которые писались и вскоре, и пять, десять, пятнадцать лет спустя, и в самом конце творческого пути (он наступил на 9 лет раньше физического конца). Так вот, в тот черный день среди немногого – 15 строк – сказанного им было (этим, собственно, и начиналось его выступление): «Поэт обязан добиваться признания у своего народа... Поэт должен искать славы на родной земле...» Уверенность в этом сопровождала Слуцкого всегда. А кроме того, чего бы стоил весь его самосуд, если бы он, одной рукой бия себя в грудь, другой передавал свои стихи для опубликования на Западе?

Следующие поколения, в том числе и мое, полагаю, вольны и думать и поступать по-иному. Особенно сейчас, когда мы все сильнее ощущаем родственность, необходимость друг другу, слиянность двух русских литературных потоков, текущих по обе стороны госграницы. Особенно, если знаешь, что Слуцкий-то эту родственность и слиянность ощущал куда как давно: и читая юношей перед войной Бог весть откуда проникавшие в Союз эмигрантские стихи Ходасевича, Цветаевой, Эйснера, и глотая том за томом комплект «Современных записок», обнаруженный им после победы в поместье какого-то румынского графа, чья жена оказалась из русских эмигрантов, и много позже интересуясь современной эмигрантской литературой, среди авторов которой были его давние друзья, знакомые, коллеги: В. Некрасов, А. Галлич, И. Бродский...

Так что пусть и стихи Бориса Слуцкого однажды хлебнут воздуха русского зарубежья. Ведь не исключено, что сейчас и он не стал бы возражать против такой возможности.

Юрий Болдырев

СЛЕПЦЫ

Слепцы походкой осторожной
Идут дорогой непреложной
И не собьются ни на шаг.
А я сбивался, ушибался
И так порою ошибался,
Что до сих пор звенит в ушах.

Слепорожденным и ослепшим,
Невидящим, конечно, легче,
Конечно, проще им, чем нам,
Отягощенным с детства зреньем,
Презреньем, иногда прозреньем.

Да, мы глядим по сторонам.
Былым путям – не доверяем
И новые пути торим,
Об их ухабах говорим,
Их повороты предвараем.

Конец 40-х – начало 50-х

* * *

В эпоху НЭПа, в дни его разгара
Я рос и вырос на краю базара.

Меня на мелочь медную обменивали,
А я-то думал – на большие деньги.
Меня обвешивали и обмеривали.
И эти годы – никуда не денешь.

С волками жил я, притворялся волком.
Им лапы жал, на улице раскланивался.
Но если ошибался я, обманывался –
Так ведь меня обманывали с толком.

Как музыка в базарном репродукторе,
Я за грехи базара не ответчик.
Душа, ветрами времени продутая,
Жила в плену предзнаменований вещей.

НЕСМЕЛЫЙ

Вытертое автобусной давкой лицо,
вытертое трамвайной давкой пальто,
зубы, съеденныс столовской едой,
глаза, обесцвеченныс сжедневной бедой,
ежедневным ожиданнсм чего-то, что
должно непременно случиться
с вытертым трамвайной давкой пальто,
с глазами, уставшими светить и лучиться.

Он прав, в опасениях всечасных
жизнь проведя:
несчастья бросаются на несчастных.
Они как псы и вроде дождя.
Беда до счастливого не доходит,
она его стороною обходит,
а если пойдет, то в сторонку свернет
и несчастному шею свернет.

* * *

От копеечной свечи Москва сгорела.
За копеечную неуплату членских взносов
Выбыть не хочу из снежной Галилеи,
Из ее сугробов и заносов.

В Галилее бога распинают
С каждым днем решительнее, злее,
Но зато что-то такое знают
Люди Галилси.

Не хочу – копсйкою из дырки
В прохудившемся карманкс
Выпасть
из предрассветной дымки,
Из просторов кашки и ромашки.

Я плачу все то, что наложили,
Но смотрю невинными очами,
Чтобы, как лишенца, не лишили
Голоса
меня
в большом молчаньи.

Все наложенные на мсня налоги
Я плачу за два часа до срока.
Не придется уносить мне ноги
Из отечества – его пророку.

Добровольных обществ
добровольный
Члсн
и займов истовый подписчик,
Я – не недовольный.
Я – довольный.
Мне хватает воздуха и пищи.

На земле, под небом
мне хватает
И земли, и неба голубого.
Только сердце иногда хватает.
Впрочем – как у каждого, любого.

РАЗНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

От имени коронного суда
британского, а может быть, и шведского,
для вынесенья приговора веского
допрашивается русская беда.

Рассуживает сытость стародавняя,
чьи корни – в толще лет,
исконный недоед,
который тоже перешел в предание.

Что меряете наш аршин
на свой аршин, в метрической системе?
А вы бы сами справились бы с теми,
из несших свастику бронемашин?

Нет, только клином вышибают клин,
а плетью обуха не перешибают.

Ведь бабы до сих пор псрешивают
из тех знамен со свастикой,
гардин
без свастики,
из шинелей.

И до сих пор хмельные инвалиды
кричат: «Кто воевал, тому налей!
Тот первый должен выпить без обиды».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Еврейские беды услышались первыми.
Их голоса звучали громчей,
поскольку не обделили нервами
евреев в эпоху дела врачей.

Потом без нервов, с зубами сжатыми,
попер Чечни железный каркас.
Е выплескивали ушатами
из Казахстана на Кавказ.

Потом медлительные калмыки,
бсдолаги и горемыки,
из ссылки на родину, влачась в пыли,
из пустоты в пустыню пошли.

А волжские немцы ждали долго,
покуда их возвратят на Волгу,
и, повздыхав, пошли черепицу
обжигать
и крыши стлать,
поскольку им нечего торопиться.

Потом татары засыпали власть
сначала мольбами, потом прошениями,
потом пошел татарский крик,
чтобы их не обошли решениями,
чтобы вернули в Крым.

Все эти вопли, стоны, плачи
в самый долгий ящик пряча,
кладя под казенных столов сукно,
буксует история давным-давно.

В нее, в историю, все меньше верят.
Все меньше спроса на календари,
а просто пьют, едят и серят
от зари до зари.

ЗАДУМЫВАЯСЬ О ВЕЧНОСТИ

Задумываются о вечности,
точнее сказать, о том,
что же будет потом?
Какую квартиру в вечности,
какую площадь получат
и как получить получше?

Но эти еще не худшие,
оглядывающиеся вперед
и думающие, чья берет,
и зло побеждает,
добро ли,
и выбрать какие роли.

Ведь есть такие, что думают
о чем-то вроде угла,
где духота и мгла.
Их вечность непроветрена
и даже антисанитарна
и до того бездарна,

что обаятельней даже
лозунг: «Хоть день, да мой!»
И спяну бредя домой,
они счастливо думают,
что хоть денек урвали:
потом поминай как звали!

* * *

Еще отыщется изящество,
отъехавшее в эмиграцию,
и прежней удали казачества.
Еще придется разобраться.

И все хорошее, заросшее
быльем,
 пробьется сквозь былье.
Все, замеченное порошею
времен,
 возобновит житье.

ДРАКА

Инвалиды костылями
бились около метро:
костерили, костыляли
бойко, злобно и хитро.

По одной руке на брата,
по усталой, по больной,
перебить друг друга рады,
чтоб не стало ни одной.

Ноги бы передробили,
перебили черепа!
Возле этой самой были
молча сгрудилась толпа.

Пар, как будто дым сраженья,
из дверей метро валил.
Признавая поражение,
старший инвалид – завыл.

На асфальт сморкаясь кровью;
утираясь рукавом,
тихо был он,
громко кроя
поединок роковой.

Выл, пока его обидчик
ковылял не торопясь,
голову устало сбывчив,
костылем тараня грязь.

БОСТОН

Допускаю, судьба занесет в Нью-Йорк,
занесла же когда-то в Москву!
Но Бостон исключен и бостонский восторг
никогда не переживу.

Он останется в книгах, в толстущих томах
и на тонких гравюрных листах.
Никогда не узнаю бостонский размах
и бостонский томительный страх.

Во второй половине земного пути
надо дух перевести –
хочешь, театр посети и друзей навести.
До Бостона уже не дойти.

Не дойти, не доехать, не долететь,
приз не взять, банк не сорвать.
Ты уловлен в какую-то старую сеть,
ячеи – не разорвать.

Между тем в небоскребе бостонском – окно.
лампы свет и блокнот на столе
и бостонский поэт, осознавший давно,
как разорвано все на земле.

УРОДЫ

Домье рисует свое дамыё –
блядищ девятнадцатого столетия.
Величье будущее свое
рисует до полного утоленья.

Домье рисует жадных старух
в сопровождении пошлых старцев.
Он продуктивен, будто сторук.
А что, если вправду сторук? Может статься.

И крив и кос человеческий род,
иного же у Домье не случается.
Когда получается лучший урод,
Домье кричит: – Урод получается!

А девушки, в майском своем цвету,
глядят в его глаз холодное олово,
глядят в сго бездну,
в ее высоту,
задрав на беззвездное небо головы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Общепринятому перечя,
не жалея на это сил,
передвинутое в просторечьи
ударенье
я восстановил.

Вроде сделано так немного –
не мудрец я и не герой:
перетаскивал с первого слога
ударенье
на слог второй.

Это вам не разделы Польши,
не таможенный вам тариф!
Рифм мужских на одну стало больше,
На одну меньше
женских рифм.

Все же Пушкин узнает слово
то, что прежде не узнавал.
Восстанавливается основа,
разгребается
праха навал.

На участке стрелкового взвода
торжествуют
добро и свобода.

ОБРЫВОК ЦЕПИ

Оторвавшись от жизни,
сорвавшись с цепи –
все потеряно, кончено, бито –
одинокую гуляю, как ветер в степи,
выхожу на чужую орбиту.

А за мною, как тень,
тянется целый день
осторожная, ржавая, резкая звень
и на всех буераках, обрывах,
на неровностях местности здешней, степной,
знать дает о себе
проходящий со мной
тот стальной и звенящий обрывок.

И неволю и волю,
и мир и тюрьму
в диком поле
вызванивать надо ему:
их противоположность в единстве,
их взаимная ненависть,
тесная связь –
всё,
единожды накрепко установясь,
небольшому обрывку годится.

* * *

Умирают в своей постели!
И на этом вечном пределе
унижают в последний раз
столько раз униженных нас.

Не наплакавшись, не на плахе,
а с удобствами и в тепле,
нас оставив в крови и прахе,
завершают свой путь на земле.

И подписывая некрологи,
курим ладан, льем елей,
понимая, что эти налоги
тоже надо платить скорей.

* * *

Арьергардные бои –
все, что нам осталось,
и у каждого – свои,
собственная старость.

Общая у нас черта:
убывают кадры
и подводится черта.
Крышка арьергарду.

Прядь седая у виска:
тучи небо кроют.
Арьергардные войска
молодежь прикроют.

Платим до конца платеж
в том сраженьи тихом.
Арьергарды, молодежь,
помяншь ли? лихом?

Лучше лихо помяни,
то, что мы забыли.
Помяни и извини:
уж какие были.

* * *

Под небом голубоватым,
где серенький вьется дымок,
где каждый местный атом
признать бы в лицо ты мог –
именно здесь ты здешний,
ты местный в этих местах,
под старенькою скворешней
ты в птичьих делах мастак,
земляк вот этой землицы,
а не далеких планет,
и всё – знакомые лица,
а незнакомых – нет,

да, вовсе нет незнакомых –
не девери, так зяття,
и в здешних жестких законах
имеется строчка твоя,
и в здешних протяжных песнях
имеется строчка твоя,
и здешних вестей ты вестник,
и все вы – одна семья,
и все вы – одна компания
по части хмельного вранья,
и в здешнем самокопании
есть и лопата твоя.

* * *

Вот она, отныне святая
пустота,
как прежде – пустая,
полая, как гнилой орех,
но святая – почти для всех.

Принимаю без всякой тревоги
и терпеть без претензий готов,
что на шеях куриные боги
вместо тех человеческих крестов.

Эти мелкие дыры сквозные,
эти символы пустоты
и сменили, и заменили
все, что людям несли кресты.

Хоть они и пусты и наги,
в них все символы смены вех –
тоже знаменья, тоже знаки,
выражают тоже свой век.

И лежат они на загарах,
и висят они на шнуре,
как блестели кресты на соборах,
золотели на заре.

Препробовав все на свете,
мы невиннее, чем слеза.
Снова мы, как малые дети,
начинаем с начала, с аза.

Комья глины на крышку гроба валя
(ноне старым богам – не житье),
пустоту мы еще не пробовали.
Что ж! Попробуем и ее.

ЗВЕЗДА СВЕТЛАЯ И УТРЕННЯЯ

Фонари, натужно пытающиеся раздвинуть ночную темень, пунктирными гирляндами змеились к железным воротам и здесь уже совместной мощью отбрасывали черноту ночи далеко в стороны, выталкивали тьму наверх, выше себя, сгущая и утрамбовывая и вокруг, и вверху плотную непроглядность. Зато неровный клочок вселенной с железными воротами в центре замер ослепленно, не в силах вздохнуть. Ветер сильными охами взметывал снег где-то по краю высветленной площадки, не решаясь переметнуться через светлое, куда более светлое, чем днем, пространство. Неправдоподобно длинная крыса вышмыгнула в свет, будто из-под черного занавеса выпрыгнула, но тоже оробела, замерла и отступила в черноту.

Центром ослепительной беспощадности румяnel над блистающим в снежных паледях железом ворот белозубо хохочущий лозунг: «На свободу – с чистой совестью!» Примелькавшаяся до невидимости, сейчас в безлюдье эта вбитая навечно каким-то циркуляром надпись в одиночестве царила над «зоной». Излишними были теряющиеся в темноте вышки – не строже охраняли они свободу, чем сияющая несомненностью истина. И действительно ведь: по-настоящему свободным только тот и будет, у кого совесть чиста.

Впрочем, такая свобода ни с какими оградами, вышками и воротами не связана, а та, что за воротами – желанная, – не слишком-то связана и с совестью – тут никого из загнанных в охват колючек не проведешь, если уж терпит эта заоградная свобода совесть тех, кто ежедневно заполняет по утрам «зону», кто наступает «по долгу службы» в брошенных им на заработок и потеху людях не только совесть, но и... – эх, да что тут говорить без толку?.. Потому и невидим лезущий отовсюду в глаза лозунг, потому и соскальзывает вниз даже случайный взгляд на него, что вбит он и царствует еще одним издевательством – мол, свобода ваша зависит от столь неучитываемой, столь неошупной штуки, что как решим мы здесь по поводу этой штуки, так и будет: решим, что чиста – выйдешь, а решим иначе – сгинешь! и не ухмыляйся! не ухмыляйся, мразь! стань как положено!..

Такое вот не разделенное в слова знание шурило глаза и кривило губы тысяч вбитых на исправительную жизнь в плотную густоту барачных, и сейчас они, может быть, впервые не скатывались взглядом с высоты надворотней истины, а равнодушно ли (как болото принимает увесистый камень – без кругов даже), бессильно ли (сгибаясь перед неотвратностью глумления), яростно ли (не соскresti, не испепелить сверканием из-под век) – зацеплялись и повисали на острых зубьях узких высоких букв.

Вместе с темью яркие фонари соскребли в стороны от себя и душное снежное одеяло, простроченное неровными сплетениями колючек ограды, – так оно и горбатилось комьями у границы света, расправляясь в ровное покрывало там, куда света не доставало совсем, и опять вздыбливаясь в приближении к следующей гирлянде. Нет, не напрасным было натужное гудение фонарей – темень отступала, сползала со спящего мира, сгущаясь сразу за гранью вылепленных пяточков, дальше превращалась в мохнатую серость, которая не отталкивала взгляд давешней непроглядностью, а запутывала его и обессиливала: вроде и не «хоть глаз выколи», а и не различить ничего в густо-сиреновой одинаковости.

Тишину обморочно спящего мира распорол ржавый звук – будто гвоздь что есть сил цеплялся в дерево, сопротивляясь сворачивающей голову ярости безжалостных клещей. Медленно раскрывались, распахивались в неспешном зевке створки ворот, выворачивая наружу еще несколько гудящих киловатт, высвечивающих железное нутро шлюза. Но и там, в железной коробке, в другом ее конце, новый звук уцепился за утихающий и потянул чуть выше, со свистом додирая уже разорванную предутреннюю тишь. Наружные ворота нехотя толчками размыкали плотный замерзший зацеп могучих створок, и откидывались, отталкивались железные половинки друг от друга. Невероятно! дичь несусветная! – одновременно распахнутые в две стороны шлюзовые ворота сразу же и потеряли все свое неприступное величие и топорились беспомощно уже и без скрежета, а только со скрипом случайным. Чушь! дурь для простаков! небывальщина! – распахнутый насквозь шлюз, но все равно запах этот затягивает заглянуть, выглянуть, выскочить взглядом хоть... Тут и шаги заполнили затаившийся железный короб, и то, что не осмеливался взгляд даже, вершит человек, шагает себе совершенно спокойно, грумкая по железу, наталкивая следующие шаги на преж-

ние, отраженные сверху и с боков, гудит железо, снег осыпается с изодранной телогрейки и измочаленных валенок, – так и прогремел по шлюзу из конца в конец, задержался на вздох только у выхода и топает дальше по нетронутomu снегу, уже медленно и неслышно, лишь руками взмахивая в помощь неловкой ходьбе.

Сейчас?! ночью?! на волю?! да еще и через шлюз?! – ну лапша! ну «порожняк»! – а может, такая совесть чистая, что с души воротит? – нет, посмотрите только! во шпарит!

Свист, смех, выкрики – все вместе шквально обрушилось со всех сторон, долетев и туда, за шлюз, догнав по глубоким следам в снегу этот ряженный обман – прожженные валенки, плотно забитые снегом, медленно, рывками вздергиваются, отталкиваясь все дальше и дальше от зоны, – закружил вокруг негодующий шум, фонтанами взметывая снег впереди.

Ну дает! а руками-то, руками-то машет – точно крыльями! никак петушара!

В настигающем шуме было полное неприятие наглого обмана, прорывающаяся злоба все слышнее среди громкого смеха, и именно злоба эта взвихряла фонтаны снега все ближе и ближе, у самых ног уже, и не выдержать больше не оглянувшись.

Еще и еблом крутит!

Чья-то подушка полетела в удивленные на застывшем рыхлом лице глаза, и рука в снегу вздернулась защитно, но не успела – запрокинулась от удара голова, отставая от складывающегося всеми частями тела, отыскивая еще что-то глазами вверху, а по экрану уже густо пошли полосы, залепило его белой мутью, засвистело что-то, захрипело в деревянном ящике, и сразу же все вокруг утомилось, но опоздавшая эта тишина и внимание не помогли – телевизор продолжал хрипеть и светить ослепшим бельмастым пятном.

Никак не ожидал Слепухин, что столь болезненно ковырнет досада от фукнувшего телевизора. И ведь с чего бы ей взяться – досаде той? Сейчас только негодование захлестывало от разворачивавшейся на экране тряхомунии.

Слепухин ловко соскользнул с третьего яруса раскачавшейся под ним пальмы к себе вниз и свернулся на своем месте, пытаясь укрыться весь целиком телогрейкой, но никак на это телогрейки не хватит, и пришлось покрутиться еще, завернув на ноги истончившееся одеяло, все остальное пристраивая под телогрейку – только затылок стриженный наружу.

А зачем, спрашивается, угробил полчаса, вылавливая в просвет между головами на передних пальмах телевизионный экран? Все время ведь подталкивало бросить, сплюнуть с кривящегося рта что-нибудь крепкое в адрес всех, ловко пристроившихся по далеким телестудиям (и не только по телестудиям, пошире – может, в адрес всех несмышленных вольняшек), да-да, прекратить это глядение, выбраться в проход и уже этим одним как бы плюнуть в наглуую рожу телевизора, демонстративно выбраться из затянувшей барак пелены синеватой одуряющей лжи, протолкаться сквозь плотно забивших проход зеков, которым тоже ведь противно, должно быть, вешать на себя эту лапшу, но замороженные усталостью и неизбывной скукой, выворачиваются застывшие лица и тянутся ко всему, что нарушает тоскливое однообразие мертвых дней (только не остаться наедине с собой, только забить чем-нибудь зияющие провалы времени – не времени жизни, а времени ожидания жизни), протолкаться сквозь эти лица, посмеиваясь слегка над всеядной готовностью глотать любое хлёбово...

Не получилось, можно сказать, что именно телевизор и плюнул в них всех – глубокая царапина, выскобленная досадой, набухла мутным раздражением.

И не собирался ведь Слепухин фильм этот смотреть, нацелился заранее в маленькой до отбоя щелочке свободного времени устроить стирку – хлопотно, муторно, но если постоянно не стирать постельное да с себя все (рабочее уж ладно, сойдет пока) – запаршивеешь к чертям, а тут еще и вошку с утра выцепил в футболке (и откуда бsrутся, твари? неужто и впрямь из своего же тела от разных огорчений вылезают? – дед один в тюрьме объяснял так, но Слепухин тогда этому мухомуру ни на грош не поверил). В бараке завшиветь – гибель, мигом выкинут на чертячьи места поближе к дверям, а там уж – пошло-поехало: там тазика на стирку совсем не раздобыть и успевай в бане под душем как можешь и мыться, и стираться – в черти только попасть легко, а выбраться редко кому удается.

По приходу в барак Слепухин разленился и оставил все хлопоты на завтра, правда, субботний день вырисовывался от этого совсем уж в запарке: еще и помыться успеть, да в соседнюю локалку на чай приглашен, да на промзоне по субботам задерживают, но так блаженно потянулся Слепухин за поманившим соблазном немедленного отдыха, что все покалывающие возражения

пресек решительным – завтра. И получается, что дело совсем не в телевизоре, а в том, что не исполнилось у Слепухина по-задуманному (лучше бы сразу устроился прикорнуть), значит, решено было неправильно, а это – дурной знак: человек прежде всего должен уметь правильно решить и, решив, исполнять до черточки, а всякие костыли, всякие «кто же мог знать?», «так получилось», «нечаянно» – костыли и есть, для инвалидов тупо-рылых.

Не то что бы это была собственная жизненная философия Слепухина, скорее – жестокая логика нынешней его жизни, нынешнего мира, но, видимо, у Слепухина к этой логике было и свое расположение, ибо впитал он ее сразу, что и избавило его поначалу от многих болезненных ушибов. Впрочем, ушибов на его долю тоже хватило – не может же целый мир вращаться вокруг одной – пусть и жестокой – истины, а чтобы все истины постигнуть – никаких костей не хватит.

Не толкался уже упругий злобный комок в виски, разлетелся мелкими брызгами по жилам, да и не все ли равно, отчего эти ядовитые капельки собираются вдруг вместе, так слипаются в ртутно-упругий ком, что не продохнуть? От одного взгляда на плакат в соседнем сквозном проходе между пальмами взвоешь по-волчьи. Правда, плакат этот невидим вовсе, может, кто снимает его временами, подновляет и вешает изредка? Нет, вряд ли – облезшим бы таким не был, значит, и не подновляет никто, сам исчезает надолго. Сегодня только появился некстати и, главное, по приходу с работы: измочаленному да промерзшему только и не хватало всех этих улыбающихся недоделанных вольняшек, тянущих к кремлевским башням что у кого есть: один – отбойный молоток, другой микроскоп тычет, кто-то серпом грозит. «Наш труд тебе, Родина!» А сверху кремлевской стены – колючка по зубцам, и напрасно эта упитанная телка серпом своим к колючке тянется – грохнут ее сейчас с ближайшей угловой башни. Вот уже и очкарик в микроскоп ей подмигивает, и малолетка, свесившись с трактора, орет: «Налево!» – Палево – палево – па-ле-во...

Прошуршало от двери по всем проходам барака и взорвалось тут же грохотом в дверях да топотом сапог.

Барак, разгороженный трехэтажными пальмами, насквозь не просмотришь, и Слепухин поднялся без спешки, оправил одеяло тоже не слишком тщательно, рассмотрел уже, что громкий топот – всего лишь посещение войскового наряда, измерзлись

попкари, вот и нырнули отогреться, может, и поживятся чем, если повезет.

– Почему не встаешь? – задрезжал сзади, задренькал противный голосок. – Спишь, мудозвон, в неположенное время? Не крутись, фамилие посмотрю только. Охота мне с тобой тут валындаться – пусть отрядник валындается, а я рапорт только составлю. А у тебя почему в паспорте фамилиё неразборчиво? Эй, завхоз! – кто этот мудака?

Слепухин глянул машинально на лоскуток с правой стороны телогрейки – ничего, разберет, если надо, но одеяло оправил поаккуратней. Проказа – он проказа и есть, что с ним цепляться?

По проходу мимо Слепухина прошаркал валенками прапор по прозвищу Проказа – длинная кадыкастая шея торчит из овчинного ворота, а выше – прямоугольное узкое лицо, ровненькое, без изменений по ширине от узенького лба к подбородку, только сплюснуто снизу – от подбородка к носу, и места для рта почти не оставлено. За прапором грумкали сапогами два краснопогонника, нахохленные в застылых шинелюшечках, носами шмыгают. Чем глубже по проходу – тем тише Проказа: тоже учитывает, что тут уже не чертять и места, тут «мудозвонами» слишком не разбросаешься, не важно, что любого, кто посмеет высунуться только, потом умнут, укатают, но и самого, если харкнет кто-либо в рожу, – со свету свои же сживут, как Косоглазого сжили, сняли с прапоров в старшины и отправили служить в наружную охрану, чтобы не смел носа в зону совать («настоящий прапорщик не позволит, чтобы ему морду всякая мразь раскровянила!»).

У телевизора все еще переминаются в упрямой надежде на его чудесное исправление человек десять-пятнадцать, а несколько роются в звякающих внутренностях, постукивают что-то, то и дело выключая и включая вновь, – может, заработает.

– А ну, разойдись! Чего столпились?

– Телевизор накрылся, гражданин Проказа.

– Я те сейчас!.. Ты думай, что говоришь!

– А я разве что, гражданин начальник? Я думал, что фамилия такая случилась – фамилию ж не выбираешь. Так, значит, не фамилия, а вроде клички, как у Ленина, скажем?

– Кончай базар, расходись! расходись, говорю!

– А может, из вас кто в телевизорах понимает?

- Да что они понимают, тупорылые...
- Одно понятие – рапорт да «как фамилие», тьфу, господи!
- ни украсть, ни покараулить...
- Слышь, начальник, привел бы нашего Фазу на минутку – он на пятнашке сидит – телек наладит, и обратно ведем.
- Я сейчас тя к нему отведу, умник!
- Во-во, это только и понимает...
- Куда руки тянешь, прапорщик? Положняковый чай пьем, ларешный.
- Это не чай, а цифирь, – цифирь не положено.
- Между цифирем и этим чаем такая же огромная разница, как между советским доблестным прапорщиком и пидером воюющим.
- А вот я сейчас попробую...
- Ты чего кружку шкваришь? Эй, куда ставишь – теперь этой кружке в петушатнике место. (Зазвенело по полу.)
- Я сейчас рапорт составлю, что цифирь пьете.
- Так что, никакой разницы? вот и я говорю...
- Вам, гражданин прапорщик, совсем уж не к лицу с зеками цифири гонять. Боюсь, начальство не одобрит, если узнает.
- Ну, погоди, попадешься на кичу, там я тебя уделаю.
- И совсем уж не к лицу угрозы эти да воровской жаргон.
- Ну-ка, воин, обыщи этого умника!
- Шмонать – это привычно, это – пожалуйста. Эй, мокрона-сенький, ты глубже, глубже лезь – там у меня штучка одна болтается – так ты помацай, можешь и губами...

Наконец Проказа прошаркал поспешно обратно по проходу, утаскивая следом солдат. В соседний проход не завернул, а скрылся в каптерке, отослав сопровождающих (для дальнейшего прохождения службы) на мороз.

Слепухин опять попробовал укрыться и нырнуть в тепло.

– Эй, Максим, – громко окликнул Максима Долотова Квадрат, – тебя что ли записал Проказа? Пойти поштырить с ним?

– Еще чего? Плиту чая терять, – так же звучно откликнулся Долото, – Проказа бздехливый и не должен рапорта накатать – он тут у нас цифирек похлебал...

– Смотри, Максим, как знаешь... Отрядник за тобой из всех дырок пасет...

Отдельные громкие всплески угасли, втянувшись в ровный однообразный шум, к которому Слепухин давно привык и не

только привык, а и не замечал совсем, именно его полагая тишиной и безмолвием, – настоящая же тишина, когда случалось в нее попадать, выскочив среди ночи по нужде, оглушала, нестерпимо была по ушам скрипом снега, своим же кашлем, и только опять в бараке привычно залепляла душная ватная глухота.

Днем ли, ночью – барак постоянно гудел, меняя тональность, но всегда мощно, как гудит улей или трансформаторная будка, угрожающе намекая, мол, за гудом этим единичных пчелок-электронов таится такая взрывная сила, что удивительно, как она не выплескивается, как она удерживается в тонких стеночках. Может, череп с костями на дверце сам и удерживает? или провода, что со всех сторон тянутся к будке? А если человека туда всунуть? к контактам приткнуть? – сгорит, наверное, в пепел... мигом пчелочки растащут по сотам своим, по пальмам – ув-ув-ув, и – готово, и – концов не сыскать: кто приходил? что надо было? какой Проказа? да заходите сами, гражданин начальник, и смотрите – нет тут никакой Проказы. Пусть зайдет только: Квадрат мигнет и снова – ув-ув-ув, растащили кусочками по сотам... Испарился отрядник – только тулупчик новенький в проходе на полу съезжился. Убрать бы надо тулупчик, чтобы совсем никаких следов – потянулись руки, ухватили кто за рукав, кто за пушистый ворот, и тут из тулупчика шмякнулись на пол причиндалы – съезжались испуганно и покатались медленно к дверям. Да закройте же двери – вон щель какая холодом сифонит, укатятся ведь в щель, пропадем все... о, черт! никто не решается, и понятно – кому охота шквариться. Эй, петухи! вы-то что смотрите? держите же, чтоб вас разодрало!.. «Нам эти ваши дела без надобности», – прокудахтал крайний с насеста и торкнул гребень под крыло телогрейки. А мудешники отрядного тем временем уже к двери подкатываются, разрастаясь на ходу, и у самого порога мгновенно поперли в рост – теперь стоит уже у порога голый отрядник, в тулуп запахивается от паром клубящегося из дверей холода. Ничего ему не сделалось – из своих же поганных хреновостей обратно в силу вошел, только голова, торчащая из овчинного ворота, не совсем еще оформилась – один рот разевается, ни глаз, ни ушей, и от этого еще страшнее – один рот и набухающая злостью головка. «Вам давно уже надо понять, что все вы – мразь и дерьмо, и сидите вы все в глубокой жопе».

Еще из отрядника вместе со слюной разбрызгивалось, что он научит всякого Родину любить, но Слепухин скорее узнавал про Родину, чем слышал, потому что сам ухнул вдруг куда-то, за-

жмурившись в ужасе, – сердце захолонуло, но тут же удалось ему стать в распор, утвердившись ногами в чем-то плотном.

Слепухин разлепил глаза, сразу сморщившись от невероятной противности увиденного.

Торчал он в какой-то синеватой, чуть прозрачной трубе. Скорее даже не трубе, а внутри шланга, в кишках какой-то, упруго подающейся под ногами. По стенкам скатывалась густая слизь, мешающая оглядеться, но постепенно Слепухин с омерзением осознавал свое положение. Со всех сторон змеились в переплетениях и соединениях такие же кишки, и по ним проталкивались или медленно проплывали соседи по барaku, какие-то еле вспоминаемые знакомые, вон исчез в изгибе забытый спутник по этапу – как его звать? не вспомнить теперь... Все это извивающееся переплетение пульсировало, подрагивало, где-то сжимаясь и облепляя синюшных людей, где-то расширяясь временно, чтобы тут же дернуться в зажим. Люди тоже вели себя по-разному: большинство безучастно – куда их тянет, тащит, волочит? и дела им нет, некоторые взбрыкивали, пытаясь ослабить захват, кое-кто пробивался сам, иногда и карабкаясь встречно оплывающей вокруг слизи.

Слепухин углядел, что недалеко совсем извив, держащий его, примыкает к соседнему и в месте смыкания соединяется с ним – если поднажать, можно будет нырнуть в другое ответвление этого кошмарного лабиринта, а там уже, чуть повыше, угнездили в тупиковом расширении Жук, и вроде бы в его затишном месте можно отдышаться (главным, конечно, была непереносимость этого одиночного блуждания, на которое сумасшедшая реальность обрекала Слепухина, – приткнуться к кому-нибудь, хоть и к Жуку).

Чуть ослабив упор, Слепухин потихонечку принялся соскальзывать к нужному месту, однако там уж пришлось попотеть, покрутиться, утыкаясь во вздрагивающие стенки по-паучьи: и руками, и спиной, и головой даже. Жук с интересом глядел на торкающегося к нему Слепухина, но руку не протягивал, не помогал, подвинувшись только слегка, давая место. Весь этот аппендицитный тупичок ходил ходуном, пока Слепухин пристраивался, и все время Жук недовольно ворчал, опасно оглядываясь, не рухнет ли обвально его убежище.

– Дополз наконец? – фыркнул он. – Экий ты, паря, неловкий.

– Зато ты ловкий... пристроился тут...
– Башкой шурупить надо.
– Кажется, мы и вправду в заднице все.
– В заднице – не в заднице, а и ее не миновать, – хмыкнул Жук, – другого выхода отсюда нету.

– Но ты ж вон как-то пристроился вроде, и неплохо.
– Ты прикидывай, прикидывай одно к другому... Отсюда выйти или дерьмом, или вместе с дерьмом – не иначе... Будешь упираться – волоком протянут, но через ту же задницу... Так что – лучше самому, а не волоком, но и не тыкаться по-козлячьи попервей всех в дерьмо. Где поддаться, где чуть стороной, где чуточку упереться – тут все и железно и немного податливо, если знаешь, чего тебе надо, с одной стороны, вроде стены кругом, но и стены чуток из резины, местами гибкие – вот и расширил себе уголок, вздохнул посвободнее...

– Так все одно же, говоришь, с дерьмом смешают.
– Дерьмо – оно тоже разное: чистеньким не останешься, но и вонючкой совсем становиться незачем, особенно если и потом жить собираешься... Ты погляди вон на Долото – он хоть и умный, а дурак: упирается во все стороны сразу, расширяет вокруг себя посвободнее что сил есть, а того не видит, что здесь расширил, а в другом месте совсем узко стало, совсем не продохнуть, торчит костью в глотке, упирается, а ведь так вот со всех сторон не удержишь, не раздвинешь, чуть слабинку дашь где – и сомнет, а не дашь – так и кончишься здесь, упираясь, – еще хуже. А надобно и дерьмом немного прикинуться, и свое отстоять, и другим совсем худого не сделать... К месту надобно определиться к своему, главное тут – место свое.

Слепухин вполуха слушал негромкий разговор, сползающий к нему со второго яруса.

Все-таки сволочь этот Жук. Уцепился по своему обыкновению в свеженького этапника и крутит: выкрутит все что можно с него, выудит фофан, ботинки нулёвые прихватит, может, еще его немножечко попасет для какой иной выгоды и отвалит напроць. И попадают же олухи на одну приманку – землячок, в хрен бы не грохотал, землячок такой, от Карпат до Урала у него все землячки.

– Лучшие места тут у стенки, причем в том проходе эти места лучше, чем в этом, видал – там даже не пальмы в конце стоят, а обычные шконки.

– Это под плакатом?

– Каким плакатом? Что ты мне голову морочишь. Под стеной самой – эти места для авторитетов. А в нашем проходняке под телеком – в два этажа несколько шконок – тоже авторитетные места, но чуть похуже. Дальше к дверям – пальмы мучеников, тут уже что наш проход, что тот – без разницы, а еще дальше – места козлячьи и для новичков, потом – черти, здесь уже наш проход лучше того, а в конце, у дверей самых в том проходняке – петушатник.

– Это я знаю.

– Вот и прикидывай. Нижние места лучше верхних, но лучше вверху поглубже, чем внизу к дверям: так здесь и движутся – на лучшие места или на худшие, поднимаются или опускаются... Я те сразу по человеку скажу – на каком он месте, да и любой определит. Какое место – такое и отношение. Я вот на самом спокойном, еще бы вниз перебраться, и не надо большего, дальше уже слишком на виду, тут тебя и начнут выкручивать, начнут кровь пить...

– Так начальник же говорил, и этот, как его... завхоз, что места они определяют.

– Ты их слушай, да не всему сразу верь. Охота отряднику всем этим заниматься – тут почти двести человек, уследи где кто, попробуй – один на киче, другой в БУРс, кого-то на этап уперли... а завхоз – козел, и этим все сказано. Разрешение-то он разрешает, но и к Квадрату прислушается и еще к кому... его дело козлячье: на кого нажмет, а кому и уступит – очко тоже ведь не железное, свое место знает...

– А этот Долото, он же на авторитетном, под телеком сразу, что ж ты его дураком?..

– Да нет, вообще-то он умный, он здесь за сопротивление ментам...

– Это 191-я?

– Она. Так и здесь во все встречается и всему наперекор, не образумило его, все правду знает... Ну и вцепились в него, и пошло... Статья-то его почетная, и сам путевый – его здесь и поддерживали, да и послушать его интересно, и помочь может – в суд написать, еще куда... Но нас тут из-за него зажали без продыху: который месяц барак без ларька совсем, а в бригаде его – так и без передач и свиданок сидели, а как кто с ним поговорит – на ки-

чу бросают – мыши ведь вокруг, что увидят, сразу пошуршали, кто к куму, кто к отряднику... Так и отвадили от него всех, себе дороже, если кому что надо – тайком, а чтобы разговор какой общий или открыто с ним – никто не решается. В общем, держится сам по себе, отбивается, чуток помогают ему, ну а больше – тишком в яму подталкивают, от себя подальше... Вот и получается – дурак...

Слепухин ногой саданул в железные полосы над собой.

– Ты там, Жук, следи за базаром, а то я метлу твою укорочу.

Жук свесил вниз свое нездоровое лицо, выщербленное лиловыми пятнами, и сейчас вот все в складочках любезной улыбки. Ишь, истаскало его, а ведь они со Слепухиным ровесники.

– А я что? Я – ничего, вот молодого учу уму-разуму...

– Сам наберись сначала, – Слепухин вытащил из кармана телогрейки пачку сигарет. – Проказа ушел?

– Умотал, так что закуривай безбоязненно, – и просительное, – угостил бы, а? Ни крошки табака!

– Ты что, здесь дымить будешь? – протягивал сигарету Слепухин.

– Да я разве без понятия – я свое место знаю.

– Вот и глохните там – развели базар.

Слепухин задымил, стараясь особо не вылезать из теплом угретого места, чтобы рука только с сигаретой снаружи. Жук наверху забормотал потише.

– У тебя вроде карамельки с этапа были. Угостил бы землячка, а?

– Да совсем чуток осталось.

– Ну и чего их беречь? На весь срок не растянешь, давай подправимся глюкозкой.

– Сейчас.

Пальма заколыхалась, выпихивая уцепленного Жуком дурика. Слепухин удивился, увидав его: с виду здоровяк, не сопливец зеленый, а вот же, прошлись по ушам – и готов, потянулся на участливый голос. А какое же тут участие? Для выгоды только, и что самое противное – выгода-то, выгода – мелочь самая крохотная, но когда всего в обрез, и мелочь – богатство. Так копошимся тут друг на друге, выхватываем свои крошечки, выкручиваем себе карамельку... Господи! что же Ты вытворяешь?

Не уследил Слепухин, накатило на него, заморочило, обесило, смыло и унесло все желания, сделало все зряшным, не стоящим ни сил, ни жизни самой, и ничего не случилось, но изменилось что-то, искривилось чуточку... А может, не искривилось, а, наоборот, прояснилось все, виднее, слышнее стало? Вот ведь Жук как простенько об местах этих разобъяснил, а за этим простеньким – борьба, трагедии, такие напряжения и страсти – Шекспиру впору... и для чего все? какой смысл в этом копошении, если сверху на всех одна сила давит, ломает хребет, да так, что смешно на копошение это смотреть? как мураши под подошвой: вот накроет уже, а они все шебуршатся, все что-то там свое доказывают... а если еще внимательней, так и шебуршания эти, и движения, и страсти за место устроены теми же, кто хребты ломает, но и сами они, сами – чего тужатся? чего мельтешат? сверху всего – пресс помощнее, единой косою выкашивает, один на все, на всех... зачем же это?... что же мучается так долго вот он, Слепухин, маленький под всеми этими подошвами? маленький и одинокий, никому не нужный... Вот это и есть главное: никто никому на самом деле не нужен. Притворяются, себя обманывают, других, играют в эти игры, тянутся к участливому и ловят на участии, а внутри холодок: никто никому не нужен... заглушают, заговаривают, растепляют эту ледышку, но в конце концов – выкручивают карамельку – ею и утешаются.

Сквозная тоска охолодила Слепухина, поддувала, выдавливая взвой, стон хотя бы, но Слепухин, вцепившись зубами в плоскую подушку, не позволял этой слабости вырваться звуком, стать заметной другим. Он хватался за части той жесткой конструкции, которую всегда выставлял вместо себя наружу, на люди, которую нагло, нахъраписто, ловко, увертливо, расчетливо – когда как – пер по жизни, но вот размыло все, и вцеплялся памятью в случайные опоры, громоздил лихорадочные камни – все выдувало напрочь...

Нет, так не выплыть – надо нащупать именно то, что прошибло дыру в устроенном мирке, уцепить этот подлый таран, вытолкать его, распушить в прах.

Жук? – Ерунда, дуриков только и дурить, умней будут...

Проказа? – Обычная псина, может, чуть поблохастей других...

Вечер не заладился? – Так и беды никакой не грянуло, уже хорошо...

Телек? – Накрылся, и холера его задери, тише будет...

Однако, перетирая в памяти весь этот незадавшийся вечер, Слепухин ощущал, что он рядом с неслышанным выстрелом, так вот запоздало сбившим с копыт...

Все же телек... хмырь этот, выбившийся на свободу... и даже не он, а взгляд его через плечо на них. Этим взглядом Слепухин ухватил сейчас сам весь барак целиком – вот оно, начало оползня, толчок к обвалу...

Таким он увидел это же место примерно два года назад и застыл тогда с расхристанным матрацем и выползающими из него немудрящими пожитками. Хоть и не ожидал он никаких особенных хороми, но против этого пристанища сразу вздыбилось все внутри, а знание, что это жилище почти на пять бесконечных лет, заставляло трепетать чуть ли не в агонии каждую жилочку.

Прямо перед ним тянулся узкий проход, чуть шире прохода в вагоне, а по бокам, как в том же вагоне, трехэтажные пальмы – одна к другой, парами, и грязные ноги, как и там – в проход, где-то вместо ног – неровные головы, и опять ноги, и по другую сторону прохода, в отличие от вагона, не боковые места, а такие же – торчком, а дальше еще один длиннющий проход с двумя рядами трехэтажных пальм.

Все это гудело, шевелилось, воняло – жило настолько плотно и сцепленно, что требовалось невозможное усилие, чтобы вступить туда, в шебуршащееся колготенье, всем телом воспринималось упругое отталкивание этого шевелящегося, вонючего, гомонящего подобия жизни. Как-то в пересыльной тюрьме перед баней навешали все па здоровенный стеллаж свое шмотье, натолкали все с себя, и два козла-банщика задвинули стеллаж в камеру прожарки, но что-то у них там испортилось, и нужную температуру не нагнали, подогрели только слегка, поэтому, когда полки эти выкатили после бани, все невольно отпрянули: казалось, что шмотки, да и сами полки шевелятся – может, со всей тюрьмы этой впридачу к своим наползли вши и тараканы, и все это шуршало и колыхалось перед глазами. И теперь вот Слепухину предстояло самому в это тараканье колыхание вступить, вжиться, найти себе место, вплестись в омерзительное существование. Загнанно колотящимся сердцем вспенилось догадливо: тогда и выпустят, когда вонмут, втопчут, перелепят в такое вот... в такой вот... Тогдашнее озарение снова тянуло Слепухи-

на своим беспрсветным оползнем: поддайся только, и сомнет, выплюнет оплывшим безразличным студнем. «Не-ет... хренушки... отс-сосут...» – выдыхал он сквозь зубы, цепляясь ногтями в телогрейку.

Жарко молотящая в виски кровь вышвырнула отчаявшуюся душонку года на три вперед в шумную вечернюю Москву – карусельно промелькнули огни – заметался Слепухин среди голубого холодного снега, зашпешил уцепиться, обжить далекий плацдарм и с него уже перекинуть спасительный мостик в невозможную реальность.

Он резко свистнул – тормознула тачка – «гони!» – сигарета – телка на обочине голосует – ништяк телка: пальтишко черной кожи (как у него), воротник голубого песка, все при ней – «подберем» – сидит сзади рядом телка, тачка прет на полном – «Вам куда?» (это водила мордень повернул, интересуется) – «Гони в Прагу!» – «Еще спрашивает, – это уже телке, похохатывая, – сам не знает, что ли, куда людям надо?» – телка молчит, в окошко уставилась – как же подклеить ее? – дотрагивается до плеча – дует в пушистый ворот: «Песцу-то самое время похавать»... (Слепухин взвыл у себя на нарах за бездну лет отсюда, но и здесь, на обшарпанном заднем сидении раздрызганного такси, тоже взвыл: ведь именно так и ляпнул: «писсцу... похавать») – соседка повернулась – заскрипело растресканное пальто искусственной кожи – ну и рожа, господи! – тачка тормознула у какого-то богом забытого кафе: «Приехали» – (это шофер вполоборота... ждет денег) – неловкие пальцы выуживают из кармана мятый рубль – взвизгнув задним колесом, тачка умотала – кожезаменитная куртка сразу задубела на морозе – никак не всунуть в карман мелочевку сдачи: на руке висит эта ободранная кошка...

Слепухин попытался еще раз обосноваться на своем месте в своем городе и без прелюдий всяких втиснул себя за укромный столик в голубом зале ресторана. Он старался не вдыхать забытые ароматы роскошной пицци и утихомиривал метающиеся зрачки, прищуривался от слепящих брызг хрусталя, чуть прикасался ладонью к хрупкой белизне скатерти. Изысканным легким наклоном головы он поощрял верткого официанта к изгибистому бегу, добавляющему каждый раз еще что-то на столе, куда взгляду не позволялось еще утыкаться, так как еще не время, еще надо равнодушно поглядывать по сторонам, попыхивать сигареткой. Наконец-то пришла и она, мыкнула что-то, извиняясь

за опоздание, мыкнула вторично уже официанту, ловко пододвинувшему стул, и огоньку, вовремя появившемуся из пальца официанта перед ее сигаретой, тоже мыкнула. Зашипели, вмещающая шампанское, бокалы, и шныревка в сорочьем фраке умотала. Слепухин поднял свой бокал и, дотрагиваясь им до бокала подруги, позванивая, подавился чуть не вырвавшимся «Дернем!», булькнул, заталкивая звуки обратно, затравленно оглянулся: обшмыганная табличка «Не курить!» на липкой стене, ровный базар за соседним столиком с монотонным выкриком: «Ты за свои слова отвечаешь? Нет, отвечаешь?» Он воровато курнул из умолившейся в кулачке папироски... удивленные глаза в морщинах напротив, засаленные прядки светлых волос, неровно намалеванные губы, мутный стакан в руке, вилка с погнутыми зубьями – в другой... за низким окном серые ноги постоянно оскальзывались на узком тротуаре...

Вся будущая жизнь утыкалась в зашарпанные пятиэтажки, гололедные тротуары, и где-то на этих обочинах постоянно маячили плотно упакованные ремнями в черные тулупы менты, и, значит, приходилось срываться от них по выворачивающимся из под ног льдистым дорожкам.

Он так яростно бился здесь уже почти полсрока за эту будущую свою жизнь, так крепко взнуздal себя, не позволяя опуститься, не допуская размазаться покорной овцой, не давая жадному брюху сожрать единственное свое достояние – уважение к себе («Самоуважение», – глухо произнес Слепухин, и абракадаброй выстроились нелепые звуки), таких сил требовала эта нежизнь, эта пред-жизнь на одно только – не распластаться безропотной вонючкой, – таких сил, такой ловкости и такого умения, что все остальные умения совсем незаметно растерялись за ненужностью.

Вот здесь они, псы, и подловили его, вот на этом и сковырнули.

Мир, наполненный ранее неисчислимыми возможностями, каждая из которых могла стать твоей единственно только по твоему желанию (протянуть руку, захотеть, откупорить любую, как пивную бутылку), этот мир скукожился нынче до выбора из одинаково серых вариантов с одинаковыми обледенелыми дорожками среди грязных домов и маячащими на обочине ментами.

Вот в чем неистребимая мета зоны: и для истоптанных в безропотную мякину, и для огрызливо ошестинившихся, и для воню-

чих козлов, и даже для опогоненных псов единственно возможная жизнь отныне и навсегда – жизнь зоны. Так она и перелепливает, перемалывает всех в себя, и теперь уже все они способны будут только воссоздавать эту жизнь – заразные ошметки, блукающие среди серых домов. Их речь, понятия, чувства и желания – это речь, понятия и желания зоны. Но прежде всего – речь, слова, из которых только зоновские понятия и вылепишь. Не зря ведь псам здешним всегда достаточно было согласие с собой на словах, на словах только.

Оскопили, волки. Лишили языка и этим – будущей жизни.

Пробивалось отдаленным раздражением и понимание большее, ненужное в своей безысходности. Ведь и в той, волевой жизни похожим образом оскоряли и лишали языка всеми своими единениями, празднествами, лозунгами и, значит, тоже лишали какой-то иной, нормальной жизни. Однако ту силу не сравнить с этой: та не змеилась удавкой именно у твоего горла, а хлесталась красными полотнищами поодаль для всех сразу, та не требовала именно твоего хрипящего согласия с собой.

Слепухин чуточку полюбовался собой – вот ведь удалось ему разгадать, как зона метит свое поголовье, – и в любовании этом наметилась прочная опора в неудержимом обвале, и теперь только ухватиться за нее; вот даже Долото – до всего ушлый, а и здесь не уберется – тот же язык, та же мета, а значит, не накнокал страшный закон, значит, зря все его колготение. Главное ведь допереть, с чем надо бороться, чему сопротивляться (Слепухин вспомнил, что именно эту мысль Долото ему и вдалбливал), и вот он – понял, и теперь посмотрим... повоюем еще...

Слепухин уже не фантазировал будущих великолепий, а тщательно разгребая лагерное житье, пробивался памятью к прошлому, но не к яркому пятну восхитительного прошлого, а к мелочам, к забытым привычкам, к жесту и слову. Он все так же лежал на правом боку и невидящим взглядом упирался в спины, колыхающиеся на соседней шконке. Угорь колдовал над чаем и несколько раз обеспокоенно обернулся к Слепухину.

– Девушка, вам не нужен телохранитель? – раздельно и внятно пробормотал Слепухин, улыбаясь.

– Эй, Слепень, у тебя чё?.. Крыша поехала?.. – Угорь чуть тронул соседа. – Чайку не желаешь?

– Чё-чё? – скривился Слепухин, – сопли на плечо, вот чё... Угорь чаем угощает! тут не только крыша поедет, но и все волки на вышках передохнут, и у козлов рога отвалятся...

Слепухин прикрыл глаза. Чайку бы он сейчас хлебнул с удовольствием. Выбравшись из-под обломков, ослабевший, будто после болезни, он буквально видел, как маленькие глоточки крепчайшего варева возвращают его к жизни. Только не для того завоевывал он здесь свое место, свой подобающий месту авторитет «путнего» мужика, чтобы швырнуть это все коту под хвост, поставить под удар за чифирный глоток – путнему не пристало с кем ни попадя чай гонять, а уж с Угрем – и вовсе никаких дел...

Со своим соседом Слепухин все время был начеку – чуял в нем мышару, да и слушок глухой попыхивает, что точно – мышина, и не кому-то там, а самому режимнику стучит. К мышам было у Слепухина брезгливое любопытство. Казалось бы, каждодневный опыт должен остеречь от опаснейшего душезакладного промысла. Как ни берегли волки мышей своих, как ни скрывали их делишки, но всегда появлялась от них же информация, которая была волкам важнее доносчика (тем более в доносчиках нехватки не было), и тогда уже не слушком, вскипающим на разных странностях, а точным знанием жертвы всплывало имя, и хорошо еще, если успеет сам мышара ломануться в петушатник. Бывало, что менты берегли своих особо выслужившихся работников и при ненадобности уже, но то – козлов выдающихся, не мышей, а и береженка их – надолго ли? самое большее – до конца срока. Конечно, повезло некоторым и увернуться, ускользнуть, но на такую крохотную удачу ни один игрок не поставил бы... И вот же – все равно лезут.

Слепухин чувствовал, что этим уродством выворачивается наизусть еще раньше загадочное свойство зоны. Здесь другое время. Сегодняшний день, эта вот минута с сигаретой, этот вот чифирь в безмятежный час – только они и существуют. А увернуться на сегодня от работы! закосить на больничку! добыть плитку чая! – перед этими реальными благами, которые можно получить сейчас же, немедленно, рассыплются прахом не только райская благодать вместе с геенной, не только недостижимая свобода, но и завтрашний день, который столь же плотно укутан в неразличимом будущем, как и загробная жизнь. Появись здесь дьявол – ему не пришлось бы дорого платить, скупая оптом тысячи искореженных душонок. Впрочем, станет ли он платить еще за здешний товар?.. А менты платят!

– Наша бригада – это тебе не шаляй-валяй-шабай, у нас знаменитейшая бригада была, – рассыпался перед Угрём мужичонка в благодарность за чай. – Мы таким воротилам свою работу делали, тебе и не снилось... Все делали – дачи, виллы, домики лесные... Привезли нас работать к... – мужичок склонился и зашептал в ухо Угря.

Тут Слепухин его и признал: Штырь из бригады расконвойников – шустрый мужик и, говорили, путевый – все делал: письма – из зоны, чай – в зону, пятаки затаривал... Вот ведь судьба: недавно еще – сам себе голова, в золотой бригаде, на заказах хозяина, всего вволю имел, да и жил вольно почти, а не угодил чем-то и покатился – кича, этот вот барак вместо домика расконвойных, Угрю в рот заглядывает за глоток того самого чифиря, который сам же в зону без счета перетаскал. Ишь, как подвело его в ШИЗО...

– Понял, на каких людей работали? – приосанился Штырь.

– А кто это? – лениво любопытствовал Угорь.

– Ну ты и лапоть... Да это же первый секретарь... – Штырь опять припал к уху. – Вот на нем мы и споткнулись.

– Грабанули?

– Офонарел, что ли? Их грабанешь, как же... они сами кого угодно обдерут... Виллу мы ему сварганили. Глянул бы – сказка! тысяча и одна ночь! все штырем, как в лучших домах!.. Уже и деньги вчерне подсчитывали. (Ты денег таких и не видел никогда.) Оставалась ерунда суцая – бассейн доделать, вот в нем мы и потонули. Короче говоря, все слепили, все штырем, как всегда, бассейн – игрушечка: плитка итальянская, фиолетовая с узором, вода отфильтрованная, как слеза – блеск. А жара той весной стояла – мозги плавились, ну мы и решили в бассейне том выкупаться, проверить, как говорится, свою работу. Углядел нас секретарь евонный и хозяину своему по телефону настучал, козел вонючий. Тут прискакал на «Волге» другой козляра с приказом хозяина: плитку содрать и все по новой сделать. Это значит, мы купанием своим бассейн настолько испоганили, что его никакими порошками не отмыть теперь, представляешь?! Я как услышал, чуть не лопнул от злости, но и это не все: новую работу приказывают – за наш счет, в наказание, значит... И вот тут нас заело – аж в глазах, помню, муть стоит, гордыня нас, мать ее, взяла – мы ж мастера! мы ж везде нужны! мы ж им, псам, вон каких

дворцов налепили, ценить должны... Короче говоря, бес попутал, написали мы про этот бассейн – тут нам и показали, что мы такое и куда нас ценят: плевков ненужный – вот что мы такое – растереть и забыть... Бугра нашего на следствии ухайдакали, сказали – инфаркт, а нас предупредили, чтобы не залупались, и разметали по зонам за мелочевые шабашки, и ни слова про бассейн тот, пропади он... Вот и наука нам вышла, почти бесплатная... Ну, а здесь – снова непруха... Сначала-то все штырем был, сам знаешь, бесконвойка, да еще на хозяевы заказы работаю – кто ж против хозяева мастера слово скажет? Короче говоря, живу нормально, отделяваю хозяеву дачу не спеша – чем не жизнь?..

Штырь удивленно вылупился, уцепив взглядом Слепухина и его прижатый к губам палец.

– Что, мешаем? Ну, мы по-тихому. («Эх, – подумал Слепухин, – как говорится, не в коня наука, не впрок корм»). ...Значит, строго я ему дачку, работка, конечно, не та, что раньше, запросы мелковаты и размах не тот, но вырезал я ему игрушечку: лесенки винтовые, перильца, балясины, короче говоря, штырем стоит... Своими ушами слышал, как хозяин хвастал перед псами какими-то мастером и даже одолжить меня обещался – они там частенько собирались на дачке, пока я работал себе, отделявал по-тихому... Тут мне и ударь в голову, что за мастерство мое не откажет же он мне в малости махонькой. Написал бабе своей, приезжай, мол, да обрисовал, как дачку эту найти – охраны ведь никакой, для видимости только подкумок дрыхнет целый день, сторожит, значит, от меня. Короче говоря, нашла меня моя баба, да совпало не в масть: как раз хозяин со своими псами отдыхали здесь же. Стоим мы, значит, с бабой у забора, тут нас и выцепили: хозяин выкатился, рожка знаменем пылает, шуму, как от фугана механического, попер он, короче говоря, бабу мою личными своими матюгами, а мне определил благодарность за работу: ночь в ШИЗО, днем – доделывать его конуру (там, к слову сказать, и оставалось-то всего-ничего – камин долепить)... И никак я в толк не возьму: ведь сами, волки поганые, гребут все под себя, наживаются, и при этом ну ни капельки благодарности к тому, на ком наживаются. В голову не укласть... Вот ты, к примеру, мне добро сделал, так и я тебя отличаю и при случае помогу, как же иначе среди людей? Или возьми даже помещик какой – ну, угнетал он там крепостных, ну, может, и бил...

– Бил-бил, – прихлебнул Угорь, – я помню... из школы еще.

– Да пусть и бил себе, но ведь и берег, может, не для них, а для наживы своей, но берег ведь, не распушал в прах... по миру бы пошел... а мастерство? – неужто не ценил?.. А у наших псов – ни малейшей благодарности, и хоть ты вывернись перед ним – все едино, в грязь разотрет. И сами-то при этом ни к чему не способны, ни к какому делу, ни рук, ни головы, одно умение – начальству половчее задницу лизнуть и свою поудобней для лизания подставить... Как для него ни старайся, с какой стороны ни зайди, одна задница отовсюду... Короче говоря, озверел я от такой жизни: ночь на киче колотишься, днем конуру его прихорашиваешь. Сижу я в гостиной у него, кирпичики перебираю, и такая тоска меня закрутила – ничего не надо. А хозяин в кабинетике этим часом гостей принимает: понаехало к нему – одних машин во дворе, что воронья, впритык. Думаю: спалить бы их всех к чертям, пока они закладывают. Только прикидываю – спалить не получится: дачка-то сгорит, а сами выберутся. А тут он еще вытащил свою шоблу покрасоваться – показывает конуру – камин; лестница, окна, второй этаж, тьфу, господи! и хоть бы один увидел, что здесь еще кто-то сидит и кирпичи лепит – как мимо деревьяшки тупают. А хозяин кукаречит: «Я – построил, я – соорудил, я – камин...» Передохнули они таким макарон и опять в кабинетик коньячок хлебать, а я все прикидываю, что бы сделать такое. Из кабинетика уже и песню взывает кто-то, набрались, значит, выше глаз. «Василич! – это хозяину орет пес поглавнее, – гони песенник». Пошебуршались там и потом наладилось у них, спелись, значит, проникновенно так завывали да все громче: «Забота у нас такая...», ну и дальше по песеннику – сдохнуть можно. Вот тут меня и осенило. Спустил я штаны по-шустрому и навалил сколько смог, а потом все это в камин заделал по уму: хоть перебери весь – ничего, а затопи только и минут через десять от вони из дому сбежишь. Короче говоря, камином моим он теперь перед своей шоблой не покрасуется... Ну, а я – известное дело...

Слепухин выбирался уже из узкого своего прохода в сквозной, накиннув телогрейку и оглядывая примятую шконку.

– Золотые руки у тебя, Штырь, да к дурной голове приделаны, – бормотнул он в меру громко, – да и голова ничего, но метла без привязи.

Нет, не шконку он оглядывал, а утвердившись силой своего ума, так вот эту круговерть ухватившего, оглядывал Слепу-

хин обломки, из-под которых выбрался в прежней своей прочности. А может, и похлеще все это? помудрее? может, и не надо от этой жизни отрещиваться? может, не зараза в ней, а совсем даже наоборот?... А словеса всякие – это наживное, это – можно и вспомнить, и научиться – шелуха, одним словом, и, может, под шелухой этой и необходимо иметь что-то поувесистей? «Порожняк!» – и напрочь отлетит труха блудливых словопоносников; «козел вонючий!» – и не ослепят ордена, вылизанные из вышестоящей задницы; «петушара позорная!» – и обломится задрюченная псина кукарекать: «поддерживаем и одобряем!». Может, и не надо от этой меты отказываться, а наоборот, повыше голову: «Мы из зоны!»

«Потом, потом... разберемся... – припрятывал, приминал Слепухин взбаламутившиеся чувства и быстро нес себя сквозь гомон барака, да погромче, чтобы не влипнуть в не успевшего уступить дорогу раззяву, чтобы слышали и посторонились, чтобы не сшибать никого с пути, но и самому не уступить, – эх, черт! Долото навстречу...»

– Поклон победителю Проказы, – по-доброму хмыкнул Слепухин, остановившись против Долотова и выворачиваясь так, чтобы и он, слегка вывернувшись, мог разминуться. (Долото и уступит, ему на эти игры начхать, да кто-нибудь при случае предъявит «не по чину нос дерешь!» – тут наука целая, как держать себя подобающе и не зарываться при этом.)

– Куда жужжишь, Слепень? Кого ужалишь? – встречно улыбнулся Максим.

– В козлодрально за тазиком. В чистом теле – здоровее голодный дух.

– Отбой скоро – не успеешь.

– А я хоть тазик заныкаю на завтра.

– Подходи потом: у меня чаек появился – запарим.

Вот теперь Слепухин совсем в порядке... Прочно и крепко!.. Какой оползень?.. какие обвалы?..

Он толкнул фанерную дверь каптерки. Бугры, ментовские мразевки, завхоз – все козлы в сборе – не продохнуть.

– Масонской ложе «Ме», – Слепухин растопырил средний и указательный пальцы в приветствии, – от вольного народа самых свободных зеков в мире...

– Ты бы, Слепень, потише орал, – вскинулся культорг. – Тебе чего надо?

– Для кого Слепень, а для тебя – гражданин Слепухин, и только шепотом... Ты ж хоть и козел, но по культурной части шерстишь – понимать должен культурное обращение. Что это вы тут штудируете? Точите рога по книжке? – ну, смехота... Так кого заботать изучаете?

– Почти в точку, – хохотнул завхоз, – любимемся рогами, что на всех нас наточали, – он показал обложку, на которой всего-то и ухватил Слепухин, что крупным шрифтом «Режим...»

– Что это за букварь? – он протолкался к столу и зашуршал страницами.

– Режим работы ИТУ... Все по статькам, за что нас дрючить и когда.

– Ну и что здесь изучили? за что и когда?

– А за все и всегда, – завхоз с деланным безразличием потянулся, хрустя сцепленными пальцами.

– Дай на часок.

– Не могу, сейчас Проказа заберет – это он за плиту чая дал полистать.

– Вот псина... – Слепухин перебрасывал наугад странички толстенькой книжицы, ухватывая то строку, то слово одно... – Ах, да – тазик здесь?

– Так ведь нельзя стирать, – ухмыльнулся завхоз. – Только что вычитал – серпом по белому – запрещается стирка в жилых помещениях, умывальниках и прочее, на виновных накладываться взыскание, а по-простому – вздрючка.

– Так что, завшиветь теперь?

– Завшиветь тоже нельзя – нарушение санитарного состояния и на виновных – опять вздрючка.

– А как стирать?

– В специально приспособленных помещениях, – завхоз начал выталкивать слова из-под углом вздернутой губы, и этим достигалось полное сходство с изморщенной невнятицей отрядника. – У нас при бане помещение есть.

– Да там же завшивеешь больше, в конуре той, и если двое там станут, третьему – лежать только, да и не работает ведь помещение твое с осени.

– А за этот непорядок должны быть вздрючены виновные козлы из банной obsługi... Ты не переживай: кого-то точно вздрючат, а может, и всех.

– Эй, Слепень, тебя Квадрат зовет, – в дверях торчала голова шныря.

– Иду, – и обернувшись к завхозу: – Гениальная книга. Заиграй для общей пользы, а Проказе чаем заплатим или вообще – на гвозди его, пусть оботрется...

– Пустое... все одно, долго не удержишь – отшмонают и вздрючат... вон ведь ушей сколько, – завхоз мотнул на свою же кодлу, – я и сам не рад, что ввязался – завтра уже потянут: «что?», да «как?», да «кто надоумил?», да «кто дал?», да «зачем читал?».

– Да ты что? – загомонила козлячья свора. – Да мы что, не понимаем?

– Понимаете-понимаете, – хмыкнул завхоз. – Все мы все понимаем.

– Тазик-то дай, – вспомнил Слепухин и очередной раз почувствовал Сереге. (Неплохой мужик был, а влез по дурости, развесил уши перед отрядником, раскатал губы на досрочное освобождение – и влез. Отряднику только и надо – сломать мужика. Кого кнутом, а этого – на пряник словил. Ни досрочного ему, ни в завхозах удержаться – натура не та: все старается послабить мужикам.. Сковырнет его отрядник – и кичи не избежать, и наломается, и не видать потом козлячьих легкостей – паши с мужиками на равных да посильнее, и как бы похуже чего не было, ведь для мужиков все равно – козел. Козел – это навсегда. Себе Слепухин вроде зарубки сделал: не забыть завхоза, не дать братве на расправу его, когда отрядник вышвырнет из каптерки на кичу, и это самое большее, что хоть кто-нибудь сможет для Сереги сделать. Перекантуется как-нибудь в экс-козлах, но и хлебнет сполна...)

Тазик не отыскался (отыщи тут – одна посуда на весь отряд, и еще из других одалживают). Слепухин накрутил шныря, чтобы отыскал и сразу под его шконку определил, а потом поспешил (но чтобы не слишком, не «на цырлах») в закуток Квадрата.

Квадрат кивнул Слепухину присаживаться на соседнюю шконку (проход тут между шконками пошире, и сидеть удобно – не колени в колени, еще и табуреточку приспособил Квадрат посередине). Подоспел шнырь и бережно поставил на табурет закипаченный чапак.

– На пике стоят? – не глядя на шныря, Квадрат засыпал лошпарь чая в чапак, и не плиточного, а весовуху, да по-щедрому, с присыпком.

– Со всех сторон расставил, не нагрывают.

Шнырь выждал чуток других каких поручений и умотал.

– Закуривай, – Квадрат бросил рядом с чаплагом пачку вольных, с фильтром. – Чего там? – Квадрат неопределенно мотнул головой, но Слепухин понял, что «там» означает – «в каптерке».

– Книжку листают, у Проказы выдурили... Инструкции по работе с нами, чего можно, чего нельзя, – Слепухин неторопливо разминал сигарету, прицеливаясь, когда Квадрат закурит, и загадывал: подставит он свою зажигалку или нет. Подставил! теперь все путем будет!

– Ну и что там можно, а что – нельзя? – насмешничал Квадрат.

– А все нельзя, – в тон ему отозвался Слепухин. – Я краешком только глянул, там же инструкций этих – выше крыши... Вот зажигалка твоя, к примеру, совсем нельзя, даже и перечислена особо, ну а всего, чего нельзя, не упомянуть. Спать до отбоя, не спать после отбоя – все нельзя...

– А что можно?

– А можно приветствовать начальство, только обязательно громко и внятно, ну и еще – можно добиваться права на труд, если тебя этого самого права лишают почему-то.

– Ладно, порожняк это. Тут такое дело есть.. – Квадрат замолчал, выжидая, не поторопит ли Слепухин, не замельтешит ли, будто у Слепухина совсем мозги набекрень, будто не догоняет он этих прозрачных ходов. – Слыхал, наверно? семейник мой вчистую откинулся.

– Угробили, волки, – (как же не услышать! вчера еще с подъемом выпорхнула эта новость из ШИЗО и мигом разнеслась по зоне, но вот ведь скотская жизнь – вчера только из человека всю кровь выпили, и не вспомнилось за весь день, потонуло в прошлом, куда и оглянуться некогда.) – Узналось что?

– Узналось... но это потом, а к тебе у меня такое дело: как ты смотришь, чтобы место его занять?

Вот такого поворота Слепухин даже в самых радужных прикидках не разглядывал. Не зря, значит, он так держал себя все время – особнячком, отдельно, хотя – ежу понятно! – в семейке жить проще, особенно ежели с деловым: всегда легче раскрутиться и с ларьком, и с чаем, и с куревом, да и веселее. (Сразу услышав на тюремe это слово, Слепухин навоображал себе вся-

ких извращений – теперь-то и вспомнить смешно.) Однако семейника выбрать – это тебе не на воле семью соорудить – тут если на облегчения только клонешь, если без ума, то вляпаться можно по уши. За семейника во всем с тебя равный спрос и, даже если расплывешься с ним, все равно, по нему и тебе цена. Не раз уже хотел Слепухин прибиться к кому-либо, но те, к кому хотел, не предлагали, а кто предлагал – с теми Слепухин поостерегся, и вот теперь мог с полным правом поздравить себя и погордиться собой.

– Шконку занять? – уточнил Слепухин, прихлопнув ладонью рядом с собой.

– И шконку тоже.

– Я, конечно, с удовольствием.

– Ну тогда устраивайся пошустрей.

Слепухин чуть было не сорвался с места, но утихомирил себя, подловив насмешливый взгляд Квадрата.

– Эй, – выглянул он в сквозной проход, – кто там поближе?! (не слишком нахраписто, но – твердо) – шныря кликните!

– Вроде готово, – Квадрат, сняв с чаплака крышку, принялся хихлялся.

– Барахло мое – в матрац и сюда, – объяснял Слепухин шнырю и после маленькой паузы, – будь добр... Пстой! куда же ты? эту постель уברי.

Квадрат снова прикрыл чаплак и лег, чтобы не мешать, а шнырь уже приволок весь слепухинский скарб.

– В тумбочке место есть?

– Найдется.

Слепухин быстро растолкал разную мелочевку по ящичкам громадной тумбочки, сделанной по заказу, которую и тумбочкой-то назвать язык не поворачивался – шкаф какой-то, комод двухспальный; оправил одеяло и закурил, с трудом удерживая уползающие в радостную улыбку губы.

Гугукнула два раза балда, и шнырь заорал на весь барак: «Пятый отряд – отбой!» Скрип щонка и пальм, гомон, кашель – все барачные шумы вспенились и тут же опали к ночному ровному гудежу. Погасли яркие светильники по проходам, и вместо них наполнились желтком маленькие лампочки на стенах, ожили тревожные тени на потолке, обозначились пустые провалы окон и раздвинули тесный барак, заподмигивали снаружи фона-

ри зоны попеременно со звездами, и поползла в духоту через пустые окна непроглядно темная ночь.

– Звал? – в проходе неслышно обозначился Долото.

– Присаживайся, – Квадрат подвинулся на шконке и передал Максиму кружку.

– Классный чифирек! – кружка перешла к Слепухину.

– Квадрат, – в проход всунулся завхоз, – ты извини, конечно, но сегодня в наряде Проказа.

– Пусть там стоят на пике... Поминки у нас.

Завхоз отступил и исчез, и почти сразу же втиснулись еще двое гостей.

Слепухин сдвинулся, уступая место на шконке, и кружка пошла по большому кругу – неторопливо, чинно выблескивая бочком в слабом отсвете упрятаваемой в кулак сигареты.

Глаза уже привыкли к затемненности закутка, тем более, что из окон, оказывается, не только темень ночного неба вползала в барак, но и холодная белизна снега.

Рядом со Слепухиным сидел Славик, а за ним, у прохода, – дед Савва – оба ни на кого не похожие и по-разному на всю зону знаменитые.

Как ни был радостно вздернут Слепухин негаданной переменой своей судьбы, но и его проняло настороженностью и чуть ли не враждебной даже настороженностью этого ночного чифирного круга. Похоже было, кроме Слепухина, все знали, для какого дела они собрались, и заранее уже ошетинились, изготавившись к этому делу. Что-то Слепухин прохлопал, копаясь в тоскующих своих внутренностях, и теперь никак не мог ухватить ситуацию, впрочем, и не старался особо – им теперь с Квадратом в одной упряжке, и, на Квадрата глядя, он тоже чуть ошетинился изнутри к этим трем: «авторитеты-то они авторитетные, головы-то они умные, но каждый со своим личным заскоком, в каждом свой чудик сидит да и живут наособняк и по-своему каждый, а рулит в отряде его семейник Квадрат, а не кто-то из них, пусть хоть у них семижды семи пядей на лоб»...

И чифирек закончился уже, и отвалили его как положено... покурили...

Квадрат погнал шныря еще с одним чаплагом и по обязанности хозяйина первый протянул ниточку разговора – дальнюю и случайную.

– Что, дед, прибавилось в твоём букваре мудростей? – затянул узелок и передал Савве.

– А как же, – подтянул дальше Савва (немного сильнее, чуть понапористей), – хочешь послушать? (Это уже и с вызовом даже, впрочем, может, Слепухину показалось).

Саввин цитатник был известен всей зоне и даже хозяину, и, говорят, хозяин иногда вызывал деда и полупросил, полуприказывал, а дед с охоткой изрекал; бывало – хозяин похихатывал, бывало – хмурился и изгонял Савву, однажды и на кичу закрыл – так говорят. Точно было то, что Савву старались не трогать и жил он себе крепко и отдельно, лечил нашептываниями и дрянью всякой разные болячки и лечил здорово, особенно все кожные заразы, лечил и псов, но не всех, и некоторых пользоваться отказывался наотрез, лечил и детей псовых – приводили к нему, когда подпирало; никуда не лез, а если уж высказывался о ком-то, что делал крайне редко, его решение принимала вся зона: надо признать, нюх у него на все скользкое и нечистое был поразителен.

Шнырь принес горячий чаплак и, пока Квадрат засыпал чай, вернул по его команде лампочку прямо над иконкой, откуда ее потому и убрали, что светила Квадрату в глаза. Савва тем временем в сдвинутых далеко от глаз очках листал свою истрепанную общую тетрадь, которую всегда с собой таскал в специально для этого пришитом изнутри телогрейки кармане – это и был Саввин цитатник.

Когда-то и Слепухин пролистнул эту тетрадку, отогреваясь у Саввы в его будке (там дед должен был держать в тепле и чистоте всякие шланги и прочий инструмент, которому грязь и мороз противопоказаны. Надо сказать, что работку эту устроил Савве мастер после того, как дед очистил его дочку от каких-то там лишаев – завидная работка и не козлячья, а Савве на старости лет – в самый раз.) В общем, любопытная тетрабочка, но Слепухин на эти дедовы умствования поглядывал снисходительно, как, впрочем, и все остальные. Ну, например, было там такое: «Все люди – овцы; любая овца для кого-то – козел; любой козел для кого-то – овца; все овцы – козлы, а люди – тем более» – забавно, конечно, но – боже! – как жалки эти потуги измякших и оплывших мозгов скрутиться хотя бы в одну извилину («Не Спиноза», – сказал тогда Слепухин. «Это и хорошо, – буркнул

Савва, – тем более, ни ты, ни я Спинозу этого в глаза не читали... Ничего, посидишь – допреешь, допреешь – допрёшь»).

– Ну, Савва, давай, – понукнул деда Квадрат.

– Одна моя приятельница бандерша, – Савва, подняв глаза от тетрадки, глядел поверх очков, – а для непосвященных – хозяйка борделя, говаривала именно в таких случаях: «Девочки, самое главное – не суетитесь под клиентом», – спокойненько так врезал Савва Квадрату. (И тот съел! такой шлепок – съел!)

Слепухин, поглядывая на Квадрата, расслабил мигом вскрученные мышцы, но оставался настороже.

Хлопок двери, быстрая проходка по скрипающим половицам, и рядом с Долото втиснулся Малхаз, который должен бы сейчас блаженствовать на чистой коечке в уюте медчасти, куда закосил почти неделю назад.

– Думал уже не ждать, – буркнул Квадрат, передавая ему первому кружку.

– Едва добрался. Все дыры наново заделали, и путанка всюду свежая. Кто-то сдал все ходы целиком.

Если уж Малхаз с трудом прошел, то и впрямь прочно заделали все ходы. Этот стремительный грузин с ловкостью ящерицы проскальзывал через загородки по локалкам, сквозь промзоны, наводил дороги в БУР и на кичу, правда, и прапоров у него было подвязано – чуть ли не вся их стая, и солдат через одного, и, может, из офицерских псов тоже, но известно же, что эти волки, сколько ни подвязывай их, прикроют тебя тогда только, когда самому ему это ни на децело не грозит. При этом был Малхаз нетерпим, капризен, коварен, слышал насмешку, где ее не было, и реагировал стремительно. Сценка, когда Малхаз с резко проявившимся акцентом наседали на почудившегося насмешника: «Нэт, ты за сылава сываи атвычайш?!» – могла бы выглядеть донельзя комично, если бы с последним шипящим звуком не пускался вдогон резкий кулак. Столь же неожиданно Малхаз мог выплеснуть на кого-то незаслуженное радушие. Не успевающий думать, прикидывать и выбирать с той же скоростью, с какой выбрасывались кулаки, выплескивались слова, неслись, не чуя земли, ноги, он все же безоглядностью своей, лихостью и какой-то детской наивной искренностью испарял из памяти окружающих разные свои многочисленные пятна и пожинал почти одни только симпатии. Но, опять же, симпатии эти никого не сводили с

Малхазом совсем уж накоротке, видимо, пятна, хоть и испарившиеся, предупреждающими знаками оберегали от такой оплошности. И все это не мешало (а может, и помогало) Малхазу держаться в отряде кем-то вроде рулевого-дублера, рулевого-2, и не только держаться, но и быть этим самым дублером, что, в свою очередь, накладывало на его отношения с Квадратом...

Слепухин поспешил выкарабкаться из лабиринта бесконечных этих уточнений, скобок, противоречий, не видя конца опутывающему погружению и чувствуя, что сами эти блуждания не только не приближают его к пониманию Малхаза, но и запутывают окончательно. Он отхлебнул, передал кружку, вспомнил, с какой именно досады начал он мысленно лязгать косточками Малхаза – трудно будет пробраться завтра в соседнюю локалку на денюху к землячку, а хотелось бы, тем более, в новом своем положении Квадратова семейника, но не для выпендрежу, нет...

– Что ты, Слепень, меня глазами кушаешь?

– Да вспомнил, Малхаз, что мы с тобой впервые чай пьем вместе...

– Ты бы сказал раньше, что Квадратов семейник, – уже два пуда выпили бы. А то смотрю на тебя: бобылем, сам-на-сам живешь. Думаю себе: вот – гордый человек, молодец какой! Говорю себе: не беспокой, Малхаз, это гордое одиночество гордого человека своим пошлым чаем.

– Успеете еще два свои пуда выпить, – медленно процедил Квадрат.

– Разве это будет тот чай? Теперь с каждым глотком этого чая я буду проглатывать горькие сожаления и буду думать себе: зачем ты, Малхаз, столько ждал? почему сто лет назад не открылся этому человеку? ты – гордый человек, он – гордый человек, вы могли сделать гордую семейку гордых людей. Я буду спрашивать себя: почему, Малхаз, этот удивительный человек, почти откинувшись, растоптал свое гордое одиночество? И я не найду ответа.

– Слепень, в отличие от нас всех, смотрит в будущее, – хмыкнул Славик. – В двухтысячном каждой семейке отдельную хату дадут.

– Так это ведь глав-козел обещал – для своих только, – ответно торкнул Слепухин Славика.

– Завязывайте, – бросил Квадрат. – Для дела собрались.

– Значит так, – Малхаз будто бы смахнул пылью весь предыдущий трёп. – Все, что можно было, – выудил. Влепили Павлухе по просьбе отрядника пятнашку за отказ от работы. Он – хозяину: «Пиши, что отказ в две смены пахать, иначе – голодаловка». Хозяин – Красавцу: «Забирай и обломай». Красавец Павлуху закрыл в пустую 05, чтобы, значит, о голодовке в зоне раньше времени не узнали, и – морозить. Павлуха держится. Красавец говорит, что бросит его в 03. Назавтра Павлуха вскрыл сонник. Побывал он в 03 или до этого сонник вскрыл – неизвестно. Никто ни слова – как воды в рот, даже фельдшер – ведь зек, понимать должен – лепит чернуху, он, видишь ли, не в курсе.

– А про 03 узнал?

– Даже медицинские карточки листал на них. Сидят там два петуха, подельники по групповому – малолетку трахнули. Говорят, из себя – бычины, один в одного. Пришли этапом два месяца назад и до звонка по полгода всего: Красавец сразу по приходу их подвязал. Они по его указке – беспредел, он их содержит при недостатке в подвале почти до звонка, а потом на этап, и с тюрьмы они откидываются... Такое, значит, кино...

– Как Красавца перевели подвалом заправлять, душняк пошел плотный, – вставил Слепухин.

– Он из нас себе капитанские погоны выкусывает и, на него глядя, остальные пасти щерят, чтобы не отстать, а хозяин только подзуживает... – подбросил Славик.

– Не порожняки пришли гонять. Ваши открытия козе понятны, – хмуро остановил Квадрат. – Так ты метрики этих петухов знаешь? – уточнил у Малхаза.

– Не хуже своих.

– Решать надо, мужики.

– Реша-ать? – протянул Савва. – А ты ведь решил все, еще когда с отрядником штырил. Или не так? И я решил, когда отрядник щенка своего пользоваться привел. И он решил, когда обещал меня из моей будки выкинуть и, если не образумлюсь, Красавцу передоверить мое перевоспитание... Все всё решили – чего ж дуру гонять?

– Куда ты тянешь, Савва? – зашипел Квадрат. – Чтобы я свою башку и пасть сунул невесть за что? Чтобы я этим овцам, – он мотнул головой куда-то вглубь барака, – помог залупнуться и крайником пошел? Так еще хуже будет. Что мы можем?

– Ну, можем всякое, – вставил Долото и продолжил раздумчиво. – Если дружно – можем одно, и есть надежда; если каждый за себя – можем другое и почти бесполезно, но кое-что можем, пока у них мандраж не прошел.

– Вот пока у отрядника очко играет, я и нажал на него: ла-рек, посылки, свиданки да и на работе чуток послабят с перепугу...

– Маловато сторговал на Павлухиной голове – надо бы еще давануть, – съехидничал Савва.

– Не так уж и мало, Савва. Павлуха мой башкой своей фортку-то толкнул, приоткрыл, переполошил волков, фасон стараются держать, но трухают. Теперь немного вздохнем. Чего же зарываться и рисковать тем, что Павлуха сделал? Авось и не захлопнется пока фортка-то? Может, допрут, что им это тоже не в масть? Хозяин, хоть и волчара, но себе ведь не враг?

– Чтобы не захлопнулось, кость подставлять надо, а не «авось» твое.

– Каждый за себя, – засверлил Малхаз в Савву искривленными акцентом словами. – Почему я свою кость подставлять должен? Почему я этих овец защищать должен?

– А если – тебя к Красавцу, а он – в ОЗ?

– Меня? Красавец еще долго подумает, и отрядник – два раза подумает, и петухи из ОЗ – они три раза подумают, а потом сами из хаты вылетят. Я на месте Павлухи прежде своих сонников много чужих искромсаю. И братья у меня на воле – не подарок. Меня? – они еще пять раз подумают...

– Подожди, Абрек, – остановил Долото (ни тени насмешки, а одна лишь почтительная уважительность), и Малхаз остыл. – Ну, а если бы Квадрата в БУР, не дай бог, конечно, или еще куда, и ты бы рулил здесь, и, значит, решал не только за себя, но и за этих... овец? и за тех, кто уже в подвале?..

– Тогда – другое дело, – Малхаз сильно растерялся. – Не знаю, Максим. Тогда – трудно... Такое кино...

– Голодовка Павлухи им все карты путает, – рассуждал Долото, – скрыть ее трудно, врачи все знают, да и не только врачи, значит, будет проверка какая-то, чтобы нашими словами все это дело похоронить. Чтобы мы подтвердили, что не было работ в выходные и в две смены, что Павел от обычных работ бастовал и, значит, наказали его правильно, а голодовка его – необосно-

вана, ну и так обо всем. Все дело в том, что мы говорить будем при проверке этой...

– Ты их всех научишь, что ли, что говорить?

– Не заседай, Квадрат, всех и не надо.

– А ты, Славик, что тишком примолк?

– Я ж – козел. Что меня слушать?

– А по делу?

– По делу, так Долото вроде прав. Упереться надо, пока совсем кровь не выпили. Но ведь мои слова мало весят – мне всего-то два месяца до звонка, на одной ноге простоять можно, даже и в БУРе. Ну, а если бы трубить и трубить еще – честно говоря, не знаю, что бы я сам выбрал, но душа все равно бы просила – упереться.

Кто-то покашливанием предупредил о себе.

– Максим, – тихонько издала позвал завхоз, – там тебя петушок этот ждет... твой который...

– На, передай ему, – Максим достал из кармана пачку сигарет. – Нет, не надо – я лучше сам.

– Долото под пресс всех тянет, – лениво и вроде равнодушно начал Квадрат. – Пускай каждый проверкам ихним отвечает как умеет, а сговариваться незачем. Гусей дразнить –дохлое дело. Валишь на Павлуху никто не станет.

– Кто и не станет, а кто – как умеет, – высморкался Савва (высморкался шумно и демонстративно, мол, сморкал я на весь ваш базар).

– А Максимка-то вон как даже умеет, петушок у него – ой, какой – такая тебе тонкая штучка, – поцокал Малхаз и прищелкнул пальцами.

– Окстись, Малхаз, – попытался окоротить Савва, – он же убоженький.

– Глухой-немой? А зачем с ним разговаривать? Кто же с петушками разговаривает?

Слепухин видел этого «обиженного», который иногда часами выстаивал на морозе, дожидаясь Максима, потом брал у него, что тот давал и сразу же уходил – равнодушный и вроде насквозь замороженный: эдакий хрупкий забледыш, пацаненочек с огромными глазищами.

– Ну так до чего мы добазарились? – усаживался Максим на прежнее место.

– Тут думаем себе: «Куда Максим петушка долбит?» – засмеялся Малхаз. – Почему Максим такой таинственный? почему не расскажет друзьям про своего петушка? Может, друзья тоже интересуются петушка долбить?

– Ну ладно, – Славик поднялся, – вроде каждый остался при своем и каждый решает за себя. Если так – то пора спать.

– А ты не интересуешься про петушка? – по голосу угадывалось, что Максим озлился нешуточно. – А то послушал бы... как раз к нашему разговору история. – Долото говорил уже спокойней. – Не слышал я, чтоб зеки сами по доброй воле в косяках своих кололись, но я про себя приколю, если вы не против?..

Слепухину стало неловко от Максимова «зехера» и, скрывая неловкость, он потянулся к сигарете. Славик сел, видимо, тоже не зная, что лучше делать в нелепой ситуации, Савва попытался встать, но Максим удержал его.

– Было это, как говорится, давно, но, к сожалению, и вправду было. Шел я этапом через Волгоград. Попало под очередной съезд, и по поводу запланированного ликования и повышенной бдительности этапы все заколдобило. Подобралась у нас хата путевая, мы и взялись качать права. Не то что совсем от скуки (кто шел Волгоградом – знает, что условия там – хуже некуда, а кормежка – даже здесь вспомнить противно), но и от скуки тоже, ведь этапом чего уже про удобства мечтать? – терпи до места. В общем, всей хатой три дня голодуем, что само по себе куда полезнее, чем их помой, но и свое все подчистили уже до крошечки. Является на четвертый день к отбою самому подкумок тамошний – малорослый альбиносик, розовый, ресниц не видно, глазки пустые до дрожи. Как водится – руки за спину, пошли. Притопали вниз в подвал, а подвалы там еще от царских централов сохранились – теперь так не строят: потолки сводчатые и по дверным проемам видно, что стены – метра полтора. Завел в хату и сообщил: «Кричать здесь можно до посинения – никто не услышит, а выйдет отсюда только тот, кто скажет про себя: "Я – дерьмо", потому что дерьмо вы все и есть, – спокойненько так говорит. – Ну, нет желающих? Так я и думал, значит, переселяемся сюда». Потом привел бригаду, вроде для шмона, раздели нас, шмотье унесли и оставили голышом, а последним аккордом – облили всю хату водой, а в хате кроме камней – ничего, даже параша нету. Выяснилось, что температура сильно ниже ноля, чего мы в запарке сразу не заметили – вода замёрзла. Ночка была –

та еще... бред сплошной... начались и бредовые разборки, кто, мол, непременно, скурвится и скажет, что велено. Как водится, про кого-то решили, потом про другого и – пошло. Били зверски и на ходу зверея. Я вроде и совсем спятил – не вмешиваюся ни во что и все вдоль стен торкаюсь... Психоз – это не передать, страшная штука. Как-то пережили мы эту ночь. Короче говоря, стали утром выводить по одному, а обратно не возвращают. Выведут, потом – провал, вроде вечность прошла и – следующего. Вывели и меня. Альбиносик этот и два мордоворота в старшинских погонах... Трясусь до психа – холод, голышом, вообще все это – трясусь без удержу. Подвели меня к соседней хате – дали заглянуть: вроде комнаты общежития, только с теми же страшными сводами, и четверо раскормленных лосей кайфуют там при полном достатке и в тепле. «Эти, – говорит подкумок, – для того и спасены от вышки, чтобы помощь нам оказывать». Дали и следующую осмотреть – обиженка страшнячья: видели, как в сортире уличном черви в яме копошатся? – вот похоже. В общем, так: делаешь, что велено, – забираешь шмотье и наверх в этапный продол, не делаешь – сначала в пресс-хату, потом из нее – в обиженку, ну и старшины-кабаны наготове уже... Такое вот, как говорит Малхаз, кино... Про расписочку тоже не забыли, мол, к администрации претензий ни-ни... А в хату свою я не попал – раскидали нас по разным этапкам, скричались потом, узнали кого – куда... Так вот, про мальчишечку этого глухонемого никто и не вспомнил, а подкумок – тем болсе не допер, чего это он молчит да глазами лупает. Вот и протащили его через все. Я его только в этапном отстойнике увидел, когда петухов затолкали. Ну и дальше, оказалось, в одно место идем...

Долото замолчал, и Слеспухин с перехваченным дыханием вспомнил свое, но потонуть в своем не успел.

– Ну... – с вызовом протянул Долото. – Кто предъявит?

– Не заводись, – остановил Квадрат. – Никто предъявлять тебе не посмеет.

– Ну, тогда можно и спать, – с нарочитым равнодушьем протянулся Максим.

– Да чего там спать? Выспимся. Давайте еще чапачок оприходуем.

Растаяла почему-то враждебная настороженность, и расходиться не хотелось. В главном деле к согласию так и не пришли, но это уже не выплескивало наружу нетерпимостью – появилось ощущение, что они «вместе», и ощущение это – редкое и удиви-

тельное – берегли и подкармливали осторожными словами, как огонечек слабый взращивали, поддувая на него.

– Еще чапачок? Ценная мысль, – поддержал семейника Слепухин. – Только пойду – место для этой мысли освобожу.

– Шныря кликни там.

Слепухин выскочил на мороз и, задерживая дыхание, помчался к загаженному строению в другом конце барака. Там шурували, наводя относительную чистоту, трое обиженных, для которых с отбоем-то и начиналась самая грязная работа. «Когда же они спят? – впервые осознал Слепухин. – А может, и не спят вовсе? Может, у них организм ото всего этого напрочь перестраивается? А что? – вполне возможно». Шкварные стояли поодаль, пока Слепухин справлялся со своими надобностями, и высеивали труху из-за разных подкладок, в поисках табачинок, которые бережно укладывали на общую закрутку в одну бумажку. Слепухин свистнул, протягивая в их сторону ополовиненную пачку сигарет. «Господи, как же они обгажены», – а когда Слепухин понял, что шкварной с мерзейшей рожей, взяв пачку, тут же предлагает ее отработать, он быстрее своей же вспухающей тошноты помчался к барaku. Только па крыльце Слепухин отдышался.

Прислонившись к стене барака, торчала стоймя груда тряпья, и из нее выглядывала морда петуха, определенного шнырем на пику. Глаза открыты, но не шевелится. Может, замерз? – в такой одежде, на подкладке со вшами только, немудрено, вон сколько времени уже стоит. Нет, вроде – смотрит на Слепухина, моргает. «Это точно – все у них иначе, и потребности у них другие», – окончательно убедился Слепухин. Он быстро вскочил в тугую, на плотной резине, дверь барака, стараясь лишний раз не прикасаться ни к грязной двери, ни к мешковине, пологом преграждающей хоть на чуток стылый холод. Из-под ног швырнулась в сторону здоровенная крыса, и Слепухин с брезгливой поспешностью сполоснул руки под проржавевшим краном, плечом отстранил следующий мешок – проем в собственный барак. Еще несколько крыс шугапулось под пальмы, и на всем длинном сквозном проходе Слепухин слышал за спиной и у самых ног омерзительный писк и дробчатый переполох серого ночного общества. Провалившиеся в мертвячье небытие люди тяжким дыханием утрамбовывали воздух барака чуть ли не в живую осклизлую плоть. Ошалевшая старая крыса в панике помчала напролом

по нижнему ярусу пальм, по одеялам, по подушке, по лицам и огрызнулась в пiske, грукнувшись, не удержавшись, об пол.

– Ну и крыс развелось – ногу поставить некуда, – Слепухин усаживался на место. – Интересно, чего они хавают, если самим хавки не хватает? Ни крошки ведь не остается. Может, поймать одну и спалить? Я слыхал – помогает, уходят они после этого.

– Скоро – еще больше будет, самое время для них начинается, – печально вздохнул Савва. – А палить не следует: это же души наши, чего их палить, потерявши...

– Ну, Савва, ты даешь... То у тебя, читал как-то, люди – козлы, сейчас – крысы... А сами-то люди – есть на свете или как?

– Или как...

– Приколел бы, Савва, как ты все это разумеешь? – Квадрат не скрывал насмешки.

Слепухину стало неловко за Квадрата, ведь явно тот старался вызвать Савву на очередной его загибистый заскок и тем самым как бы под загибом этим похерить все дедовы неодобрения Квадратовым рулем и Квадратовыми решениями.

– А то мы себе думаем здесь, что люди мы, – продолжал Квадрат, – а на самом деле – невесть кто...

– Приколоть можно, – Савва не отрываясь смотрел на Квадрата, – только ты зря себя заранее успокаиваешь, что это так... шорк по ушам... Это – правда все, а правду не всякий выдержит.

– Ну вот – на понт решил взять, – хохотнул Квадрат.

– Начало всей этой мерзости, – отодвинув в сторону шутиливую внимательность слушания сказки, заговорил Савва. – Начало, пожалуй, с самого сотворения мира идет. Многие и дотумкали краешком, как все там было, но никак все вместе соединить не решались. Дарвин – тот вообще все наоборот перевернул. Значит, так, Бог там или еще кто, кого под Ним разумеют, соорудил человека совместно с ассистентом своим, тоже талантливым типом, но никак этот ассистент с шефом не могли договориться по главным своим вопросам, все этот дьявол ухмыляется, что шеф его чересчур уж прекрасодушен, что ли, не видит за своими ахами – охов. В общем, соорудили они человека для выяснения этих своих разборок, – вы уж не обессудьте за жаргон, – но въелось, да и понятней вроде. Человек для них – матерьял, сырье для сотворения всего остального, чего сам человек и сотворит, и вот кто, что он сотворит, что получится – это и решит, кто прав в их-

нем высоком споре. Такая, значит, лаборатория, эксперимент вроде бы... Ну и ассистент – дьявол по-нашему, не мешает шефу творить человека, даже и помогает советами, чтобы человеку, значит, много сразу дать всего, чтобы он идеи своего создателя мог реализовать и все у него для этого было. Тот человеку душу сует, главный инструмент для будущего, а ассистент и уточняет даже – необходимо, мол, по-вашему, господин, образу и подобию, точь-в-точь, чтобы созидаящая душа была. Тот в душу совесть вкладывает, чтобы она, значит, душу оберегала, сохраняла, а ассистент вьется угодить, что мало, что надо еще всунуть заманку награды за сохраненную душу, ну и так далее: тот честь в душу сует для пушей охраны, а ассистент подсказывает, что надо бы и попроще понятие, вот как у нас тут: «человеком главное остаться». Тот – способность разуметь прекрасное, ассистент – плюс к этому – способность вообще разуметь, рассуждать, подвергать сомнению и анализу, что, конечно, (это он шефу объясняет) всем подряд не понадобится, но вдруг кто-то надобность ощутит – пусть будет про запас. Короче говоря, соорудили. Плодить ему, значит, страдать, размножаться и все остальное сооружать, а те – наблюдать будут и ни-ни – не вмешиваться, для чистоты эксперимента, значит. Ведь сказка эта, что дьявол торгует потом души, чтобы господину своему предъявлять и доказывать, как низок человек и, значит, как ошибался в их споре господин – сказка эта близка к истине, но – навыверт близка. Не вмешиваются они, наблюдают только, а мы здесь копошимся, как микробы под микроскопом, думая, что сами по себе, что цель есть непознанная, а цель-то одна, как у мушек помеченных – чтобы они там выяснили, кто у них прав, а кто – не очень и потом новую себе игру придумали, уже без нас... В общем, души мы себе ампутуруем сами, доказывая правоту ассистента. Как пожелалась крошечка самая утехи или послабления махонького не по совети – так кусочек души вошкой противненькой из нас и вылезает, и живет себе вошка, сотворили мы ее – живет и размножается, потому что и в ней крохотка души созидаящей, а следом уже – другая лезет, а души – все меньше. Ну, а если сильно против совести, если, например, под тебе назначенный пресс другого вместо себя втолкнул – тут не кусочек, тут большой живой клоч души крысой выскальзывает, и та себе плодится и размножается, и следующие в помощь на нас лезут. Ну, а после смерти, когда

совсем искромсанная душа выковыривается из трусливой оболочки – она гадами всякими выковыривается: жабами, гадюками – у кого сколько осталось, бывает, и комариком плевеньким. Кто ж не искромсал свою – у того выпархивает после смерти птицей, может, или еще кем, но не ползучим, или если одумался кто и хоть последнюю крошечку изморщенной души оберегать стал – там, может, паучок успеет появиться – противненький, но безобидный... Короче говоря, эволюция, конечно, есть, но в человеке – начало ее, а не конец... Потому я и говорю – крыс нынче прибавится у нас...

– Тебе бы, Савва, мужиков тренировать, как на психушку косить... сам не пробовал выскользнуть из этой крысиной ямы в благодать больничную? – поддел Квадрат.

– Есть грех, – ухмыльнулся Савва, – попытался однажды.

– Так говорят, что там еще худший ад, хоть и с простынями белыми да с маслом-кефиром.

– Это, Максим, если кого решат и вправду психом сделать, мозги перекрутить – политическим или верующим, или лично кому-то, – объяснил Савва Долотову. – Тем и вправду не позавидуешь. Я там был на экспертизе – посмотрелся и послушался... Ну, а кто по уголовке косит и ни на дуновение коммунячьих глыб не трогает – тем, право слово, благодать: ешь, отдыхай, читай и аккуратноенько старайся лекарства не глотать или проглоченные выводить – всех делов...

– Так что же экспертиза решила? – напомнил Квадрат.

– А мой психо-лекарь спрашивал-спрашивал меня, глаза у него коровьи да без зрачков, грустный такой еврейский нос со всегдашним шмыгом – он мне и говорит: «И так жить грустно, а тут слушаешься вас – совсем выть хочется. Ну, – говорит, – вас к черту. Я веселых психов люблю». И отправил обратно ни с чем.

– А как же, Савва, там, где уют и порядок? Ни крыс тебе, ни вшей разных, – попробовал запутать деда Максим, – там, значит, души – огурчиками пузырятся?

– А там, может, их и нету уже совсем, не с чего пополняться крысам да вшам – вот они и уходят на саморазмножение... про Крысолова слыхал? Так Крысолов – это не трубочка задрипанная, а символ – матерьял душевный кончился – они и ушли, а дети разгадали, что вокруг творится и сами ушли – спастись попытались...

– Да ну тебя и правда к черту, – засмеялся Долото. – Я, оказывается, тоже веселых психов больше люблю.

Наверное, все присутствующие, как и Слепухин, поухмылялись так дружно отчасти и для того, чтобы ухмылочками этими заплести, затолкать какую-то липучую трясинную гадость, которую незаметно разгреб чуть ли не под самыми ногами дед Савва своими приколами. И выворачивает же он откуда-то все это... ползает это все в нем где-то, крысы эти... ну, честное слово, гадость несусветная.

– Ну так ладно, – явно начал закруглять ночной разговор Квадрат, – Долото тут хорошо обрисовал, как это под беспределом бывает... толковать про это нечего – каждый свой случай, наверное, вприпрыжку имеет, ну, а если не имеет – значит, зеленый еще... Я с Максимом согласен – бесполезняк под пресс лезть, и поэтому нечего рисковать тем, чем Павлуха уже нам пособил. Перештыри, Слепень, поутру с буграми и завхозом, а я – с мужиками попутевее, и чтобы они дальше всем: каждый с проверяющими пусть сам шурупит, но если кто начнет на Павлуху валить, поможет им закопать его – в стойло загоню... Себя выкручивай – Павлуху не заваливай...

– Другое я говорил, Квадрат, – вздохнул Долото. – Ничего вот по новой менять в своих круговертях не стал бы, только б встречу с альбиносом этим переиграть...

– Ну, у тебя и напрочь жбан перегрелся и крыша – набекрень, – отмахнулся Квадрат. – Вон и лед уже про твою крышу новый афоризм в букварь рисует.

– Да... Савва, – вспомнил Слепухин, – ты же так и не прочитал из букваря-то, зажал мудрости... – Слепухин хотел помочь Квадрату, к досаде которого Долото возвращал все на прежний круг, но, похоже, не «догнал» – услуга оказалась медвежья, по крайней мере, неудовольствие семейника Слепухин, хоть и не с лету, но уловил.

– Давай, дед, раз обещал, – процедил Квадрат. – Я бы и раньше напомнил, да боялся, что ты другой какой бандершей огрешь за суету... у тебя ж этих знакомых для обогрева было, наверное, на все случаи...

– Обещал, значит обещал, – Савва отставил тетрадь на вытянутую руку, поворачивая под слабую лампочку. – Каждого ждет своя пресс-хата: минешь – дерьмо, не минешь – петух; кто не петух – тот дерьмо...

– Вот скажи мне, – начал горячиться Малхаз, – пишешь-пишешь – зачем пишешь? Кто эту всю шуру-буру читать будет?

– А и не надо читать. Не все, что пишут, читать надо. На кладбище вон тоже пишут – так не для чтения же... Не надо этого всего читать, – повторил Савва.

– Скажи ясно, Савва: согласен с Квадратом? Я твоих этих... – Малхаз пошевелил пальцами, – не понимаю.

– Куда яснее? – тихо придавливал каждый звук Савва. – Не согласен, но и мешать не вправе и не стану. Тем более, Квадрат ведь и определил, – он уже усмехался, – каждый по своему разумению... он же не мешает мне – по моему разумению...

– Да вы же с Максимом в яму всех толкаете, правда, каждый в свою – хоть бы про одно, а то – каждый себе... – Квадрат вроде чуть оправдывался. – На гвозди тянете...

– Гвозди и так будут, – вступил Долото, – без того, чтобы кому-то крайним пойти – не бывает, без этого вся их работа с нами развалится... главный их кнут, которым нас в грязь вбивают, – это «без последнего»... тогда только все сбиваются в стадо, когда «без последнего», и стадо послушно и управляемо, когда «без последнего», и даже неплохо себя чувствует, когда и внутри для своего пользования свивает тот же кнут...

– Максим, следи за базаром, – предупреждающе вмешался Славик – именно предупреждающе, а не угрожливо, и, видимо, вовремя: по тому, как вскипающе пузырились слова и как близко они подбирались к личным обвинениям, по всему этому чувствовалось, что Максим может вгорячах «зехернуть»...

– Ладно... увлекся, – устало продолжил Долото. – В общем, одним Павлухой, хоть и мертвым, псы не насытятся – убедить им надо, что Павлуха сам виноват, а значит, еще припугнуть, а значит, – крайняков найдут, – Максим встал. – Вот этим-то, кого на гвозди кинут, мы сейчас отказали в помощи и надежде... А гвоздей у них на всех хватит...

– Все! хана! приплыл! – завопил, шепотом, но завопил Малхаз. – Сели все! ничего не понимаю! один кричит: ты на гвозди бросаешь! другой кричит: они на гвозди бросают! третий кричит: эти бросают, а эти не помогают! У меня одна голова, и ваши все в нее никак не влезают! Кончай базар! садись все! Сидим все – молчим!

– Долго молчать будем? – улыбнулся Савва (на Малхаза он смотрел как на любимое дите).

– Присядь, Максим. Базарили по-человечески, и добазираться надо по-человечески, – Малхаз пробовал говорить степенно, как, по его мнению, следовало говорить в подобном случае. – Квадрат не мешает делать Савве, что Савве хочется? Какие предъявы к Квадрату? В чем и кому Квадрат отказывает помочь? Максиму нужна помощь? Я Максиму всегда помогу – Максим знает это. Какая тебе помощь нужна?

– Спасибо, Малхаз, – Долото кривился, пряча улыбку. – Ты мне, если к Красавцу попаду, мойку туда загони.

– О чем разговор? Зачем даже просить? Малхаз знает, что надо делать. Павлухе – все загнал и тебе – все загоню: и курево, и мойку, и сушняка пожевать... Даже обидно, что ты беспокоишься...

– Ну, значит, не о чем беспокоиться, – улыбаясь, окончательно поднялся Максим.

– Мужики, – Квадрат играл голосом в раздумчивость. – Может, раз спорняк вышел, сделаем по-путнему: на бумажках и по большинству?

– Оставь, Квадрат, – махнул рукой Савва.

– Пустое, – согласился Долото.

– Тогда – решено, – Квадрат надавил голосом, ставя точку.

– Спасибо, Квадрат – цифирек отменный.

– Отменный-то отменный – жалко, мало.

– Можно еще.

– Ночи мало.

– Ты, Абрек, в медчасть?

– Здесь спать буду. С подъема побегу.

Слепухин угнезвился под одеялом раньше, чем шнырь успел унести оприходованный чапак и выставить табурет на положенное ему место – в сквозном проходе.

Шнырю сегодняшний день тоже удачно образовался – вон сколько чая выгреб себе из всех выпитых чапачков, пожалуй, на пару дней хватит вторяков гонять. Слепухин осознавал, что радость его по поводу миновавшей поры, когда изводился он отсутствием курева или отсутствием вот этих щедро отдаваемых сейчас не кому-то там, а занюханному шнырю вторяков, радость эта чуточку стыдная, неправильная какая-то, но ничего с собой сделать не мог и радовался...

Он блаженно потянулся, охая и выкручиваясь в потяге, проверил плотность одеяла, затыкающего отовсюду его нору, убедился в том, что телогрейка не съехала с одеяла, и закрыл глаза. Мысленно перекрестился, мысленно прошептал «Пусть все будет хорошо» – это все, что осталось в нем на сегодняшний день от ежевечерних заклинаний судьбы, ежевечерних договоров с судьбой. А ведь недавно еще договоры эти были длительными и серьезными и не успокаивался Слепухин, пока не проборматывал все слова, им же и навороченные в попытке предусмотреть все, учесть все возможные напасти и заранее отгородиться от них, загодя предупредить (судьбу? Бога?), что этого вот сюрприза не надо завтра и этого тоже не надо. Бормотания его долгие были стилизованы под подсмотренные где-то молитвы или наветы давними какими-то книгами, но более походили на переговоры где-нибудь в синоде, как Слепухин эти переговоры себе представлял. Если же он сбивался, то заставлял себя начинать все сначала. И вот, что осталось на сегодня судьбе, так щедро осчастливившей его, вот она, цена человеческой благодарности: «Пусть все будет хорошо» – ты, мол, сама там должна знать, что мне хорошо, и будь добра, сооруди все это.

Слепухину стало неудобно, что он так вот запанибрата с судьбой, но он сразу представил себе судьбу свою роскошной и чуточку шалой девахой, которая, конечно же, не равнодушна к нему, к Слепухину, и вообще – нормальная подружка, преданная и незлобивая.

Судивлением Слепухин обнаружил, что мягкое облако сна, всегда подхватывающее моментально его измочаленную за день душу, сейчас даже краешком не подплывало еще к нему. Он попробовал выдавить из себя все лишнее, подгоняя поближе хоть перистое какое-нибудь облачко, чтобы упасть в него, растворяясь... поддувал даже, но все было напрасно: вспухающие пузырьками стремительные воспоминания, мысли, желания – все это раскрученное каруселью сегодняшней его удачей продолжало вертеться, напрочь отгоняя необходимый сон. Лучше закурить и, неторопливо дымя, успокоиться. Удобно все здесь у Квадрата устроено: предусмотренная дыра в полу с сучком-крышечкой – идеальная пепельница под самой рукой...

– Чё не спишь? – Квадрат только укладывался. – Перечифрил с непривычки?

– Какое там!.. Зуб, зараза, ноет...

Все же изумительная у Слепухина реакция, просто звериное какое-то чутье – не сказать ничего, могущего усомнить кого-то в его дружинной правильности. Вот ведь со сном этим: ну, и перечифрил, подумаешь... это еще не косяк, но лучше и от этого «еще не» подальше... Кто ж тебе, например, в чем серьезном доверит, если ты собой даже управить не можешь. Ссегодня перечифрил, завтра переел... это же все не просто так, а от жадности, от заглотной страсти все захватить немедленно... Значит, сам в себя не веришь, значит, и серьезный косяк упороть можешь. А тут вот – зуб ноет, и все в порядке... Надо бы, конечно, что другое сказать – теперь вот накаркаешь, еще и вправду измучаешься зубами...

Нет, не зря Слепухин с первых самых шагов «руки за спину» старательно всовывал себя в жестковатые латы этакого веселого волка, не позволяя расслабиться в более мягкий и не столь напряженный образ. Теперь-то видно, что каждый его шаг здесь – точненько приходился на стрелочную прямую к нынешней удаче. Даже вспомнить смешно, как его размазывали недавно еще отчаянье и сомнения...

Уже то одно, что загредел Слепухин не по какой-то там плевой статье, а за мошенничество, – это одно определило его здесь (впрочем, статья – статьей, но если сам пролопушишь – никакая статья не прикроет. Сколько тут опустилось даже и с авторитетным каким грабежом и обратно – даже с самой разникудышной статейкой, с изнасилованием или бичевской – тоже, случалось, поднимались... все от человека зависит).

А как упрямо, без продыха буквально Слепухин следил, чтобы не уступать кому ни попадя дорогу!.. сколько веселой изворотливости на это угроблено... Даже забавно, как он вначале норовил с чаплагом нестись, громко предупреждая вроде бы, чтоб не ошпарить случайно... потом нащупал стремительную проходку, как бы задумавшись, как бы размышляя, но не мечтательно там, не размазанно, а чуть поугрюмее, глаза прищуря... Да и уступая кому следует, всегда умудрялся приостановить для разговора или для шуточки, но чтобы не выглядело совсем уж уступчиво...

Нет, раньше еще, отмучившись только-только тяжким этапом, Слепухин ловко сделал свой первый в зоне шаг. Не зря впитывал он все базары повторников – представлял, в общем, како-

во здесь будет, хоть и знал, что зона зоне рознь, но в общем – представлял. Пока другие себе мечтали избавиться от тюремной маятной пустоты, уговаривали друг друга, что в зоне наконец заживут – как же, тут тебе и кино крутят, и телевизоры в бараках, и то, и се (может, на самом-то деле заглушали всеми этими уговорами страх, чувствуя уже возможную цену телевизорам ихним, догадываясь, что тюремная скука – не самое еще плохое... здесь вот не соскучишься...)... тогда еще Слепухин примеривал тяжкую ношу свежего этапника, долгий испытательный срок, когда присматриваются к тебе с разных сторон, когда шпыняют и всерьез, и проверочно, когда курить только на улице в уборной и даже к шконке своей подходить, когда позволят... Ох, а шконка-то будет на пике, у дверей самых поначалу... Никак это Слепухина не устраивало, особенно после устоявшегося довольно авторитетного положения в камере. Правда, землячки могут найтись, но надежда на них мизерная совсем... Да и кроме как покурить оставить или какой съестной крохоткой, чем тебя земляк поначалу поддержит?... Каждый должен пройти испытание этапником... (А долгие месяцы без ларька, пока сгребут с тебя за все вперед выданные тряпки, у Слепухина еще и иск от обштопанной им дурынды)... Нет, не радовался Слепухин телевизору, все изворачивал фантазии, как сразу же определиться половчее, и не зря изводился – удумал, и рискнул, и получилось...

Хорошо, что здесь раскидывал этап по отрядам сам хозяин. Не успеет зайти один, как уже следующего – и выскакивают ошпаренно друг за другом. Главное было Слепухину не переборщить. Вызвали его, он и закрутил. Хозяин сначала в матюки, что, мол, молчит Слепухин, не докладывает по-положенному метрику свою: фамилию, статью и прочее...

– Слепухин я... позвольте, гражданин начальник, сделать важное признание, очень важное... – и грудь ходуном, и губы дрожат, и не игрушечно даже – вправду ведь мандраж напал. – Я тут долго думал, все решал, чтобы по-правильному было... В общем, не хочу я участвовать в передаче пятаков и анаши (длинный майор сразу ноздрю раздул, и медицинский майоришко чуть очки не страхнул, крутанувшись) – ...ну, чай там я бы, может, и согласился – все же пища, но анашу, да еще крупную партию!.. считаю неправильно это...

Выбил все-таки себе паузу в конвейерном занятии хозяина. Теперь можно и не гнать так, теперь и потянуть немного.

– Закурить дозвольте, ради бога – простите, но никак успокоиться не могу, все решался, все думал, что правильней...

Хозяин и сигареточку дал, и усадил, и успокоительно повел издали о честной жизни и труде – умочиться только, как он отца родного представлять начал. Делом даже внимательно зашуршал, вник наконец-то в дело...

– У вас (да-да, на «вы» перепрыгнул)... у вас тут мошенничество, но единичное ведь, не испорченный, значит, вы еще человек...

– Да какое мошенничество? какое там мошенничество?! бабенка эта сама кошкой подлезть норовила, и сама деньги совала, чтоб привязать поспылсй. Хорошо, что раскусил ее вовремя. Вона ведь, еще и свадьбу не справили, а уже как прокатилась она по мне.. А если бы женился! – хана! совсем бы характер мне перевернула... Да, я счастлив, что не влез в этот хомут... Отсижу себе и гуляй на свободе, а при жене, да еще такой, – какая тебе свобода?! Да вы же все женаты – сами ведь знаете...

Расщерило их, растащило, правильно, значит, проехался.

– Ну так что там с анашой, – не выдержал хозяевой паузы тощий майор (видно, по его это ведомству).

– Так я и говорю (Слепухин поднялся заранее, напрягаясь к взрыву), не надо мне эти макли, даже не предлагайте ничего... чай если только, а анашу или там оружие – ни за что... я себе...

Ох, какой был кавардак! Хозяин лично приложился и все махал, норовя сигаретку выбить из рук, всего обиднее пришлось ему сигаретка эта. Только и успел Слепухин гавкнуть один раз в той лихой возне:

– Я же говорил, что от женитьбы характер портится...

Угнали его на кичу мнгом – аж ветер посвистывал, как гнали в спешке, но и там длинный майор самоличным глазом в задницу заглядывал – все чудилось, анаша его появится еще на самом деле...

Вот этого Слепухину и надо было: лучше сразу на киче перемучится, но отношение к тебе после совсем другое – не часто этапник с кичи начинает, а тут еще и слушок, что за лихое безумство – хозяина ущучил... По такому поводу на киче – это удача, тут и псы сами посмеиваются, и хозяин, если не кретин клинический, отойдет, думая, что вот наказал лихача, и хватит с него... Нет, здесь Слепухин и вправду хлестко все провернул... тонень-

ко сыграл... минутную бурю вызвал только и как раз в духе своей же статьи... короче, Остап Бендер почти, побескорыстней чуток, а в остальном – он...

Кто же после такого номера погонит его курить из барака на улицу?.. Всего и тяготы было Слепухиноу перетерпеть пятнашку на киче...

Правда, в то время на киче было куда вольготнее... это уже заслуга Славика. Вот ведь восхитительный экземпляр, один, пожалуй, такой на все зоны страны...

Славик, попав в зону, обратил на себя внимание тем, что тут же почти пристроился на самое козлячье место – бугром в столовую. Как уж он убедил хозяев – не знает никто, но вроде и по воле у него какая-то поварская специальность, и, кажется, из самых первых московских ресторанов... короче, убедил – с его башкой и выдержкой он бы и в большем убедил...

Так вот, утвердившись в столовой, Славик моментально подвязал всех самых кусачливых псов: козлы конченные, меннты из своих, мыши всей стаей, прапора и воины – все были схвачены потребностями своего брюха и головой Славика. Начальство повыше в то время до суетных дел столовой и вообще до кормежных проблем не опускалось, а если из отрядников кто всовывался – того тоже Славик оприходывал... Вроде до того дошло, что через прапоров начал он макли и посерьезней: гнал наружу зонковский ширпотреб, загонял в зону чай, крутился, одним словом, но вот загадка в чем: не для себя крутился, то есть и себя, конечно, не забывал, но большая часть энергии и забот шла на подогрев лагерной тюрьмы. В подвал загонялось все, что можно только вообразить. Жратва в БУРе и на киче была такая, что там только и можно было подкормиться (даже одну неделю он умудрился загонять в подвал натуральное вольнячье масло). Чай, курево – это уже было вроде положенного. Даже на киче при кормежках через день исхитрился Славик организовать в пролетные дни не просто кипяток, а – с сахаром, не просто пайки хлеба, а – с маргарином внутри... В общем, фантастика, и именно в фантастическую эту эпоху Слепухин и отсидел свою пятнашку. Не санаторий, конечно, псы всегда псами будут, но чтобы хату заморозить или в толкан торкать, как нынче, – представить никто не мог... Ну, вмажет Проказа распахивавшись, ну, облаешь его, а он тебя ответно или опять вмажет – редко что большее...

Считай полгода крутился Славик, но подошло и ему... Говорят, что хозяин, решая дальнейшую участь отсидевших в БУРе, однажды чуть дуба не дал в остолбенении... Обычно-то он на мразей этих и не смотрел: скользнет поверху и – в бумаги, скользнет еще привычным матюком и – проваливай себе, сглотив от выплюнутой хозяином доброты... Но увидав настолько раскормленного бугая, что заплывших глаз на мордене не найти, всмотревшись в лоснящуюся физиономию мордоворота перед собой, хозяин сначала даже усомнился в правильности бумаг – медика вызвал на осмотр – не болезнь ли какая особенная... Ну, а потом пошло...

Славика после его пятнашки встречали в зоне по-королевски, и хоть от козлячести не отмыться уже, но его единственного не выламывали мужики на следующих его пятнашках в козлячью хату. Так он и жил после: для серьезных решений оставаясь козлом, но, заслужив свой совсем особенный авторитет, заставлял этим к себе прислушиваться остальных авторитетов. Да и осталось у него от прежних связей, и крутил он себе потихому, помогая, если обратятся. Вот ведь и Квадрат не решился сегодня Славика обойти.

Теперь Слепухин подумал о Квадрате спокойно, не смазывая того восторженной благодарностью. Да и на самом-то деле, если пораскинуть как следует, не за что ему особо уж исходить в благодарственном извие. Квадрат рулевой, а рулевому без семейника никак. (Не то чтобы было такое четкое правило – четких правил на все случаи вообще не бывает, – но так было принято, в этом виделась какая-то гарантия основательности... в общем, никуда ему без семейника... Так кого же он мог, кроме Слепухина, выбрать?.. То-то и оно, что некого... Вот они все самые путние собрались сегодня здесь, а у остальных, в кого ни ткни, – свежие косяки на памяти... Так что именно у Квадрата выбор был ограничен, а Слепухин мог бы еще и потянуть, помуржить его. Славик в семейники не годится – козел все-таки. Долото и Савва не подойдут – издавна наособняк и по-своему, что, конечно же, почетно, но в семейке с рулевым надо жить правилами этого мира, а не своими, хоть и уважаемыми... Малхаз? Этот не согласится – сам рулить умеет. Только вот и ему, видно, по той же причине не выбиться – за все время семейника по своему темпераменту так и не подобрал...

Слепухин понимал, что к Малхазу он несправедлив, что не в отсутствии семейника тут дело. Рулевою надо все время создавать какую-то устойчивость, пусть иллюзорную, а Малхаз хоть и виртуозно держится в равновесии, но не в устойчивости равновесия его, а наоборот, в стремительной гонке, как на вертикальной стене – дух захватывает. Вот ведь неделю назад совсем было его отрядный припрессовал: прицепился к нормам на работе, и здесь уже – все, здеся – готовь себя к БУРу (кто же нормы эти выполнить может? тут яма любому готова, кого только наметь на убой). Всего-то и осталось отрядному, что рапорта оформить за систематическое уклонение и все такое прочее, а Малхаз – взжик – и спланировал каким-то виражом в медчасть отлежаться (может, Славик давними связями помог?). Теперь на неделю другую спасен (на большее-то и сам мудрец Соломон не загадает)...

А как под Новый год Малхаз повеселил всю зону?.. Это же конфетка – на зависть любому, не хуже того давнего Слепухинского номера у хозяина. Дело в том, что к празднику запечатали сволочи все дороги. Скорее всего, вздумали прапора поднять цены на чай и сговорились для этого: цены-то подняли, уже и за три пятака плитку чая не найти было, но что-то разладилось у них, и чай в зону так и не зашел. На работе в последний день все как шальные: прапора пасут, мыши пасут, а не встретить Новый год для таких, как Малхаз, – всего хуже. Тут и авторитет, но и кроме него – колотящий суеверный страх: как встретишь, так и промучаешься... Зная Малхаза, опер к нему приставил не новичка какого, а Проказу, и тот, конечно же, глаз не спускает. Малхаз в сортир – Проказа следом. Ну и остальные, конечно, над Малхазом посмеиваются потихоньку... Короче говоря, как потом выяснилось, поспорил Малхаз с Проказой на две плитки чая, что до съема еще с работы, при Проказе же, раздобудет себе плитку. А был у Абрека курок на второй промзоне, и в нем – ровненько три плитки чая на черный день. Никак ему не выкрутиться было от прапора к тому курку метнуться – вот он и придумал. Дождался какого-то лопухастого офицера (из тех, что крысами вынохивают разжигу всюду, а на промзоне – шустрей всего) и потребовал немедленного свидания с режимником для важного дела... (Пошептал еще что-то, глаза закатывая...) В общем, отвел его офицерик к дедушке-режимнику, и Проказа, естественно, сле-

дом. Майору Малхаз заявил, что желает, мол, открыть упрятку одной конченной мрази и, если в упрятке этой будет чай, и, если режимник ему одну плитку отдаст за усердие, то он при всей своей кавказской ненависти к стукачам все же откроет... Ну и сговорились они с режимником – плитка чая – обычная плата мышам, а режимнику сладко, что еще вот один подался на мышиный промысел. Самое потешное, что режимник и Проказу взял для помощи: вдруг в курке том горы добра хранятся? Распечатал Малхаз курок свой (жалко ему, конечно, было такой ладный тайничок засвечивать, но у него тайничков этих – по всей зоне), и, никому не доверяя, режимник сам вытащил три плитки чая. Одну – Малхазу по уговору, тем более, что Малхаз намекнул, будто у курка этого крутился Жердя, хотя точно Малхаз, конечно, не знает, кто хозяин тайника. Режимник и на Жердю клюнул – тут уже их счеты начинались. Жердя ведь был супермышью, самому замполиту шуршал... А к следующему дежурству и Проказа припер две плитки – не решился надуть, ведь и у Малхаза есть возможности прижать – например, перекрыть сбыт Проказе купленных в ларьке книг, до которых тот стал вдруг большим охотником.

В ларек как раз начали завозить дорожные книги и, пользуясь тем, что покупка книг не ограничивалась и не входила в месячную отоварку, многие из опогоненных воспитателей начали спешно собирать библиотеки, благо на лицевом счету у немало-го числа зеков бесполезным грузом лежали присланные родными деньги. На ларешную отоварку деньги те не шли, а расходовать их было – только на книги или еще газеты выписать, или, если припрет, глаза начальству замазать – в фонд мира перевести... Ох, и устроили между собой соревнование офицеры да прапора в сооружении своих библиотек!.. Впрочем, похоже, что Проказа книги те таскал попросту на толкучку, по крайней мере, он один начал быстро ориентироваться в рыночной ценности книг, так ведь не потому, что читал?.. Этого за Проказой никак не наблюдалось...

Наконец-то Слепухин какими-то самыми дальними границами начал размываться, терять контуры себя, погружаясь в покойное тепло. Теперь только не спугнуть сознание названием этого ласкового погружения, не то оно встрепенется, пугаясь, что это и есть конец, прекращение власти, а не отдых сна... ну вот и пропало... В бараке накапливался раздраженный, но и при-

давленный гомон – третья смена собирается к выходу... Значит, еще вся ночь впереди. Хорошо бы в вольном поезде сейчас оказаться, в купе – не гоношиться, отдыхать себе, а тебя укачивает... так вот и струится краешком иного бытия – расплыться по всему времени; куда угодно волеи переместиться. Чуть выплыть – очутишься снова там же, не вспомнить никак где... Чуть погрузиться – потянут свидения своими дорогами неведомыми, а так вот – в самый раз... Поезд несется, несется, и можно блаженствовать сколько влезет, даже жалко время на пустую лежачку переводить. Сначала, конечно, в ресторан и закупить всего на всю дорогу, чтобы было, чтобы на всякий случай, вдруг ресторан закроется, что тогда? Слепухин заволновался, заторопился успеть и выскочил из купе. Теперь быстрее – помчал по вагонам, только двери тамбуров грохают. Ну вот, как чувствовал, обидно до слез – закрыто. Слепухин заколотил в белую дверь. «Умри там, – рывкнуло изнутри, – люди спят уже». Сейчас ты, козляра, узнаешь – кто люди и кому умереть! Слепухин заколотил сильнее. Дверь приоткрылась, и мелькнул край белого халата. Пусти, пусти – Слепухин протиснулся внутрь и пошел следом за халатом. По бокам вагона – шконки, шконки, и на них – клиенты, укрытые с головой и перетянутые поверх ремнями от тряски.

– Мне бы купить... – робко заискнул Слепухин.

– Ресторан закрыт – все кончилось.

– Как это – кончилось?

– Съели все.

– Кто?

– Ослеп, что ли? Вон клиентов сколько лежит.

Из белого халатного кармана торчала плита чая, и Слепухин, выхватив ее, бросился обратно. Хотя чай есть запарить, но жалко-то как, что с едой лажанулся... Главное – побыстрее вернуться, а то еще на прапоров наткнешься. «Где твой билет?» – и крапты... А какой у него может быть билет? Слепухин всем подрагивающим нутром чуял, что прапора не отстают, и мчал по вагонам – только дверь грукала. Стоп! А вагон-то у него какой? Они же все – близняшки неотличимые... А купе?? Все – сгорел, и ноги подкашиваются, и шагу не ступить. Слепухин принялся торкаться в каждую дверь по порядку, зная заранее, что все они закрыты. Следующий вагон – и снова немой ряд запертых белых дверей. Распадаясь от страха, Слепухин выкатился в еще один

тамбур и там, теряя всю силу, сумел сорвать с неподвижности тяжелую дверь наружу. Теперь – спасен. Он выпрыгнул в тугую зелень, пытаясь прорвать ее, но не сумел. Его поволокло неудобно, неловко – боком, и тут же швырнуло вниз. Слепухин осознал, что сейчас он может еще спастись – только захотеть и, крутнувшись как-нибудь порезче, он выскользнет из тугого потока, его подхватит шконка, устойчивый пол барака... нет, только не это – Слепухин замер и пролетел мимо шконки, угодил в ворох прелых листьев, которые с шорохом разлетались из-под Слепухина, поднимаясь вверх, кружась все выше вверх, а Слепухин мягко погружался, опадал в листья...

Проснулся Слепухин от неудобства: на шконке в ногах Слепухина кто-то сидел, и никак из-под него не вытащить было одеяло, чтобы получше укрыться. Слепухин сообразил, что, может, это к Квадрату – теперь ночные гости будут часто, да и дневные, что же делать? на любом месте есть свои удобства и свои неудобства, но что же он – гад, одеяло-то прищемил? Впрочем, как ни странно – выпался Слепухин совершенно, даже удивительно, как хорошо выпался, видимо, главное во всех этих делах: еда, сон и другое разное – главное здесь настроение, вот у Слепухина хорошее настроение, и сна ему не надо – на один глаз только. В бараке было пронзительно тихо, и Слепухин решил, что сейчас уже и балда скоро – чего же спать? Да и этот сидит все – не торкать же его ногами! Слепухину захотелось закурить, тем более и предупредить как-то надо поделикатней Квадрата с гостем его, что не спит он – мало ли какой у них базар... не всякий базар для ушей даже и семейника.

Слепухин закурил, повернувшись для этого на спину, и в упор глядит на гостя. Странно, тот совсем и не говорит с Квадратом, а сидит себе и сидит, не разберешь зачем. Шугануть? Квадрат вон спит, и дела ему нет, а тут решай...

– Закурить не желаешь? – пошел в разведку Слепухин.

– Можно и закурить.

– Павлуха? Вот это да! А мы тут узнали, что ты... что тебя, в общем, что кони двинули... Вот здорово. Ты не сомневайся, – зачастил, захлебываясь, Слепухин, – место я твое мигом освобожу...

– Да ладно, чего там? Ты закурить обещал.

Павлуха взял губами сигарету и, шумно втягивая воздух, прикурил.

- Ты давно-то сидишь здесь?
- Да порядком уже.
- Что же ты не разбудил? Чудило.
- Да так... чего будить? Самое время – спать.

Павлуха вытащил сигарету изо рта и начал ее крутить перед глазами.

- Ты чего ищешь в ней?
- Да тянет где-то... прорвана, наверное, и не найду никак: воздух втягиваю, а дымка – пшип.

– Это не сигарета. У тебя вон из горла тянет – весь дым через дыру и выплывает обратно. – Ах, да... я и забыл, – Павлуха закрыл дыру ладонью и с удовольствием втянул крепкую порцию.

На пальцах Павлухи проступила кровь и засочилась по пальцам, по руке, затекая под рукав телогрейки, а тому – хоть бы что. Курит себе, и что-то побулькивает у него внутри. Слепухину стало неприятно. Пришел тут, расселся. Сейчас вот загадит всю постель. Слепухин принялся потихонечку ногами под одеялом подталкивать Павлуху к краю. Павлуха неловко протестовал, но Слепухин сильнее поднажал, и Павлуха загремел на пол. Господи! грохоту-то...

Приснится же!.. Слепухин обескураженно заглянул под шконку. Раз уж повезло привидеть такое, надо было спросить все же – что там и как? может, и есть там что-нибудь после смерти?..

– Ты чего шибурнишься ногами? – недовольно спросил проснувшийся Квадрат.

- Да так, приснилась чертовщина.
- Может, лунатик ты?
- Да какой я лунатик... Говорю – приснилось.

Квадрат сел и поглядел в упор на Слепухина, голова которого все еще свешивалась в проход.

- Так если не лунатик – чего ты шибурнишься?
- Я Павлуху тут увидел.
- Где?

И не Квадрат вовсе, а именно Павлуха смотрел на Слепухина.

- Вон ты куда пересел, – засмеялся Слепухин.
- Так ты же сам – толкаешь и толкаешь...
- Слушай, я спросить у тебя хотел, как там у вас?
- Что как?

- Чай у вас есть?
- А, чай? – чай есть.
- Ну, а вообще... все там?
- Что вообще?

А и действительно – что вообще? Чай есть – ладно...

– Ну пошли, что ли? – спросил Павлуха.

– Куда это?

– К месту своему пора определяться.

И правда – пора. Слепухин встал, помогая подняться соседу. Павлуха попытался подняться, но голова его все время съезжала, и Слепухин придержал эту сползающую голову рукой.

– Да брось ты ее совсем к черту, – предложил он.

– Жалко.

– Чего жалеть? – Слепухин смахнул Павлухину голову, и та покатилась по проходу, громко клацая зубами...

От этого нового грохота Слепухин проснулся окончательно. Двери хлопали без перерыва. Вторая смена возвращалась в барак. Слепухин сообразил, что спал он – всего ничего и сейчас еще около двух часов, значит, не меньше четырех часов можно еще блаженствовать. Хорошо-то как! Сейчас и встать бы не трудно было. Слепухин прозондировал всего себя: совсем не трудно – бодрый и отдохнувший – полон сил и энергии. Оттого же, что вставать как раз и не надо и можно спать себе полночи еще, – ощущение чуть ли не праздника, негаданного подарка... Надо бы накрутить шныря, чтобы каждую ночь – в это время будил и одно только сообщал, что спать еще – четыре часа, вот и будет счастье на каждый день. Слепухин укрутился, упрятав подбородок в колени, прислушался, укрыт ли он плотно, и радостно уронил себя в мягкие ладони сна...

Прежде чем заново осознать себя, Слепухин ощутил тревогу. Что-то враждебное подбиралось к нему, и надо успеть упредить. Так и есть: отрядник, отпыхиваясь, неловко подтолкнув полы тулупа, копается в тумбочке. Надо предупредить Квадрата – мало ли что у него в этом шкафу, в разных специальных курках запрятано. Слепухин незаметно протянул руку за тумбочкой и стукнул кулаком по шкапке семейника. Отрядник глянул прямо в глаза Слепухина и сделал вид, что уловок его не заметил. Чего это он, волчара? Издевается, что ли? Слепухин гримкнул еще раз и здесь только понял, что именно этого отряднику и на-

добно было – ишь, заулыбился, задергал жирными булками щек... Ему того и надобно было, чтобы сам Слепухин сигнал к подъему дал, в балду грымкнул. Может, сон еще. Нет, какой там сон... Подъем!.. Эхом утихающий звон балды вытягивал Слепухина в новый день, в прежний отвратный мир, непосильную тошнотную жизнь. Душа пыталась зарыться глубже, не пустить Слепухина на поверхность дня, укрутить его в головной телогрейкой... Да пропади все пропадом. Пусть делают что хотят – пусть и прикончат даже здесь на шконке, чего мучиться лишнего? Пусть – что будет, но не вылезать в эту жизнь, в этот отвратный день на новые мучения...

– Подъем, первая смена! – заорал, забегал по проходам шнырь. – Приготовиться на завтрак...

Как ни старалась зарыться обнаженная душа в спасительные покровы сна, сознание было уже отравлено неотвратимостью наступившего дня и, не умея в бессилии своем надежно оберечь душу, втискивало ее в оболочку раздражения – первую пока еще оболочку – и вытягивало в мучительное утро. Потом окутается мечущаяся душонка, спасаясь от ран, скользкой скорлупой безразличия, сверху еще – наждачным обворотом всегда тлеющей злобы – так и спасется... Пока же грубовато обласкивал Слепухин воспаленный комок в груди, повторяя услышанное: «приготовиться к завтраку... к завтраку»

Завтрак – это совсем неплохо, даже плохой завтрак. По крайней мере, это много лучше, чем без завтрака... Так вот и обуздывал Слепухин быоннее уже в поисках выхода раздражение.

Теперь скоренько управиться с омовением... теперь еще – быстренько заправить шконку, и, готовый уже догонять вываливший в столовую барак, Слепухин успел-таки осознать, что завтраки ему с этого дня заказаны – не по месту суета (то-то Квадрат, покуривая под одсялом еще, внимательно любознается сквозь сизый дымок).

– Эй, сосед, – окликнул Слепухин мужика, что в запарке управлял ближнюю шконку (вроде Игнат? нет, не вспомнить точно, как его зовут...), – ты мою тоху принеси, пожалуйста... а завтрак – себе бери... Лады?

– Спасибо, – обрадовался Игнат (или не Игнат?).

Слепухин кивнул приветственно смейнику и, закурив, улегся поверх одеяла. Подумаешь, черпачок размазни с парочкой овсяных зерен... Давали бы хоть сахар положняковый – тог-

да жалко, а так – сунут в шлюмке полусладкую водичку, мол, вот вам сахар ваш... Плевал Слепухин на такие завтраки... Тюха будет – и ладно... Обойдется ведь Квадрат как-то, значит, и Слепухин перебьется... А что, если Квадрату шпырь в баночке его баланду носит? Вполне может быть... Ах, как Слепухин лажанулся, что не узнал всего заранее...

– Ты как с утра любишь: чифирек или просто чайку с перекусом? – Квадрат выполз из-под одеяла.

– Чифирек – это хорошо, – чуть нараспев протянул Слепухин. – И чаек с перекусом тоже хорошо.

Квадрат ухмыльнулся, почесываясь и размышляя.

– Тогда так: чифирек, перекус, если успеем, а чаек – по боку, – и пошел неторопливо справлять утренние надобности.

Примчавшийся шпырь заправлял уже Квадратову шконку и, управившись, понесся по проходу с чаплагом. Слепухин подтрунивал ласково над собой и своей минутной паникой, но и красовался перед собой же умением ни на капельку не выплеснуть такую вот панику...

Когда гагакнула балда на работу, они только-только запустили кружечку с чифирным варевом по маленькому своему семейкиному кругу.

Бугор Квадрата и бугор Слепухина терпеливо ждали, не выводя бригады, и полсотни человек радовались нескольким лишним минутам в тепле: на эти же самые минуты позже начнут они обмерзать и, может быть, этих вот минуточек как раз и хватит, чтобы, не обмерзнув вконец, укрыться где-нибудь на промзоне.

Всю эту маяту Слепухин чувствовал на расстоянии – это ведь была его вчерашняя еще маята, и вчера только Слепухин тупотался так же у дверей, и терлись плечами бригадники, тормозя сколько можно выход, и раздувался в тусовке этой от сквозной безысходности ослепляющий жар внутри, готовый плеснуть яростью на любой, добавочно царапнувший пустяк...

В общем, не испытывал Слепухин ни малейшей неловкости по причине того, что вся бригада его дожидается – бригаде в радость, а козел-бугор пусть помается...

И все-таки пришлось поторопиться: хлеб – уже не успеть, и Слепухин завернул доставленную Игнатом – ис-Игнатом тюху; Квадрат протянул ему пачку сигарет и увернутый в фольгу обломок от плиты чая на запарку – это за пазуху; хорошо, что сапоги

здесь же, под шконкой, а не у дверей в общей куче; фофан... готово...

- У тебя есть место, где в рабочее перебархляться?
- Есть.
- А то можешь со мной...
- Да нет... есть у меня.

Бригады двинулись, и Слепухин, выждав, чтобы не тереться особо своей чистой телогрейкой между измызганными, выскочил следом. Снерастраченным остервенением морозный воздух цапнул лицо, полез за шиворот фофана, изловчился прорваться к груди. Слепухин уширил шаг – у распахнутой калитки из жилой зоны под замерзающими на лету и потому недейственными матюгальными угрозами подравнивалась в пятерки бригада. Слепухин занял свое место в первой пятерке, когда порубленная на ломтики бригад серая колонна отползла уже от ограды жилой зоны метров на пятьдесят. Только две бригады оставались не пропущенными сквозь зубастые колеса пересчета – вот эти зубастые и исходят мерзлой слюной, размахивая счетными досками.

– Бригада 26, 23 человека, – пискнул бугор.

– Пошла первая... пошла вторая... куда прешь, пидер?... назад все... назад... мать... занюханые... Пошла первая...

Взвынула тоненько труба, звякнул в тарелку барабанщик, и трое качаемых ветром музыкантов, сообразив, что развод еще продолжается, быстро подладились заново и погнали по кругу одну и ту же музыкальную фразу: «Все выше – и выше – и выше – брум – блюм – стремим мы – в полет – наших птиц, – вопреки желанию застучало в голове, и опять: – Все выше – и выше – и выше...» – не заслониться от медной кувалды... тарелками бы этими да по головам псовым и под ту же трубу... «Всевыше-ивыше...» – представилось, что всю жизнь свою ускользает Слепухин от матюков сзади к новым матюкам впереди и всегда убеждают его при этом медные трубы, что на самом-то деле «стремитон-вполет-нашихптиц» ...вот, значит, какие медные трубы упомянуты в приговорке, где огонь с водой...

Грыгнув вдогон уползшей уже бригаде «брум-блюм-стремим», оркестр захлебнулся, и можно было рассмотреть уже впереди на выходе из штабной зоны черную шевелящуюся массу. Ровный поток, подходя к запертым воротам, втискивался в остановившихся ранее, но по инерции продолжал напирать, и от на-

пора этого набухал густой людской ком, расплываясь по сторонам, теряя четкую зменную форму, превращаясь в копошащийся грязный рой, совсем уж неуместный в нависающей отовсюду свежей белизне.

Незачем было выгадывать лишние минуты в тепле барака – ровно на них бригада Слепухина позже попадет в ворота промзоны и, значит, эти-то минуты и проморозится лишние, в отличие от выползших сразу по балде. Никогда не угадаешь тут, как лучше... Доведись Слепухину каким-либо чудом разом отомстить всем здешним псам – он бы не искручивал их узлами разными, а всего-то оставил на морозе и начислил им все свои промороженные минуты враз, скопом...

Перетаптываясь и приминая себя пониже под защиту поскрипывающих вокруг бригадников, Слепухин попытался упорядочить все свои насущные заботы. Получалось много, сверх головы даже: помыться и постирать, раздобыть новый фوفан, а этот, что на нем, разжаловать в рабочий, а рабочий надо будет подогнать хотя бы тому же Игнату, чтобы и вперед исправно тюхи таскал... главное, раздобыть новый (теперь-то не по чину эта вот куцая телогречка), сапоги тоже надо бы на смену, чтобы рабочие – отдельно, для жизни – отдельно, костюм у него вроде еще ничего, можно и не менять, хоть и не совсем черный, как надо, но вроде черного... ладно, образумится все...

Вывалились наконец-то из приворотной будочки солдаты, прапор со счетной доской, козлы из нарядчиковой кодлы. Как они все только умещались там?... Слепухину пришлось вместе со всеми податься назад, заскрипели ворота, и упиривший в них ветер дунул сквозным взрывом, пригибая головы зеков.

На этот раз желанная караулящих ворота и проходящих через совпадали – дело шло быстро, и очередная бригада, мгновенно оформившись из колышного кома в ровенького толстенького червячка, скоренько переползала воротный проем и тут же рассыпалась в спором беге одиночных уже червячков, которые буквально исчезали из вида чуть ли не на открытом месте...

– Остановись, 26-я, – бригадире удалось-таки влезть в паузу замешкавшейся бригады, и Слепухин вместе с остальными мигом просочился сквозь шевелящуюся массу. – 26-я, 23, – тявкнул бугор прапору, и бригада пошла.

«Только бы не вернули», – загадал Слепухин, прислушиваясь.

– Третья... пошла четвертая... еще два да бугор... все на месте, ммм – пошла 26-я.

Слепухин свернул и, еле успевая шагом за своим же дыханием, запетлял между заваленными снегом холмами разного забытого до весны казенного добра.

Вот теперь-то Слепухин, можно сказать, полностью очнулся для проживания наступившего дня... и для выживания в нем. Он плотненько умещался уже в образе злобно-веселого волчары, в меру осторожного, чуточку ироничного, но в полный разворот – опасного и стремительного зверя... Ни с какой стороны эта зверина, им же придуманная роль не ущемляла его, не утесняла – все в самый раз... по росту...

Всякие вылезающие из этой шкуры сомнения, всякие парализующие немедленные действия, рассуждения и рассусоливания, которые, в общем-то, не были чужды Слепухину, сейчас были надежно упрятаны и крепко увязаны, даже и с глухим кляпом. Конечно, в такой стремительной раскрутке, которая уже лихо-радочно захватила его, не всегда удавалось правильно оценить ситуацию, уменьшалась ширина и глубина охвата и понимания, реагировать соответственно с ролью надо было сразу же, по первому промельку, но удивительная вещь – сама ситуация, сама реальность как бы перестраивалась задним числом под его, Слепухина, реакцию (этот непостижимый феномен Слепухин обнаруживал каждый раз, раскручивая наново прожитый день в относительной безопасности вечернего расслабления, когда волчья шкура лежала наготове, рядом с телогрейкой, до смешного маленькая – как только умещался в ней рассудительный Слепухин со всеми своими предусмотрительными опасениями?... – но сейчас и это знание повязано наглухо и запечатано тем же кляпом.

Если бы дни отсчитывали, как и зеков, те же прапора, то сейчас бы Слепухин услышал: «День девятьсот тридцать четвертый, пошел...» Сначала уладить с земляком... Не зря, вспоминая в перетаптывании у ворот все необходимое, Слепухин даже и не качнулся к самому желанному еще вчера: на день рождения к землячку он не пойдет, не пристало ему теперь хлебать чай на денюхе с очень сомнительными пассажирами. За самого Алешку можно и голову поставить – не подведет, но голову поставишь, а слова не вымолвишь: действительно ведь, у того скользкое по-

ложение. Вроде мужиком живет, но получил вот местечко в специально для него придуманной мастерской, и сам опер все это приладил, чтобы Алешку пристроить. Попробуй объясни кому, что там да как, особенно если и сам не очень понимаешь... Но и обижать Алекса не надо – он Слепухину хорошо помог, все время поддерживал и особенно первое время, базларешное и приглядное... этого не выплюнуть... тут уж совсем конченным надо быть, если такое забывать... И сейчас еще каждый день Алекс привечал: и раздевалку свою Слепухин у него устроил, и в этот вот хмурый час по заходу в промзону считай ежедневно Слепухин у него цифирьком согрелся, а то еще и хлебушко находил, Алекс и поджаривал... для гостя – от себя ведь отрывал, и не важно совсем, что хватало, значит, себе (иначе не оторвешь), – хлебом тут только семейники могут делиться, и то чаще у семейников даже каждый свою тюху ест... тюхой поделиться – это редко кто способен...

Но и того нельзя забывать, что из-за таких, как Алекс, и гуляет всеми этапами раздуваемое пренебрежение к москвичам. Москвич – и сразу к тебе чуть ли не поплеывая... И москвичи общим и дурацким мнением этим вынуждены сбиваться отдельно и изворачиваться, кто как способится, а от изворачиваний опять же: недолгобливают еще больше и только в мнении том укрепляются... Слепухин сразу же себе установил – с земляками в кучу не сбиваться, отдельно от них... так и держался все время – только с Алексом и путался с одним, а всю его компанию на дух не признавал... так что совсем не с руки на денюху к нему... Сейчас вот Слепухин его поздравит отдельно... и чай на запарку как раз есть... Первый раз может Слепухин для Алешки чай запарить – всегда было наоборот.

Слепухин докарабкался до прилепленной и как бы парящей голубятно над громадным цехом конуры и толкнул дверь с табличкой «Мастерская по ремонту аппаратуры» (солидно-то как! принести бы Алексу кувалду какую и попросить: «Аппаратуру мою отремонтируй»).

Алекс уже возился с какой-то очередной мелочевкой над ярко освещенным столом – только стриженная макушка высвечивала под мощной лампой из-за завального нагромождения бытовой и служебной техники в разных стадиях умирания (или оживления).

– Вижу – ты рад, – Алик выбрался к гостю и взял небрежно отдаваемый ему сверточек с тухлой и лошпарь чая.

Вот ведь кто нисколько не изменился – тот же парнишка из Слепухиного девятого класса, вечно ковыряющийся в проводочках, транзисторах и прочем барахле. Так и подмывает дразнать прежним «сделайсам». Слепухин в десятом переехал в другой район и одноклассника прочно потерял, пока тот не выцепил его в толкучке у ворот промзоны. Если бы не морщины у глаз – тот же лопухий «сделайсам»...

Чистое – в аккуратную стопку и собраться с духом, прежде чем влезть в рабочие обноски. Алекс шурует с махонькой плиточкой и разматывает сразу же машину вскипятить воду. Все причиндалы эти были растыканы по укромкам; за каждый из них – пятнашка без разговоров, но так уже привыкло, что за все жизненно необходимое глушат наказаниями, что и не замечалось, даже у самого последнего чертяки была упрятана своя машина или сооружалась следующая взамен пропавшей.

– Сделал бы мне, – Слепухин и сам мог сделать, не велика наука: две мойки с куском расчески между – ниткой перемотал, по проводочку к каждой присобачил, и – готово: в минуту чап-лак кипит – гудеж как от высоковольтной линии, однако теперь хотелось машину фирменную, по уму...

– Ладно... тебе, может, еще что надо – так не стесняйся... чтобы целиком тебе от Квадрата не зависеть... подброшу чуток: ширпотреб или для жизни чего... соображай, в общем...

– Похоже – не одобряешь?

– А что мне?.. Одобряю... не одобряю... Своя голова – ей и живешь. Только по моему пониманию – не для тебя это. Смотри, еще заявишься ко мне портаки рисовать и бамбушами шпиговаться...

Алекс разговорился и спешил, орудуя заодно над чифирем и жаровней с ломтиками хлеба... Спешил выговориться, чувствуя, что в колее, потянувшей Слепухина своим неуклонным ходом, подобные разговоры неуместны и впредь будут отметаться напрочь.

А с бамбушами подметил он точненько. Повальное безумие это у авторитетов правильной (по зонамским меркам – правильной) жизни становилось чуть ли не обязательным ритуалом. Считалось и укреплялось в мечтательно-обслюнявленных рассказах

нях, что если отодрать бабу с бамбушами, то привяжется она навечно, как приколдованная, и лишенные чьей-либо надежной привязанности, зеки загоняли в совсем никчемущие им здесь трахалки выточенные из чего кто сумеет бобины и горошины бамбуш... И портачились тоже поголовно – у некоторых, кроме лица да рук, места чистого не было – вся зоновская атрибутика, соизмеримо с фантазией только и свободной от татуировок головы... впрочем, случалось, и головы портачили...

– Видал, у Квадрата твоего?.. Куполов на спине больше, чем в монастыре каком... и инструмент заготовил для будущего – натуральный кукурузный початок... видно, большую любовь ждет...

– Ты Квадрата не цепляй...

– А я его и не цепляю. Мне до него дела нет... Я про тебя говорю... Так что, если понадобится, к неумекам не суйся – ко мне иди, сделаю на зависть...

– Не понадобится...

– Хорошо бы... А вовсе бы хорошо – не спешить тебе, пораскинуть еще... Я вот, смотри, на все, считай – сбоку, пристроился так вот сбоку... самому противно, но по этой жизни я, наверное, лучше любого понимаю... Кишка тонка, духу не хватает себя отстоять, но и зла никому не делаю... Мне бы хоть на ноготок твоей вот закалки разве бы я пригibalся здесь под псовыми прихотями?.. Но зато и разумею и просвечиваю – как здесь и что. Ты охвати, какой у вас отряд собрался?.. Вы же числитесь штрафным отрядом... как залетит кто – его из подвала к вам бросают... Зато и собрались у вас самые колоритные фигуры, зато и вся зона на вас смотрит и по-вашему решает... Здесь ведь как? живешь по своей основе, хоть и по сумасшедшей самой, но своей – к тебе и уважение сразу, а потому что понятно – если по основе, значит, не размажешься дерьмом на радость псам всем... значит, сохранишь себя... нету своей основы – предлагают прилепиться к здешним понятиям воровского толка... воров-то распушили давно, по нынешним законам им на волю не выбраться, вот и придумали те же почти правила называть «правильными» вместо «воровских»... Это ты все и без меня знаешь, и не ругать я собираюсь правила эти – тоже ведь вполне крепкая основа, чтобы не сломаться перед хозяевами... Самое страшное – сломаться, знать про себя, что слизняк... этого уже во всю жизнь не заглу-

шишь: выпендривайся потом, вешай лапшу, воображай перед зеркалом – все равно жабой сидит: слизняк... и жена почует, и дети унюхают, и друзей запашок обдаст... Так и жить мне вперед... тут уж можешь и жену смертным боем бить, чтобы боялась, и детей стращать, и перед друзьями гоголем хорохориться – не будет по-людски ни того, ни другого, ни третьего... так, название одно... В общем, и авторитетные эти правила для многих соломинка, чтобы выдержать, для того и предлагаются они... Кто и это – по боку, и своего понятия скелетного нету от жизни – тем рано или поздно, больше или меньше, но – козлячить, пластаться перед псами, выслуживать... Но и в правилах наших яма непроглядная... Многие лезут без ума заправлять этой «правильной» жизнью и воображают себе одни сплошь удовольствия... чак, уважение, страх, курева вволю... Мне вот всегда интересно было: что человека к власти тянет? где это сидит в нем, готовое разом проглотить с мозгами, сапогами и душой?.. Ну, подойдет такому авторитету, правильную жизнь заправляющему, к звонку поближе – тут-то на него и насядут... и кодекс под нос со статеечкой, и все разложат перед ним: либо второй срок, либо самая чернючья служба, перед которой и я, слизняк, ангелом незапятнанным сияю... Вот этой минуткой проверяет себя тот, кто в авторитеты лезет, а своего скелета на самом деле и не имеет прочного?.. проверяет? или ему бы день персжить и ночь продержаться?.. или на «авось» все надежды?.. тогда нечего лезть... тогда притормози – от тебя ведь много чего зависеть начнет, если авторитетом стал, много людей по твоей вине и твоему недомыслию может слизью по стенкам здешним размазаться...

– Это ты про меня?

– Нет, теперь как раз не про тебя... Про Квадрата твоего. Ты думаешь, зачем он тебя подтянул вчера? Большинство ему надо было – вот ты это большинство и сделал против Саввы и против Максима.

– Тебе откуда известно все?

– Мне и вообще много чего известно... Я же не зря говорю, что здешнюю жизнь просвечиваю получше любого... Ну, а про ваши вчерашние решения, думаю, все уже знают... может, не в тонкостях, но про решения – наверняка... Не одни же вы прикидывали, как после Павлухи быть. Его перерезанная глотка либо другим теперь маячить будет вечной угрозой, либо поможет псов

от беспредела придержать... Много кто прикидывал, а слово вам, потому что – ваш Павлуха... Вот и получилось, что тобой Квадрат остальных пересилил. С Абрека спрашивать нечего, его куда поверни, туда он рванет... Ты обмозгуй без гоношбы, что вчера было... Возьмем для начала Савву: восхитительный дед и гнет всегда, чтобы «по совести», по максимуму гнет. Никаких уступок сволочам – только заставить признаться в палачестве, никаких разговоров с ними – палачей сначала убрать, а потом чтобы по совести начали руководство свое руководить... Ну, что тут скажешь? Взрыв безоглядный, без надежды, считай – разве ж отступят псы?.. Зато совесть чиста, и... леший его знает – вдруг бы да отступили?.. времечко-то для них зыбкое... вдруг бы да подались?.. Теперь глянь на Максима... этот все пытается согласовать, чтобы и по уму, и по совести... ну, и терзаться ему вечно, что всего не учел, что можно бы умнее... Максим за переговоры, готов и договариваться и выговаривать, но наступательно договариваться... и к разуму взывать будет, и к страху, и к благоразумию – но долбить и долбить, чтобы отступились от беспредела... ловить будет на любом залете, на любом косяке, и этим же залетом в морды тыкать, заставляя отступить... Вполне достойно... трудно, но достойно... трудно, но есть надежда, и не малая, особенно, если не одному, если – с поддержкой... Ну, а Квадрат, с большинством в тебя, чего достиг? Крохоборный сговор (да-да, не заводись, сговор, а не переговоры), чтобы глоточек себе отторговать, а беспредел пусть гуляет... Ларьки эти и свиданки, что ему обещал отрядник – пряником по губам... Весь твой Квадрат знаешь в чем? Авось сами испугаются, авось сами беспредел прекратят, авось пронесет – вот и весь Квадрат... И туда же – рулить...

– Не тебе судить.

– То есть, мол, я – не лучше?.. Это верно. Я тоже весь на вздерге живу: авось пронесет... авось другого схавают... не меня... Только я при этом рулить не лезу. Я тебе про то и толкую: мыслишь кроликом – живи кроликом, не хватай власть. Кто где отступит на чуток – псам хорошо сделает; общий потолок, считай, на чуток тот же опустит надо всеми. А Квадрат твой не за себя только уступил, он всех отступить турнул – вот и прикидывай, насколько душней станет. Так что кому-то Квадрат помог, только не тем, кем рулит...

– Ты что? Ты Квадрата обвиняешь, что он мышарит??

– А ты не ори слишком. Про «мышарит» не говорил, а что гнильцой уже пошел слегка, скажу... К звонку прислушивается. Я так полагаю: если человеком хочешь остаться и к звонку, что в хозяйевой руке, ухо клонишь – слезай с рулевых... а то ведь сам знаешь, как это – и на болт сесть, и рыбку съесть...

Не так все это виделось Слепухиному при вчерашнем чаепитии, и он начал спешно прокручивать тот разговор, вытягивая из него убедительные Квадратовы резоны.

– Ты же не понимаешь ничего... Залупись только сообща – таким прессом всех придавят... Максим твой на гвозди тянет.

– Ну-ну.. Если без ума залупиться, точно – придавят... а вот если по уму... вдруг да нету у них такого пресса, тогда – на всех чтобы?..

– Не бойсь – найдется.

– Ну так пускай они пока на всех, а кого им надо, дают? как Павлуху?

– А ты бы сам попробовал, а? Тебе тут хорошо прикидывать: придавят? не придавят?.. Ишь развякался!.. Под крылом у опера только и вякать...

– Мне – хорошо...

Слепухин пожалел о сорвавшихся словах. Поздравил, называется... Но и он сам хорош: тоже мне – умник выискался!.. В его семейку Слепухин ведь не лезет... Нет, все равно нехорошо...

– Ладно, ты не сердись... Давай мы завяжем с базарами этими... Рассказал бы лучше, как тебя сюда угораздило, умного такого.

Алекс отложил натфилек, которым взялся было что-то там выстрегивать и, прикурив у Слепухина, примостился рядом.

– Да вот, наверное, за это мое желание все распутать, и все понять, и все устроить лучше некуда – за это и залетел. Я из Москвы на заработки подался, дружок уговорил. Не получилось там у нас и пошло как-то наперекосяк: бабу присмотрел, дитенок на подходе... в общем, тормознулся на юге и в конце пристроился не очень плохо. Руки у меня – сам знаешь... Короче, нашел работку: будочка у меня, и я всякий западный ширпотреб ремонтирую: часы, зажигалки, технику разную, сони, грюндиги и прочие шарпы. Жить можно. Занесло ко мне случаем борова одного из городских псов, и заказ не обычный: на маленькой блям-

бочке написать надо – «такому-то и такому-то с благодарностью», а блямбочку в видик приблямбать, чтобы незаметно совсем. Нестандартная услуга и соответственно – нестандартная плата... А потом пошло: все тому же «такому-то» и прямо «в виде взятки» и в разную мелкоту вставлять. Я приспособился мельчайшую граверку прямо на деталях крохотных рисовать, чтобы лишнего не всовывать – в технику западную лишнего и не всунешь особо, да и специалист лишнее может обнаружить... Короче говоря, жил барином и в ус не дул, пока не допер: это же все местные псы себе на будущее поплавок забрасывают – и прокурор там и кого там только не было... А тут как раз новая власть, и новой метлой вокруг зашуршало. Мне уже и денег тех не надо – понятно же, если что обвалится, соучастником пойду. Вот я и закрутился: как лучше? может, самому сдать все это? страшно – такие могучие псы и вроде бы не качаются еще... Надумал я найти хрена этого, кому все дары подписал, – «такого-растакого»... А тот уже в Москву спланировал и в высоко-окий кабинет... Ну, домогся я до него, и все ему как на духу... Сначала не верил, видно, мастерам носил, чтобы нашли автографы мои, думал, что на понт беру... Но ты же знаешь – я бы и, как по телеку показывают, на волосе – хоть Ленина, хоть черта лысого... только кто же такую продукцию купит? а для известности и юродивой славы – фига надо. В общем, я ему показал все и сам ему все автографы убрал, но и он мне теперь не особо верит – вдруг да оставил где (я потом в комиссионке встречал из тех даров – решил, видимо, от греха...). Ну, потом он и сам попросил аналогичную услугу для совсем уж «такого-то». Я и окончательно запутался, прямо как муха придурочная: и так плохо, и эдак – еще хуже... А и тип этот вдруг испугался, что я уже самому «такому-то», как и ему, стукну... Одним словом, завертелось... и, понимаешь, этот сучара в своем пусть и высоком кабинете той же мухой бьется и прикидывает... Короче, упекли меня: навесили по самые уши – и ювелирные работы нашли, и спекуляцию – всего понаписали, только о главном – молчок... Сволочара этот спустился-таки с высот своих и через бабу мою упредил, чтобы помалкивал я, а он не оставит: и семье подбросит, и мне подсобит... Наверное, ждет, пока там у них все снова окостенеет и метла, третья уже с той поры, угомонится. Но не обманул: бабе помогает и меня вроде бы не забыл, по крайней мере, на всем пути сюда и здесь опера уверены в мохнатой

руке и знают, что с мастерством я... так и держусь... А здешний вчера что учудил? Приносит печать по техосмотру и показывает: к утру ему такую же... Я на дыбы, мол, не умею, да и – уголовщина новая, ну, он мне и рассказал, кто я такой и куда он меня вывернет... Так что чихали они на все мохнатые руки, знают, что успеют концы упрятать и отмазаться от всего... Знаешь, в чем их самая сила? В ерунде, на которую и внимания-то никто не обращает... Все наше общение с нормальным миром – через них только. Все письма – через них. Отписал про порядки их – так тебя же и по башке за клевету. Послал вольным путем – тебя же и укрутят за нарушение режима, послал вольным и не подписал – грош цена твоей писульке. Потому они и бесятся, как взбредет им, что известно – все разборки их дел пойдут по их же бумагам, а там у них – порядок, а если не порядок – свои же разбираться будут, в обиду не дадут.

– Ну, ты опять завелся. Нормальный мир – общение – нету никакого другого мира. Везде одно. Разница только: ближе к горлу запретка или дальше. А ты – несешь по кочкам...

– Точно... понесло... Это меня опер с печатью своей достал, а тут еще газетку в сортире прочитал старую: в пол-листа рожа этого американского индейца, которого вся наша страна от родной тюрьмы защищает, прямо ночей не спит никто, как бы Петтиера этого вызволить... Так представляешь? – рожа в фотографию не влезает и волосья до плеч, наверное, разрешено им... и одежда вольнячья, и сообщает по телефону в Москву, что и дальше будет бесстрашно бороться... Тут я бы и сел, если бы не сидел уже на очке – чуть не упал, честное слово... По телефону! в Москву! из тюрьмы-то... Так и чертяка последний может «бесстрашно бороться». Мне бы по телефону в Америку про здешние порядочки... так меня за письмо, вольным переданное, в подвале сгноят... а еще петух этот индейско-американский картины в камере рисует и волнуется, что видит хуже прежнего... ну? краски, значит, ему дают – тут он не волнуется! рисовать ему, значит, разрешают, не тайком под шконкой малюет?... времени, значит, тоже навалом – не жалуется... и вся наша страна за него переживалась, подписи тысячами собирают... А до своих никому дела нету.

– Да ладно тебе – лапша все это... Печать-то выстрогал?..

– А куда ж я денусь? Вот она, родимая... Статья 196 – два года, а систематически, как у нас с опером, – андроп.

– Вот ты шпаришь статьями... – Слепухин сличал печати.
– Так изучил, пока мухой барахтался. Ну как?
– Близняшки.
– И он пускай так думает.
– Ну ты даешь, Алекс...
– Надо поплавочки самому забрасывать, утопят же без них, как цутика.

– Ты уже однажды позабрасывал... в разные стороны.
– Черт его знает, как лучше.... Так – утопят, и наоборот – утопят... Ладно, ты на денюху-то придешь?..

– Не получится... Беготни сегодня – выше крыши. Я постараюсь, – смягчил Слепухин, видя огорчение Алекса (теперь-то он полностью превратился в насупленного паренька из другой совсем, никогда не существовавшей, приснившейся жизни)... – Я постараюсь, но если что не склеится – не сердись и дольше отбоя не жди. На всякий случай – поздравляю сейчас – ну, и удачи тебе...

Маленькая голубятня уже довольно давно равномерно вздрагивала. Из компрессорной по голубым трубам и трубочкам нагнетался в тело промзоны необходимый для ее жизни воздух. Издали, из Слепухинского цеха, доставал даже сюда лязг очнувшихся мастодонтов – здоровенных штампов, ящерно выстроившихся ровными рядами по сквозному цеху. Бронтозаврам этим, вывезенным, по-видимому, из Германии в порядке послевоенного мародерства, годочков вдвое больше, чем Слепухину. Как ни сбивали фирменные знаки по приказу хозяина, чтобы орлы, стало быть, не смущали и без того не слишком патриотичных зеков, как ни замазывали – все равно проступали цифры допотопных лет. (Охота же было солдатам-победителям мудохаться с этими многотонными ископаемыми?! А может, своего же брата и запрягли – тогдашних зеков?) Лязгают штампы, клацают тяжелыми челюстями, пережевывая вместе с металлом силы и жизни очумелого народца...

Сегодня Слепухин не особо волновался, что работа в цехе уже пошла, что промзона ожила, а он – сам по себе. И раньше-то с молчаливого угрюмого смирения бугра (а куда, козляра, денется?) частенько втыкал за свой штамп какого-нибудь чертяку, а сегодня уж – бугор и сам позаботится... Главное – быть на месте к заходу начальства, но и отсюда – пора уже. Почифирили, покурили, побазарили... отогрелся Слепухин – пора...

Приткнутая к высоченным опорам, дрожащая лихорадочно лесенка опускала Слепухина в громаду цеха, соседнего с тем, где клацали ящеры-штампы. В этом же – перемалывались две бригады, включая Квадратову, переплавлялись споренько полсотни жизней в игрушечки-вагончики для всяких бродяжно-строительных надобностей. Вообще-то, цех слишком сильно звучит. Бетонные опоры держали высоко вверху крышу и зашиты были наспех с двух сторон разным матерьялом от бетонных же плит до хлипких досок, еще две стороны, два торца – зияли сквозными проемами, и от одного до другого сплошь были уставлены шестью вагончиками в разной степени недоделанности. В дальнем конце под рассыпающимися брызгами сварки прижималась к бетонному полу рельсовая основа будущего вагончика, дальше – он рос в высоту, ребрами стен, дальше – стоял ребристый с крышей, потом в одном – ребра обтягивались жестяной кожей, еще один утолщал кожу прослойкой стекловаты и наготове стоял, доводимый лихорадочно глянцевою красотой: обои, электропроводка и последние штрихи грима... Вытолкнутый наружу вагон, выплюнутый в готовую продукцию, загораживал сколько мог цех от сквозного ветра. Этот тоже был очень даже недоделан, но, правда, в меньшей степени, чем ползущие к нему из глубины цеха. Когда-то довелось Слепухину започевать в таком, был неприятный эпизод, когда оба они – вагон со своими обитателями и Слепухин со своими огорчениями – затерялись среди одной непогоды. Ох, и клял он тогда неведомых создателей сооружения, к непогодам неприспособленного (обитатели утешали, что еще хуже – в летний зной). Знать бы тогда, кто именно эти создатели, – Слепухин бы умилялся и удивлялся, что так хорошо умудрились спать...

Сверху хорошо просматривалась отлаженная мышинная возня на всех этапах судорожного рождения основной продукции (вот она, воплощенная мечта народа, всегда колотящегося между страхом – не добыть места в поезде и не пристроиться на койку в бараке-общежитии, – вагон-барак, ни езды тебе, ни жизни, зато при месте и на коечке...). Несколько человек, не мешая остальным, курили в затишке, кто-то из чертей и петухов околачивался у выходов (входов), еще несколько (Слепухин этого не видел, но хорошо знал) что-то скребут и сгребают дальше от цеха... Не утихает ни на минуту, пузырясь и плескаясь, междуусоб-

ная ненависть загнанных сюда на созидательный труд, но перекрывается с верхом вполне сознательным отношением и к продукту труда, и к организаторам его. Поэтому и не разрушается такой вот порядок работы, и оказывается, что самые главные ее участники – именно те чертяки и петухи, что околачиваются вокруг, правда, благодарности они не дождутся и все самое грязное и тяжелое, связанное с уборкой и доставкой материалов сюда, сделают заодно и тоже без благодарностей. Однако стоит появиться кому-то из начальства, мелькнет только любой офицеришко, прапор или солдат – резкий свист сигналов мигом перебрасывает все цеха зоны во всплеск совсем иной суеты. Каждый начинает крутиться именно у того места, где начальство желает его видеть, никто уже не курит и не отогревается в закутках, темп возни возрастает, толкучка такая, будто сам Броун, предводитель движения частиц, витает над промзоной... Толку, конечно же, чуть... неуклонное копошение, создающее-таки необходимый продукт (кому-то необходимый), враз поглощается лихорадочным энтузиазмом... Работа замирает, но, к счастью, начальство, пошуровав по своим надобностям, удаляется, и сразу настраивается созидательная мышинная возня...

Попробовать перебраться в бригаду Квадрата?..

Слепухин шел по цеху, неотличимый почти в грязном рванье от копошащихся вокруг. Теперь только сжатая стремительность человека, знающего свои привилегии, расчищала ему дорогу. Ерунда все, что плел Алекс.. Ни черта он не понимает – милое дело рассуждать с его верхотуры... Хотя, все же...

«Надо будет навестить Савву и Максима», – наметил себе на сегодня Слепухин.

Свой цех, того же проекта и воплощения, что и соседний, встретил Слепухина оглушительно (поезд, ворвавшийся в тоннель, так же измарширует пассажиров, сколько бы они ни готовили себя к этому грохоту). На Слепухинском месте сидел Штырь и рванул было уступить, но Слепухин остановил его порыв (кричать здесь бесполезно, и все пользовались жестами и мимикой, в чем были свои удобства, особенно ощутимые в попытках начальства что-то немедленно указать, направить, наладить... Всякое такое вмешательство, если идеи начальника становились навязчивыми, приводило к остановке работы, что временной радостью перевешивало неудобства опасностей любого с начальством общения...).

Конечно же, стремительность жизни цеха имела много больше уровней, чем виделось с летучей лесенки, хотя всегда обратная пропорциональность стремительности и результата сохранялась. Уровни, в которые перепрыгивал энтузиазм зеков и с внешней, и с содержательной стороны, определялись положением того пса, который сюда направлялся. Дело в том, что, при всей схожести своей униформы и неотличимости внутреннего наполнения, все они были для зеков куда различимее, чем зеки для них. Одно дело, если на подходе начальник цеха, или мастер, или отрядник, или, наконец, помощник отрядника по производственным заботам, короче, любой из тех, кто вдруг да сумеет припомнить тебя лично и то место в производственно-воспитательном процессе, которое он (они) тебе отвели, другое дело – шествует пес поглавнее – этот воспринимает масштабно, охватно, ему только энтузиазм общего верчения виден и радостен, еще иначе, когда занесет начальство соседних цехов или отрядов – тут лишь бы каждый куда-нибудь двигался, ну, а если совсем уж занесло псов, вынюхивающих только, где бы что уволочь для личной нужды без прикрытия даже морщинкой раздумий о тяготах производства, – тут лишь бы не курили, не сидели в угревках, не передыхали в сторонке... У каждого прибавлялось еще энергии от маниакальных опасений, что вот этот-то пес лично его хорошо знает, но получалось чаще так, что знать-то знает, однако мастерски притворяется, что отличить не может. Редкие умницы имели наглость догадаться – никого они не знают, не помнят и вспоминают наново, только сличая по бумагам со своими же записями вздрючек, вернее, записи вспоминают, а тебя лично – ни в какую, – на кой ты им сдался?..

Слепухин подошел к Максиму, который за соседним с его штампом ловко перебирал руками в бесперебойно чавкающей пасти чудовища. Дождавшись, когда руки выскользнут из шмякающей челюсти, чтобы передвинуть поближе новую стопку железных полос – пищи мастодонта, Слепухин тронул Максима за плечо и руками-губами-глазами условился о перекуре. Теперь найти кого-нибудь на подмену Максиму – и порядок.

Отрядник определил за штампы в первую очередь самых для себя в бригаде ненавистных. Сесть на штамп – это по первому же взморгу отрядного или кого другого – на кичу. Всей оставки только на обрыдлую необходимость оформления соответствующей бумаги при появлении соответствующего позыва. Так

ловко здесь все устроено. На каждом штампе (и на Слепухинском тоже) норма установлена в шесть тысяч фигушечек (у Слепухина – кругленьких), которые откусывает из длинных полос тупая железная животиная. Выбивает Слепухин только три с половиной и все – около того: чуток туда, чуток сюда. Когда-то давно Слепухин опробовал свою животику на максимум, уговорившись, конечно, с бугром, что больше ежедневных трех с половиной отмечено не будет, уйдет про запас. Заклинив все кнопки и добившись равномерного чавканья (в секунду – одно), приспособив чертяку бесперебойно подавать полосы под правую руку и другого – забирать фигушечки из-под левой, Слепухин, не разгибаясь, фокусничал полсмены без продыху. Результат – две триста, значит, в смену все равно норму не вытянуть, хоть сам кладай в помощь.

Так и получалось, что сидящий на штампе сидит почти уже в подвале (уклонение от выполнения производственного задания). Ну, а если что-то разладилось в железных внутренностях ископаемого – тогда прямиком и без бумаг даже – потом оформят (уклонение с изломом необходимых органов). Так и колеблется здесь работа, неуклонно наращивая фигушечки к максимуму. Слепухин помнил, как выдавалось по две с половиной со штампа, потом – по три тысячи... каждое увеличение выработки сопровождалось долгой осадной войной, переходящей в междусобойную, со своими жертвами и своими штрейкбрехерами...

Наращивание выпускаемых фиговинки на самом деле было невыгодно всем, включая и псов, поэтому нагнеталось медленно, в соответствии с итогами какого-то там социалистического соревнования между лагерями за очередь на переходящее знамя и сцепленными со знаменем новенькими звездочками, к которым, в свою очередь, много чего понаприцеплено... короче, раз в год.

Когда-то Слепухина угнетала невозможность придумать разумного применения хреновинок, им же производимым (да и тем, что с других штампов – не придумывалось), разве что сама железная полоса после протягивания сквозь зубастую пасть штампа могла сгодиться на ажурные ограды – такой кружевной выделки она становилась. Потом он увидел как-то в дальнем конце промзоны, где прессуют в ровненькие кубы разные металлические отходы, свои хреновушки – их он бы и спросонья опознал.

Шварк... и из внушительной горы – ровнехонький куб вмятых друг в друга, уже неразрывно родимых кругляшей...

На самом деле, необычное и поразительное во вспомняutom эпизоде – именно Слепухин. Надо быть сильно прибабахнутым, чтобы хоть какое-то время среди гибельного многообразия жизненно необходимых интересов сохранять праздню-любопытствующий интерес к дальнейшей судьбе каких-то кругленьких хреновинок...

Натужно изогнутый Угорь приволок к подножию штампа порцию железных полос и швырнул освобожденно. Полосы бесшумно устраивались лежать поудобнес, пока Угорь отдышивался.

Слепухин быстренько растолкал Угрю требуемое, показывая на Максима, но тупорылый Угорь ухватил прилегшие было полосы и поволок их к штампу Максима. Слепухин пошел следом и уже на месте без лишних объяснений усадил Угря перед мордой чудища.

Устроились Максим со Слепухиным в том же вытолканном из соседнего цеха вагончике у окошка, чтобы по быстроте мелькания вокруг вовремя угадать начало утренней псовой охоты.

Слепухину не столько надо было что-то там понять, сколько выказать Максиму свое расположение, чтобы не отчеркивал он Слепухина от себя той же чертой, что и Квадрата... Но и от семейника не собирался Слепухин отступаться и, может, даже получится примирить Максима с Квадратом.

– Объясни мне кратенько, – Слепухин поднес Максиму огонек, – на что ты надеешься?.. Ведь сам говорил – все псы одинаковы, и все они – псы?

– Ладно, Слепень, попробую... – Максим хмуро курил, глядя в окошко только. – Конечно, мы для них – ничто... недолюди, с которыми и чикаться нечего, и играют они в свои псиные игры, а нас им – растереть, всех-то и забот. Но в свое они играют нешуточно: и правила есть, и косяки нарушившим, и награды со звездочками или приближающие к звездочкам, и наказания, отодвигающие от звездочек тех или даже срывающие их... Вот отряднику нашему, задолizu бздехливому, одно удовольствие – кому-то зубы пересчитать. Теперь возьми случай, когда этот, зубами пересчитанный, осмелится жалобу тиснуть – в ящик или лично кому из псов – неважно, все равно, считай, к хозяину попало... Зубы жалобщику этому, конечно, вторично пересчита-

ют, и не раз еще потом, но за отрядником – косяк... не из-за мордобоя, а потому, что не сумел шито-крыто... тупорылый, значит. Отряднику же мнение хозяина важнее всех наших жизней, вот и ему надо шито-крыто... А если кто осмелится плеснуть жалобой на зону? псам покрупнее? Опять же, его уминут всем скопом, с помощью тех же прокуроров, кому он вякать решил, но тут уже косяк всем местным, включая хозяина, и, может, в первую голову – хозяину. Ведь у исправных работников мрази свое место должны знать, а не знают – какой ты работник?.. Ну, а если повыше плеснуть? Допустим, в Москву? Да еще коллективно? Им же это должно быть хуже худшего, и пусть даже растопчут тот коллектив в прах – это не утишит их отчаянья: ведь сколько им всем еще тыкнуть потом разных замечаний на разных уровнях... Теперь представь, что под угрозой расплескивания в разные стороны мы предлагаем компромисс: вы с нами, как положено, и мы кончаем залупаться... Так сказать, семейные неурядицы семейно же и уладили, без плеска... Ведь если, к примеру, коллективные требования: убрать палача, да с бастованием работы – это ЧП для них... об этом они сами обязаны вверх докладывать, а – ох, как боязно – вверх в косяках признаваться... хоть и помогут мразей прижать, но помянут не раз... Вот и все надежды наши при нашей закрытости и запечатанности... Как у джинна в бутылке, – молитвы одни, чтоб распечатали...

– А вдруг не так у них все крутится?

– Может, и не так... Может, и выдумка – эти их игры... Ты не замечал, как выдумки наши становятся нашей жизнью?.. может, и вообще все это вокруг – одна наша воспаленная фантазия? Только прикинь: как только уверяемся мы в безнадежности – пошел гулять беспредел. Так если уверим себя, что им есть чего бояться, – их, может, и захолонет?.. Пора! – углядел Максим, приминая пальцами недокуренный чинарик.

Слепухин с Максимом уже сидели за штампами, когда сигнально мигнул свет и покатилась разворачиваться ежедневная пантомима. Начальник цеха замер в сквозном проеме, глядя насупленно вроде бы под ноги, а на самом деле внимательно припохиваясь к своим владениям. Потом он ковыльнул медленно раз, другой, постепенно осваивая единый для всех оглушительный ритм и уже не выдергиваясь из него более. На каждом шагу подтанцовывали, пристраиваясь сзади, организаторы работ, приказчики и надсмотрщики, погонялы и зашибалы – из вольно-

наемных и из своих. Всякий сразу же занимал именно свое место во все более внушительном и угрожающем кордебалете, а обрастающий ком катился дальше по цеху, нависая рассыпаться в искрах на подвернувшуюся неловко голову.

Еле успел Слепухин выдернуть руку, так и не ухватившую кругляш из сомкнувшейся пасти. Так вот засмотришься, а потом фигу ввернуть какому-нибудь козляре нечем будет. Ритм, в котором предпочитал существовать слепухинский мастодонт, постепенно подминал всего Слепухина, изменяя и подстраивая к себе – даже сердце согласилось уже поторапливаться в унисон. Загипнотизированный Слепухин только краешком отмечал жизнь, выгнутую на границах обозримого пространства. По замедлившемуся мельканию там, на границах, он осознал, что кордебалет укатился уже в приторкнутые к цеху пристроечки кабинетов на ежедневные свои людоедские разборки. Еще немного потерпеть, и можно будет отлепиться от завоораживающего грохота и отдохнуть, пока козлячья и псиная свора ловит переменчивые настроения начальника и накачивается ими, податливо выдуваясь в нужную на сегодня сторону. Вот на это время у зеков настояренный отдых под прикрытием десятков глаз, что держат впригляде двери начальственных кабинетов. Работать в это время просто нелепо: вдруг да вынесут козлячьи глотки в цех совсем иное указание – всего обиднее будет тогда сделанная лишней сотня хреновинок.

Мимо Слепухина пронесся мужик с дальнего штампа – мертвелое лицо плыло само собой, а ноги еле поспевали, боясь уронить это выбеленное пятно. Левой рукой он все пытался прилепить к правой отдельную уже и ненужную кисть. Боль еще не захолонула его, а радость неожиданной удачи выплескивалась ошалелыми глазами.

Рано радуется – еще корябать ему оставшейся левой объяснения, а уже потом определится: решат, что причиной его преступная халатность, – тогда повезло, тогда недельку отдохнет, ошиваясь при медчасти, а решат, что умышленно оттяпал, для той самой недельки отдыха посмел испортить государственное имущество, каковым он является, – тогда наплачется еще бедолага.

Слепухин отлепился от штампа, предоставляя тому возможность клацать вхолостую, зверея звуком от неутоляемого голо-

да. Максим подсовывал полюсу в зубы сворого через раз и так же неспешно выщелкивал из пасти откусанные железки. Потом тоже бросил подкармливать своего зверюгу и закурил в кулак, места не покидая. Этот отдых был всегда в полной готовности начать перевоспитывающую работу с любого вздоха. Но Слепухин все же решился смотаться к Савве – загладить, сколько получится, вчерашнее. Он накрутил Штыря, чуть не надорвавшись криком и выводя на сигаретной пачке неровными на весу каракулями «позови у Саввы», а потом – метнулся из цеха.

– Что-то ты не по адресу... – Савва сранчивал оборванный шланг, – тебе Квадрат поручил козлов упредить о решениях его. Я-то в курсе.

– Упредил уже всех, не волнуйся... Да и не от Квадрата я, а сам по себе... перекурить зашел.

– Перекуривай... Что у вас, тоже там драй начался?

– Какой драй?

– Всю зону в спешном порядке реставрируют – повыгоняли другие смены из барачков... ждут кого-то, переживают, ну, а зeki, известное дело, за честь лагеря – горой... красят, чистят, может, и снег белить приладят, если гость чинном, конечно, вышел.

– До нас еще не дошло.

– Сейчас объявят... чтобы наручники свои надраивали, до блеска доводили...

– Значит, работа по боку?!

– Вот и ты обрадовался... Обиный порыв – он захватывает.

– Брось ты, Савва, колоться... Горбатиться сегодня не надо будет – вот и радуюсь.

– Так ведь задницу хозяину вылизывать еще противнее, хоть и полегче, конечно, чем за штампом...

– Ну что ты набросился на меня? Я снег белить не собираюсь.

– И то хорошо.

– И вообще, Савва, я с Квадратом не полностью согласен... и на проверке, если будет, гнутья не стану... ну, и если тебе что надо – можешь на меня рассчитывать...

– Эх, Слепень... на что тут рассчитывать можно?! Слово сказал вот душевное и – спасибо... большего не бывает... Ты кури, кури себе – я привычный.

– Савва, а что это ты вчера нас всех в покойники записал?

– Не помню такого.

– Ну, ты говорил, что здесь кладбище и поэтому ничего про нас написанное читать не надо... Что не для того на кладбище пишут, чтобы читали.

– Может, и не совсем кладбище, но очень уж похоже...

Савва, наконец-то, растормошился и закружил помутненно в своих фантазиях, а Слепухин был доволен, что сумел-таки порадовать старика, так ловко подыграв на его слабости.

– На кладбище, считай, все люди в одно перекручиваются – в землю возвращаются... Ну и здесь нас успешно вполне перемешивают в одно – в липучую грязь, в единую кучу, чтобы при освобождении ухватить горстью случайный ком из кучи этой и шлепнуть за ворота – иди пока... пачкай дальше. Кладбище – это производство по переработке людей в первооснову, в родимую землю... Здесь – экспериментальное производство по выделке одинаковых монстров из разных людей... И здорово выделяются по заданному образцу... здорово ведь... Тело – равнодушие, сердце – страх, кровь – ненависть, душа – скука... а скелета нет – перемололи совсем... разума тоже нет... Да и сами они, экспериментаторы, лаборанты наши, в такое же...

Штырь всунулся в будку, исчезнув тут же, и Слепухин мигом сорвался следом, кивнув Савве... Напролом, через засыпанный снегом неведомый хлам, они запетляли к уборной, а там уже притормозили и, не особенно поспешая, направились теперь тропинками к своему цеху.

– Что там?

– Козлы как ошпаренные... уродоваться сегодня не надо... – Штырь выбрасывал в Слепухина порцию слов, задыхаясь и захлебываясь короткими морозными глоточками... – Шухарят по общему облику... глянец им нынче понадобился...

Хоть и ворчит Савва, до тошноты нахлебавшись своими фантазиями, хоть и готов Слепухин ему поддакнуть, но эти вот редкие авральчики Слепухин любил. Переполох быстро взвинчивался до состояния полной бесконтрольности, и побелевшие глаза начальников никого уже узнать не могли, еле успевая выхватывать отовсюду прущие дыры, требующие немедленного заткания, замазывания и окрашивания... Кто именно будет это делать? кого туда кинуть? чьими руками заткнуть? – тут полностью полагались на схватчивость козлов. Вся козлячья свора

приосанилась как-то (покрупнели, что ли?), дорвавшись наконец до чрезвычайных полномочий, и среди впавших в летаргию железных чудищ громко рывкали командами и проклятиями. Впрочем, не забывались настолько, чтобы не корректировать свалившуюся радостью реальную власть с не менее реальной для них значимостью каждого проклиняемого, по крайней мере, проклиняемого вслух.

Слепухин раздобыл себе измызганную краской кисть, страхнул с нее несколько свежих капель на драную одежду, стараясь не заляпать сапоги, и теперь мог слоняться свободно и где вздумается, не опасаясь лающего окрика: «Кому шатаешься?» (кому-кому?! Наведению порядка – вот кому!).

Потускневшие после новогоднего аврала воздушные артерии снова расцветчивались празднично-голубым... огромные туши мастодонтов поблескивали свежими зелеными пятнами, будто испачкались в грязном болоте, и угадывалось, что скоро уже их в том болоте искупают целиком... опасные пасти чудищ резво окрашивались по толстым рельсовым губам ярко-красной помадой... все сгущался, выбивая слезы, ацетоновый дух – самый верный признак перепуганного метания псов и задыхающегося их вызывания своих псарников...

В этот раз перепуг был позавратней обычного, метался и по стенам цеха, дотягивался до углов и укромов, куда обычный начальственный зрак не поднимался (то есть не опускался – уцепил яркую полосу свежей краски перед носом самым, просверлил в нее, не двинув шеей даже, изморщенными губами помогая только проницательному сверлению и – хорош...).

Из небытия проступали лозунги, плакаты, таблички разные... Всегда они здесь прятались, потонувшие в отходах и испарениях лагерного труда? наново вытанцены из кладовочек воспитательных закровов?.. теперь уже не понять...

«Не приступай к работе на неисправном оборудовании!» – тыкал восклицательным знаком в лицо Слепухину мордатый фраер в новехонькой спецовке. Ох, полюбовался бы Слепухин этим бараном здесь, не приступи он к работе... Первым делом тот сам бы поподбирал с бетона белые свои зубные фасолины, вылущенные начальными аккордами долгого перевоспитания... Так бы и ползал среди псовых сапог, собирая и поглядывая при этом на стену, вспоминая себя в давешней плакатной силе...

Однако ненависть Слепухина не успела сфокусироваться именно на этом ублюдке – отовсюду тыкали в него пальцами бараны-близняшки, различимые только цветом нулевых спецовок, и все они были одинаково ненавистны. А тот вон, в цивильном костюме с козлячьим значком депутата... тот бы у Слепухина попрыгал тут... искал пятый угол – ишь, расщерился, падаль! (Депутат разворачивал перед Слепухиным букварь, полученный, видимо, в подарок, и рад был подарку этому до опупения... на титульном листе букваря золотилось: «Охрана труда – забота партии о народе», а над тупорылой депутатской башкой тянулись красные буквы, его, значит, ответное слово: «На заботу партии – новыми трудовыми свершениями»).

Со всех сторон оплевывали Слепухина бодрым лаем белозубые петухи, кукарекая всякую небыль. Даже на людоедских штампах, на их тяжелых боках белели остро отточенные зубки, сквозь которые совсем уж метко цвиркали тоненькие презрительные плевочки: «Не включать при неисправной системе безопасности» и следом без остановки: «Готовую деталь доставляй специальным приспособлением»... Штампы перецохотывались беззвучно, распыливая красные пасти.

Слепухин помнил, что и за оградой всегда в досталь хватало таких же плевков, но там можно было плюнуть встречно и стряхнуть с ушей эту лапшу почти без следа; здесь же стряхнуть не получалось – здесь реакцией твоей на эту труху как раз и выверялась успешность твоего перевоспитания... так что сильно башкой не трянешь, а от незаметных псам покручиваний – не свалиться... Казалось, что в сравнении с остальными воспитательными приемчиками эта шелуха с плакатов – такая малая мелочь, такая ерунда – смешно даже взвиваться ответно. Однако сейчас Слепухина доводила до иступления именно малая эта мелочь, лапша эта гнилая, которая не просто облепляла голову, а ухватив с цепкой неотвратимостью за ухо, выкручивала в рабски покорный выверт – беспомощно-унизительный, даром что не больно...

Не зря ведь до ослепляющей ненависти часто доводил не хозяин со всей своей гнусной бранью под тяжелую руку, а, например, дедушка-режимник со шипками колючими и дебильным остроумием... или еще больше – Боря... Вот этот-то, хоть и бил трусливо, потому и не очень сильно, не до фейерверка в глазах,

но приговорочки его при каждом ударе доводили до остервенения («наш гуманный закон гарантирует защиту общества от преступных элементов» – хрясь! – «мы не позволим тебе черной неблагодарностью отвечать на всемерную заботу партии и государства» – хрясь!)...

– Слепень, – Квадрат вызволил Слепухина из водоворотного захвата вспенивающей злобы, – стойшь, зубами скрипишь... нашел занятие. Идем-ка...

Слепухин старался не отставать от семейника, сначала угадывая его заботы (бугру Квадрат вдолбил, что тот сам послал их на крышу оглядеть, что там да как), потом исправляя угадку словами Квадрата и потом уже поглощенный общими их заботами.

Сюда брат Квадрата приехал в поселок, да не один, а уговорил в помощь трех пацанов. Те будут сейчас делать кид, а семейникам предстоит кид тот принять. С нарядом, что дежурит на промзоне, у Квадрата уговорено: они спешить не будут (через них-то и передал старший брат про кид, им он и оплатит медлительность).

Кид – это клубок страстей, это – долгие волнения, медленно затухающие несколько дней, это – всплеск надежд, ожидание праздника и страх провала с бесконечным вколачиванием всего всплеснувшего обратно в зубы, ребра, куда попало...

Кид – это осколок забытой жизни, увернутый в крепкий пакет. Надо исхитриться, подойти из вольного мира поближе к ограде и швырнуть этим осколком наугад, посильнее, как бутылкой в волны – авось полберут. Если перелетел пакет через стену, если пересилил персметнуть через полосы запретки и оград внутри (снаружи не видных) – тут на него и налетают вороньем отовсюду с шумом и ветром, с вороньим же выклеиванием глаз и лиц.

Одни, чтобы упрятать и отдать потом адресату (им за мощь – свой кусочек), а можст, еще и адресат не отыщется... другим – надо ухватить и вручить псам (мышинная служба требует), себе откусить уже псы дадут в уплату... самим же псам сладостно самостоятельно вырвать: и почет от хозяина, и никому отщипывать не придется от добытого куска...

Кид нужен всем загороженным на одном огрызке земли. Опер будет еще долго вышохивать – кому кидали да что там было? Режимник не раз еще пошлет своих гончих со шмоном и пе-

ретряхами по баракам. Затурканные козлы будут еще несколько дней выпрашивать свое за благосклонное участие (не сдали вот, хотя требовали от них и сулили всякого). Кид – это ворвавшийся камнем глоток иной жизни.

Слепухин взобрался на плоскую крышу цеха и, проваливаясь в снег, задыхаясь от набросившегося сразу ледяного ветра, медленно двинулся к самому краю в другую сторону от осторожно ступающего Квадрата. Долго здесь не выдержать... окоченеешь к чертям, и слизнет ветряным языком – ойкнуть не успеешь...

Квадрат приготовился к приему киды солидно. Внизу маячили расставленные по промке мужики, готовые по сигналу с крыши переместиться к нужному месту запретки. С высокой крыши хорошо охватывались и промка, и здоровенный ломоть заоградной земли. Заплетка своими запутанными нагромождениями тянулась параллельно цеху метрах в ста от него и справа от Слепухина, который на правом же краю крыши топтался, уворачиваясь от тугих, отовсюду хлещущих пощечин... далеко справа совсем запутывалась запретка в отростке оплетенной колючкой кишки.

Оттуда раз в сутки подавался на промку короткий состав из нескольких открытых платформ и старчески пыхтящего маневрового тепловозика. Там же, в отростке том, среди перепутаницы проволоки, решетчатых ворот и голубятно наклеенныхверху вышек сейчас по телу готового к подаче состава блохами прыгали маленькие солдатики, торопясь побыстрее обшмонать платформы. Потом только позалезают они в теплые свои будочки и забудутся в них до самого считай вечера, пока не загудит призывно и с натугой тепловозик. Вот тогда они уже попотеют, попрыгают, обнюхивая каждый сантиметр загруженных платформ, уверенные, что зеки могли приклеиться к любой части, к колесу даже, пугая друг друга неожиданной встречей с готовой на все лагерной мразью, подрагивая пальцем на автоматном спуске, подзуживая разгоряченных собак лезть впереди в совсем уж немыслимые места... Ослепленные страхом, они не заметят, конечно, что прямо перед их носом сгружены разным железьем ошметки зековских душ, жил и нервов, страшные в своей ядовитой заразности, невозможные и недопустимые к вывозу из зоны, пропитанные смертным духом посильнее самой мыслимой радиации... эх, нет счетчиков на это, да и были бы – солдатам все рав-

но бы выдали испорченные, чтобы не щелкали и не тревожили напрасно народ...

Автомобильная дорога, которая выныривала из небытия слева, пропетляв немного в виду каменной ограды, снова круто забирала в сторону и пропадала за бугорком начисто. На нее-то и поглядывал Слепухин, не разлепляя уже помертвевшие губы даже для проклятий...

Квадрат свистнул, но Слепухин и сам заметил черного жука, медленно ползущего по снежной дороге, аккуратно выписывая все извивы пути и вроде бы даже пофыркивая. На изгибе, ближе всего петляющем у ограды, жук остановился, оформившись сразу в довольно потрепанный грузовичок. Шофер вышел из кабины и поднял капот. Слепухин махнул рукой, и мужики, ожидающие вслепую, не сводили уже глаз с крыши (только бы мыши не пронохали раньше нужного). Трое мальчишек вывалились из кузова и, потолкавшись с шофером, затеяли свою возню со снежками и догонялками, пока шофер чуть ли не целиком вынырнул в раззявленную морду грузовика – только ноги болтались наружу.

Мальчишки все ближе куролесили к ограде и не видели того, что уже заметил Слепухин: солдаты наружной охраны бежали россыпью из-за каменного плеча стены. Слепухин вытянулся всей душой за забор, стараясь перелететь к папанам с подсказкой и помощью, но увидели и они, переполошившись до полной потери ориентации и припустив кто куда (дураки! щенки сопливые!.. чего им-то бояться? – кидать надо!.. теперь все – ждать нечего больше).

Солдаты старались отрезать папанов от дороги, и те запетляли совсем уж по-заячьи, теряя на ходу пакеты и ничего, видимо, не соображая. Затравленно оглядываясь, не обращая внимания на сигналы шофера, они в панике летели прямо в капкан... к платформам, прямо в руки окончивших шмон солдат... сейчас вот новая свора с веселым лаем включится в вечную погоню.

Тепловозик свистнул, и этот свист как отрезал от Слепухина недоумистых папанов – они исчезли неразличимо в мелькании гончих псов с развешивающимися полами шинелей.

– Эх, балда! – Квадрат спускался по заледенелой пожарной лестнице, умудряясь одновременно с остервенением растирать лицо... – Не мог сам кидануть!.. связался с сопляками!..

Слепухин не отвечал, поторапливаясь следом, буквально видя, как грохается он вниз, не удержавшись одубевшими пальцами за неоощуаемую перекладину (хорошо, что ледком охватило – не то прикипали бы руки в кровь).

Квадрат внизу сразу же испарился, а Слепухин метался по цеху в поисках теплого уголка, не переставая хлестать себя помертвевшими пальцами, и затихал ненадолго, зажав руки вперехлест под мышками в распах телогрейки. Краем сознания он отметил водоворотное верчение у входа в цех, но откликнулся любопытством тогда только, когда обрастающий зеками серый клубок тел покатился по цеху. Слепухин нырнул в этот ком наперерез его входу и остолбенел от полной нелепости увиденного: двое из тех пацанов затравленно металась в охвате хохочущих зеков, растеряв и последние крохотки своего разума, – только ошалелые глаза во все лицо. (Прорвались со страху вместе с тепловозом?.. Конечно, остальные пути им отрезали наглухо – вот и рванули в заячьем невидящем перепуге... могли и под колеса... Вот идиоты!)

– Мужики, как выбраться отсюда? – писканул один, чуточку приходя в сознание.

– Знали бы – сами б выбрались, – хмыкнул Максим и будто подтокнул дружный веселый хохот вокруг.

Зеки старались хотя бы дотронуться до чудом залетевших сюда пацаненочков, и те вдруг отошли от ошалелости, очнулись, встряхнутые повальным хохотом, и засмеялись встречно... ожили.

– Сынки, не тушуйтесь, – успокоил Штырь, – ничего они вам не сделают.

– Точно – плевать вам на псов этих...

– Штрафанут родителей – и всех делов.

– Ну, может, отмудохают слегка...

– Не слегка... Отмудохают дай бог...

– Будут бить – орите во все силы и грозите судом...

Мальчишки совсем опомнились и стали быстро выворачивать содержимое своих карманов в мелькающие вокруг ладони. Один пакет сохранился... сигареты... рубли мятые – все вытряхивали подчистую (Слепухин глядел – кому что достается). Парнишка постарше сбросил куртку и мигом стянул с себя свитер, второй отстегнул часы – в минуту они распотрошили себя, на-

сколько могли, до носков и пытались всунуть еще свои кроличьи шапки, не понимая, что здесь это – совсем ни к чему... даже псам не загонишь – у них пусть и другой, но обязательной формы, а на продажу?... не ондатра же.

Мелькнули в дверях шинели, и вроде наученные уже мальчишки все равно не выдержали: извечная потребность гонимого – убежать от погони подхлестнула их и понесла сквозь цех, замотала по выходе в петляниях и увертках от вконец озверевших псов... Зеки, вывалив из цеха, свистели и подбадривали криками пацанов, когда их, выуженных из сугробов, тащили солдаты к воротам промзоны...

Взбаламученные невероятным происшествием, к прерванным занятиям возвращались медленно и через силу. Даже совсем согнутые в послушание огрызались на козлов, заставляя их притушить выстрельные шелканья команд. Будоражливые слухи прокололи уже всю промку, и по цеху мелькали любопытствующие из других отрядов и бригад, постоянно возвращая очевидцев к новым рассказам и разнося дальше эти рассказы уже в роли очевидцев, выгибая чудесное приключение все более невозможными подробностями.

Но день, качнувшийся уже в сторону от оупляющей неизбытной обыденности, так и не замер в замороженной неподвижности. Не утихли еще разговоры о заехавших на промку под настилом платформ лихих парнях, успевших и прапоров отметить, и небывалый грев передать, а из жилой зоны просочились совсем иные, обжигающие каждого слухи.

Стоило только дохнуть им, и мгновенно испарялись остальные волнения и заботы. Никто не хотел верить, и каждый отгораживался как мог, не принимая, не желая принять именно потому, что парализующая пустота подо всеми жаркими возражениями как бы подсказывала – все верно... кто же помешает псам... но зачем? зачем? может, все-таки иначе как?..

Шептались о небывалом шмоне, о том, что видел кто-то солдат, еле утаскивающих мешки барахла из барачных, о шмоне, отмечающем все вчистую, выравнивающим всех на одной безнадежной черте...

Всегда шмонали, вытряхивая все вольное, все, напоминающее оружие, – хоть мойку ржавую, хоть шило для сапожных дел... все подозрительное и непонятное им... шмоны – это при-

вычно. Но не представлялось никогда, что могут отшмонать лагерный же фофан или книги, здесь же в ларьке купленные, или сапоги лагерного образца... зачем?!

Зеки блуждали хмурые и взвинченные, прислушиваясь к отовсюду вспухающим лопающимся возражениям, кивали мудрым рассуждениям чуточку успокоенные и снова в смятении прислушивались к не верящим в разрушительный шмон резонам.

Драй завял – никому дела не было теперь до начальственных волнений, и запыхавшийся бугор еле продвигал наведение последнего глянца.

– Мужики, себе же галим, – молил бугор. – Обозлим псов – на самом деле все отшмонают.

– Шел бы узнал – что там в жилке? – буркнул Максим. – Тебя выпустят.

– Кто ж меня выпустит, Максим? – ныл бугор. – Обед уже скоро – там у шнырей все и узнаем.

Слепухин, как ни стыдил себя, все время возвращался к радостным мыслям о том, что у него-то чистый фофан хранится в закутке Алекса... и смешной костюм, и чистое белье на смену... а вот тем, у кого все чистое на пересменку в бараке, – тем не повезло, тех, считай, с чертями поравняли... революция, одним словом, – изымание излишков. Зачем тебе, мразь лагерная, чистый фофан? Тебе чистый фофан, а ты нос дерешь? воображаешь о себе? Ходи чертом измызганным – не повоображаешь... и голос уже не тот будет, уже с нудиночкой... лучше всего бы – голыми, тогда точно – не повоображаешь... голый перед одетым много лучше, чем грязный перед чистым... Нет, неужто точно – отмели все до последнего?!

Совсем уж невиданным аккордом этому дню была козлячья собственноручная уборка разного хлама вокруг цеха. Даже петухи двигались еле-еле, хоть и пинали их козлы со всех сторон, хоть и отвешивали сапожинные удары куда доставали только – все как заснули... Зрелище козлов, занятых петушиной работой, отогревало сердце – видно, сильно накачали их угрозами и посулами на утренней планерке.

Наконец и начальник цеха соизволил осмотреть свою охорошенную территорию. Глаз, однако, не поднял – продергался ходульно в мертвячей тишине, остановился, потрогав блестящим сапогом забытую банку из-под красок (бугор лично выхва-

тил банку из-под сапожка начальника) и прошел насквозь. Тут же дозналось – совсем ушел псина, за ворота... значит, на обед... Чуть погода разбежались и псы помельче. Попробовал было бугор вякнуть о возобновлении основных работ, но даже он заткнулся, потрогав необсохшие еще бока и хохочущие пасти сияющих чудовищ. Цех опустел – все разбрелись по уголкам, по угревкам перемалывать в разных утешающих предположениях оставшееся до обеда время.

Видимо, весь марафетный переполох оказался напрасным. То ли вообще никто не прибыл проверять, что здесь творится? то ли прибывшим хватило впечатлений устных... за столом где-нибудь? Во всяком случае, никакие проверяющие не потревожат уже дообеденный покой зеков – только абсолютная уверенность в этом могла выгнать псов на обед.

Слепухин, переполненный бурлением длинного дня (короткую ночь можно и совсем не считать – тогда день совсем длинный), раздумчиво выбирал, где ему пригреться, чтобы не донимал никто невлезаящими разговорами. Ничего не придумалось иного, как опять забраться к Алексу – его-то можно будет и осадить (к кому другому заявиться в тепло и гости с таким вот подарочком – приструнить разговоры все?)

Алекс возился у себя за столом, так, наверное, и не выбравшись никуда из этого чуланчика.

– Запарить?

– Не надо... я покемарю... – не против?

– Устраивайся, если не опасаться...

– Услышим заранее по железным-то ступеням... если что, скажи: аппаратуру принес тебе ремонтировать.

– Какую?

– Ну, не знаю... Навешай им что-нибудь... Вот, например?

– Это? – Алекс захохотал взахлеб. – В этом никелированном футляре, дружище, самогонный аппарат моей личной конструкции – заказ замполита.

– Н-ну, дела...

– Вот, держи дрель в руках – ее ты и принес... Отдыхай...

Слепухин удобненько пристрился между ящиками, но прежде, чем отдаться полностью на волю теплой волне из самодельного обогревателя, попытался всполошить себя испугом: а что, если совсем не на обед умотали псы? что, если нагрянут сейчас? – всполошить не удалось, вспыхнула было паника начальным

взметом далеко где-то да сразу же и растворилась в потоке теплого воздуха (позовут... посигналят... штампы включают...).

Перед глазами в суматошной суетлоке толкались картинки длинного дня, но ошалелые глаза пацанов пробились вперед, и один подмигнул многозначительно, сразу же объявил Слепухину все: надо было раньше сообразить – такой шанс упустил... Правда, острижен Слепухин наголо... Знать бы заранее, чтобы пацан парик с собой притащил... Слепухин мигом поменялся с пацаненком одеждками, и вот уже его, а не пацаненка, протаскивают через дежурную часть и лающих офицеров (только бы парик не сполз), потом на пинках выталкивают за ворота...

Грузовичок все еще ждал у дороги, и можно бы было ехать – лететь отсюда без оглядки, но не отпускала досада обязательного еще дела. Только вспомнить бы – какого?.. Все прояснилось, когда Слепухин заглянул в кузов и увидел рассыпанные вокруг пакеты. Вот что терзает душу, не отпуская ее на волю!.. Слепухин подхватил сколько мог и что было сил помчался к ограде. Заметили, сволочи!.. Он растерялся, метнулся вдоль стены, заметил хохочущие морды солдат и запетлял в ужасе, успев в последний момент чудом прилепиться к грохочущей мимо платформе. Здесь знакомы уже были все закоулки и, ощущая над плечами жаркое дыхание погони, Слепухин крутанулся в свой цех, где его тут же ухватил обманутый им пацаненок. Он мычал что-то и клещом вцепился в свою куртку, пытаясь сдернуть ее обратно себе...

– Вставай, Слепень, пора уже...

Покачиваясь и не до конца очнувшись, Слепухин брел в полуяви к воротам промки, не успевая вровень с отовсюду вынырывающими зеками, упуская их вперед. У ворот стояло человек тридцать – по несколько чертей из каждой бригады заранее занимали места в очереди на выход – и сейчас к ним пристраивались остальные бригадники. Маленькая серая кучка на глазах разрасталась в огромную колышашую и гулящую толпу.

Открылись ворота, но мелькнувшие возле них солдаты исчезли опять. Провисшая в проемке ворот цепь дуговой линией перечеркивала дорогу в столовую.

Слепухин все надеялся вернуть себе окутывающую благодать недавнего тепла и бессознательно сопротивлялся невозможности этого здесь, на нестерпимом продуве... Он влез в тол-

пу, пробираясь вперед к своей бригаде, и вместе с толпой его качнуло к воротам, но стукнувший радостью выплеск крови (выпускают уже) заморозило сразу же, как только глаза нащупали перед собой на прежнем месте висящую цепь. И все-таки что-то там происходило...

По выскобленной в накат прямой от дежурной части сюда, мимо длинного здания столовой, неуклюже оскальзываясь, бежал очередной бедолага, попавшийся на всем известный подвох режимника. Сам режимник, заткнув полы шинели за ремень, быстро настигал его. Когда-то и Слепухин безмозглым куренком клюнул на этот фокус. Ухваченный рукой режимника по выходу из столовой и доставленный в дежурную часть за попытку вынести в барак свою же пайку хлеба (с этой бескультурной привычкой зеков лагерные псы борются постоянно), Слепухин смирился уже с безвозвратной потерей тюхи, и болело все только о предстоящем наказании. Тогда режимник и предложил эту игру в догонялки, и если догонит он Слепухина от вахты до промки, «тогда уж не обижайся, тогда мы тебя, прорву прожорливую, обезжирим кругом» (этот афоризм означал лишение не только ларька, но и посылки, и свидания, на что Слепухин, ожидавший подвала, был готов сразу, без догонялок). Уже с первых шагов Слепухин удивился, что проиграл, и это удивление помогло ему продержаться подольше, пересиливать себя еще и еще... Вот ведь где проступало всего осязаемое, что с ним (и со всеми) сделала зона: ты мог двигаться, ползать, копошиться – не больше... Кормили тебя только на медленное это копошение – пробежать хоть сто метров ты не мог, и если казалось тебе раньше, что ты бежишь, поспешая по своим делам, то это только казалось – двигался ты смешно и жалко, может, и не быстрее, чем шагом – разве позабавнее только...

Слепухин сейчас наново опустил всю унижительность пятнашек, которыми и он развлекал стебанутого дедушку. На чудилу, уже и не бежавшего, а уворачивающегося только из лап режимника, Слепухин смотрел с жалостью и презрением, однако, вопреки очевидному, желал ему всей душой удачи. Никакой удачи и быть, конечно, не могло – дедушка в своих забавах подстраховывался от любых неожиданностей: вот уже из будочки высыпались солдаты, готовые перехватить увертливого дурика, если удастся ему ускользнуть от настигающей пятерни... Готово – тре-

пыхается чудик, теперь уж и совсем зря трепыхается. Однако не зря – оставил в кулаке режимника телогрейку и без нее закружил дальше, не видя куда... вспрыгнул на помойную тележку, прикорнувшую у столовой, шаг по ней и прыжок на землю, а тележка от толчка тыкнулась под ноги дедушки, принимая его на грязный свой настил под одобрителный свист всей промзоны... Здесь и иссякли последние силы убегающего, которому уже не отделаться ларьком или свиданкой...

«Пошла, бригада!» – Слепухин занял свое место в пятерке и одновременно с остальными шагнул к воротам – «пошла пятерка».

Еще на пороге столовой стало понятно обрывками гудящих звуков – не обманные слухи сквозили по промке, все так и было... Шнырей ни о чем расспрашивать не пришлось – на подходе к столам отряда они сами выложили: «отшмонали начисто... то, что не одето на себе было – то и унесли... из тумбочек выгребали, не разбирая... следом рапорта рисовали. Считай, на каждого... хранение недозволенного...»

Все прыгало внутри, и долгожданный обед был не в радость, хотя менее других подрубленный известиями Слепухин отметил, что и обед по случаю общего переполоха совсем не такой, как всегда. В супе зачерпывалась настоящая картошка среди очисток, а второе и вообще на удивление: постоянная обеденная перловка была прикрыта радужными разводами какого-то вонючего жира, вряд ли пищевого, но все же...

Бригады быстренько отваливали от столов, уступая место следующим, и крутились на улице у выхода из столовой, ожидая сигнала для возвращения на промку в бурлящем кипении, не замечая уже и холода даже. Выталкивались с разных сторон чудосочные надежды, что, может, хозяин еще и не знает, может, отменит еще и все вернут обратно... Чем невероятней были надежды, тем быстрее они шли в рост, захватывая всех кажущейся разумностью именно такого выхода...

Бугор собрал отдельно всю 26-ю и объявил, что им велено в клуб по вызову прокурора. Новость эта сразу захватила все вокруг, и на 26-ю смотрели как на избавителей, напутствуя кто чем мог...

– Мужики, выдайте там ему...

– Про шмон не забудьте...

– Пусть вернут все...

– Смотрите там, – хмуро кивнул Квадрат.

Клуб, отгородившийся со всех сторон огромными и сейчас вот особенно яркими плакатами, тянулся одноэтажной конюшней в противоположную промке стороне от столовой. Повернули туда, притихли в длинном коридоре, по одну сторону которого – ветхий зрительный зал, по другую – кабинеты опера, замполита, режимника – комнатухи для приема мышей, дальше – библиотека, в которой ровненько и, может, даже приклеенно красовались на парадных полках нарядные книги (исключительно для порядка и удовольствия самим видом – попробуй, возьми...). Заканчивался коридор голой комнатой-предбанником перед наглухо заколоченным запасным выходом – туда и определили бригаду.

Дальнейшую процедуру скоренько объяснил молоденький лейтенантик – замполитов прибудок. По одному их заводят к прокурору, после беседы – сразу на промку, и «чтобы ни одна сволочь не пыталась даже заскакивать обратно сюда для разглашения полученных у прокурора сведений».

– У меня не заскочут, – хмыкнул прапор Тюха, прозванный так за фантастическую проницательность при выгребании у выходящих из столовой их кровных паек.

Здесь бригаду и заперли, оставив Тюху надзирать снаружи за бесперебойностью процесса прокурорского приема.

– Мужики, – решительно объявил Максим, – как хотите себе, но я – последним пойду.

Никто с Максимом не спорил – тут и ежу понятно, что лучше ему последнему: он так может разозлить прокурора, что после него соваться уже просто опасно.

Тюха выволок первого, и закружила бригада по предбаннику, отъединившись друг от друга, персжеывая каждый свое, надеясь всякий на свою удачу. При этом никому не хотелось отстреляться пораньше – потом ведь на промку угонят и еще, может, вкалывать заставят... Бригадники кружили, незаметно, но упорно выталкивая наружу, на край своего клубка тех, кто побезответней... но не особо выталкивали, а как бы случайно... Ведь подними возню тут, всколыхни шумом – сразу же всунется Тюха и наведет по-своему: кого пожеласть, того и выхватит – пусть и из самой кучи...

Немного осмелели по мере того, как Тюха заматывался в очумении. Потихонечку и курили по очереди, выпуская дым в

щель забитой двери наружу. Потихонечку и бледнели, заостряясь лицами, с трудом выдерживая уже маяту ожидания. Оказалось, что здесь вот ничего толкового для будущей беседы продумать и придумать нельзя. Единственное, что придумалось Слепухину, – пробормотать скороговорочно молитву свою, которую он проборматывал в последнее время только вечерами, только перед сном. Укололо воспоминание о вчерашнем вечере, когда, кажется, про молитву он и забыл. Тем более, необходимо сейчас, и даже лучше – три раза... или трижды три.

Наконец они остались вдвоем с Максимом, и неприятно было, что Максим ему подмигнул. Неужто и у Слепухина заострилось и побелело лицо? Максим вон – усмехается себе по-прежнему... хотя если приглядеться...

Снова хлопнула дверь, и загремели, приближаясь, Тюхины сапоги – теперь за Слепухиным.

(Окончание следует)

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАЛАЧ

Случай занес меня в Караганду, злую от мартовской
течи.

В маленьком зале, на заднем ряду, стал я свидетелем
встречи
группы из общества «Мемориал» с бывшей охраной
Карлага –
встречи, затянутой, как ссриал, где героизм и отвага,
трусость и ханжество – предрешены жанром экранного
действия,
где по сценарию разрешены и обличенье злодейства,
что не побрезгало ради речей бывшими палачами,
и откровенья самих палачей с крылышками за плечами,
вознагражденных за выслугу лет счастьем окуривать
улей
и созерцать свой партийный билет, непробиваемый
пулей.

Кинувшись в головы хмелем страстей, вспененных
темой Карлага,
память прибывших на встречу гостей, как перезревшая
брага
сразу затеяла рубку с плеча, но ее дрожжи прокисли
и не давали уже первача крепкой и взвешенной мысли.
Все обвинения этих людей, все их обиды друг к другу
были из круга вчерашних идей и возвращались по кругу
то к обсуждению сталинских лет, то к оправданию их
жути.

Мне было мало цитат из газет, чтобы добраться до сути
замысла встречи заклятых врагов,
ежели их командармы не признавали чужих берегов,
но укрепляли плацдармы,

словно вся цель их – с десятков кустов под беспощадным
обстрелом,
а наведение трудных мостов – было не их общим делом.

Вот благородный студент в бороде, бледный от
скорбного гнева –
вот отставной костолом МВД с выей, достойною хлева.
Вот умудренный седой журналист, ставящий залу
вопросы –
вот узколобый махровый садист, ведший когда-то
допросы.
Разве не ясно, с кем завтра страны, с кем ее грязь и
рутина?

Но перед взглядом с другой стороны – встанет другая
картина.
Вот бородатый студент-горлопан с задницей, сдобной,
как сайки –
вот рядовой отставной капитан, дравший таких за
пол-пайки.
Вот журналист, волосатый пижон, что-то кричит
прокурору –
вот дознаватель, которому он все подписал бы в ту
пору...

Мне стало скучно –
все тот же напор русского злого витийства,
где над галдящими реет топор общего самоубийства...
Я потихоньку пробрался бочком между сидящими
в звездах,
и за каким-то сухим старичком вышел на мартовский
воздух.

– Что, надоело? – спросил старичок. – Всем дай и пипку
и рыбку? –
и провалившийся рот-паучок изобразил мне улыбку.–

Вижу, вы новенький в Караганде? Грязь и не та
перспектива!

– Раз вы такой проницательный, где можно попить у вас
пива?

– Ну, значит, вы аккурат из Москвы!

Я удивился:

– Однако! Как вы узнали?

– Все просто – ведь вы к пиву желали бы раков?

– Э! Раков нет уж давно и в Москве!

– Даже в цековском буфете?

– Там, если верить народной молве, а не партийной
газете,
ежели ты надеваешь наряд – шляпу и плечи на вате, как
у Него Самого –
говорят, есть даже килька в томате!

За растворившимся ртом-паучком вспыхнули красные
десны: – Свой! Ну, пошли, угощу коньячком.
Тут, брат, злодйские весны... Ты не серчаешь, что я
вдруг на «ты»?

– Бросьте!

– Так вот, бишь, о чем я... А! Посмотри – никакой
красоты:
мусор, цементные комья, ржавая проволока...

Мать честна –

это ж не город, а свалка! Кто виноват в этой грязи?

Весна!

Все обнажила, хабалка, что было скрыто под снегом
и льдом!

Я снова хмыкнул:

– Однако...

Тут мы зашли в покосившийся дом.

Полуслепая собака ткнулась, вильнув для приличья
хвостом,

мне теплым носом в коленку и, волочась по земле
животом,
вновь уползла под ступеньку сгнившего напрочь
кривого крыльца.

– Что, хороши тараканы? НКВД! Щас подрежем сальца,
вымоем чаем стаканы и похмелим коньячком
москвича...

Что, брат, жена убежала?

Молча я снял его руку с плеча – со стариковского жала
капнула правда,
а где-то внутри ёкнула боль, как от яда:

– Как вы узнали?

– Тебе тридцать три?

– Верно.

– Любая, мол, рада быть с тобой рядом?

Мол, ей повезло – и не ценила твой профиль?.. В фас ты
похуже...

– Да кто вы?!

– Я? Зло. Красный Палач. Мефистофель –
не театральный – усы и парик, – а настоящий.

Советский.

Обыкновенный беззубый старик – некогда юнкер

Корецкий,

а на сегодня – Илья Иванов.

Там, где ни-слуху-ни-духу, так и белеет скелет

без штанов –

съел я братана Илюху.

Я улыбнулся:

– Да будет вам!

Он вынул из шкафа солонку,

вытащил из-под стола патефон

и водрузил на клеенку, липкую, словно липучка для мух,
синий обтёрханный ящик:

– Не торопись с обобщеньями вслух.

Перед тобой не образчик местной свихнувшейся

фауны...

Что –

странно в моем лексиконе слышать такие словечки?

А то!

Я – и ворюга в законе, –

он водрузил посредине стола черного цвета бутылку, –

Я – и ментяра, –

принес из угла, пряча кривую ухмылку, две

табуретки, –

Я слишком привык думать, что главное – выжить.

Я – и петлюровец, и большевик,

и потому могу выпить с кем захочу и когда захочу –

не с кем сводить уже счёты, а молодежь – первый друг

Палачу!

– М-да, философия...

– Что ты! Божь меня от нее упаси!

Он налил жидкость в стаканы:

– Ну, так за что? За величие Руси или за жаркие страны?

Я взял стакан и понюхал.

– Ни бэ! Думаснь, закупоросен?

На растянувшийся нижней губе из-за гноящихся дёсен
от предвкушенья вскипела слюна:

– Это не в западных странах!

Эта вонючка настояна на лучших моих тараканах!

Ну, будь здоров!

И он принял стакан. Поколебавшись – я тоже.

И пригласивший меня старикан,

в пятнах пигмента на коже узких кистей и не узкого лба,

видно, был этим доволен,

я же спросил:

– А вот ваша судьба... был ли ваш выбор в ней волен,
или так вышло?

– Не знаю, браток – мне девяносто, и сорок я проскакал,
не меняя порток, в обшёрный низвергнутый морок...

А вообще – так и быть, расскажу. Ты мне не друг,

не приятель,

и не похож на святого ханжу – пьешь, как заправский

писатель,

значит, марашь листы не за куш, а для какого-то дела.
Ты – инженер человеческих душ, я – человеческого тела.
Стало быть, тоже секу, что почем, где слизняки, а где
слизни.

Если бы я не служил палачом, так и не понял бы жизни,
где лишь одно из чудес не грешно – пьяным свалиться
под стойку...

Не отрицая марксизма, смешно провозглашать
перестройку –
что она может тогда поменять, старое шило на мыло?
Проще простого с трибуны пенять на пресловутое
«было».

Только от этого мертвые пни не превратятся в аллею.
Да, я палач, если можешь – распни, я ни о чем не жалею.
Не потому, что служил за калач или давил в себе труса,
а потому, что хороший палач лучше плохого Исуса,
что обещает от рая ключи, судя о нас по названью.
Мы от рождения – все палачи.

Только одни по призванью, ну а другие – по воле судьбы:
кто за сиянье короны,
кто за рабочее «Мы – не рабы!» – валенки и макароны,
кто за свободу сбежать в лопухи от принуждения силой,
кто за стремление втиснуть в стихи охи и ахи по милой...
Мы палачи незаметных существ в полости рта,

под ногами,
и с мириадами мертвых всществ тоже живем, как
с врагами, –
камень, допустим, неважный пример, ну, а вот нсфть,
для примера:
нефти нс стало, а есть полимер – чем не палачья химера?
– Не усекаю.

– Сейчас усечешь.

Только с веревкой у шеи нас осеняет, что всё в мире –
ложь,
кроме простейшей идеи – выжить!

Вот ты, так сказать, гуманист, флаг твой в цвета
не окрашен,
ты в политическом смысле – центрист, то есть и вашим
и нашим.

Вот объясни мне – за что ты умрешь?

– Ну... вероятно, за веру.

– За христианскую?

– Видимо.

– Врешь! Это скажи пионеру! – он сжал сухой
пигментозный кулак, –
Вере не смерть воспитатель. Знай – в миллионах
вскормивших ГУЛАГ
каждый был жалкий предатель веры, которую съел
волкодав,
ибо мог вырваться в зону, только кого-нибудь
оклеветав!

Те, кто хотел для фасону веру спасти от руки палача,
не были чище хрусталин,
а уходили в могилу, крича только «Да здравствует
Сталин!»

Были, конечно, кто падал молчком ради своей
непреложной,
истинной – этот бочком, тот ничком – но одинаково
ложной.

Век создавал индустрию рабов,
ей и нужна была вера, что не давала им даже гробов!
Ради чего? Пионера, папу продавшего ради борьбы?
Юнкер Корецкий сначала не понимал, что такое рабы,
предал отца у причала
под раскаленной дымящей трубой над грузовым
пароходом –
юнкер остался доволен собой, то есть остался
с «народом».

И получил от него десять лет.

Он тогда был еще молод и убежал на казачий рассвет,

чтоб роковой серп-и-молот не затянул на России
аркан...
Он ошибался – Корецкий держит вот этот вонючий
стакан.

Новый этап – Соловецкий.

Там я узнал, что мой сын и жена, две ее тетки-старухи –
весть передал мне земляк-старшина –
умерли от голодухи на чернозёме казацких степей.
Там снова понял, что коли сам не собью своих рабских
цепей –
я не достоин той воли, ради которой остался один,
значит, в казенной фуфайке буду до ранних бараньих
седин
жить на наркомовской пайке.

На Соловках я пробыл ссмерик – стал замначальника
стройки,
честным трудом заслужил материк,
и убежал с бесконвойки с бедным Илюхой,
и съел его.

М-да...

Этим несчастным Илюхам
их же родная земля никогда не расперинится пухом,
ибо их дух разрешил над собой сделать такое насилие.
Там, где один управляет гурьбой – самосознание дебилье.
Я это вызубрил там, где рубил для коммунистов
стропила.

Если Илюха был просто дебил, я лишь косил
под дебила,
помня, что Жизнь – мои всра и честь: эти пустые два
слова
не Иванову меня дали съесть – понял? – а мне Иванова.

С этого часа, от счастья дрожа, с этого звездного часа,
как я попробовал ночью с ножа вкус человеческого мяса,

мне и открылось, что я не один в этой чащобе туземной,
что у меня теперь свой господин, но не земной,
а подземный.

Тот, у кого вышина-глубина – вечно открытая рана.
Тот, в чьих руках содрогалась страна с выходом в три
океана.

Это ж его черноусый вассал бесов гнал туча за тучей –
тех, о которых когда-то писал гений, страдавший
падучей!

Мясо Илюхи в моей бороде мне объяснило моментом,
где мое место –

да в НКВД!

Я буду тайным агентом

Черного Ангела, что у котла смотрит на пламя
бессменно,
и Тараканища с клювом орла – порознь и одновременно.

С этой поры я жил, словно в бреду –

Ангел воздел свои крылья и перенес меня в Караганду,
в город, где я без усилия через полгода попал в спецотряд
и...

опьянел от расстрелов!

Поодиночке, попарно, и в ряд, финнов, мордвинов,
карелов,
оцепеневших на кромках траншей в позах последних
их страхов,
русских, украинцев и латышей, курдов, киргизов,
казахов,
азербайджанцев, эстонцев, армян, крымских татар,
алеутов,
чукчей, карпатских хохлов, молдаван, ненцев, нанайцев,
якутов,
турок, венгерских цыган, комяков, польских жидов,
белорусов,
жителей сел, городов, кишлаков, стойбищ, становищ,
улусов,
женщин, мужчин, стариков и старух, малых детей
и во чреве!

О, как высок был мой мстительный дух в праведном
яростном гневе!
Вот вам, безвольно влачащим хомут закабаляющей
веры!

Вот вам за подлый безмозглый ваш труд
и аллилуй без меры гипсовым, в бронзовой краске,
вождям!

Вот вам за громы оваций
и отдавань на откуп блядам самосознания наций!
Вот вам, отдавшим своих же детей в жадные лапы
тирана,
вам, возмечтавшим делёж без затей, ради усов
Таракана!

Вниз по ступенькам ползущих в подвал, лезущих вверх
из подвала –
бог ты мой, сколько я их перестрелял!
Как моя плоть ликовала, как замирала от счастья душа
в сладостной дрожи поджилок,
лишь поднимал я свой ствол, не дыша, целясь то в лоб,
то в затылок,
между лопаток и между грудей, в низ живота,
в поясницу!

Я из рабов превращал их в людей,
освобождая, как птицу, душу убитого мной к небесам
вскидом руки благородным –
я свой прекрасный удел выбрал сам и наконец стал
свободным!

Тем, кто работает не за калач, путь достается
астральный.
Я был не просто обычный палач – я был Палач
Гениальный.
И потому был замечен Москвой, вызван туда и обласкан.

Здесь я работал уже головой. Так что не верь, брат,
побаскам,
будто палач – это только топор и архаичная дыба.

В век информатики – все это вздор, очень
посредственно,
ибо
крики ура и клочок кумача – ценности недорогие,
а у Доверенного Палача цель и задача другие.

Но человеческий материал, с коим имел я здесь дело, –
он непременно включал идеал, а не одно только тело.
Тут приходилось задачки решать часто себе же
в убыток –
мучить – и в тот же момент искушать разною степенью
пытток,
то ослаблять их, то мучить опять, меряя силы
во взгляде,
вместе с истерзанной жертвой не спать, вместе молить
о пощаде:

жертва, чтоб я подарил ей конец –
я же ее, в исступленье – чтобы сознаясь она, наконец,
в жалком своем преступленье, не оскверняющем гордых
седин!..
Все потихоньку ломались – не устоял ни один... Ни один!
Все в чем-нибудь сознавались.

Я же все более был убежден, в пятнах от крови и рвоты,
что был сперва наречен, а рожден – после для этой
работы.

Я ж не попал в девятнадцатый век, а появился
в двадцатом!
В том мне достался б другой человек, тот, что мечтал
быть распятым
или сожженным за веру в огне, жертвенно-ярком
и чистом.

Вряд ли пришлось бы помериться мне силой своей
с декабристом.
Если бы жребий к нему допустил, случай остался бы
частным –
тот декабрист меня просто б простил, сделав навеки
несчастливым.

В этом же веке – я кум королю,
ибо я сам кость от кости тех, кого тихо в застенках
давлю,
полный презренья и злости.
Пахарь, нарком, трубочист, генерал – мне все равно:
я – нужнее.
Я – ваша плоть, ваша кровь, ваша Власть, ваш Судия
и приятель.
И потому я поплюю еще всласть – понял, товарищ
писатель?
– Больно уж ваша хибара гнила, – встал я с кривой
табуретки, –
скоро завалится!
– Что за дела! Мы уже пожили, детки!
Дуйте, пока еще кровь горяча, но поимейте в дорогу,
что и кривая стезя палача – путь через Дьявола к Богу.

Я поклонился, и вышел во двор, и зашагал через
лужи –
мартовский злой бесконечный простор был где-то
рядом, снаружи,
серый и влажный проветренный фон сам грунтовался
для строчек,
а за спиною хрипел патефон «Синенький, скромный
платочек...»

1990

АНТОНОВ Вадим родился в 1942 году в Китае в семье советских служащих. Окончил Литературный институт им. Горького. Подвергался судебным и психиатрическим преследованиям. Печатался в советской периодике: в «Новом мире» и «Литературной газете». Живет в Москве.

НИКОЛАЙ УГОДНИК И ПАРАША

Две пронзительные холодные капли сорвались с мокрого дерева и, одна за другой, попадали Николаю Ивановичу за шиворот. Николай Иванович чуть не вскрикнул. Однако, как всегда, сдержался. Лишь поднял жесткий воротник драгеньского пальто, поежился – но и напрасно. Капли устремились по спине, вниз, к брюкам; тело его как будто что-то вспомнило, инстинктивно дернулось. И сделалось так муторно, так погано на свете, что ни до чего: ни до погожего ноябрьского денька, ни до вон той растрепанной воробьихи, бестолково притопывающей посреди окаменелой грязи, как его дура жена, Прасковья Демьяновна, ни до соседа старпера, твердобого догматика Шамрикова, который жужжит словно безмозглая муха с утра, тем и составляет ему в этом скверике компанию.

Конечно, по паспорту они оба были старперы. Николаю Ивановичу за восемьдесят. Шамрику (как он его про себя звал) еще даже на два года меньше. Но чем внимательнее к нему приглядывался Николай Иванович, тем понятнее становилась его внутренняя сущность. Нет, нет и нет! Хоть они и в одной ячейке состоят, хоть и прикреплены к одному магазину, а убеждения у них разные, принципиально разные!

Может, дело было в том, что Николай Иванович два раза посидел, а Василий Васильевич Шамриков всего только раз? Однако ведь на жизненном пути ему встречалось немало товарищей, которые не сидели вообще ни разу, но взглядов всегда и во всем придерживались правильных. А с этим чуть что, уж он вроде попугая: «Это шаг вправо!», «А это шаг влево!», «Это забеганье!», «А это отставанье!»

– Да пойми ты, баран твердокаменный (последнее снисходительный Николай Иванович произносит не

вслух, опять же для себя): это все вопрос большой политики, а не твоего маленького ума дело. Партия кому сказала: даешь кооперацию? Партия кому говорит: ждем поддержки? Партия кого раз за разом зовет культ личности разоблачать? – Николай Иванович торжественно оглядит всего соседа Шамрика, включая явно чуждые его возрасту мальчуковые ботинки, и закончит громовым голосом, то есть на высокой ноте. – Да нас с тобой она зовет, голова! А ты застрял и сидишь в хвосте у авангарда!

Если случится при их споре третий старичок по кличке Нуль (трижды сидел, первый раз как не подтвердившийся впоследствии функционер Промпартии), то он только ахает от ужаса, ловит воздух беззубым ртом. Ему очень хочется участвовать в таком принципиальном разговоре, он только не знает, к какой бы ему идейной платформе примкнуть, и страшно боится, что поспешит и примкнет опять не к той.

А Шамрик ничего не боится. Он кричит как резанный на весь город Барденевск, вроде его никогда в этом городе и не сажали:

– Вот помяни мое слово: им только дай коготком ступнуть, так они на культе не остановятся! Только распусти поводья, они возьмутся и за *самого!*

– Да кто они? Да за кого *самого?*

А Шамрик с улыбочкой вредительской:

– Са-а-ам знаешь, за *кого!*

Плюнет Николай Иванович в сердцах и ногой размажет. А над их головами в этот момент, например:

– Здравия желаем, товарищи сталинисты! Что, опять тайные заговоры плетете? Опять захотелось на Колыму?

Пока-то поднимет Николай Иванович глаза в негодованьи, а волосатики – пырх, от них уже и след простыл...

В последние месяцы Николай Иванович начал замечать, что к нему все чаще стали открыто обращаться как

к непосредственному сталинисту (и не только эти проклятые волосатики!). Это было неправильно. Даже в корне неверно. И дело не в том, что он десять лет отбухал (там, у параша, так и так, все как один равны). Дело в том, что Николай Иванович полной правды еще в лагере, своим умом достиг. Он лишь молчал и ничего не говорил, даже если его о чем-нибудь спрашивали. А вот когда съезд состоялся, тогда Николай Иванович был уже готов. Он как услышал сообщение, только головой утвердительно мотнул: мол, понял я, понял, давно все понял!

Он понял, что этот отщепенец их всех-всех подло предал. Предал безжалостно и коварно. Причем сразу всё подряд – и теорию, и практику предавал. Он народ уничтожал, а народ, как дурак, ему во всем буквально верил. Он проводил в жизнь свои ненавистные тайные планы, а партия, не зная ничего, считала его за это (неоправданно!) стойким и верным учеником.

Но что прошло, того, как говорится, не воротишь. Теперь перво-наперво требовалось отчистить себя полностью от всего наносного, восстановить, как полагается, честное имя и, не рассусоливая, с новыми силами приналечь в новый кон.

Он так и сделал, едва его выпустили во второй раз.

Жил и работал Николай Иванович так, что и не заметил, как пролетели годы. Вырастил и поставил на ноги сына Сережу, и он занял в Москве хоть и небольшой, но видный пост. Верная спутница пролетарка Клавдия Андреевна, с которой они пятьдесят лет (за вычетом отсидки) плечом к плечу и душа в душу, скоропостижно покинула его на семьдесят шестом году своей кристально чистой жизни. Когда схоронил Клавдию Андреевну, приехал с кладбища, тогда только и опомнился. Жизнь прошла, как будто положили ее с Клавдией Андреевной в один красный гроб... Сел Николай Иванович, наклонил седую голову (да так, что потекли горючие слезы в колючие усы и в рот), и тут к нему, пользуясь моментом

его минутной слабости, и прокралась эта самая Прасковья Демьяновна.

Прасковья Демьяновна по происхождению была из деревенских, и случилось то, чего он больше всего боялся и подозревал. Сначала как было? Ну, прибилась к нему бессловесная побирушка, сказавшись, будто ее совсем бросила дочь. (Что с нее взять, жалкое существо, забитая, опять же косенькая.) Но, как выяснилось впоследствии, промахнулся: Прасковья Демьяновна была не какая-нибудь, она оказалась из раскулаченных. Правда, раскусил он ее не сразу, а как расписались, и то через год.

Первые месяцы Параша вела себя смирнее мыши, потом начала наглеть, пока ему на шею не влезла. А как влезла, так сразу уж и рот разевать! У нас в семье, тихо так сначала говорит, никакого наемного труда не имелось. Одна прялка, две коровы да лошадь; а вы, говорит, нас за это в Караганду. Наш папаша не кулак! Наш папаша даже наоборот делал. К нему босяки: возьми, Михалыч, мою землю, обработай, а мне исполу, чистым отдай! Так, врет Прасковья дальше, ее папаша и поступал. Возьмет землю, вспашет, посеет, уберет, обмолотит (пока босяк кверху пузом на лужку валяется), а осенью придет босяк, папаша чистым зерном ему исполу: на!

В другой раз Прасковья врет, как понравился ей один рабочий Василий (и якобы даже и он в любви объяснился ей), а потом, как ребенка сделали, да как стали Парашино семейство выяснять, первым от нее отказался и со страха в город удрал.

В ответ на эти вражеские вылазки у Николая Ивановича вставало все нутро дыбом. Ни в одном грамме не смогли провести его эти кроткие Михалычи, которые готовы были все свое зерно сожрать, лишь бы не доставалось оно оголодавшему в тот момент пролетарьяту. А Прасковья (он тогда обсдал), бессовестная, как ляпнет:

– А вот бы какой голодный в дом сейчас ворвался? Да за вашу тарелку без разговоров – цап? А стали бы кри-

чать, он бы всю вашу еду перепоганил, а за крик за ваш еще и подбил бы Николаю Иванычу глаз?

Николая Ивановича, помнится, чуть не стошнило, до того он живо представил, как какой-нибудь бродяга лезет в его тарелку с борщом грязной рукой.

– Вот оно! Вот оно как? – классово торжествуя, косила обоими глазами раскулаченная Прасковья, пока он, свернувшись на кровати калачиком, приходил в себя от ее слов.

С тех пор Николая Ивановича всегда тошнило, как только Прасковья Демьяновна заводила на эту тему разговор.

Нет! Он бы чикаться не стал! Он бы давно эту косяку в шею, одна только его собственная политическая дряблость так поступить не позволяла. Он всегда жалел невпопад: бывало, последыша кулацкого, от семьи отставшего, прикормит (его бы за Полярный круг, за всем осиным гнездом вслед, а у него от одной мысли все внутри переворачивается). Его товарищи за это с издевкой Николаем угодником прозвали. Они ему: может, еще этого ягнока усыновишь?.. Усыновить не усыновил, а голодной смертью сдохнуть не дал, пристроил в городе, тот пошел-пошел и, говорят, даже не хуже Сережиного получил образование... А другой случай был: за бывшего товарища, дурак, заступился. Того за вражескую деятельность закатали аж на Соловки, а перед этим Николай Иванович возьми да и вякни на собрании: мол, не верю! Ну, не веришь, Свиридов, тогда ступай вслед за ним! Там тебе все как следует, Свиридов, объяснят! Так он и загремел в первый раз. А во второй, это уже после войны, его обратно на слабости поймали: пожалел, понимаешь, прописал на своей площади еще одного бывшего товарища вдову (то есть опять проявил недопониманье). Придрались к другому, правда, вlepили десять лет, отсидел пять – спасибо, к этому моменту успели самого вождя народов разоблачить...

(А то было Николай Иванович последний разум потерял. Шумнет кто из охраны ему в шутку на ухо: что, этот и этот тебя к убийству Сталина подбивали, да? Николай Иванович весь затрясется и, не глядя, уже кричит: да! да! да! А охрана рассмеется только, бросит его: что, дескать, с такого взять, если не человек, а один шкелет угодника остался!..)

Сидит Николай Иванович в центре города Барденевска, в скверике, жмурит на солнце изношенные глаза, потом задремлет и вдруг начинает прошедшую жизнь как чужую представлять. До чего же бурную эпоху они все-таки как-никак устаканили! Все время кого-нибудь разоблачали. Какис помельче, тех обычно еще при жизни к ногтю. А какой в вожди пролез, того ждут, когда помрет. Терпят, как правило, тянут время. Один Никита прошляпил, ему бы прижать покрепче хвост и вон, как Сталин, по югам не разъезжать. Так бы, глядишь, и пересидел. И разоблачили бы, как человека, посмертно. Не вышло у него, сорвалось. Да еще и неизвестно, как нынешние вывернутся...

И вдруг Николай Иванович опускается во сне еще на полступеньки и ему начинает явственно видеться, что все это не просто, не само собой каждый раз случалось – за всем этим находится, наверно, какое-нибудь монолитное единообразное устройство. Николай Иванович много устройств перебрал и перешупал своими руками (начинал всдь с заводских механиков, это потом только его на дерсвню кинули, прежде чем на руководящую работу двинуть). Одни устройства склепывали, сваривали, слепливали – словом, соединяли. Другие, наоборот, как топор: дробили, рассекали, расчленили, – и другой работы не могли производить... То устройство, которое привиделось Николаю Ивановичу, было поставлено на особый почет и высоту. И потому все время требовалась ему хоть какая щелочка, хоть какая трещинка. И не чтоб склепать эту трещинку или щелочку заклеить, а чтобы всунуть в нее лезвие на всю длину – и разворотить, а луч-

ше надвое развалить. Ясно, такое изобретательное устройство не могло простаивать без пользы ни минуты, и тотчас ему искалась новая щелочка, а когда не находилась, брался первый попавшийся паз, зазор, на крайний случай шероховатость, а коли даже шероховатости не попадалось, тогда ее чертили предварительно на бумаге карандашиком, чтоб только провозглашенное правильное устройство оправдывало и оправдывало себя без передышки. И вообще, коль уже сговорились и при всех поклялись, что это устройство неизмеримо выше прочих, то прочие ни в какое сравнение пойти не могли. А если шли, то себе во вред, поскольку превосходство невооруженным глазом надлежало видеть. И уж видели, да как видели!

Причем, как сейчас в страхе ощущал Николай Иванович, данное устройство, получив людей в бессрочное пользование, вышло из-под контроля и ворочало давно ими помимо их воли; едва у них, у людей, замечались в очередной раз признаки оцепенения, движения их замедлялись, глаза стекленели и потухали – из машинного отделения тотчас сам собой начинал нарастать стук, немедленно переходящий в грохот, переборки трещали и опять (с целью взбодрить то и дело впадающих в летаргию) принимались выискивать щелочки, дырочки, отверстия и шероховатости (таковые, конечно, на крайний случай!).

...Картины меняются, и он как бы проваливается еще глубже.

Теперь Николай Иванович представился себе в виде рыбы, и вроде та рыба издыхает, находясь в зеленой тьме, под толстым льдом. Лед, между тем, вполне прозрачный, и он видит, как равнодушно двигаются чьи-то здоровенные подметки туда-сюда. Николай Иванович разевает рот, но голоса рыбьего не расслышать, да и кислорода уже в воде ни капли нет; Николай Иванович разевает рот еще шире и тут понимает обрадованно: его заметили, заметили и начинают принимать меры к спа-

сению! Пешни вонзаются в твердь, вот-вот твердь проломится, и он вдохнет наконец полной грудью; все внутри у Николая Ивановича радостно дрожит, грудь свистит, хрипит; Николай Иванович, ликуя, тыкается в твердое (и уже теперь порядком раскровянил всю морду). И вот тут-то его прожигает как электричеством: боже ж мой, думает Николай Иванович, просыпаясь, ведь если мы чем и спасемся, то тем же самым и погибнем?..

Николай Иванович пришел в себя и ужаснулся своим мыслям. Так далеко он еще никогда-никогда не забредал. Ладони его сделались липкими, будто он, позабывшись, примерился уже к чьей-то шее топором, но... опомнился вовремя, поймал себя за секунду до преступления.

Николай Иванович заозирался. Вот же они, его надежные боевые товарищи, Нуль и Шамрик. Вот сквер со шныряющей туда-сюда озорной, но отличной молодежью. А вот их чудесный магазин, который откроют через пятнадцать минут, и они отоварятся, выкупив паек ветерана.

А пока Николай Иванович находился в анабиозе, Шамрик воспользовался случаем и откровенно (правда, торопливо) разглагольствовал. Дело в том, что Шамрику посчастливилось служить в кремлевской охране: Николаю Ивановичу он про это всю голову продолбил. И если рядом оказывался новый человек, и если Николай Иванович терял бдительность, Шамрик со своими рассказами тут же набрасывался на этого человека. В данный момент ему попался Нуль, длинный, трусливый, полубезумный старик с гегелевским профилем, пораженный шестьдесят лет назад в правах, и пораженный намертво (с тех пор его неоднократно в правах восстанавливали, но он, может быть, об этом и не догадывался — во всяком случае, это не сыграло никакой роли).

Нуля не звал никто ни по фамилии, ни по имени. Было такое впечатление, будто его не совсем, не оконча-

тельно освободили, и Нуль хоть и пользовался льготным спецпайком, но вел себя так, как бы находился в побеге. Не проходило и месяца, а уже Нуль ночевал то в городском, то в линейном отделении; появится в городе свежий милиционер (старые-то уже все знали), взглянет только на Нуля – и ему ясно с первого взгляда: если жметса, чешетса без конца человек, испуганно озираетса, следовательно, можно брать – наверняка крупный вор (они ведь часто именно с этими профилями).

И вот этому замечательному собеседнику Шамрик и пересказывал сейчас бегло мемуар.

В его мемуаре имелось три события. Первое, как он однажды на политзанятии перепутал двух Николаев Ивановичей, и с ним за это ничего не сделали, Шамрик уже успел пересказать. Вторым номером шел случай, когда Шамрик в кремлевском дворе чистит снег деревянной, окованной по краям лопаткой, поднимает вот так глаза – и ба-а-тюшки! видит Шамрик в двух шагах от себя: сам вождь морозным вечерком по Кремлю прогуливается. Где-то, видать, охрана поотстала, и в результате, вот так Шамрик с лопаткой, как согнулся, так никогда и не разогнется, а вот так он, сам, сапогами скрип-скрип. И в этот момент рассказа (Николай Иванович все наизусть заучил) малоумный Шамриков внук делает обычно предположение, что Шамрик в молодости очень удобный момент упустил: ра-аз лопаткой – и по голове! На что у Шамрика округляются и стекленеют глаза, и он всем телом Нулю показывает, как вжался тогда с лопаткой в кремлевскую стену, и оттуда, из стены делится теперь возмущением.

– И я тогда внуку сказал так: ма-аладой чел-ловек! – со сдавленным благородством шепчет Шамрик, едва вождь народов сго миновал, в какой уж раз обдав бесценным дыханием. – У нас, да будет вам известно, была хоть какая-то совесть и хоть какие-нибудь принципы. И мы все были идейными, в отличие от нынешних. А если б мы хоть в мыслях про лопатку допустили, сегодня б на свете, молодые люди, недосчитались многих из вас!

Нуль в ответ, не говоря ни слова, теряет сознание. Но у Шамрика все с собой, и он пользуется Нулем из своей походной аптечки. И как только этот больной человек (с белым лицом, изгвазданным теперь по брови нашатырным спиртом) приходит в себя, нетерпеливый Шамрик тотчас обрушивает ему на голову третий случай. В третьем случае Шамрик, назначенный в наряд, заворачивает так вот за угол кремлевской стены (вместе с товарищами по службе) и здесь нос к носу сталкивается с Лаврентием Павловичем. Охрана Берии так растерялась, что получилось действительно нос к носу. Шамрик, например, всей кожей помнит, какой был мягкий бериев живот.

По-хорошему бы их за это должны были пристрелить на месте (хоть они, естественно, всем нарядом тут же вжались в кремлевскую стену). Тем более, догадайся Лаврентий Павлович (либо кто из его охраны), что у Шамрика и его товарищей пистолеты заряженные в кобурах лежат, – их бы, конечно, кокнули, не задумываясь. Они и потом не сомневались ни минуты, что им этот случай не спустят... Однако народному комиссару было не до того.

Произошел абсурд. Их не расстреляли.

– Да как же так: не расстреляли! А? – вроде бы даже сокрушится болван Нуль. (А голос у Нуля такой, будто он его на нрах отлежал).

– А то как же. Ага! – встревает въедливый Николай Иванович. – Не то ты не видишь: шлепнули и по камням размазали. И вот теперь Шамрик за пайком от самой стены приполз.

Шамрик смотрит на Николая Ивановича. Николай Иванович на Шамрика. И оба они (не сговариваясь, конечно) думают: а что, если прав этот дурацкий Нуль, и то, что они случайно живы и что их, восстановив из лагерной пыли, прикрепили к магазину, – что, если это все плод организованного спецсознания?.. Не точно этими словами, но приблизительно так оба и подумали...

Но только Шамрик наладился продолжать, Нуль говорит опять голосом мечтательного полудурка:

– А вот если б вас в том самом месте шлепнули, то наверняка бы схоронили в Кремлевской стене!

И тем самым окончательно сбивает Шамрика с толку. А ведь Шамрик должен был всем трем случаям резолюцию дать. Резолюция обычно дается такая: если из трех раз Шамрика все-таки не шлепнули ни разу, следовательно, Шамрик живой пример исторической правильности выбранного культа. В то же время, что также прямо вытекает из резолюции, Шамрик есть ходячая отповедь всем клеветникам на массовые репрессии народной интеллигенции, взятой вместе и одновременно с трудовым крестьянством.

Когда Шамрика заносит вот так, Николай Иванович его самым грубым образом осаживает.

– Что ты буробишь? – очень просто спрашивает он Шамрика. А смотрит еще проще – как на классового врага.

– А что я? А что?! – начинает сразу шариться Шамрик в громадном пальто, доставшемся ему недавно от племянника.

– А то, что есть уже сигналы: ты поперек линии все время прешь! – обжигает его (для остротки) взглядом Николай Иванович.

– Я!..

– А не то я! – вгоняет он по шляпку гвоздь. – Смотри, парень, допрыгаешься, такую тебе глубокую демократию покажут, забудешь, как маму с папой звать!

Шамрик кряхтит, обдумывая, при каких же это обстоятельствах подобное сможет с ним случиться? Нуль, как обычно, испуганно молчит. И Николай Иванович помалкивает.

Напротив, через дорогу, открывают наконец с лязгом двери. Проверая наличие документов и постукивая палками, они входят в магазин гуськом.

– О! Старая гвардия! И до сих пор строим, как учили! – из-за прилавка им кричит цыганистого типа молодой продавец Николай, который их обслуживает уже лет десять. Казалось бы, они старые-престарые знакомые. Николай Иванович (под хорошее настроение) зовет его даже не иначе как тезкой. Однако опять Николай Иванович в последнее время замечает: Николай в их адрес все более дерзкие вещи говорит. То кольнет, что Сталина проворонили, то прицепится: якобы они, как Иваны Сусанины, завели страну в болото.

Николай Иванович старается теперь не замечать колкостей, списывая их на большую разницу в политической культуре. Но сегодня продавец Николай повел себя как малахольный, при этом абсолютно неуправляемый. Разрубая мясо своим страшным топором, он скалит зубы, нервно как-то смеется, а, взвесив кусок, бросает его так на прилавок, что крошки в стену летят.

– Ну что, отцы-командиры? – кричит им, как глухонемым, Николай и обидно ухмыляется. – Скоро ли кончится ваша власть? Скоро ли, наконец, доедите вы свое мясо?

– Эй, полегче, мясник... – ошетинился Шамрик.

– Чего мясник? Кто мясник? Это я вам мясник? – навалился Николай всем телом на топор с широким лезвием. – Это вы мясники, курва, бля...

И полез с бслыми глазами на прилавок.

На крик из подсобки выскользнула маленькая опрятная женщина в белом, за ней какой-то небритый в грязном халате; они ухватили Николая за грудь и за локти, а тот рвался и кричал:

– Это я им мясник? Я? Я, когда они войска в Афган вводили, я им еще тогда говорил, про что теперь даже в газетах пишется! А меня с пятого курса вышвырнули за эти слова... Пустите! Я им объясню, чего они построили! Я им покажу мясника!

Николая увели. Но он и из подсобки кричал: «Собаки бешеные! Палачи! Какой народ загубили!...»

У маленькой женщины тряслись губы, но она собирала быстро-быстро какие-то пакеты, брикеты, консервные банки и умоляющим голосом Николаю Ивановичу лепетала: «Спокойнее, дедушки, спокойнее! У него, может, несчастье, я прямо не знаю. У него, может, чего случилось, а вы так...»

– Ах, это мы так! – лопнуло терпенье и у Николая Ивановича. – Это мы опять во всем виноваты!.. Да не суйте вы мне, пожалуйста, эти банки! Забирайте свои побрякушки себе! Я не затем, в конце концов, жил, чтоб и на старости лет из-за пайка дрожать!

И он хрястнул в сердцах о мраморный прилавок палкой. И палка тотчас развалилась на две неравные части. (А хорошая была, искусной работы, сын из Германии на семидесятилетие Октября прислал).

Брел домой, заметно припадая на больную ногу. И чаял только не протянуться на тротуаре. Где-то высоко-высоко звенели детские голоса: «Ой, смотри-смотри, дедушка пьяненький бежит!» – «Сейчас ка-ак брыкнется и будет вверх тормашками лежать...» – «Как мой папа!» – «Нет, как бабушкина свинья!...»

Придя домой, Николай Иванович не сказал ни слова и первым делом указал Прасковье Демьяновне на дверь. Она как будто этого только и дожидалась, ткнулась птичьей головой в вылинявший передник и там, в переднике, беззвучно затряслась. Николаю бы Ивановичу позвать ее, хоть в последний момент проститься, но как змеиное яйцо раздавил он в себе мелкое предательское чувство. Прасковья Демьяновна плакала и глядела на него, когда закрывала за собой дверь; а он того взгляда и не почувствовал, сунул таблетку под язык и застыл под солдатским одеялом на кровати.

Завалившимися глазами он бессмысленно следил, как старинные ходики неумоимо кидают туда-сюда медный почерневший маятник – между двумя овальными профилями, Ленина и Сталина.

То есть, собственно, Сталина не было (этот барельеф дисциплинированный Николай Иванович снял сразу

после съезда). Но темный круг въелся и остался; он зиял в стене неглубокой ямкой (как бы на месте вытекшего глаза). Серая, грубо оштукатуренная стена без глаза смотрела на него так, что у Николая Ивановича заломило внизу живота.

Маятник отмерял точные порции страданий, обрушиваясь исключительно либо налево, либо направо. Теперь уже, слышалось, старенький часовой механизм пиликал: Николай Иваныч, Николай Иваныч, Николай Иваныч!..

Николай Иванович оглядел скорбным взглядом свою комнату. И впервые, кажется, обнаружил, как она убога. Над кроватью, в ногах, висел устарелого образца плакат, закрывавший как раз то место, где штукатурка отвалилась. У окна стояла растопырка-этажерка (со всеми речами и собраниями). Пара неудобных довоенных стульев (с прямыми спинками) у двери. Маленький столик под изрезанной клеенкой. Фанерный шифоньер с мутным зеркалом (а на зеркале выцарапано: «Папа! С новым счастьем!»). В углу Парашин сундук с самодельным покрывалом. А над сундуком, вверху, располагались Парашины боги. Их Николай Иванович регулярной железной рукой свергал, а настырная Параша возводила спустя день обратно на возвышенье (когда Николай Иванович особенно сильно наваливался, Параша просто плакала и просила ей хоть уголок в жизни оставить; слабый, податливый Николай Иванович останавливался в растерянности и на время отступался).

Словом, комната имела специфический вид; ее словно бы изрядно били и в конце концов повытрясли душу. На каждой вещи имелся след таких физических мучений, что становилось кое-что понятнее и в самом хозяине.

Узкая и жесткая кроватка с железными колесиками как бы все еще устремляла его по инерции вдаль, по направлению к заманчивому горизонту. На плакате, на фоне мощной кукурузной массы, было некогда написано

про цель, к которой Николай Иванович взволнованно следовал все годы – сначала открыто и смело, а затем втайне от домашних, вроде чего-то стесняясь или стыдясь. Теперь цель было сложно разобрать, настолько выгорели буквы. Надпись почти растворилась в окружающей действительности, как растворяется облако эфира: под воздействием циркуляции свежего воздуха либо от влияния густых земных паров...

Николай Иванович нечаянно заснул и во сне часто-часто задышал, не в силах одолеть давящей тяжести. Лед проломился наконец. И, бултыхнувшись, пешня процарапала Николаю Ивановичу всю голову.

И тут ему, вне всякой связи, стало сниться, как их, троих или четверых зэков, поставили вскрывать могилу одного лагерного начальника.

Называлось это по-научному эксгумацией. А по-людски: приспичило кому-то в Москве проверить, естественной ли смертью начальник сдох или его свои и шлепнули?

Эх, да чего же было проверять? Вскрыли гроб, а там вроде никогда человека и не было: колыхнулось и потекло из гроба, как из парашаи...

Сняли шапки, постояли с минуту, как принято. А один из них, пожилой зэк (бывший спец из Киева) их всех поразил.

– Я человек неверующий, но это... – он даже рукой махнул для наглядности. – Это всего сильнее убеждает. Человеку вновь придется в Бога поверить – в том одном спасенье!

Николай Иванович после долго не мог на парашу смотреть. Как псих, зажмуривался сначала, а потом садился...

Дверь скрипнула. И от двери тихим, но настойчивым голосом спросили:

– Свиридов?

– Я! – вскинулся на кровати Николай Иванович.

– Ваша фамилия Свиридов?

– А вы за мной? – и у Николая Ивановича сами собой опустились ноги на пол.

Но это был сосед с нижнего этажа (кажется, учитель). Он открыл свой похожий на черный коробок портфель. И молча подал поздравительную открытку – от Сережи, ее случайно опустили не в тот ящик. Сосед как-то формально, торопливо поздравил его с наступающим праздником. Буркнул что-то невнятное на прощанье, а Николай Иванович заметался, каким бы его вопросом задержать.

– Эй, товарищ, товарищ! Стой!.. Вы, по-моему, партиец? – не найдя ничего иного, строго в рамках устава заинтересовался Николай Иванович.

– Да, – несколько насторожился сосед. – Я член партии... А что?

– Тогда можно я вас спрошу... как члена партии?

Сосед замаялся. И Николай Иванович презрительно подумал: если он еще спросит «А зачем?», то действительно незачем. Но сосед протер очки и сказал: «Можно».

– Тогда так. Первый мой вопрос, – наставил на него Николай Иванович дрожащий палец. – В чем вы сейчас видите революционный пафос эпохи?

Сосед улыбнулся краешком губастого рта.

– А что?

– То есть как «что»?

– Я говорю: что, без пафоса уже прожить нельзя?

– Так-так... – сказал как бы рассеянно Николай Иванович и тут же дал залп с другого борта. – А вы лично верите в учение Маркса–Энгельса–Ленина?

Сосед задумался. И надолго. А Николай Иванович знал, что задумается. У этих не то, что у прежних. У прежних (таких, как Николай Иванович) и на все трудные вопросы только от зубов отскакивало. Правда, сейчас Николаю Ивановичу иной, развернутый ответ получить хотелось... Но сосед был сух и краток.

– Если это ученье, то его следует изучать и с жизнью добросовестно сравнивать, – отвечал он грамотно. – А верить... Что же, прикажете в науку как в истукана верить?

Ответ, как ни странно, понравился Николаю Ивановичу.

И тогда он решился, спросил шепотом:

– А какой ваш научный прогноз: сбудется все ж таки коммунизм или не ждать его прихода?

Сосед присел на краешек стула, долго протирал очки, близорукими глазами изучая Николая Ивановича. Наконец дотер, наверное, до дыр. И осторожно, тоже шепотом, ответил:

– А вы ждете?

– Ага! – доверчиво открылся Николай Иванович, наклоняясь в его сторону.

– Ну так ждите, если ждете! – улыбнулся сосед, также к нему склоняясь.

– А вы? – оторопел Николай Иванович, будто его внезапно ударили в лоб.

– Видите ли... Как это ни болезненно для вас слышать, но виды на урожай, по-моему, не оправдались.

Они посмотрели друг на друга, одновременно распрямились и отодвинулись, каждый в свою сторону.

– А вот это как раз контрреволюция! – чуть-чуть замешкавшись, тихо определил Николай Иванович.

– Нет, ну почему это? – прищурился сосед, и молодые свежие щеки его слегка порозовели. – Давайте рассуждать логически. Если какой-нибудь ваш план оказался ошибочным, а я это понял и вслух...

– Ошибочными оказались репрессии! – гневно выкрикнул Николай Иванович ему в лицо.

– Ну, у вас абсолютно никакой логики! – уже покраснел сосед. – Ошибочно замучили! Неоправданно уничтожили! Необоснованно истребили! То есть вся промашка, что обосновали плохо? А так, в принципе, стоило и

мучить, и истреблять? Вы понимаете хоть, какую вы нам чепуху тридцать лет мололи?

Жилы на шее у Николая Ивановича вздулись, но он только сжался, не подал виду.

– Да вы и сами не верите! Вот же, сейчас, сейчас только сомневались? – вспомнил сосед и нервно засмеялся.

– О! Это я-то сомневался? Да я тебя так специально проверяю! – нашелся Николай Иванович и тотчас этому поверил.

– Ага! – машинально принял к сведению сосед и склонил голову набок. – В таком случае... и я на вас получил задание.

В комнате установилась минута нехорошего молчания. Стало слышно, как на кухне шлепают капли в белый череп раковины: «Бамс! Бомс! Бемс!»

– Какое задание? – дико посмотрел Николай Иванович. – От кого?

Сосед с шумом встал.

– Так мне не велят говорить, от кого! – сказал он мстительно. – Вот вы, от кого?

– Я...

– Вот...

– Я?! – заорал Николай Иванович.

– Вот-вот. Сказано проверить. Мы друг друга и проверяем, и проверяем.

– Ну, и что выясняется? – глядел на него тусклыми маленькими глазками Николай Иванович.

– Вы сами знаете, – опустил голову сосед (плечи его тряслись).

– И нельзя, что ль, поправить?

– Боюсь, нет. Поздно.

– Но вам же не обязательно все докладывать! – вырвалось у Николая Ивановича.

– Да? А вам? – посмотрел сосед с интересом. – А вам?

– Вы меня подозреваете, да? Я что, похож? Похож, да?

Сосед не сообразил даже, что именно он имеет в виду. А Николай Иванович заплакал. Нырнул мелким сморщенным личиком в корявые ладошки. Промокал слезы замусоленным штопаным рукавом... Он плакал, как многие старики плачут, от неумения подвывая тоненьким, сдавленным голоском: «И-си! И-си-си-си!»

Сложное чувство (и брезгливости, и жалости) выразило лицо соседа. Но Николай Иванович не видел этого, не видел он, как сосед отыскивал в грязном белье единственное сносное, какое-то серое полотенце, налил воды в подозрительно темную кружку.

Николай Иванович враждебным голосом сказал спасибо, простучал по металлу съемной челюстью. И сосед под этот аккомпанемент неслышно вышел...

Едва закрылась дверь, Николай Иванович повалился на больной бок и от бессилия заплакал, уже не стесняясь ничего. Он плакал, что не отыскивал нужных слов, чтоб поразить на месте этого наглого гада. Он плакал, что все оставили его одного и как раз в тот момент, когда начало потухать все-все вокруг. Он плакал, что душа почти до основания выболсела, не найдя ответа, что вот-вот еще и отмучается последний остаток – так и не разобравшись ни в чем, без прощенья и надежды.

Так за что в конце концов болело? За что мучилось?

– Господи! – жалобно, неуверенно спросил он под одеялом. – Гос-споди!

И сразу набросился на себя с последними словами. Как он мог, как мог такое выговорить!

Тут Николай Иванович вспомнил про открытку и ухватился за нее, прямо как за последнее спасение. Открытка же не содержала ничего. Сын, как правило, поздравлял его с очередным праздником, желая здоровья и счастья и долгих лет. Последнее почему-то уязвило Николая Ивановича сильнее всего: он так долго мучился, а этот еще и продлить желает!

Николай Иванович набрал сейчас же Москву и заказал. Дали Москву моментально. Николай Иванович дер-

жал сердито трубку около уха, а чей-то мертвый голос без конца бубнил: «Внимание! Связь по радиоканалу! Внимание...»

Слова позванивали в пустоте, проносясь над тысячами холодных темных километров. Николай Иванович подумал и расценил эти слова как объявление, что телефон прослушивается. Только не ясно, какая хитрость теперь про это открыто объявлять?

Когда их наконец соединили и сын радостно проорал те же свои глупые поздравления (они там всегда думают, что здесь все глухие!), Николай Иванович вновь оробел, но все-таки пересилил себя:

– Сереж, скажи, *он* ошибся?

Причем Николай Иванович сам расслышал, как его слова над примолкшей страной пролетели камнем.

В ответ в трубке забулькало. Удивительное дело, но Сергея даже не заинтересовало, кто он? Едва бульканье прекратилось, Сергей зачем-то второй раз спросил про здоровье. Однако Николай Иванович упрямо гнул свою линию.

– Нет, ты скажи: неужель он ошибся?

– Ну, а кто в жизни не ошибается? – мямлил по какой-то причине сын. А ведь обязан отвечать хотя бы по должности: коротко и ясно!

– Ты хочешь сказать, что...

– Я хочу сказать: не сходи с ума, папа! – занервничал Сергей.

– Значит, мы сошли с ума, по-вашему?

Нет, со своим твердолобым упрямством старик, как всегда, был просто невыносим. Совсем не думает, что говорит. И всю жизнь так: вынь ему и положишь щас жа!

– Я повторяю: не сходи с ума, это не телефонный разговор.

Николай Иванович растерялся.

– Так в какую дырку нам деться, если по телефону нельзя?

Здесь сын смягчился. Голос его потеплел. Сын отца горячо заверил – но не в том, в чем он теперь вот как нуж-

дался. А в том, что вот-вот, и ему, кажется, предоставят очередной отпуск. Надо только потерпеть опять немножко.

– Сколько же еще терпеть! – бухнул он ни к селу, ни к городу.

Оказалось, терпеть осталось совсем чуть. Либо к Новому году все разрешится. Либо к весне – и уж это точно.

Николаю Ивановичу стало все-все понятно.

Вот оно как...

Они даже и не пытаются разубеждать!..

Что ж, до весны он не дотянет. Да он и до Нового года не дотянет. Конечно, Николай Иванович Сереже не скажет ни слова про это. Они распрощаются, и сын не узнает, что прощались они в последний раз.

Николай Иванович посидел-посидел. Вспомнил про соседа. По инерции прикинул, что и у него, у Николая Ивановича, имеется на соседа компромат... А когда опомнился, ясными глазами окинул комнату. Плюнул со злобой в стену. И пошел в санузел, выпрастывая ремешок из брюк.

Получилось то, чего он как раз и боялся. Его трогали руками, тискали, тыкали пальцами и палками в рыби глаза. (Гляди-ка, какой красавец-помещик! Вместе с головой потянет пуда на три!) А ведь он все знал заранее. Он знал, что спасали его не для того, чтоб он жил. А для того, чтобы им, Николаем Ивановичем, продлить свою жизнь и питаться.

Если он там задыхался без воздуха, то здесь свежий чистый воздух ему просто грудь разорвал.

...Его окровавленную морду поддевали носком сапога.

На берегу окровавленная Полина целовала ему сапоги (он морщился и отворачивался) и христом-богом просила никому-никому ее не отдавать.

Она говорила немыслимые вещи! Все, что она утверждала, не укладывалось ни в какие рамки! Да слышанное ли это дело? Он рабочий-партиец. А она кто? Дочь кровопийцы-богача!

Правда, он тоже тогда немного поплакал вместе с ней (сказалась политическая дряблость). И он даже ей поддался, от классового долга отступил. Сошлись, что ее младший брат должен отбиться от семейства. А уж там Николай Иванович его как-нибудь прикроет. Как говорится, соломой затрусит.

Словом, и тем и этим он тогда угодил.

Они были с Полиной ровесники (обоим лет по двадцать, самая пора!). Он сильно-сильно ее любил и крепко-крепко целовал. Она звала его ласковым Колюшкой. А когда сама потом целовала сапоги, то смотрела ему снизу прямо в глаза (он отворачивался) и хрипела:

— Николай Иваныч! Николай Иваныч!

Полина! Жизнь его единственная! Он все понял, ох, как он все понял! Он бы сейчас за тобой прополз тысячу верст на брюхе. Он бы, доведись, за тебя глотку кому угодно перегрыз!

Нет Полины. Одни белые косточки. Серое, вовеки неродное небо над ними. И некого, некого, некого грызть...

Его потрянуло так, будто сквозь позвоночник пропустили электричество. Гнилой ремешок оборвался, Николай Иванович неловко упал и ударился всем телом и больным боком об унитаз (этим же боком он ударился, когда его сбросили с нар). Он стонал и всхлипывал, пока не забылся...

...Через час приблизительно он притворил аккуратно за собою дверь в санузел. А когда зашел в комнату, вода вслед ему злобно заурчала.

Трясущимися руками Николай Иванович вернул бов на место. Николай Угодник посмотрел на ного жи-

выми глазами с укором. Но смолчал. Сталин же на него и не поглядел; он начал добродушно следить выпуклым бронзовым глазом, в какую сторону качнется стрелка. С противоположной стороны на стрелку смотрел другой человек; по идее, их взгляды должны были встретиться, но этого никак не получалось: каждый, отрешившись, бросал и бросал взгляды в свою даль, мимо друг друга и мимо Николая Ивановича.

Окна заливались дождем, как горячими слезами. Николай Иванович в первый раз вспомнил о Прасковье. Господи, как это он смог забыть про нее?

Николай Иванович шел по пустой улице по направлению к пищекомбинату (где он работать начинал). Он шел под дождем и кричал страшным голосом:

– Параша! Параша!

Кто-то невидимый гоготнул из темных ворот подготовительного цеха:

– Дед! Обоср..., что ли?

Она находилась возле подготовительного цеха, на краю склизкой ямы. В яме, глубоко-глубоко, бурлила и пенилась коричневая жижа. Там, в жиже, всем и предстояло лежать. Сваебой, невзирая на дождь, с оттяжкой всаживали в жижу бетонные сваи. Адским огнем вспархивала сварка, освещая мертвое, с косенькими глазами, милое лицо. Что Параша умерла, Николай Иванович догадался сразу. Но он закрыл заботливо пиджаком то, что осталось от нее, и сел рядом.

Он сел рядом. Они были вместе, и им теперь было не нужно никого. Он сел рядом. И стал терпеливо ждать, поглядывая то и дело в серые небеса. Ведь придет когда-нибудь время, откинется вверху здоровенная дощатая крышка, и его призовут громовым голосом (не могут не призвать):

– Свиридов? Восстань!

– Я! – шепнет он, но ослушается, не встанет (единственно, чтоб не потревожить ее).

– Свиридов, ты готов?

- Готов!
- Так чего же ты там телишься?
- И вот тогда он ответит с ликованием:
- Господи! Я не один! Мы с Парашей!

АФАНАСЬЕВ Александр Васильевич родился в 1954 году в г.Грязи Липецкой области. Окончил Воронежский государственный университет. После его окончания работал директором сельской школы. Затем ушел в журналистику: редактор местной молодежной газеты, корреспондент «Комсомольской правды» по Алтайскому краю. В настоящее время ее политический обозреватель. Живет в Москве.

ПОЭТЫ ИЗ АССОЦИАЦИИ «КАМЕРА ХРАНЕНИЯ»

Все авторы являются членами ассоциации литераторов «Камера хранения», что и дало название сборнику, вышедшему в 1989 году. В рамках этой ассоциации за несколько последних сезонов в Ленинграде был проведен ряд поэтических вечеров на разных площадках (Дом ученых, Дом актера и др.), в которых участвовали и некоторые другие ленинградские поэты. Сборник «Камера хранения» – первая издательская акция ассоциации. Сейчас готовится следующий выпуск, вероятно, под тем же названием.

Олег Ю р ь е в

ЗДЕСЬ

Как в строку Норд, так сразу Зюйд на ум.
Так же здесь: запах парусины
Да водометный, вероломный шум
От лавра русского – осины,
Да так же тесны здесь витки –
Одним и тем же грех и смех возмездны
Здесь, здесь, на расстоянии руки,
В прозрачной раковине бездны;
И так же в язвах облаков
Сукровка сквозь отрепья брезжит...
Лишь адский зуммер не таков,
Каков он был. – Теперь он скрежет.

1985

ОДА

«...человек... странная полость...»

Р.Музиль

Человек, эка странная полость! –
С красно-черной подкладкой мешок! –
Там кружит заварная веселость
В золотых ксилофонах кишок,
И раскрашенный, страченный воздух,
Что застрял в костяных веерах,
И уже не прознает про отзвук
Свой – вселенный колеблющий прах.

1985

* * *

Золотого кислорода
Кругло-черная тюрьма: –
Только небо здесь природа
Да немногие дома,
Да немногие деревья,
Да немногая река,
Да мякнущие у изголовья
Исаакья облака.

Ветры с пикою златою
Скачущие на встру,
Все пахнущие кислотою,
В безрукавках на меху –
Бьют в решетчатые сени:
– Раскрывайте-ко острог!
Речь о свете и спасении,
И с того не меньше страх!

Как раскроются ворота,
Она выглянет, сочась:
– Да, конечно же, я природа,
Но не здесь и не сейчас...

1985

* * *

Луны недолгие глаза.
Китайские ее усы.
Но знаю я: еще нельзя
Глядеть на смертные часы,

Ведь Север не сошел на Юг,
Ведь лист не возвратился в пресс,
И ведь земли лазурный лук
Не прободил листву небес;

И явственней, чем поворот
Короткой грани мировой,
Болван клюет наоборот
Зыбко-продольной головой.

1986

ПРОСТО СТИХИ

Глядит в Луну квадратная река
Сквозь ослепительные облака.
Взросли дома, а отраженья их
На легких звездах вытеснены мелко;
И так зима – проклейка и побелка –
Встает в гроши, в невытесненный стих.

К чему стихи? Пора уж и начать
(Раз легким в тягость сладкий смрад бумаги)
Писать снежком по черной невиской влаге
И тайным звездам отдавать в печать.
Так делают леса, и города,
Особенно же наш. Но вот беда...

1986

* * *

Рвется ветер у клена в горсти,
Напружая воздушные мускулы...
– Погости еще здесь, погости!
Ты ж не знаешь – на счастье, на муку ли
Ты с зеркающих туч низошел,
Раскружася юлой нестихающей,
Расстилая расплавленный шелк
По реке, твердым телом вздыхающей.

Погоди еще чуть... Погода –
Никуда всё одно ведь не денешься! –
На кривой позвоночник дождя
Ровно плотно платье наденешься
И оставишь у клена в руке
Пустоты безвоздушное месиво
И крутящийся в коготке
Блеск зеркальный, тускнеющий вссело.

МИР-МЫЛОВАР

И сколько б ты жизнь – говорю же я! – не миловал,
И сколько б ты не пил из извечно сухой ладони,
А пускай бы и допил, чего уж... – мир-мыловар
Уволочет всё одно ее в своем черном фургоне.

Видишь? – приотставшего дыма лысеющее кольцо,
Передергивающаяся спина прихрамывающего

мыловара

И она, что взглядом прощальным в твое другое лицо
Его навеки отмеловала.

Свет очищенья, очерк иного дня
И перекрещивающиеся лучи на темном всё еще теле –
Вот что останется – говорил же я! – от меня.
Всё, что останется в памяти и на прицеле.

1987

ОКТЯБРЬ

...Да, у садов у оборванцев
Совсем не стало на руках
Сыро-шуршащих карбованцев
В распарывающихся тюках.

Лишь воробья слоистый шарик
Покачивается на локте
Да волглым оком сумрак шарит
В освобожденной пустоте.

1987

БЕЗ УЛИССА

1

Весна в стране, где нет весны,
Хоть и не в силах там остаться,
Но нехотя нисходит в сны
Протея, первого кронштадца.

На прытком противне волна
Его мослы мусолит, хныча, –
Одна всё та же дрожь-блесна
Рябит из каждого обличья;
Один всё тот же страсти гнет
Вращает превращений обод,
Что в зелье пеңном ни мелькнет:
То лодки бок, то спрута хобот,
То рыба нежная щека,
То рабья скривленная морда...

А там, где место Маяка –
Безглазая громада форта...

2

Глядит из колкой глубины
Туда он, где, рекой распорот,
Как Пифагоровы штаны,
Разползся златобедрый город.
Три вска здесь копили плоть,
Но всё сие во мгле, в начале...
И македонец, вздевши плеть,
Печально скачет на причале.
Редееет кожаный гранит
От беглой кровки бормотанья, –
И старец нас не охранит,
В волнах меняя очертанья.
О Боже наш, верни свечу
И участь верную означь нам...
Я заплачу – я замолчу
Молчаньем, плоти равнозначным,
Желанья нечего жалеть,
Раз меч его не будет жалить...

Но мир отменит ли мелеть,
Наращивать больную налечь?

1989

ЮРЬЕВ Олег Александрович. Родился в 1959 г. в Ленинграде. Поэт, драматург, прозаик. До недавнего времени ничего из написанного напечатано не было. Только в прошлом году несколько пьес были опубликованы и поставлены в Москве и Ленинграде. До сборника «Камера хранения» стихи нигде не печатались.

Ольга Мартынова

* * *

Полотнище в крупный горошек дождя
Висит между домом и садом,
Скрывая от нас изваянье вождя,
На дом наш глядящее задом.

А душен был день, и когда разомкнул
Перун оловянные своды,
Наш маленький сад благодарно вздохнул –
Дитя многодетной природы.

И птицы в моем отразились окне,
Крича про душевные раны...
Цыганки-вороны, поведайте мне,
Где вороны ваши – цыганы?

1982

Мой мир не населен. В нем воздух так прозрачен,
 В нем так свободно звук несет себя, а цвет
 Ни тенью ни одной, ничем не обозначен. –
 И нету отзвука. Да уж и звука нет.

1984

ВЫРИЦА

Мир лоскутный, пестрядевый,
 Он же – на экране сна,
 Он же – светлый рай медовый,
 Светлобокий, как блесна.
 Мох растет неаккуратно,
 Ходит рыба под водой,
 И скрипуче, непонятно
 Крикнет птица троекратно,
 Невидна во тьме седой.

Дождь прошел, на листьях глянец,
 Лужа через край течет...
 Вдруг цыганка с возу глянет
 И сережками качнет.
 Воз проедет, и дорога
 Повернет, и ночь придет.
 Жизнь, уставшая немного,
 Нити грубые прядет.

Время ткет. И пестрядевый
 Мир приковывает взгляд;
 На короткий рай медовый
 Свой лоскутный, свой дешевый
 Примеряет он наряд.

1985

ЗЕРКАЛО

Что делать: вспыхнувшая память
Сжигает времени кислород,
И ноздреватым снегом таять
Вдруг начинает перегород-
ка, Что враскала в алые зерна
Дней, лепивших гранатовый плод –
И в пустоте внезапной и черной
Вместо нее зеркальный лед:
И тупо ты каждый шаг повторяешь
Зеркального мертвого двойника,
И тусклое зеркало протираешь,
Не зная: твоя или чья? – рука.

1987

* * *

Мне снилось под утро, что я умерла,
А душная ночь была.

И мне ничего не приснилось потом,
И это было страшней,
Чем видеть в воздухе завитом
Незнакомые лица теней.

1986

ТОПОЛЬ

Ворона – креповая повязка
На тополином согнутом рукаве.
Воробьи – в ладони его, как связка
Ключей. И метель в его голове.

И вот – он кладовщик, он застигнут
В траурном движении своем,
Когда вверх дном опрокинут
Его (не его, он его охраняет) дом.

Всё – мыши сухое шуршанье
В прошлогодней листве и сама листва,
Гальки мелкое бормотанье,
Корешки, ростки, небо, дождь, трава –

Всё опрокинулось и застыло
В состраданьи. А кругом чернота, пустота.
Жаль ему года. И всё уже было, всё было,
А он должен сверять счета.

1988

ПЕСНЯ

Всюду, Господи, сверкает
От лозы Твоей вино.
Вот оно с куста стекает,
Вот в реке кипит оно,

На устах моих румяных,
Жаждой мучимых Твоей,
Столько этих капель пьяных,
Больше, чем у жизни дней,

Но на языке лукавом
Только пресная вода,
Он в хмельном соку кровавом
Не купался никогда,

Дай напиться мне однажды
И заклятье отведи,
Столько жара, столько жажды
Я ношу в своей груди!

Пьяны горы и поляны,
Пьяны птички и жучки,
Только люди – те не пьяны,
Трезвые у них зрачки.

Коль и мне не выпить с ними
От вина лозы Твоей,
Сделай жажду нестерпимей,
Воду – соли солоней.

1989

ИЕГУДА ГАЛЕВИ ПОСМОТРЕЛ НА НЕБО И УВИ-
ДЕЛ ДЕВУ-НОЧЬ В ПЛАЩЕ, РАСШИТОМ ЗВЕЗДА-
МИ, А ОНА, ЧТОБЫ ПОШУТИТЬ НАД ПОЭТОМ,
ВЫВЕРНУЛА ПЛАЩ НАИЗНАНКУ...

...Затерянной запятой,
Не находящейся места,
Месяц стоит золотой,
Отбившийся от текста,
И темень стоит кругом,
Как будто бы негритянка
Звездным своим плащом
Укрылась, но нам – изнанка,
А теплomu телу – свет
Холодных, колючих литер...

А вдруг ничего там нет,
А только танцует встер?

Но видел Галеви лик
Черной грозящей девы
И сердцем к ночи приник...

Но, сонмы ангелов, где вы?

И глядя в родную ночь,
Я говорю: Постой,
Я страх могу превозмочь,
Но что там, за запятой?

1989

МАРТЫНОВА Ольга Борисовна. Родилась в 1962 г. в Ленинграде. До сборника «Камера хранения» стихотворения не печатались – если не считать переводов.

Дмитрий З а к с

* * *

Слышал звон – и что же? – нету...
Видел день – да где же? – рядом...
Вслед огню, навстречу свету
Я глядел, и с каждым взглядом

Вслед огню, на запад ночи
Там, где черный воздух лишний,
Солнца золотые мощи
Видел среди снежных линий...

Прожит, нет ли, день? – не знаю, –
Пахнет снегом, пахнет миром –
С каждым часом замерзаю
В этом рае, с каждым мигом.

февр. 1985

ЕЩЕ..

Еще так низко никогда
Заката скользкая лучина...
И эта красная вода –
Душа зимы, огня и льда
Еще несносней не горчила.

И никогда еще не мог
Так много знать о тьме и ночи
День, уходящий под замок
Сквозь воздуха прозрачный мох
Во все невидимые очи.

И никогда еще нигде
Зима столь страшным изваяньем,
Во всей стеклянной наготы,
Что даже сумерки – и те
Ее не стали одеяньем.

А глянешь в страшное стекло,
И что же – нету ни изъяна
Во всем, что тёмно и светло,
Что белым снегом отекло,
Что этой красной влагой пьяно.

февр. 1986



Как, в сущности, перечень краток
Всего, что на света склады
Навалено, словно остаток
От странной, прошедшей беды.

Как, в сущности, краток и полон
Творенья подушный реестр,
Как воздух разъеден и солон,
Как рощи нескладен оркестр.

Как сумерек странно волнение,
Как снега непрочна финифть,
Как странно чужое хранение
До новой беды сохранить,

И видеть промерзшие зданья,
И, греясь у снежных печей,
Прекрасные помнить названья
Прекрасных и страшных вещей,

Торчащих из странного мира
В прекрасном развале его;
Как странно названий помимо
О них не узнать ничего.

1987



Средь кленов избранных, среди званных тополей
Как все, очнулся я, неизбран и непризван, –
И, как и все, вступил сквозь черный ход аллея
В проклятый здешний рай, к каким-то снам и тризнам.

И я вступил, как все, и всё отдал в залог
Теням прилипчивым при обыске у входа,
Все кости хрупкие, весь детский крови ток,
Все знание ветхое ее простого кода,
Все сердце жалкое...

Я не боюсь за них.
Что отдано – вернут, лишь миг на сборы нужен...
Другое страшно мне: тупик аллей сквозных,
И я спиной к нему, и жив, и безоружен...

1988

ЗАКС Дмитрий Михайлович. Родился в 1961 году в Ленинграде. До сборника «Камера хранения» стихи нигде не печатались. Публиковались переводы в журналах и книгах.

Валерий Шубинский

НАША НОЧЬ

Желтоватый, латунный
Цвет зимы, её сердцевины,
На которую шарик лунный
Смотрит в свой глазок половинный.

Сизый, серый, холодный
Полублеск её, очерк ясный –
Всё съедает почти бесплотный
Звук, как птичье сердце, прекрасный.

Мир, похожий на рыбу,
Треугольный, мокрый, дырявый,
Стережёт темноты изгибы,
Ни на что не имея права.

Подожди хоть немного!
Задержи хоть на миг дыхание –
Свет с изнанки чёрного рога,
Треск и цокот за пёстрой тканью,

Расходящийся шорох
Полустгнившей нити коснётся,
И – мигающий мягкий морок –
Треугольный мир разорвётся.

Раздражённая нота
Перевьёт эту тьму простую
И сожжёт ее. Оттого-то
Так прекрасен, сгорев вчистую,

Душный, бурый, кирпичный
Мир с изнанки глаза незрячей,
Весь забрызганный кровью бычьей –
Зимней ночи кровью горячей.

1989

НОЧНЫЕ СТИХИ

1

Кривые деревья за домом
Всё кроют небесную ткань,
Всё дышат каким-то знакомым
С младенчества, жгущим гортань
Безжизненным запахом; хвоя,
Сжимая пространство в горсти,
Бормочет про что-то живое,
Что должно, но поздно спасти.

И там, над ветвями гнилыми,
Я чувствую – сходит на нет
Твоё продолжающий имя
Огромный меж нами и ними,
Меж ними и нами просвет.

Но если тугими корнями
Беззубую твердь разорвёт
И бездна сырыми слоями
Под кожу и в сердце войдёт,

Ты станешь её отраженьем –
Петляющим сердцем огня,
Губастого дыма скольженьем,
И всем, что не любит меня,

И тенью цветка ядовитой,
И ночью, пошедшей на слом,
И птицей, осколком убитой,
И тьмою, разъятой стеклом,

И каменным садом, в котором
Мы были однажды во сне –
Одни перед терпким позором
Растений, лепечущих хором
В громоздкой его глубине.

2

Концы ветвей раздражены,
И смертная ползёт надсада
Из этой тусклой глубины,
Из сердца вымершего сада.

А мы от них в ничьём дому
Отторгнуты дырявой тканью,
Что бьётся, вторя твоему
Сбивающемуся дыханью.

И так телесен их ожог,
Так носится меж чёрных клёнов
Пылинка – воздуха движок,
Исчадие ветров наклонных,

Пространств истраченных сестра,
Высот иссеченных частица,
Как будто им пришла пора
Рассеяться, развоплотиться.

И ты почувствуешь сквозь сон,
Что где-то в сердцевине эха
Последний отзвук возвращён
Назад, как крик внутри ореха.

И сразу наступает день,
И наполняет воздух вялый
Природу, и скрывает тень
Пространства дряхлого провалы.

1989

СТАНСЫ

Как розовый гомункулус в сосуде,
Я выращен в зловонном изумруде
В предсердии чудовища. Зима
Была стеклянной на Саарской мызе,
И гулче воздух, но не ближе выси,
В чьих прорезях оттаивала тьма.

По смерть, я думал, сумрак броненосный
Впитал ветвей расплеснутые космы
И каменное рубище. Сердца
Деревьев бились в ужасе – казалось,
Чудовище по-птичьи улыбалось,
Поигрывая змейкою дворца.

И что ни ночь, вставали сны цепные,
На юг летели кони ледяные,
И мертвой птицы плоское крыло,
Затмив полнеба, громыхало жестью.
И мы дышали обветшалой честью
И щупали бугристое стекло.

Меня недаром в звуковой могиле
Кормили тленом и огнем поили,
Не зря пытали светом и теплом.
И в этой жизни, трепетной и жесткой –
Как дверь в стене под краской и известкой
Я как бы кожей чувствую пролом.

Я мерзну в предвкушении провала
Во все, что мне зима нарисовала
Мазками шевелящихся теней.
А вечность не нуждается в поклонах –
В ней нет ни речки, ни холмов зеленых,
Она черна. Но музыка черней.

1989

HEMOTA

Лишённый мер и очертаний,
Бессмысленно-молочный лес
Кой-как пророс в сыром тумане
И в дымной нежити исчез.

Беззвучен мир, лишённый строя,
В угрюмом равенстве своём,
Где только дерево гнилое
Кричит изъеденным стволом,

Где только птица, пролетая
Во тьму и замертво упав,
Несёт на перьях отзвук рая –
Ночную песню сорных трав.

Лишь напряжённый слух осколка
Способен различить во мгле
Крик оборотня или волка,
Птенца в дупле, червя в земле.

Но есть провальные мгновенья,
Когда и твердь полумертва,
И в листьях – лепет отчужденья,
И дышит холодом трава.

Тогда, по грудь в густую жижу
Войдя, из тьмы глухонемой
Я чувствую удар, и вижу
Огонь, и слышу голос мой.

1989

* * *

Ангел – захватчик чужого гнезда,
Выпадыш с той стороны небосвода,
Как оскорбительна эта свобода
Ржавых сиреней, льняного пруда,
Воздух из воска и тучи из мёда –
Свет подымается с чёрного хода,
В жёстких постелях не спят города.

Вот где ты было, бессмертье моё,
Вот где обида моя обитала,
Тени, пространства, огня не хватало,
Весь-то секрет – обмануть забытьё,
Спрятать всё то, что пьянило, мерцало,
Выковать мокрую ночь из металла
И навсегда позабыть про неё.

Северной полночью в каждой черте
Жизни, достигшей последнего края,
С пёстрых тычинок пыльцу собирая,
Я поднимаюсь к её высоте,
К незастеклённой окраине рая,
Ибо дыханью доступна вторая,
Бедная жизнь на бумажном листе.

Запоминай же любую черту
Ночи, замёрзшей в древесной светлице,
Как и напарник её круглолицый,
Фотографирующий на свету
Всё, что привиделось рухнувшей птице,
Прежде чем я обернусь на границе
Яви и сна по пути в пустоту.

1989

Г.Ф.

На какой бы ты ни был орбите –
Ломкий луч, расщепленный в стекле,
Рвущий небо в бессильной обиде
На бессмертие – здесь, на земле,
Ты с какой-то насмешливой лаской
Наклоняешься к жизни моей,
Ты со мной забавляешься пляской
Бесноватых, глазастых вещей.

Слишком тесно в пустых коридорах
Этой круглой вселенной. Тесней
Там, где прах твой – не пепел, а порошок –
В шевелящейся черни за ней.
Гулкой черни, где плачет и дышит,
Помня всех, никого не любя,
Злая нота, которая выше
Сна и смерти, меня и тебя.

Со вселенской разобранной крыши
Наклоняется кто-то, трубя
Злую ноту, которая выше
Сна и смерти, меня и тебя.
Только клёнов в доспехах истлевших
Утончаются руки во сне –
Твёрдый цюпот отпавших, отпевших
Стылым дымом стоит в глубине.

Это беглая звёздная ласка
Кропотливую жизнь обожгла.
И спадает, потрескавшись, краска,
Обнажая сгоревший дотла
Чёрный мир из огня и стекла.

1989

ТРИ РАССКАЗА

СВАМИ ГОВОРИТ АВТООТВЕТЧИК

Неврозов и его жена Катя жили на улице Советской. Жена Катя работала автоответчиком в кинотеатре «Красный пролетарий». Целыми днями она валялась на диване, курила дорогие сигареты, читала потрепанные детективы и, если звонил телефон, снимала трубку и металлическим голосом отвечала: «Свами говорит автоответчик. Сегодня в таком-то кинотеатре на таком-то сеансе такой-то фильм».

В этом заключалась вся ее работа.

Рядом с ней на диване валялся Неврозов. Он не курил дорогих сигарет, не читал потрепанных детективов и не отвечал на телефонные звонки. Неврозов просто лежал и смотрел в потолок.

При этом он думал: «Я смотрю в потолок».

Но, в отличие от своей жены, Неврозов быстро уставал лежать и, чтобы как-то размяться, шел на улицу Большевиков.

На улице Большевиков находилось его любимое кафе. Кафе называлось «Сюрприз». В прошлый раз в качестве сюрприза у Неврозова был дохлый таракан в салате.

На этот раз в стакане с кофе плавала живая муха.

«Муха плавает», – думал Неврозов.

«Как глупо, – думала муха, вяло перебирая лапками, – утонуть в несладком кофе».

Неврозов выловил муху пальцем и отщелкнул в сторону. Муха больно ударилась головой о стену и чуть не потеряла сознание.

Неврозов выпил кофе и пошел на вокзал. Он решил уехать.

Кассирша в кассе спала, положив голову на согнутые в локтях руки. Ей снилось, что она Клеопатра.

Неврозоз разбудил кассиршу, купил билет и сел в поезд.

Поезд поехал. За окном была Россия.

«Россия», — думал Неврозоз.

Когда наступила ночь, Неврозоз все еще смотрел на Россию, но видел только свое слабое отражение на стекле.

«Это я, — думал он, — Неврозоз». На следующее утро Неврозоз приехал в город своего детства.

Здесь он родился; здесь и умер.

Того, что он уже умер, Неврозоз не знал.

А родился он так. Презервативов в аптеке не было. Отец Неврозоза решил попробовать с детским воздушным шариком. В самый ответственный момент шарик лопнул.

Но это еще не все.

В местном книжном магазинчике продавались только материалы очередного съезда, пособия по овощеводству и справочники по цветной металлургии. Поэтому мать Неврозоза каждый день, наклоняясь над раковиной, с удивлением думала: «Ну, позавчера я, положим, отравилась жареными грибами, вчера — маринованными помидорами, а сегодня-то чем? Компотом?»

Вот после этого Неврозоз появился на свст и пошел в детский сад на улицу Ильича.

Время замкнуло свое кольцо, и Неврозоз снова шел в детский сад на улицу Ильича.

Но детского сада на улице Ильича не было.

На втором этаже, где размещались столовая и комната для игр, теперь находился городской суд. А на первом, где некогда располагалась спальня, процветал кооперативный мясной магазин.

В суде кого-то судили.

В мясном магазине мясник рубил мясо. Кровь брызгала во все стороны.

– Осторожнее, – воскликнул Неврозов, – вы меня обрызгаете кровью.

– Ты и так весь в крови, – сказал мясник.

«Это он так шутит», – думал Неврозов.

– Это я так шучу, – сказал мясник. – А вообще-то у меня тонкая и ранимая душа мечтателя. Знаешь, чего я больше всего на свете хочу?

Неврозов не знал.

– Стать разноцветной бабочкой и порхать с цветка на цветок, – сказал мясник. – И чтобы вдали непременно виднелся лес, блестела речка на солнце...

Он замолчал. Молчал и Неврозов. Пока они молчали, было слышно, как наверху строгий судья приговаривал кого-то к расстрелу.

– А вместо того, чтобы порхать, – сказал мясник, – я рублю мясо.

– Вы знаете, – начал сбивчиво объяснять Неврозов, – здесь был детский садик. И я маленьким мальчиком...

– Еще бы не знать, – перебил его мясник. – У меня имеется картотека на всех детишек.

Он полез в ящик стола и достал толстую тетрадь, захватанную кровавыми пальцами.

– Вот, – коротко, но с гордостью пояснил мясник. – Кто кем был; кто кем стал. Хобби у меня такое. Понятно?!

– Понятно, – ответил Неврозов, и сердце его бешено заколотилось.

– А скажите? Лара. Лариса Попова есть в вашем списке?

– Лариса? – слюнявил палец мясник, перелистывая страницы.

– Лара, – мечтательно шептал Неврозов, закрыв глаза.

...хрупкая девочка в белом платице... огромный розовый бант в волосах... удивленные карие глаза... тихий осенний парк... вкус первого поцелуя... Лара...

– Попова, – нашел нужную строчку мясник. – Один ребенок, два развода, три любовника, четыре аборта.

– Не может быть! – ахнул Неврозов.

– Пишите адресок, – усмехнулся мясник.

...Лариса стирала свое нижнее белье. Перед ней стоял эмалированный таз с грязной водой.

– Неврозов, – громко хохотала она, обтирая о передник толстые натруженные руки. – Я сейчас сдохну!

«Господи!», – думал Неврозов, глядя на некрасивую женщину с двумя подбородками.

Затем они пошли в кино.

Фильм был советский. На экране все мучились и поэтому постоянно орали друг на друга. В конце фильма один из героев повесился.

Лариса в темноте наклонялась к уху Неврозова.

– Дорогой, – шептала она, – какой у тебя оклад?

На улице падал снег.

«Снег падает», – думал Неврозов.

Они возвращались из кино. Лариса говорила о поносе. Прошли улицу Советскую. Лариса говорила о поносе. Прошли улицу Большеви́ков. Лариса говорила о поносе. Вышли на улицу Ленина. Лариса говорила о поносе.

– Лариса, – не выдержал наконец Неврозов, – ну что ты все время говоришь о поносе.

– Неврозов, – сказала Лариса презрительно, – ты – ханжа!

Потом они лежали в кровати.

Неврозов смотрел в потолок. Потолок был точно такой же, как у него дома.

Неврозов думал: «Я смотрю в потолок».

Лариса заигрывала.

– Сегодня я сделала тебе подарочек, – щекотала она живот Неврозова указательным пальцем. – Противный мальчишка.

– Это я тебе сделал подарок, – вяло отвечал Неврозов.

– Неврозов!! – пронзительно кричала Лариса. – Ты – нахал! Тебя переехал танк!!

Неврозов не понимал.

– Какой танк?

– Такой, советский. По городу проходила колонна танков. Один взял да и переехал тебя.

Неврозов не верил. Ехал за город. На кладбище.

Все оказывалось чистой правдой.

На скромном надгробии были выбиты золотые буквы: «Горячо любимому Вадику от папы и мамы».

Вадиком звали Неврозова.

На эмалсвом портретике был изображен маленький мальчик с испуганными глазами, в коротеньких штанишках на ляпочках.

На могиле зеленела травка.

«Значит, я умер», – грустно думал Неврозов.

Его мысли приняли оттенок бренности.

«Еще вчера шел снег, – продолжал грустно думать Неврозов, – а сегодня на моей могиле зеленеет трава. Как быстро уходит время. Меня уже нет, а на земле всё по-прежнему. Трава зеленеет. Облака плывут. Выходит, я не нужен?»

Неврозову стало так же тоскливо, как герою фильма, который повесился.

У входа на кладбище стоял междугородный телефон-автомат. Неврозов нашел в кармане монетку. Набрал свой домашний номер...

– Катя! – кричал в трубку Неврозов. – Катя, я умер!

– С вами говорит автоответчик, – металлическим голосом отчеканила жена. – Сегодня в кинотеатре «Красный пролетарий» веселая американская кинокомедия...

– Катя!! – рыдал в трубку Неврозов. – Мне так плохо! Я одинок! Катя! Меня переехал танк!! Катя!!! Катя!!!!

– ...в фильме заняты звезды мирового...

– Катя, – шептал в трубку Неврозов, – Катя, Катя. Связь перервалась...

Неврозову захотелось прижаться пылающим лицом к прохладному стеклу. И стоять так... минуту... другую... вечность...

Но все стекла в телефонной будке были разбиты, Светило солнце.

За кладбищем виднелся лес, блестела речка... Разноцветная бабочка порхала с цветка на цветок...

«Мясник», – думал Неврозов.

МЕЧТАТЕЛЬ ЗАБОРОВ

Мечтатель Заборов любил летать над землей и мечтать. Сосед мечтателя Заборова, отставной полковник, который видел всех насквозь, не одобрял этого.

– Нечего тут летать, – говорил он. – Работать надо.

А мечтатель Заборов все равно летал. Он парил над землей, как птица.

И очень часто, в порыве восторга, кричал вниз: «Люди, я вас люблю!»

Но люди все были типа соседа-полковника. Увидев парящего мечтателя Заборова, они кидали в него камни, стреляли из охотничьих ружей, пытались как-то вернуть его на землю.

А однажды, когда мечтатель Заборов пролетал над военной частью, в него дали очередь из автомата.

– А ты как думал, – говорил ему сосед-полковник, который видел всех насквозь. – Каждый советский человек в душе чекист. Летаешь тут безо всякого разрешения. Непорядок. А если все летать начнут. Кто работать будет?!

С тех пор мечтатель Заборов больше не летал.

– Молодец, – хвалил его сосед. – Теперь тебе надо на работу устроиться. И начать приносить пользу обществу.

Но мечтатель Заборов не стал приносить пользу обществу. Он стал ходить в городской парк, лежать там на лужайке и смотреть, как по небу плывут облака. Но и это продолжалось недолго. Как-то раз к нему подошел милиционер.

– Вы тут зачем лежите? – спросил милиционер.

– На небо смотрю, – ответил мечтатель Заборов.

– А зачем смотрите? – спросил милиционер.

– Просто так, – ответил мечтатель Заборов.

– Пройдемте, – сказал милиционер.

В отделении милиции на мечтателя Заборова составили протокол и оштрафовали за хулиганские действия в общественном месте.

С тех пор мечтатель Заборов больше не лежал на лужайке и не смотрел на облака.

Наступила зима. Мечтатель Заборов шел по грязной улице и смотрел себе под ноги. Чтобы не упасть. У гостиницы «Интурист» он неожиданно встретил свою подругу детства и первую любовь, Наденьку. Когда-то они вместе ходили в детский садик.

Теперь Наденька работала валютной проституткой. Она пригласила мечтателя Заборова в шикарный ресторан.

– Все летаешь? – спросила она, попивая шампанское.

– А помнишь, – заулыбался мечтатель Заборов, – как мы с тобой валялись в снегу. Такие огромные белые сугробы.

– Нет, – сказала Наденька. – Не помню.

– А летом ходили на речку. Ты еще у рыбака выпросила рыбку и отпустила ее.

Наденька ничего этого не помнила.

– А я теперь стою триста долларов, – похвалилась она.

Мечтатель Заборов робко дотронулся до ее руки. Душа его обливалась слезами.

Когда мечтатель Заборов пришел домой, сосед-полковник, который видел всех насквозь, сразу увидел его душу.

– Что, опять слезами обливалась? – насмешливо спросил он.

– Я сегодня полечу, – тихо сказал мечтатель Заборов.

– Ну и дурак будешь! – громко сказал сосед-полковник.

Но мечтатель Заборов все равно полетел. Он летел над ночной страной и мечтал: «Как было бы хорошо, если б все люди научились забирать друг у друга боль. А взамен делиться радостью».

Мечтатель Заборов так размечтался, что не заметил, как навстречу ему летел истребитель-перехватчик.

В кабине истребителя-перехватчика сидел военный летчик. Его кодовый номер был – «девятнадцатый».

– Вижу цель! – передал «девятнадцатый» на командный пункт.

– Уничтожить! – скомандовал командный пункт.

– Есть уничтожить! – принял команду «девятнадцатый».

И уничтожил мечтателя Заборова. Ракетой типа «воздух–воздух».

ПОЧЕМУ Я НЕ РОДИЛАСЬ МАЛЕНЬКОЙ СОБАЧКОЙ?

На низком небе перекастисто грохочет. Дождя пока нет. Мимо вокзала тянется длинный товарняк. Под брезентовыми чехлами угадываются уродливые тела танков. В дверях теплушки стоят два солдата. Курят.

– Господи, – говорит старушка, – как в войну.

– Где тебя носит? – раздражается мать. – Посмотри за сумкой.

Девочка послушно садится рядом с большой белой сумкой. Но как только мать скрывается из виду, тотчас вскакивает и бежит к справочной. Надавив пальцем кнопку, неуверенно шепчет в микрофон:

– Алё.

– Ну чего алёкаете? – грозно рывкает динамик.

– Скажите, пожалуйста, а скоро поезд придет?

– Скоро.

– А во сколько?

– Во сколько придет – во столько и придет.

Сухой щелчок.

Девочка медленно подходит к окну. Глядя на улицу, она видит свое слабое отражение на стекле.

– Ну что уставилась! – показывает язык.

«Дурум-бурум-дурум-бурум», – бормочет громоздкий динамик под потолком.

Но все всё понимают.

– Поезд идет! – волнистым рокотом катится по залу.

С озабоченными лицами выбегают на улицу.

Луна затянута тучами. Идет дождь.

Короткого перрона не хватает на весь состав. Дальше – грязь. Прыгают по дощечкам.

– Давай! Давай! – кричит проводница.

Раздаются короткие гудки. Мать, торопливо поцеловав девочку, лезет на ступеньки. Девочка подает ей сумку.

– Слушайся Макеева, – говорит мать и проходит внутрь вагона.

Макеев – ее третий муж. И второй отчим девочки. Все произошло быстро.

Уезжала к бабушке – был один отчим. Вернулась – другой.

– Давай! Давай! – снова подгоняет кого-то проводница.

Девочка оглядывается. К вагону, вся обвешанная узлами, бежит старушка.

Подбежала. Ахнула. Заметалась.

– Вы садиться-то думаете? – проводница ей строго.

– Дак у меня шашнадцатый вагон.

– У нас всего пятнадцать.

– Как же, родненькая... А у меня шашнадцатый.

Голос ее плачуще звенит.

– Ну-ка, дайте ваш билет!

Старушка растерянно озирается. Не хочет вещи в грязь ставить. А больше и некуда. Девочка делает шаг вперед.

– Давайте поддержку, бабушка.

Проводница билет разглядывает.

– Ну, все ясненько, – говорит она. – Кассирша напутала. С ней и разбирайтесь.

– Да как же...

– А вот так же, – проводница уже и двери закрывает.

За размытыми дождем стеклами купейного вагона смутно виднеется пустой коридор.

Мать уезжает на юг. «Развеемся после этого кошмара».

Состав потихоньку катится. Пятнадцатый вагон уезжает. Теперь старушка стоит рядом с невидимым шестнадцатым, в который ей выписан билет...

Поезд уходит.

Девочке хочется плакать. Порыв мокрого ветра сбивает с головы капюшон. Дождь беспрепятственно мочит волосы. Капли бегут по лицу.

– Эй, послушайте, – зло окликает она старушку. – Заберите свои шмутки.

– Грубая какая, – недовольно ворчит старушка. – А еще, наверное, пионерка.

«...Вот и делай после этого людям добро, – мрачно думает девочка, прыгая с доски на доску. – Права мать: хочешь нажить врага – сделай человеку доброе дело».

Уже входила в широкие двери вокзала, когда погас свет. И в зале ожидания, и по всему коридору. Дождь будто ждал этого момента. Забарабанил как сумасшедший.

Чуть не ощупью пробиравась на светлую полосу, впереди.

Это оказалось помещение буфета. За прилавком стоит буфетчица. За ее спиной, на стене, два плаката. На одном написано, что СПИД – это хорошо. На другом, что перестройка – это плохо. Вернее, наоборот.

В буфете два столика. За одним из столиков сидит недовольный мужчина. Он пьет чай. За другим – милиционер. Вернее – милиционерша. Она тоже пьет чай.

– Знаете, – говорит девочка, обращаясь к буфетчице, – у вас там вода с потолка капает.

Она машет рукой в сторону зала ожидания.

– Пускай, – говорит буфетчица. – Лишь бы здесь не капала.

Тотчас начинает капать и здесь. Прямо над столом, за которым сидит недовольный мужчина.

– Безобразие! – отскакивает он, размахивая испачканной шляпой. – Здание давно пора ставить на капитальный ремонт.

– Вас забыли спросить, – говорит буфетчица.

Отодвинув стол, она ставит под капли эмалированный таз. Капли звонко стучат о дно таза.

Вскоре появляется старушка. И тут же начинает жаловаться.

– Я пошла, а вагончика мово и нету. Во как!

Недовольный мужчина уши наострил.

– Как это вагона нет?

– А нету, и все, – торопится объяснить старушка. – Как бес унес.

– Прицепить, наверное, забыли, – мигом разбирается в ситуации недовольный мужчина. – Ну, работнички! Нигде порядка нет! Кругом бардак!

За окнами пуще прежнего льет дождь. В тазу булькает.

– Завтра я, значит, выходная, – принимается вслух рассуждать милиционерша. – На рынок надо будет сбегать, постирать...

– А мой-то внучок вчера разговаривать начал, – зильно оживляется буфетчица. – Первое слово сказал.

– Да что ты, – делается и у милиционерши умиленное лицо. – И какое же? Папа или мама?

– Газета, – гордо говорит буфетчица.

– Скажите, какой умный.

– Вы так это дело не оставляйте, – советует старушке недовольный мужчина. – Пишите жалобу. Министру путей сообщения. Я вам сейчас черновичок набросаю.

Он живо выхватывает из кармана блокнот и ручку.

Девочка стоит у прилавка. За грязным и поцарапанным стеклом витрины тарелка с высохшими пирожками. И все.

– У вас пирожки с мясом? – спрашивает девочка.

Буфетчица и милиционерша весело смеются, как от удачной шутки.

– Да, – говорит буфетчица. – С мясом. С мясом под названием морковка.

Недовольный мужчина строчит письмо министру. Старушка, пригорюнившись, глядит в окно. В пустом и темном зале ожидания с потолка льется вода.

Девочка подходит к «справочной» и, смело нажав кнопку, говорит:

– Эй, ты – дурак!

Ей никто не отвечает.

КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Александр Сопровский

* * *

Как хочется приморской тишины,
Где только рокот мерного наката
С подветренным шуршанием сосны
Перекликается подслеповато.
С утра в туман под пенье маяка
Покойно спится человеку в доме.
Пространства мускулистая рука
Рыбачий берег держит на ладони.
Как будто настезь ветру и штормам
Раскрыт неохраняемый порядок,
Пока со звоном не спадет туман,
Обрызгав иглы тысячами радуг.
И горизонт расчиститься готов,
И прояснятся в оба направленья
Каркасы перекошенных судов –
И мощных дюн пологие скругленья.

Вдоль набережной под вечер поток
Наезжих пар курортного закала.
Веранда бара. Легкий холодок
Искрящегося в сумерках бокала.
Что грустно так, усталая моя?
Повесив нос – развязки не ускоришь.
Я взял бы херес: чистая струя,
Сухая просветляющая горечь.
И в даль такую делаешься вхож,
Откуда и не возвращаться лучше...
Уж если в мире памяти – на грош,
Так выбирай беспамятство поглущу.

Подкатит – оторваться не могу.
Магическим обзавестись бы словом,
Открыть глаза на этом берегу –
И захлебнуться воздухом сосновым.

Март 1982

* * *

На краю лефортовского провала
И вблизи таможен моей отчизны
Я ни в чем не раскаиваюсь нисколько,
Повторил бы пройденное, случись мне,
Лишь бы речка времени намывала
Золотой песок бестолковой жизни.

Октябрь 1982

* * *

Как воздух игрою полон обманчивых отражений:
Гуляет над лугом ветер – и ты, вдалеке близка,
Стоишь березовой рощей на грани солнца и тени,
И над тобой проплывают летние облака.

И мерно ступни пружинят, и жметесь земля к подошвам,
И в торге с судьбой разлука – всегда ходовой товар,
И месяц идет на убыль, и всё это станет прошлым,
И голубовато-серым подернется листьев жар.

И все не наговориться, и все-то не наглядеться...
Там сойка взлетела – помнишь? Там зяблик запел

и смолк.

И древнее любопытство, мальчишество, лицедейство,
Когда головокруженье легко, как прощенный долг.

О чем ты сейчас спросила? И что я тебе ответил?
Нам лишь секундная стрелка в такие часы слышна,
Когда полночью потери предутренний дышит ветер,
И серый металл рассвета – возмездием из окна.

Становишься злее, цепче, оглядчивее с годами.
С годами, – сказав такое, сощуриться да вздохнуть...
И жмется земля к подошвам пружинисто под ногами,
И ветер лугов ложится прозрачной волной на грудь.

1987

* * *

Школьница, ослушница, сестрица,
Тихий омут – темная вода.
Вспомнится, приснится, повторится
Дней непоправимых череда.
Мы упрямы, и судьба упряма.
Ночь длинна, разлука далека.
Завтра утром подниматься рано.
Ты ложись, я посижу пока.
Я не знаю, отчего с тобою
Всякий раз, забудешься едва,
В душу лезет давнее, родное,
Чистые Пруды, 12-А.
Слышишь – соблазнительный, опасный
Прошлого несбывшегося зов?
Снег искрится. Светит месяц ясный.
И надежен наш последний кров.
Угли красны. Жар идет на убыль.
Я задвину вьюшку для тепла.
Видишь, как убийственно мы любим?
Помнишь, как черемуха цвела?

По душе тебе с таким отпетым?
Отвернись, забудь, усни, прости...
Залиты лилово-белым светом
Железнодорожные пути.
Зоркие озябшие созвездья
Стерегут равнину до утра.
Мы одни здесь, мы вдвоем, мы вместе.
Милая, проснись. Вставать пора.

1988

* * *

Я книгу отложил – и, кажется, душа
Осталась без меня под темным переплетом.
А я закрыл глаза, и лишь комар, жужжа,
Перебивал мне сон охотничьим полетом.

И наяву еще или уже во сне,
Но сдавливая грудь какой-то болью давней,
Той мудрости слова напоминали мне
О двадцати годах надежд и ожиданий.

И оглянулся я на двадцать лет назад,
Под перестук времен – на сбывшиеся строки,
И в брызгах дождевых был над Москвой закат,
И радуга была вполнеба на востоке.

Вот так я жизнь и жил – как захотел, как смог.
То соберусь куда, то возвращусь откуда.
И тьма ее низка, и свет ее высок,
И велика ли честь надеяться на чудо?

Надеяться и ждать. Не напрягая сил,
Осенней горечью дышать на склоне лета,
Ступить на желтый лист, забыть, о чем все это,
И выдохнуть легко – октябрь уж наступил...

1989

* * *

Юность самолюбива.
Молодость вольнолюбива.
Зрелость жизнелюбива.
Что еще впереди?
Только любви по горло.
Вот оно как поперло.
Сердце стучит упорно
Птицею взаперти.

Мне говорят: голод,
Холод и Божий молот.
Мир, говорят, расколот,
И на брата – брат.
Все это мне знакомо.
Я не боюсь погрома.
Я у себя дома.
Пусть говорят.

Снова с утра лило здесь.
Дом посреди болотец.
Рядом журавль-колодец
Поднял подобья рук.
Мне – мои годовщины.
Дочке – лепить из глины.
Ветру – простор равнины.
Птицам – лететь на юг.

1989

* * *

Ноябрьский ветер запахом сосны
Переполняет пасмурные дали.
Что значил этот сон? Бывают сны
Как бы предвестьем ветра и печали.

Проснешься – и начнешь припоминать
События: ты где-то был, но где же?
На миг туда вернешься, но опять
Ты здесь – и возвращаешься все реже.

Так в этот раз или в какой другой
(Уже не вспомнить, и не в этом дело),
Но там был лес, поселок над рекой,
И синева беззвездная густела.

Там загоралось первое окно,
Сидели бабки на скамье у дома,
Там шел мужик и в сумке нес вино –
Там было все непрошенно знакомо.

Там жили, значит, люди. Я бы мог –
Но веришь, лучше все-таки не надо –
Приноровить и опыт мой, и слог
К изображенью этого уклада.

Когда б я был тем зудом обуян,
Когда б во мне бесилась кровь дурная,
Я принялся бы сочинять роман,
По мелочам судьбу воссоздавая.

Тогда бы я и жил не наугад,
Расчислив точно города и годы,
И был бы тайным знанием богат,
Как будто шулер знанием колоды.

Я знал бы меру поступи времен,
Любви, и смерти, и дурному глазу.
Я рассказал бы все. Но это сон,
А сон не поддается пересказу.

А сон – лишь образ, и значение сна –
Всего только прикосновение к тайне,
Чтоб жизнь осталась незамутнена,
Как с осенью прозрачной расставанье.

1989

РАЗРОЗНЕННЫЕ ДВУСТИШИЯ

1.

Что говорить? Ведь прощаться, проститься, расстаться
легче, чем кажется нам, молодым. Может статься,

Мы пересмотрим подобные взгляды, старея.
В пыльном комоде бутылок стоит батарся.

Завтра, мой друг, Веронике, Марии и Марфе
будешь играть на такой ослепительной арфе,

что и сегодня по улице пыльной и узкой,
мой музыкант, ты идешь в магазин за закуской.

Прошрое с будущим связаны лишь настоящим.
Как из болота, друг друга за волосы танчим,

чтобы заставить узлом изнывающей плоти
сдавленный звук, погибающий в общем болоте,

вновь зазвучать в первозданной своей чистоте.
Но, дорогой, времена наступают не те.

2.

Зренье и слух зачастую вредят осязанию.
В узком дворе чешую очищаем сазанью.

Это занятие похоже на сон морфиниста.
А чешуя разноцветна и крупнозерниста.

Рыбы не лгут. При отсутствии средств надлежащих –
связочных слов, и сказуемых, и подлежащих

трудно солгать. Руководствуясь выбранной ролью,
ты расстaeшь не с влажной чешуйчатой болью,

а с человеком, который тебе не знаком.
Душу очисти телефонным последним звонком.

Ветер расхаживал вдоль нежилого квартала,
солнце садилось, а солнце другое вставало,

рыбью чешуйку держа на усталой спине,
шел муравей по огромной кирпичной стене.

3.

В центре белых небес распадается дождь по иголкам,
человеческий лес застывает в молчанье недолгом,

жизнь держа на весу, это ты в два часа пополудни
в этом тихом лесу заиграешь на маленькой лютне.

Ты не молод уже, но еще недостаточно стар
для того, чтоб понять: нас погубит ритмический дар.

Вдруг да явится ангел, как школьник на взрослый сеанс,
с легким трепетом крыл ты случайно войдешь
в резонанс,

и, оставив ладью дорогой колыбели двуспальной,
скажешь жизни «адыю!» и проснешься в купели
хрустальной.

Как бы ни было там, жизнь сама по себе колоритна,
даже если грозит нарушением сердечного ритма,

даже если игра есть ее сокровенная суть..
Нам прощаться пора. Как познания мучителен путь!

Этот поезд идет по глухой муравьиной стране,
только двери скрипят и окно в деревянной броне,
это поезд идет муравьиный – один к одному
муравей с муравьем превращают страданье в вину.

Муравей-паровоз от любви слабосилен и стар,
он устал из ноздрей выпускать накопившийся пар,
но влечет его сила, которой названия нет,
и в глазах муравья отражен ослепительный свет.

Вот и город высокий – он вырос на нашей крови,
там из окон огромных в глаза мне глядят муравьи.

И сквозь веки прозрачные смотрит моя слепота,
как ползет муравей по извилистой линии рта...



На гулкой улице иль в доме восьмиглазом,
иль рядом с тем, кто нищ и одинок,
кто, потакая дьявольским проказам,
зализывает раны, как щенок,

мне жалко жить.

Январь стоит, как лес.

Под невесомым шумом снегопада
хранит душа длину свою и вес,
но что ни говори, объем ее исчез –
нет подходящей формы – и не надо.

**И держит в колбе воздуха
 мороз**
не формы душ, но множество дыханий,
они колеблют складки снежных тканей,
их ритмом управляет виртуоз,

живущий вечно в светлых небесах.
Он смотрит на тебя, как посторонний,
но наше время на его часах
течет обратно – в мир потусторонний.

КЕКОВА Светлана родилась в 1950 году. Преподаватель Саратовского университета по кафедре русской филологии. Печаталась в «Юности», «Литературной Грузии», «Литературном Таллинне», «Русской мысли».

ЗАЧЕМ...

Когда пора ослепнуть – прозреваем.
В ночной глуши.
Под панцирями век.
Вот молодость проходит гулевая,
вот старостью отмечен человек.

Вот кружится дороженька лесная,
вот дуб стоит,
омелою повит.
Шагает лошадь, о цветах не зная,
а пыль, как ландыш, бьет из-под копыт.

Любая на пути видна преграда!
И понимаешь ты,
что не сумеешь
остановить цветенья и распада,
свирепости судьбы не одолеть.

Прекрасная и вечная природа
во всем являет смысла торжество.
Зачем же человеку год от года
страшнее
ощущение его?

Зачем душа предчувствует жестоко,
что в темной человеческой судьбе
давно перешагнул ты
век пророка,
а не дано пророчества тебе.

Зачем же эта ясность золотая,
лесных цветов могущественный свет.
И запах камня.
И тропа крутая
туда, где ни цветов, ни света нет.

За радостью, работою и ленью,
за выпивкою,
Господи прости,
зачем ты посещаешь нас, прозренье,
перед началом дальнего пути...

ЧЕРНОБЫЛЬ

О сколько их было – забытых
и тех, для кого высота.
Умерших в скиту и убитых,
сожженных и снятых с креста.

И каждый, в ком подлинность билась,
кто сытость презрел и тщету,
дарил, словно звездную милость,
грядущим векам красоту.

Но их красоту не оспоришь,
она не цветочек в горсти,
а истин полынная горечь,
да тайные судеб пути.

На ликах иконных, где смутно,
мы все ж различаем легко
глаза, просветленные мукой,
глядящие так далеко.

Они во вселенском пожаре
хотели, изверясь почти,
людей, как немыслящих тварей,
от гнева Господня спасти.

Наверное, так вот и вышло:
брели мы сквозь темень годин
к познанию высшего смысла.
И вышли – один на один.

Всё опыты, поиски, пробы,
в которых пророчество спит.
Но вот он свершился,
Чернобыль.
И мир превращается в скит.

И в этом скиту не отшельник,
а все мы стремимся найти
тот путь, что от нас, оглашенных,
поможет планету спасти.

Нам собственный опыт порукой,
что истину знать не легко.
Но жизнь, просветленная мукой,
глядит далеко.
Далеко!

* * *

Пламенно люди идут,
сдвинувши брови суровые,
на инквизиторский суд
через походы крестовые.

Вместо того, чтоб вопрос
мирно решить и спокойно –
битвы прекраснейших роз,
даже столетние войны.

До буженвальдской трубы,
до хиросимовской неуми, –
непримиримость борьбы,
неутолимая ненависть.

На пепелищах побед
новые замыслы высятся...
Господи!
Выключи свет.
Дай человечеству выспаться...

* * *

Я давно в горах осенних не был,
не ходил к озерным берегам,
где клубится серенькое небо,
подползая медленно к ногам.

Где ручьи, как белые прожилки,
а в сыром лесу, среди ветвей,
кружат заплутавшие снежинки,
словно искры памяти моей.

Где ты, моя память, заплутала?
И зачем отныне наперед,
что всего на свете было мало,
сердце вдруг подскажет и замрст.

Но не оставляя сердце в муках,
предвещая жизни новый день,
там, на склоне, в серебристых буках,
затрубил торжественно олень.

В ГОРАХ

С утра тружусь я. В доме пахнет луком,
соленым помидором
и травой,
что связками висит по закоулкам
сухой и теплой комнаты жилой.

В душе слегка печально.
Из сознания
мысль родилась, что вечность – тоже тлен.
Стара, конечно, мысль, а все же знание
для тех, кому и море до колен.

Они, кто нынче пляшут в хороводе,
проплясывая город и село,
пусть ведают, что если все проходит,
то радость – неизбежнее всего.

Я это понимаю не спросонок
и не по дури, слухам вопреки.
Давно оставлен жизнью мой поселок,
теперь тут только я да лесники.

Но вот, отбросив эти чувства напрочь,
стул отодвинув, от стола встаю.
Дров запасу.
Сарай закрою на ночь.
И в лампу керосину подолью.

И снова выйду глянуть на природу,
где, создавая сладостный уют,
курится дым ботвы над огородом
и птицы деловитые поют.

Ушла пора надежд и откровений,
все замкнuteй и сердце; и лицо.
Но вот висит ледник
над птичьим пенем –
Кавказских гор алмазное кольцо.

Рябинники на склонах полыхают.
И, предосенним солнцем освещен,
встал на поляне, где трава сухая,
единственный на всю округу клен.

И я в минуту чистую такую,
ловя листок опавший на лету,
смеюсь,
дышу неистово, ликую!
И плачу, глядя в эту красоту.

ГНЕУШЕВ Владимир Григорьевич родился в 1927 году. Воспитывался в детском доме. Окончил военно-морское училище и Литературный институт им. Горького. Автор нескольких стихотворных и прозаических книг. Живет в Москве.

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА САХАРОВА

Он вышел на трибуну съезда.
И сразу накалился съезд.
Одни ему кричали с места.
Другие вскакивали с мест.

Что от него они хотели?
За что винули в зале злом?
Уж не за то ли, что не смели
Они быть честными, как он?

За то, что все на карту ставил?
Что был гоним, в речах судим,
Когда войну в Афганистане
Он проклинал за всех один?

Ему хотелось объясниться...
(Хватило б сил на этот раз.)
И речь, как раненая птица,
Вновь билась на глазах у нас.

Смотрел он как-то виновато
На зал... И кто же знал тогда:
Недалека уже расплата
За те мгновения стыда.

Она придет ко всем хулившим,
Кричавшим с места своего.
И станет зал тот третьим лишним
Меж ним и совестью его.

Но хватит ли стыда людского
И боли – оправдать наш дом
За это прерванное слово,
За Жизнь, истерзанную злом?!

Которые сутки
 Все море штормит.
 Неужто на шторм
 Не истрачен лимит?
 Но катятся волны
 С утра до утра.
 А все говорят,
 Что природа мудра.

Вон сколько впустую
 Затрачено сил...
 Как будто бы кто-то
 Об этом просил.
 Капризный, неистовый,
 Злой водоем.
 Мне жалко всю живность,
 Живущую в нем.

Наверно, у крабов
 От шума мигрень.
 Я морю кричу:
 – Неужели не лень
 Тебе эти тонны
 Бросать день-деньской?!
 Неужто тебе
 Неприятен покой?

И море вступило
 Со мной в разговор:
 – Я мщу за молчание
 Мертвых озер,
 За горькую тишь
 Изведенных лесов,
 За память притихших
 Речных голосов.

Хочу, чтоб вам души
Омыла волна,
Чтоб помнили люди –
Природа сильна...

* * *

В.Е.Максимову

Как трудно быть самим собой
В Отечестве, где все играли..
Где если шли куда – толпой,
А уж клеймили – то до «Граней».

Я вовсе не хочу сказать,
Что каждый лгал или карьерил.
Но тот, кто верил в благодать,
Тот, к сожаленью, в зло поверил.

И мы покаялись уже
За все, в чем были виноваты.
Хотя живет в иной душе
Крутая верность старым датам.

Как трудно возвратиться вдруг
В былую жизнь, к былым потерям.
А что там – боль или испуг?
И дома нет – остались двери...

И что в минувшем, кроме книг,
Познавших эшафот Главлита?
И кто услышит давний крик,
Сошедший в душу, как молитва?

На нашей совести урок,
Что мы стыдливо извлекаем
Из Ваших убиенных строк,
Уже забыв – а был ли Каин.

Господь всем завещал терпеть.
И не держать на сердце камень.
Пока бессмертна только смерть.
А жизнь по-прежнему лукавит...

Апрель 1990

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Изба смотрела на закат,
Дыша озерной сыростью,
Здесь жил великий мой собрат,
Волшебник божьей милостью.

Он околдовывал зарю,
Купавшуюся в озере.
Он ей шептал:
– Я повторю
Твое виденье в образе...

Но, чьим-то именем томим,
Не справился с обещанным.
Заря, обманутая им,
Бледнела, словно женщина.

И погружался мир во тьму.
И сквозь его видения
Являлась женщина ему.
А может, только тень ее.

Не говорила, не звала,
Лишь грустно улыбалась.
Наверно, Музою была
И потому являлась.

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Еще одной звезды не стало.
И свет погас.
Возьму упавшую гитару.
Спою для вас.

Слова грустны. Мотив не весел,
В одну струну.
Но жизнь,
Расставшуюся с песней,
Я помяну.

И снова слышен хриплый голос.
Он в нас поет.
Немало судеб укололось
О голос тот.

Ничто не может повториться,
И жизнь одна.
Твоя последняя страница
Не прочтена.

И над душой – что в синем небе –
Не властна смерть.
Ах, черный лебедь,
Хриплый лебедь,
Мне так не спеть.

Восходят ленты к нам и снимки,
Грустит мотив.
На черном озере пластинки
Вновь лебедь жив...

«ТОТ УГОЛОК, ГДЕ МНЕ ВЯЗАЛИ РУКИ...»

(Из книги «Современник», стихи 1985-86 гг.)

ОППОНЕНТУ

Ты говоришь: «Вот время говорить...»
И вижу я в пылу энтузиаста
Карикатуру на Экклесиаста
И говорю: уж лучше суп варить...
Уж лучше лес валить, – я говорю...
«Отговорила роща золотая...»
Так пусть уж слов невыпорхнувших стая
Зимует в горле – дело к ноябрю...
Да, к ноябрю: ветшает синева...
Ты все молчал, а я все говорила:
Что гол король... Что прашур – не горилла...
Что было Слово – будут и слова...
Мои слова покоились в ГБ.
Мои друзья этапный снег месили.
Мы на трибуне слова не просили –
Оно вскипало псней на губе...
Теперь, когда и трупы говорят,
Я отдышусь под рокот ускоренья:
Послушаю, как скор на говоренье
И микрофон, и самый задний ряд...
Им что ни Время – время одобрять,
Хоть их сажай – хоть в Арктике – початки...
И палачи, сменившие перчатки,
Улыбками нас будут одарять... –
Так хорошо покормленный удав
Следит из клетки завтрашнюю птичку
Без мысли «завтрак» – просто по привычке,
Своим узлом природу угадав...



Ни живого огня у печи и свечи,
Ни чернильной томительной влаги...
И, как дева Мария, уныло пречист
Светлый лик одинокой бумаги.
Как ты выжило, Слово, до наших имен,
Еле слышных в плебейском разврате,
Где публичная Муза сосет микрофон,
Пьяный Каин рыдает о брате...
Так чудовищно сбылся обещанный хам –
Как не верить насчет остального...
Ничего не добавишь к библейским стихам,
Кроме тихого вздоха ночного...
Полустертого между «прощай» и «прости»
Полушепота, рвущего связки!
Кроме хруста бессонницы в лобной кости
Отмирающе-лунной окраски...



О, Москва – восква,
Как гудела ты
В тихом свете свеч...
Как с похмелья голова,
Совестная речь...

Бледен, свят разгульный нрав
Утренней порой...
И, депрессии не зная,
Маялись хандрой...

А у нас гудит эфир –
Воплощенный Маяковский...
Льется за ворот кефир,
Как январский снег московский...

ЧЕЛОВЕК

Слюнного рефлекса обладатель,
Лунного сиянья наблюдатель,
Ненадежный вечности сосуд
И субстрат заносчивый сознания –
Хоть бы ты творенье от создания
Отличал, верша свой страшный суд...
Самозванец, вождь червей безлобых,
Корм клопов, белковый бал микробов:
Спирохету кружит вибрион...
Что ты можешь больше птиц и сосен?
Пулю в лоб.
И Болдинскую осень!
И с детьми – в пылающий вагон...

* * *

Ничем не удивишь: ни смертью, ни Джокондой
Того, кто видел пляж летейских берегов...
Повесят ли на крюк иль вынесут из комнат.
Не лучше ль скрестный блеск, осенний Петергоф?
Где весь восторг и свет, искрящийся в фонтане,
И крона, и дворец легки, как за чертой...
И живопись Творца, где мы – на заднем плане,
Тем только и жива, что влагой золотой...
Не лучше ль в Петергоф, где белки не пугливы,
Покуда на шедевр не выдрали хвоста,
И вторят за спиной приливы и отливы
Фонетике разлук от люльки до креста...
Где, умник, помолчи о стоне суггестивном,
О колере травы и тяжести долгов,
Затеплив, как алтарь, касаньем совестливым
Воскресный, восковой, версальский Петергоф...

...Внѡвь я посетила
Тот уголок,
 где мне вязали руки,
И коридор, короткий и прямой,
Напоминал извилины здоровых...

В железной плошке вспыхнул апельсин –
Воскресное больничное светило;
И та, кого я посетила,
Вдруг закричала:
«Уберите плач!»

Чем отереть оранжевые слезы?!
Дождь слез,
Град слез...
О, слезы цвета, звука...
А коридор,
 как молния
 из лука,
Застрял в груди.

...Свидание окончено. Иди...

И поплелись унылые халаты
Послушно, как пятнистые коровы,
На запахи родного хлсва, крова,
Смотреть через оглохшие решетки
На неподвижный снегопад слепонемой.

...Домой.
Под видом озабоченной родни я...

Врач говорит, что у нее болит шизофрения,
Я говорю по-своему:

Душа... –

За этот мир, где плачут апельсины,
Зловеще восходящие на синем,
Как в небьющейся таре психиатрички...

* * *

Господь не милостив, но не дал умереть
На голой койке в сумасшедшем доме.
...Какой еще в железном веке доли,
Когда отпущено по-доброму стареть
В кругу семьи, в квадратике уюта:
Вот лампа... Вот диван... Вот – человек...
Сырая яма, пастбище червей,
Пока другому предназначена кому-то.
...Так медленно танцует в окнах снег,
Что кажется счастливою минута...

БЕШЕНКОВСКАЯ Ольга (Ольга Юрьевна Кузнецова) – ленинградка, по образованию журналист, работает оператором газовой котельной. Редактор-издатель машинописного журнала «Топка». Стихи пишет с детства, публикуется с тринадцати лет. В 1987 году в ленинградском отделении издательства «Советский писатель» вышла ее первая книга «Переменчивый снег».

НАРОД ИЗБРАННЫЙ

Седьмого октября, в канун Сергия Радонежского, Зинаида приволокла к церкви свое жидкое, стекающее книзу волнами, скорбное тело и остановилась на ничейной земле, где ларьки уже кончились, а церковная балюстрада, возле которой паслись нищие, еще не началась.

Месяц уже прошел с тех пор, как она похоронила мать, похоронные деньги, скопленные матерью, издержались, еще восемнадцать пришлось доложить к поминкам из инвалидской пенсии. С деньгами Зинаида управляться не умела, мама все покупала, пока была здорова, а как заболела, так пошло все непонятно, и с едой стало плохо.

До маминой смерти Марья Игнатьевна со второго этажа приносила суп, то еще чего, а как мама умерла, Марья Игнатьевна перестала ходить к Зинаиде, потому что обиделась: хотела взять мамину кофту китайскую, а Зина не дала, пожалела. Не потому пожалела, чтобы себе оставить, — Зина мамины вещи носить не могла, мама была сухая как таракан и росту маленького, а Зинаида была такой ширины, что в трамвай не влезала. Не дала кофту Зинаида, потому что это память была об матери — китайского зеленого цвета, с обтяжными пуговицами и шерстью вышитыми цветами на плечиках.

Была еще вторая, синяя, но ее тоже теперь не было, потому что мама велела ее хоронить в синей. Она была мерзлява, боялась холоду могильного и велела хоронить ее в синей кофте и в носках шерстяных. Так Зинаида и сделала, как мать велела, и Марии Игнатьевне ничего не досталось, она и досадовала.

И еще мать велела, чтобы Зинаида надеялась на Божью Матерь и, как деньги кончатся, чтобы шла к храму и стояла бы — «Добрые люди помогут твоему убожеству за-ради Божьей Матери».

Вот теперь Зинаида пришла и стала. Стоять ей было еще хуже, чем ходить, она считала, что главная ее болезнь в ногах, хотя районная врачиха говорила, что в железах-надпочечниках.

Две нищие у балюстрадки, возле самой церкви, сидели на складных стульчиках, но стульчики такие Зинаиде негодились, они бы ее не удержали.

Обута была Зинаида мягко, в разрезанные впереди войлочные тапочки, к которым у нее дома были и галоши на мокрое время. Носки ей вязала мама, просторные, из деревенской шерсти, и тренировочные штаны носила Зина, потому что никакие чулки на ее складчатые ноги не налезали. Поверх надет был новый огненно-ржавый халат фланелевый и хорошая кофта – по своей неразумности надела она на себя все самое лучшее, как в поликлинику, потому что шла на люди.

Так стояла она, мимо шли бабушки и некоторые женщины помоложе, с сумками, и совсем молодых несколько, но никто ничего Зинаиде не давал. Видно, она стояла либо не там, либо не так. Полчаса прошло, и ноги стали гореть огнем, и сильно захотелось есть – и она вспомнила, что в буфете стоит пачка вермишели. И пошла она потихоньку домой, в недоумении, что мама-то ее обманула, – или сама ошиблась: никто ей на убожество ничего не подал ради Божьей Матери.

Наутро сообразила Зинаида, что никому из проходящих не говорила она, что ради Божьей Матери. Спихватилась, но идти было поздно, потому что обедня отошла.

Зато на другой день Зинаида встала пораньше и собралась в храм. День опять был не простой, с хорошим праздником, Иоанна Богослова, и погода была солнечная – теплая для этого времени необыкновенно. Опять надела Зинаида свой огненный халат, хорошую кофту – опять недотумкала одеться победнее. Повязала платок розовый холодный и заколыхала через проспект.

Народу возле храма было побольше, чем в прошлый раз, а нищих целая череда выстроилась. Зинаида подошла к ним поближе, но не совсем близко – стеснялась. Теперь она уже помнила, что надо просить не просто, а ради Божьей Матери. Но все, кто проходил, не смотрели в ее сторону, а она не знала, как их окликнуть.

Наконец, старушка совсем плохая шла мимо, в очках, с клюшкой, остановилась возле Зинаиды и дала ей мутную копеечку.

– Ради Божьей Матери, – невпопад сказала Зинаида, а старушка ловко ей ответила:

– Господь с тобой!

Зинаида обрадовалась, стала рассматривать свою копеечку, она была совсем обыкновенная, но все же дареная.

– Мама-то не зря сказала, – подумала Зинаида. И тут подошла к ней черная длинноносая женщина на каблучках, в темных страшных очках и, положив в руку ей двугривенный, попросила:

– Помолись об упокоении Екатерины.

– Спасибо вам большое, помолюсь, – сказала Зинаида и перекрестилась. Она не знала, как правильно отвечать, но, похоже, женщине в очках было неважно.

Народ все шел, шел мимо, не густой толпой, а так, по одному, по двое, и набрала Зинаида полную ладонь, правда, больше меди. Ноги стали сильно крутить, и очень хотелось есть. Она решилась идти домой, только прежде зайти в храм и поблагодарить Божию Матерь за пособие.

Взлезла Зинаида на паперть, лестницы были тяжелые, ей показалось, что кто-то ее окликнул: – Эй, ты, – но знакомых у нее здесь не было, и она вошла внутрь, крестясь трижды возле всех дверей. Купила свечку за тридцать копеек – еще много денег оставалось, не меньше рубля, поставила возле Казанской – мама всегда здесь ставила – и поковыляла к выходу.

Возле ящика старуха-тарелочница пхнула ее остренько в бок и прошипела:

– Стой на месте, как люди, куда тебя несет, Херувимскую поют! – Но Зинаида не поняла, за что старуха ее ругает, и, сгорбившись, пошлепала к дверям.

Она вышла из храма, бок все еще отзывался на старухин пинок, и вдруг – напасть какая-то! – еще одна старуха, в клетчатом платке, с жирной родинкой под глазом, из тех, что стояли на самом давальном месте, перед ступенями, набросилась на нее, вывернула ладонь так, что посыпались на землю набранные монеты:

– А ты сюда боле не ходи, ноги тебе переломаем! – и стала толкать ее в спину корявой сумкой.

Хромой старик поднялся с земли, зашел с другого бока и, черным словом обругав ее, замахнулся:

– Давай, давай отсюда!

Зинаида зажмурилась и остановилась. Ноги у нее как будто отнялись, и она почувствовала, как горячо стало ляжкам и икрам.

– Иди, иди, нечего тебе здесь делать, своих хватает! – гнала ее совсем уж крохотная старушонка в плешивой меховой шапке.

Зинаида рада была бы убежать, да ноги не держали – подогнулись, и она осела на самой дороге, как огромная растрепанная курица, укрывая голову белыми и пухлыми руками.

И вдруг над головой ее раздался свирепый хриплый голос:

– У, шакалья стая, рванина несытая! Мразь ты, Котова! Двадцать лет стоишь, все мало набрала! На тот свет заберешь! А ты куда, старый хрен, лезешь, прислуга фашистская! Вставай, что ли!

Зинаида почувствовала, как железная рука легла ей на плечо и потянула вверх.

– Эй, женщине плохо, помогите поднять! – зыкнул голос, и чьи-то руки потянули Зинаиду вверх, потащили чуть не волоком к скамье и усадили. Тут только она от-

крыла глаза. Перед ней стоял маленький, широкоплечий, сначала показалось, мальчишка, – нет, не мальчишка, мужиковатого вида женщина в брюках, с косыми бровями и разбойным лицом. Желто-рыжая челка торчала из-под белого ханжеского платка. Растопыренные ноздри подрагивали:

– Ничего, ничего, я им хвоста накручу, банда попрошайская! Ты ходи и стой, где хочешь, места некупленные! Ишь, мафию развели, как в Сицилии! Убогому человеку уже и притулиться негде! Хуже милиции! – орала эта странная женщина. – А ты не слушай их! Если тебе кто хоть слово скажет, ты им сразу говори: А мне Катя Рыжая велела!

Катя Рыжая стояла, опираясь на два здоровенных костыля, потом, низко склонившись к Зинаиде и угасив гнев, спросила:

– А ты сама-то откуда?

Зинаида хотела ответить, но язык не ворочался.

– Где живешь-то? – переспросила Катя. – Глухая?

Тут Зинаида покачала головой.

– Здесь живу, через проспект.

– Какая группа? – деловито осведомилась Катя.

– Вторая, – радостно ответила Зинаида.

– Ага, – удовлетворенно кивнула Катя.

– Мама у меня померла. Месяц как похоронила, – поддержала разговор Зинаида.

– А моя все никак не помрет, – с сожалением заметила Катя.

– Вот трешничек, возьми. Ты пьющая?

– Не-ет, – удивилась Зинаида.

– Бери! Раз непьющая, тебе и до Покрова хватит. Завтра не приходи. Приходи четырнадцатого, или тринадцатого ко всенощной можешь прийти. Я здесь буду. Если чего, ты так им и скажи – Катя рыжая велела! Зовут-то как?

– Зинаида, – застенчиво ответила Зинаида.

– Они, Зинаида, темные, сил нет. Есть злые, как собаки. Да что собаки, хуже собак! Чуть цыкнешь, хвосты прижимают. Все больше попрошайки, настоящих нищих здесь почти что и нет. А ты ходи, ходи, не бойся! – Катя помогла Зинаиде выбрать свое тело из глубокой садовой скамьи, в которую, как в западню, затекла Зинаида. И пошла она восвояси, ощущая мокредь в тапках и холод по всему низу.

Остывшая и как бы даже похудевшая своим рыхлым телом Зинаида втиснулась в квартиру и, не проходя вглубь, села в прихожей на табурет, стянула с головы платок, свила его жгутом, куколкой, стала жалеть: – Бедная, бедная, – и заплакала...

Зинаида была слаба, она, и с самой живя, часто обижалась на маму за то, что она ей есть не давала. Аппетит у Зины был непрерывный, и он был ее болезнь, а мама ей препятствовала. Тогда Зинаида, скручивая из платка куколку, садилась на табурет возле двери и говорила маме:

– Уйду от тебя, уйду...

– Куда ты уйдешь, квашня? Куда пойдешь, прорва? – равнодушно ворчала мама.

И Зине казалось немного, как будто эта куколка из платка и есть она, Зина, только маленькая, и она шептала:

– А мы уедем. Весна придет, мы в Анапу уедем.

Возили Зину в санаторий в Анапу, когда ей было лет десять и болезнь только начиналась.

...Отдохнув от страха и обиды, Зинаида сняла свои подмокшие тренировочные и пошла в ванну стирать. Она купала в мыльной воде свои огромные полупрозрачные руки, вздыхала – ничего она не умела. Раньше мама все делала, а теперь вот приходилось самой...

Мысли были большие, одутловатые, неповоротливые – она думала про свое будущее нищенство, про всякую еду, которую будет сейчас есть, и про Катю Рыжую, которая ее защитила от злых людей...

Зинаида пришла к Покрову. Больше ее не гнали. Она собрала много денег, почти четыре рубля. Все время, прислонясь спиной к балюстрадке, она искала глазами Катю Рыжую, но так и не нашла.

Когда деньги кончились, пришла опять и опять набрала денег, но Катю не встретила. Старухи ее не гоняли, а одна даже приветила, сама подвинулась и другой сказала:

– Дай Слонихе встать, подай влево.

Так вернулось к Зинаиде ее давнее прозвище – Слониха. Она и впрямь была Слониха, еще в школе ее так дразнили, но по малолетству это было обидно, а теперь как имя родное...

Только на третий раз Зинаида встретила Катю. Та шла по асфальтированной дорожке, косо ведущей к храму, валкой походкой, с припаданием на одну ногу, в то время как вторая, в ортопедическом ботинке, довольно высоко задиралась вбок. Катя увидела Зинаиду, кивнула и вошла в храм.

– Наверное, в притворе стоит, – подумала Зинаида. Ей тоже хотелось под крышу, но она боялась, что снова ее прогонит та старуха с родинкой. Так в раздумьях простояла она почти час. Сначала в ногах бегали мурашки, а потом они как бы онемели. Подавали ей мало, меньше всех. Это она еще раньше заметила и про себя решила, что и правильно, худого всегда жальче, чем толстого.

Поколебавшись еще немного, Зинаида решила поискать Катю в храме. Увидела она ее в левом приделе, в очереди возле исповедающего священника. Вид у Кати был строгий, челка ее не торчала из-под платка, повязанного низко, с двумя глубокими складками на висках. Она шагнула к седобородому пережаренному священнику, он что-то долго ей говорил, она качала головой, потом и сама стала что-то говорить, к большому удивлению Зинаиды. Старик все качал головой, а потом положил ей на голову тускло-золотую эпитрахиль. Она

поцеловала его желтую руку и поковыляла к Царским Вратам.

Зинаида подстерегла ее, потянула за рукав, но Катя посмотрела на нее пустым янтарным глазом и сказала: «После, после...» Тут храм весь загрохотал огромным пением, запели «Верую...», и Катя отвернулась от нее и неожиданно тонко стала выводить: «...во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...», с такими замираниями, падениями и подъемами, что казалось, Катя одна ведет всю эту толпу по горной перспадиистой дороге.

Потом все пение кончилось, снова говорил священник, немного пел хор, потом опять всем храмом пропели «Отче наш», это Зинаида знала, потому что мама ее этому научила. Но было очень душно, тесно, люди все были не отдельные, а как одно громадное, слившееся из отдельных дрожащих капель существо, и Зинаида чувствовала, что все делается густым туманом, но не сырым, а душистым, медовым. Свечной огонь как будто расплавился в воздухе, все стало сладким, снотворным, вся жизнь снаружи, на улице, пропала, как радужные разводы в луже, а здешнее, золотое, все сгущалось и стало, наконец, точно таким же по плотности, как ее тело, и она оторвалась вверх и поплыла между золотых столбов, арок и зыбких нимбов, а густой воздух, которого она касалась рукой, был к ней благосклонен и ласков...

Она и сама не заметила, что давно уже сидит на широкой и удобной скамье, рядом с другими, а кто ее подвел и посадил, она не помнила. Здесь, на лавочке, ее и нашла Катя.

– Ну что, не гоняют больше? – спросила склонившаяся Катя.

– Нет, не гоняют, – просияла в ответ Зинаида.

– Ну и ладно, – Катя было двинулась прочь, потом задержалась и спросила: – Ты собрала чего? Так пошли, что ли?

И они вместе вышли, колышащаяся на ходу Зинаида и маленькая, как кривое высохшее дерево, Катя.

– Пошли, что ли, к тебе, – предложила Катя, и Зинаида обрадовалась: в гости к ней не ходили, кроме тети Паши, маминой сестры.

По дороге к дому Зинаида купила хлеба и мороженого – много. Теперь, после смерти мамы, она ела вволю и пристрастилась к мороженому. Мать ей мороженого не давала, говорила: больно сладко для тебя! А Зина на себя сахару не жалела.

В доме Катя вострым глазом все оглядела, несколько даже принюхиваясь, заметила немытый пол и сказала:

– Мне тоже согнуться по-нормальному невозможно, я полы ползком мою. Лягу на живот и ползу себе назад. Может, помыть тебе?

Зинаида застеснялась такому предложению: да и на что? И так хорошо. Заглянула Катя и во вторую комнату, запроходную. Туда Зина после маминой смерти и не заходила, нечего ей там было делать. Пока Катя осматривалась, Зина приготовила поесть: накрошила в белую миску вареной картошки и плавленого сыру, налила туда кефиру. Она сама себе такую еду придумала, ей нравилось, и первое и второе сразу, и варить не надо. Так крошила она все подряд, и хорошо было. Едой Зинаида очень утешалась. Только во время жевания ей и было хорошо. Как только она еду проглатывала, как будто большой зверь в животе начинал шевелиться и требовать: еще, еще!

Сели было есть, но Катя вскочила, опираясь на один костыль, – тут Зинаида увидела, что совсем без подпорки Катя вообще ходить не могла, сразу валилась, – проковыляла в коридор и принесла ковриковую изношенную сумочку на замке, щелкнула звонко замком и вытащила четвертинку, поставила на стол:

– Ради праздника не возбраняется, – наставительно сказала, но Зинаида и не думала возбранять. Она поиска-

ла стопочки, не нашла – вынула чашки. Катя наморщи-
ла короткий нос:

– Тогда уж стаканы давай.

Зина поставила два стакана и разлила в обеденные тарелки окрошку. Катя скovyрнула толстым ногтем крышечку с четвертинки, разлила по стаканам. Зина охнула – она водки не пила.

– Много, что ли? – удивилась Катя. – А не хочешь, не пей, – разрешила она снисходительно, ткнула своим стаканом Зинаидин и, сказавши: «С Богом, Зина», перекрестилась и выплеснула водку в открытый, редкозубый рот. Зина понюхала свой стакан, отпила маленький глоток – было невкусно и драло горло.

Катя быстро поела тарелку крошева, поела и мороженого – в меру, без большого удовольствия. Дождалась, когда Зинаида оближет обертку, собрала со стола и сложила в раковину тарелки и многозначительно сказала:

– Вот.

Зинаида подняла свое слегка запачканное мороженым лицо и, приоткрыв рот, приготовилась слушать.

– Поди-ка, умойся! – приказала Катя, но Зина умыться не пошла, вытерла рот тряпочкой – и так сойдет. И Катя начала:

– Вот, Зина, что я хочу тебе сказать, – голос звучал торжественно и многообещающе. – Мать твоя померла, сама ты неумная, – Зинаида закивала головой, все было правда, – к тому же и больная, – прибавила Катя.

– И правильно ты сделала, что к храму пришла. Однако зачем ты пришла? – вопрос Кати не требовал ответа. – Просить пришла. И правильно сделала. Там тьма народу просит. Все больше попрошайки. Это дело нехитрое. Для тебя, Зина, я хочу, чтоб стала ты не попрошайкой, а настоящей нищей.

– Нет, мне такой, как Катя, никогда не быть, – восхищалась про себя Зинаида новой подругой. – Вон у нее какой голос, то зычный, когда она на старух напусти-

лась, то вдруг детский, переливчатый, когда она запела божественное...

А Катя дальше вела свою речь:

– На меня не смотри, мое дело особое, я ни туда, ни сюда, сбоку припека, я и в техникуме училась технологическом, и сколько по больницам промытарилась, и еще в каких местах была, это тебе не приснится. На меня не смотри. Скажи мне перво-наперво: чего тебе не хватает, Зина?

Зина наморщила брови, насупилась, подумала, сказала:

– Сегодня у меня все есть, Катя.

Катя довольно засмеялась:

– Правильно, правильно я про тебя догадалась! Редкий человек говорит: у меня все есть. Обыкновенно всем всего мало. Всего хотят, бешутся, страдают, ненавидят аж до смерти, и все от зависти, что у другого есть, а у меня нет! Понимаешь?

– А как же! – важно согласилась Зинаида, польщенная значительностью разговора. Она вся заволновалась, даже немного покраснела.

– Я не завидую, мне ихнее и не подходит ничего... я вон какая толстая!

– Проста ты, Зинаида, проста, – как-то разочарованно заметила Катя. – Ну ладно, а в Бога ты веруешь?

Зинаида застеснялась, заерзала на табуретке.

– Ну? – строго спросила Катя.

Зинаида стала крутить из тряпки куколку.

– Эх ты, Божий человек, а в Бога не веруешь, – совсем уж разочарованно протянула Катя.

– Я в Божью Матерь... – опустив голову, тихо, как двоечница на уроке, проговорила Зинаида.

– Ну, – учительским голосом требовала Катя. – Говори, Матерь-то Она Кому?

Зинаида надулась и тихо проговорила:

– Дочки своей матерью.

Тут обомлела Катя. Она вылупила желтые глаза, развела руками, так что прислоненный к подоконнику костыль с грохотом упал.

– Чего? Дочки? Какой дочки? Господа нашего Иисуса Христа Матерь! Да ты, Зина, хуже татарина! Это ж надо, дочки!

Зина сидела совсем багровая, и в голове у нее громыхали колокола.

– Иисус Христос, Сын Божий, сошел с небес ради одного только – сказать, чтоб не были зверьми, чтоб любили друг друга, а Его схватили и смерти предали, убили Его, Зина! Потом спохватились, а все! Поздно! Воскрес – и нету Его! Ищи-свищи!

Катя подвинула к себе Зинаидин стакан, выпила, помолчала, покачала головой:

– Ты не пьешь – и не пей! А я выпью! Всем людям, Зин, одному много, другому мало: красоты, ума, добра всякого. Вот ты послушай, как со мной случилось. Это еще когда было, когда я освободилась... вышла... – Катя полезла в козую сумочку, вытащила из нее еще одну четвертинку и подозрительно покосилась на Зинаиду, но та сидела простодушно, не выражая никакого неудовольствия или удивления.

Катя опять сколупнула ловко крышечку, налила полстакана и махом выпила.

– Я из Химок, из области, статья прописная, прихожу домой, а мать меня прописывать не хочет. Мать у меня нестарая, красавица собой, глаза черные, брови, цыганская кровь в ней сказалась. Не пойму я, чего она не хочет меня прописывать? Мы с ней никогда особенно не скандалили... Это мне потом сказали, Зин. У меня, Зин, мужик был, вроде муж, постарше меня, но так, нормально. Так, когда меня посадили, из-за него, между прочим, все вышло, так маманя моя его себе приспособила. А у нее этого добра и без Витьки моего пруд пруди, на что он ей сдался, не пойму. В общем, мать не прописывает, без прописки я даже мою инвалидскую пенсию получить не могу, сунуться некуда, на работу опять же без про-

писки не берут, хоть ложись и помирай. А она – ни в какую. Одежки у меня – что на мне: телогрейка да сапоги рваные. Подружка у меня в Ново-Дачной жила, я туда поехала, а ее нет – съехала. Приезжаю на Савеловский вокзал, не помню как, доковыляла до Новослободской. Слышу, звонят. Думаю, пойду в церковь. А что? Или я некрещеная какая? Настроение – хоть вешайся. Вошла, стою. Денег даже на свечечку маленькую нет. Церковь полна, праздник какой-то, сейчас уж я не помню, какой. Только я стою и думаю: что же Ты, Господи, создал меня на свет такой несчастной? Калека, да нищая, да мать родная гонит, мужик, черт с ним совсем... что она его отбила, родная мать – вот что обидно. Думаю я так и все больше серчаю на Него: что же делаешь-то? Разве это по справедливости? За что мне такое мыкать, в то время как другие, нисколько меня не лучше, в полнейшем порядке проживают? Если, говорю я Ему, Ты мне Царствие Божие уготовил, то мне этого не больно и нужно, мне бы сейчас, на сей момент... Стою и злюсь, и так меня разбирает все больше и больше. И себя жалею – что калечная, что ни красоты, ну ничего не дал Бог... – Катя шмыгнула носом, Зина все крутила в руках свою тряпочку с самым жалостным видом, Катя короткопалой рукой ухватила за горло четвертинку, но не налила. – Вдруг слышу, позади меня металлическое звяканье, трень-трень – я оглянулась: старуха сзади меня раскладушку раскладывает. Сбрендила, что ли, думаю я... И не смотрю в ту сторону больше. Потом времени несколько прошло, опять звень-звень. Я оглядываюсь, вижу картину, Зина, не поверишь. На раскладушке три подушки горкой, а в них упирается подбородком, лежит – немышь, не лягушка, а неведома зверушка. Женщина, завернутая в одеялко детское, чуток не хватает ей на ноги, спеленута как младенец, шнурками перевязана. Одно личико торчит из черного платка, а глаза огнем горят, ну точно боярыня Морозова, не знаешь ты, конечно, хорошую такую картину художника Сурикова. У меня память, Зина, такая, что увижу раз, как припечатано. Все

помню. Вот лежит, а глаза горят, как будто меня прожгло всю. А старуха ее берет как ребенка, взвалила на себя, а голову ее через свое плечо перевесила, не держится у нее головка-то, падает. Вся она как ребеночек семилетний, одеялка на все чуток не хватает, ножки в носках шерстяных торчат, крохотные, неходячие, и понесла ее старуха к исповеди. А я, Зина, иду за ней, как коза на веревке. Как держит меня она. Подносит ее старуха к священнику, тот молитвы длинные читает, я тогда ничего не знала, я уж потом все узнала, что читает да зачем. Теперь-то я всю службу наизусть знаю, до последнего слова, а тогда я ничего не понимала по-церковному. Он отчитал, а потом сразу к ней и говорит ей что-то. А она в ответ как мышь: писк-писк-писк! Зина, а у меня внутри, – с тех пор такого со мной не бывало – внутри пошла такая почесуха, и в горле, и в груди, и в самом сердце, ну просто влезла бы рукой и ногтями бы драла, драла, сил просто нет. Это же надо, это же надо! Ведь ни ног, ни рук, ни голоса человеческого, как мешок, ее таскают... и тут во мне как бы что-то треснуло, и потекло... Заплакала я, Зина, аж брызнуло! Уж так мне ее жалко стало, не передать... – губы у Кати поползли, задергались, она высморкалась и вытерла глаза и строго продолжала. – Я потом, Зина, все про нее узнала, монахиня Евдокия она, а старуха ее мать, тоже постриг приняла, в миру, понятно, живут, кому они в монастыре нужны. Вот уж кому злосчастье выпало! Господи, да за что? Вот тут меня и осенило, Зиночка! Вседь каждый человек, который на нее смотрит, одно думает: вот несчастье, хуже моего, хуже уж некуда, а мои-то обстоятельства куда ни шло, еще можно жить-то. Вот уж кого пожалеть надо, а не себя. Дошло тут до меня, Зиночка, зачем это Господь таких, как мы, немощных, уродов и калек на свет выпускает! Понимаешь ты меня, Зиночка?

Зинаида сидела как замороженная. Рот открыт, глаза закосили, она слушала Катины слова и не слышала их, но смысл входил в нее каким-то странным образом – не то через кожу, не то через воздух.

– Для сравнения, для примера или для утешения, уж и не знаю, как тебе сказать, – поясняла Катя. – Люди-то злы, им очень утешительно видеть, что другому еще хуже. Вот, ты посмотри, есть артистки известные, красавицы, в ларьках продают, все в цветах-розах, а ты на нее посмотришь, и так уж тошно делается, – нету, нету справедливости. А когда, с одной стороны, артистка такая, ей всего отпущено, а с другой – сестра Евдокия на раскладушечке-то... Вот и думай! Господь поставил, там и стой! Ах, думаю я, хорошо! Вот оно, мое место: калека, стою у храма, проходят люди мимо, каждый посмотрит и про себя скажет: Слава Тебе, Господи, что ноги мои здоровы и что не я стою здесь с рукой-то! А другой и совестью зашевелится, смекнет, что Богу неблагодарен за все благодеяния Его. Ты на попрошаек не смотри, Зина, у них одна забота – денег набрать. А настоящий нищий, Зиночка, – Божий человек, Господу служит! Он избранный народ, нищий-то!

...Зина погружалась в полусон. Глаза ее были открыты, но она не видела Кати, не слышала ее слов. Ей представлялось, что она сидит на земле и ноги у нее тонкие, загорелые, а вокруг несметная россыпь мелких иссиня-голубых и лиловых цветочков, жестких и слегка подсохших, но ярких необыкновенно. Листья и стебли были жесткими, слегка кололи голые ноги, но уколы эти были веселые, вроде газа в лимонаде, и она встала и пошла прямо по этим цветкам, а земля была немного упругая, а ноги ее будто были сделаны из чего-то более твердого, чем зыбкая земля, по которой она шла...

А Катя все говорила, говорила, но речь ее делалась тише и быстрее, и неразборчивей:

– А мы теперь хвалим. Он нам болезни – а мы хвалим! Он нам бедность, а мы хвалим! Всякое дыхание да хвалит... – так, на полуслове, Катя положила голову на клетчатую клеенку. Большая, мужского вида кисть правой руки лежала на столе, вторая рука болталась и наливалась темной кровью.

А Зина все шла через яркие жесткие цветочки, а сбоку из-за большого камня вышла мама в синей кофте, с вышитыми на плечах шерстяными цветочками, – хотя Зина точно знала, что цветочки эти с зеленой, китайской. Мама шла наискосок, но все приближалась к Зине, и махала ей рукой, и улыбалась, и была молодая...

УЛИЦКАЯ Людмила – по профессии биолог, с начала 80-х годов профессиональный литератор. Написала ряд пьес, сценариев, рассказов. Печаталась в журналах «Огонек» и «Крестьянка». Живет в Москве.

Руслан К о з л о в

ЗАПИСКИ ОБРЕЧЕННОГО ОПТИМИСТА

«Человек без любви – всего лишь мертвец в отпуске».
Ремарк

И КАК ОДИН УМРЕМ?..

Последнее столетие наша страна была занята подготовкой к самоубийству. Уже предпринимались попытки всенародного суицида, но не увенчались полным успехом – мы оказались искалеченными, но все-таки живыми. И вот настает решающий момент. Сегодня мы стоим на пороге событий настолько катастрофических и кровавых, что они способны будут заслонить собой все бывавшее прежде.

Уже теперь уровень насилия в нашей стране не укладывается в понятие «мирная жизнь». Мы все ждем, что как-нибудь само собой уляжется, обойдется малой кровью. Конфликты действительно на какое-то время стихают, и мы облегченно переводим дух. Однако источники напряженности остаются. К ним прибавляются все новые. И насилие, словно пожар в ветреную погоду, перекидывается с одной части страны на другую, унося новые жертвы, умножая горе и боль.

Но и это только незначительная часть айсберга, только робкие приметы грядущего апокалипсиса. Ибо несоизмеримо ужаснее та ненависть, которая еще лишь вскипает внутри нашего общественного организма и которая выплеснется наружу, когда многие социальные и психологические факторы сольются воедино. Здесь существует своя критическая масса, и она вот-вот будет превышена.

ЭТО БЫЛО, БЫЛО..

Сегодня общественные настроения, а во многом и политическая ситуация удивительно – иногда до деталей – совпадают с

тем, что уже было раньше. Хотя бы непосредственно перед «Великим Октябрем».

Провокаторы призывают разговаривать с правительством исключительно с позиции силы. Черносотенцы проводят свои митинги не где-нибудь, а на Красной площади, и открыто угрожают расправой неугодным. Уголовники объявляют себя носителями политических идей и борцами за свободу. Жаждающие немедленных перемен радикалы кричат «В отставку!» едва избранному Верховному Совету и президенту. А ценители революционных традиций требуют лицензию на отстрел новых классовых врагов – на этот раз коммунистов.

Слева все громче кричат: «Долой приверженцев полумер!» Справа – «Даеть железную руку!» И все это стекается в уже знакомый нам бурный поток революционной логики: «Устранить правительство, неспособное вывести страну из тупика! Устранить всех, кто мешает революционным переменам!» Причем грань между политическим и физическим уничтожением, как всегда в таких ситуациях, опасно колеблется.

Почему же именно в нашей стране, на себе испытавшей кровавую бессмысленность этого пути, вновь и вновь готовы приветствовать вздымающиеся волны насилия? Почему жива и заразительна подлая бесовская идея, что, омывшись кровью, можно очиститься и преобразиться?

Попробуем отказаться от игры в затасканные термины вроде таких, как «революция», «контрреволюция» и уж тем более – «истинный социализм», «деформированный социализм». Взглянем на ход событий под другим углом.

ПОДВИЖКИ ПО ТРЕТЬЕМУ ПУНКТУ

Нынешние радикалы искренне считают (если они, конечно, не сознательные провокаторы), что главное – открыть народу глаза на все мерзости нашего существования и наполнить его решимостью перед новым раундом священной борьбы за свои права. Но прежде не худо бы разобраться: с кем мы, собственно, имеем дело, кого хотим наполнить этой решимостью.

Согласно теории научного коммунизма, построение нового общества укладывалось в «триединую задачу» – создание высококоразвитой материально-технической базы, формирование пе-

редовых общественных отношений и воспитание нового человека. Чтобы оценить результаты выполнения первых двух пунктов, достаточно просто оглянуться вокруг... Впечатляет, не правда ли?..

Но еще более грандиозны подвижки по третьему пункту.

О, он уже готов, наш новый человек! Он уже раздублирован массовым тиражом. И он ждет удобного момента, чтобы привести масштабы разрухи в стране в соответствие с истинными масштабами разрухи в его душе.

На что был способен средний человек из толпы, скажем, в шестнадцатом году, и на что он способен сегодня, после семидесяти трех лет наладки и доводки в цехах «коммунистического воспитания» по схемам победившей «коммунистической морали»?

Расхожее язвительное наименование «хомо советикус» определяет наш нынешний статус. Я бы дал этому наименованию такой вольный перевод: «человек опустошенный». Стремясь превратить нас в удобный материал для построения нового общества, из нас вытащили два важнейших жизненных стержня.

Во-первых, уничтожение частной собственности лишило человека веры в себя как в хозяина собственной судьбы. Да и уничтожали ведь не просто вид собственности, а ненавистную новой инквизиции независимость духа и мысли, которую он дает.

Построение «нового» общества началось под лозунгом «грабь награбленное». Он и сам по себе пробуждает не самые лучшие инстинкты, да к тому же никто из «экспроприаторов» особо не утруждал себя, стараясь отличать награбленное отжитого честным трудом. Грабили – и всё. Грабили столько, сколько надо было (я вообще не верю в «справедливый грабеж» и «благородный разбой», практикуемые в таких масштабах).

В результате весь народ был лишен независимых от государства источников существования и поставлен в еще более унижительную, чем раньше, зависимость от великомудрых грабителей-благодетелей, распределяющих награбленное по своему произволу.

Сотни раз ограбленный, раскулаченный, объегоренный человек и сам перенял грабительскую сущность своего государства. Многие и сегодня уверены: чтобы жить лучше, достаточно провести еще одно «великое перераспределение» – «тряхнуть»

кооператоров, урезать доходы, экспроприировать номенклатурных-бонз... И вот жалкие кооперативные лавчонки становятся магнитом для погромщиков, а издевательское повышение налогов на предпринимательскую деятельность проходит под всеобщий одобрительный вой: «Так их, паразитов!»

В нас так упорно вдалбливали ненависть к богатству! А уж собственную постылую нищету мы научились ненавидеть сами.

Вторым стержнем, вырванным из народной души, стали христианские гуманистические идеалы, тысячелетние нравственные заповеди.

Страшен человек, которому нечего терять, у которого перерезаны материальные связи с жизнью. Но страшен он второй, если жизнь для него не представляет духовной ценности, если нет для него нравственных барьеров на пути к насилию, если высшего суда он не признает, а земной советский суд презирает...

Как журналист, я занимался криминальной темой и был поражен обилием беспричинных, немотивированных убийств, ничем не оправданной жестокостью. «Классические» сильные чувства – алчность, ревность, зависть, месть – перестали быть обязательными спутниками убийства. И вот он, переход в новое качество – все эти чувства перекрывает темная, слепая ненависть, ставшая естественным, «фоновым» состоянием душ.

Да что там уголовщина! В обычных бытовых ситуациях можно увидеть, каких опасных пределов достигла озлобленность, какой нетерпимостью пылают люди друг к другу. словно каждый считает других виноватыми в его бедах.

Едва гласность открыла нам наше истинное катастрофическое положение, мы тут же не на шутку заинтересовались: кто они, злодеи, которые все это нам подстроили? Маркс? Большевики? Сталин? Лазутчики мирового сионизма? Корруптированные партбюрократы? Националисты? Беженцы? Кооператоры? Продавцы комиссионки? Журналисты? Экономисты, не способные найти выход из нищеты?... Причем по мере того, как ухудшается наша жизнь, поиски врагов носят все более откровенный характер.

Ну что же это, в самом деле, за напасть: едва пробудившись, отечественная революционная мысль попадает во власть двух проклятых вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?» Но если ответы на первый из них отличаются большим разнообразием,

то на второй – завидным постоянством: «Уничтожить виноватых!»

Можно, конечно, еще раз власть поплясать на костях мертвых и на телах живых, но важнее наконец понять и ужаснуться: мы и сегодня не отступаем от достопамятной революционной теории и по ней же готовы перестраивать свое общество. И гимн наш – «Интернационал» со всем набором его безумных сентенций. И с каким бы знаменем мы ни вышли в этот поход, оно все равно станет красным – от крови. И мы те, кто мы есть, – плоды воспитания «нового человека».

И если мы готовы, даже понимая это, начинать все сначала, то должны осознать еще одно: на этот раз наш революционный порыв будет иметь гораздо более серьезные последствия.

ПЛЮС ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Давайте лучше оставим в стороне вопрос «Кто виноват?», на который можно отвечать до последней капли крови, и попробуем по-новому ответить на вопрос «Что делать?».

Для этого вернемся к понятию критической массы, готовой вспыхнуть цепной реакцией безудержного насилия. Составляющие этой критической массы – нищета и бездуховность, о которых мы уже говорили. А детонатор – бездумная, оголтелая политизация массового сознания.

...Вспоминаю свои ощущения в первый год перестройки, когда собственное мнение в вопросах политики только-только перестало быть синонимом «измены Родине». Казалось, стало легче дышать. Казалось, свершилось главное – дали свободу нашим мыслям и голосам.

Сегодня воздух как будто вновь сгустился. И уже не вдохновляют даже самые отчаянные откровения, самые головокружительные победы гласности.

Пять лет прожито под лозунгами перестройки. Сдвигов к лучшему нет. И после всего, что мы узнали о себе, нет даже надежды отведать на своей земле достойной, обеспеченной жизни. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Совершенно ясно, что мы не изобретем такой концепции развития, которую все тут же воспримут с «чувством глубокого удовлетворения». Наоборот – любые попытки переломить ситу-

ацию будут болезненны и непопулярны. А мы словно нарочно еще больше раскаляем политическую атмосферу, нагнетаем напряженность.

А главное – в нашем обществе, жестоко страдающем от интеллектуального неравенства, даже самые правильные, самые честные слова часто доходят до массового сознания как нечто совершенно противоположное. Вызывают непредсказуемые реакции. Становятся семенами ненависти.

От мучительной, невыносимой политики некуда деться. Газеты, журналы, радио, телевидение, кино, литература, рок, разговоры дома, разговоры в транспорте, разговоры на работе, ругань в очередях, письма, мысли, сны, даже детские «почему?» – все представляет собой гремучую смесь из левых, правых, сталинистов, перестройщиков, ельцинцев, лигачевцев... Линия разлома, как в былые, недоброй памяти времена, проходит через семьи, через дружеские союзы, через трудовые и творческие коллективы, и нет, кажется, такой сферы, где бы не разгорался безобразный скандал с политической подоплекой. Причем даже там, где политические мотивы может узреть только одержимый навязчивой идеей.

Мы вообще привыкли водружать политику в центр всего – производства, армии, школы, искусства. И теперь она, родимая, красуется у нас в центре перестройки. И наши надежда и отчаянье, ярость и вдохновение пляшут иступленно вокруг нее, как дикари вокруг тотемного столба перед началом большой охоты.

В знакомом нам экстазе мы кричим, стараясь убедить весь мир и самих себя, что жаждем демократии, что уже не отдадим ее на поругание политическим авантюристам, спекулирующим на холопской ненависти. Но обожествление политики как раз характерно для рабского, тоталитарного сознания. Особенно если политику накрепко связывают с каким-нибудь вождем или горсткой вождей.

Так может, хватит поголовно считать себя «гвардейцами Ильича», а равно Виссарионовича, Кузьмича или Хреновича, готовыми отдать жизнь и кровь и пойти на все за их «правое дело». Ибо чем больше среди нас «политических бойцов», тем ближе мы к мясорубке новой диктатуры – ведь вожди, как известно, не маршируют в одиночку.

Практически без права выбора мы заставляем миллионы людей быть зрителями в нашем сегодняшнем политико-анатоми-

ческом театре, свидетелями бесконечных судьбоносных дебатов, смысл которых нередко ускользает даже от самих спорящих.

Да, мы переживаем такой период, когда затяжная и ожесточенная борьба позиций неизбежна. Да, объективная информация о нашей действительности должна быть почти на сто процентов неприятной. Но она никогда не станет иной, если не изменятся настроения в обществе.

Мы трагическим образом не принимаем в расчет, что мучительный стыд, раздражение, ощущение собственной неполноценности – не самые вдохновляющие эмоции. От них опускаются руки. И руки сжимаются в кулаки. И кулаки ищут применения.

А ведь даже в более благополучных обществах, в обществах с развитой демократией постоянная погруженность в политику – удел немногих профессионалов. Для этого нужна специальная психологическая и интеллектуальная подготовленность, особый нравственный иммунитет, который у нас пока редко встречается даже у профессиональных политиков.

Конечно, любой человек должен иметь возможность получать полную и объективную информацию в области политики. Любой, кто считает это необходимым для себя. Для этого должны существовать специальные издания, специальный телеканал и радиопрограмма. Но должна быть и свобода выбрать что-то другое! Причем в объеме, соответствующем потребностям в этом другом.

Обезвреживая «адскую машину», первым делом извлекают взрыватель. Вот и мы должны немедленно прекратить идеологическую пропитку умов, насильственную политизацию, экспроприацию положительных эмоций, если хотим избежать взрыва. А учитывая нынешнюю ситуацию, не просто прекратить, но и сознательно уводить большинство людей от политики. Да-да! Хоть это и противоречит всем революционным канонам. Уводить туда, где жизнерадостная улыбка и человеческое тепло ценятся выше самой острой политической фразы.

Но где же эта «земля обетованная»?

К сожалению, у нас не осталось практически ни одного уголка, не зараженного политикой. Нужно искать противоядие и немедленно начинать «дезактивацию» человеческих душ.

Причем действовать можно сразу несколькими способами. Начнем с простого.

Долгое время наша пропаганда изощрялась в поношении «буржуазной массовой культуры»: она и «низкопробна», и «ширпотребна», и (о, ужас!) «уводит пролетариат и все прогрессивные силы от классовой борьбы». Да, уводит. И слава Богу! Потому что политическая борьба и революционный зуд – это ненормальное состояние общества. Потому что для прогресса люди должны не копить друг на друга обиду и злость, а согласно работать. Тем более в демократическом обществе, где политическая деятельность доступна каждому и, значит, так велик соблазн для всякого рода честолюбивых, аморальных типов – назлектризовать политикой общественное сознание, раскачать, дестабилизировать нормальную жизнь и половить рыбку в мутной от крови воде. Чем ближе человек к краю политических страстей, тем надежнее должна быть страховка, позволяющая вытащить его оттуда, если сорвется по неумелости.

Таким образом, демократия со всеми ее институтами прямых выборов, многопартийности, многообразием возможностей отстаивать гражданские права предполагает и своего рода противовес – надежный механизм отвлечения от политической борьбы, не позволяющий превратить политику в массовый психоз.

Необходимо понять, что требование «хлеба и зрелищ» – это не вопль плебейской толпы, а формула социального равновесия. Именно нехватка того или другого становилась в разные времена поводом для недовольства и причиной революционных взрывов. Правительства, пытавшиеся предотвратить эти взрывы, действовали чаще всего самым примитивным способом – заменяли и хлеб и зрелища устрашением, эскалацией государственного насилия.

Правительства, более склонные к гуманным методам, ломали голову – как накормить народ. И попадали в заколдованный круг: оскудевших материальных запасов не хватало для того, чтобы устранить недовольство, а недовольство мешало общей согласной работе, которая только и может улучшить материальное положение. (Не по этому ли кругу, грозящему катастрофой, движемся мы сегодня?)

В такой критической ситуации остается только одно: вспомнить, что, кроме хлеба, народ требует также и зрелищ.

Прежде не было возможности удовлетворить это требование для сколь-нибудь значительной части населения. Приходилось влиять на общественные настроения исключительно «через желудок». И сегодня мы по инерции недооцениваем значение зрелищ. А ведь в наше время с развитием кино, телевидения, видео, с увеличением числа многокрасочных массовых изданий, с возникновением огромных возможностей для тиражирования произведений искусства, с расцветом новых, более демократичных жанров под сенью каждой из муз, с появлением возможности выбирать зрелище по вкусу благодаря многоканальной трансляции – массовая культура стала играть важнейшую, небывалую социальную роль.

И если уж в ближайшее время мы не сможем выбраться из бедности, то мы должны по крайней мере заполнить духовный вакуум, чтобы не нарастали сразу обе половины критической массы недовольства.

Главное – сломать стереотипы и взглянуть на многие вещи другими глазами. Например, нам вбивали в сознание, что западная массовая культура есть сплошная пропаганда насилия и разврата, сплошная апелляция к низменным инстинктам. Это не правда. Массовая культура – это и слезоточивые мелодрамы, и бесшабашные комедии, и слащавые рождественские песенки, и нравоучительные «семейные» сериалы, и феерические рекламные ролики...

Сколько добра, и нежности, и тоски по чему-то светлomu в лучших голливудских фильмах тридцатых годов! И, может, именно они придали американцам сил, чтобы справиться с отчаянием «Великой депрессии». Сколько объединяющей силы в музыке «Битлз»! Я знаю: это она помогла мне и моим сверстникам понять, что за «железным занавесом» живут не кровожадные империалисты, а нормальные люди, раз им тоже нравится «Эбби Роуд».

Где сегодня граница между массовой культурой и высоким искусством, восходящим к подлинной духовности? Куда отнести Майкла Джексона, приводящего в экстаз миллионы, и Джима Хенсона с его добрейшими куклами, и Стивена Спилберга с его рекордными кино-бестселлерами, и варьете «Мулен руж», где эротика поднята до заоблачного эстетического уровня? И стоит ли здесь проводить какие-то границы, если это нравится и интел-

лектуалам, и людям «попроще», и помогает их духовному объединению?

Сегодня массовая культура – это огромная индустрия шоу-бизнеса, самое прибыльное дело на Западе, которым занимаются профессионалы высочайшего класса. Растет и становится все более утонченным спрос. Совершенствуется «продукция». С точки зрения социальной пользы, это не только гигантская фабрика хорошего настроения, но и механизм постепенного интеллектуального и духовного выравнивания.

А что представляет собой наша массовая культура?..

«Ну вот, – стонет читатель, – сейчас начнется поток обличительного пафоса, от которого и так тошно! Чего же еще заслуживает наша массовая культура! Тем более по сравнению с западным шоу-бизнесом!»

Хочу вас удивить: мне кажется, что именно в этой сфере все не так уж безнадежно. Дело в том, что это – одна из немногих сфер современного мира, где технический уровень и профессионализм хотя и значат очень много, но все-таки не являются самым главным. А главное – это все-таки талант, самобытность, неординарность творческого мышления. А таланты, самородки у нас по каким-то совершенно непонятым, неизученным законам все-таки не переводятся. Другое дело, что их огрубляет, озлобляет и губит жестокая борьба за существование, которая для таланта особенно унизительна. Губит их наше пошлое стремление к уравниловке, всеобщая ненависть к нестандартному и оригинальному.

И значит, речь идет только о системе поддержки талантов. Ее создание, конечно же, не потребует столько времени и сил, сколько нужно для оживления нашей огромной, полумертвой экономики. Зато социальный эффект может превзойти все ожидания.

Только этим нужно заниматься всерьез, учитывая особенности социальной психологии, изучая духовные потребности различных слоев общества и ориентируясь на них.

А то для нас оказывается чуть ли не сенсацией, если «вдруг» «Ласковый май» (поп-группа, чьи песни отличаются наиболее слащавым и примитивным содержанием) или «Рабья Изаура» (телевизионный сериал – мелодрама) становятся событиями общенационального масштаба.

...Ведущий «Взгляда» не в силах сдержать пренебрежительной гримасы: «Чего-чего, а "Ласкового мая" в нашей программе не будет никогда!» О кей, не будет! Что ж, его любители придумают, чем заняться. Например, они соберутся где-нибудь в воюном подвале и найдут свои способы «расслабиться» под любимую музыку. И к ним, скажем, придет толковый взрослый парень, который скажет, что «Ласковый май» – это кайф, а заодно объяснит по-дружески, простыми словами, почему все вокруг так плохо и какая в этом доля вины жидомасонской программы «Взгляд» и прочих умников, и что с ними надо сделать.

Кто может поручиться, что зародыш нашего будущего – в многомудрых политических дискуссиях, а не в таких подвалах?

Конечно, «Взгляд» должен оставаться «Взглядом» и «Огонек» – «Огоньком». Но параллельно (и равноправно!) должны существовать издания и программы, ориентированные на потребности любителей «Ласкового мая» или любителей «Изауры». Ей-богу, в нашей жизни так немного утешительного, что мы должны каждую минуту доброго расположения духа, пережитую каждым человеком, расценивать как маленькую победу – в том числе и политическую!

Так с помощью гибкой и многообразной массовой культуры мы должны изменить эмоциональный климат в обществе, чтобы оттаяли наконец наши души, скованные льдом враждебности и подозрительности. Сейчас это нам, может быть, нужнее, чем самые совершенные технологии, «ноу-хау» и рыночная экономика.

ВЕЛИКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД МАТЕРИАЛИЗМА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

И все-таки даже самая совершенная индустрия хорошего настроения недостаточна сама по себе для глубоких духовных перемен в людях, необходимых для глубоких, необратимых преобразований во всем обществе. Ибо настроение – это все-таки нечто преходящее, скорее созданное искусственно, чем идущее изнутри.

Для подлинной стабильности в обществе большинство людей должны сами стать носителями высокой нравственности, не зависящей от внешних обстоятельств.

И дело здесь не в том, чтобы все затвердили некие общие моральные постулаты (хотя бы евангельские заповеди). Нравственное поведение должно стать внутренней потребностью. А этому мешают неправильные жизненные установки, опасные предрассудки, которых в нашем просвещенном, рациональном, сугубо материалистическом веке, по-моему, больше, чем в любом другом. Во всяком случае, они носят всеобщий, глобальный характер.

Вот хотя бы расхожее убеждение, что «жизнь дается человеку только раз, и прожить ее надо так, чтобы...» Чтобы... В общем, на всю катушку. Потому что потом уже ничего не будет. Пустота. Мрак. Небытие. Навсегда.

Да и что еще может быть? Ведь мы же здравомыслящие люди, мы же материалисты!

Вот тело человека. После смерти оно перестает действовать и скоро разлагается и превращается в прах. Значит, человек перестает существовать. Душа?... Что такое душа? Ее нельзя объяснить с точки зрения физики и биологии. Ее просто нет, как и всего, что нельзя увидеть, пощупать, зарегистрировать приборами, втиснуть в формулы, опутать причинно-следственными связями... Все сущее – материально, а все материальное познаваемо. А остальное – суеверия, выдумки, бред, шлаки мыслительных процессов...

Так человек с его куцым набором из пяти чувств, с его ограниченным, зашоренным, догматизированным мышлением вообразил себя в гордыне своей совершеннейшим, непогрешимым инструментом познания Вселенной. Но расплата за эту гордыню горька и непомерна, ведь с материалистической точки зрения жизнь человека – лишь вспышка во мраке небытия. И сколько же нужно успеть за этот краткий миг!

Посадить дерево, построить дом, воспитать ребенка? Ну, это, знаете ли, программа-минимум! Уважающий себя человек должен успеть: стать миллионером, всласть попить-погулять, стать великим диктатором, сжить со света соседа по коммуналке, испытать атомную бомбу, поездить на собственном «Мерседесе», осчастливить все человечество по единому плану, перевернуть этот мир революционным рычагом и посмотреть, как он полетит вверх тормашками!.. Да мало ли чего нужно успеть – ведь жизнь коротка, а живем-то – эхма! – только раз.

Так человек стал жадным и бессовестным временщиком на этой Земле, жестоким, эгоистичным стяжателем, готовым по-

хабно, по-варварски экспроприировать все жизненные ресурсы у собственных детей, лишь бы обеспечить свой угасающий, скоротечный и единственный сегодняшний день.

Мы стали жертвами грабежа более ужасного, чем ограбление десяти России и десяти Европ: у нас украли веру в бессмертие души, подменив ее примитивно-самонадеянным материалистическим мировосприятием. Вся его бездарная, трусливая философия сводится к следующей мысли: реально существует только то, что доступно нашему восприятию. Но стоит только допустить, что мир шире и многообразнее, чем он нам видится, как тут же рушатся схемы, фантастические допущения занимают место рядом с формулами, интуиция, инстинкты, предчувствия начинают конкурировать со страсовой логикой научного познания, электронные суперанализаторы беспомощны по сравнению со смешной провололочкой биолокатора, и мы начинаем с холодком в душе ощущать близкое присутствие иных миров.

Конечно, сегодняшние, мы не в силах даже приблизиться к их постижению (тогда как материалистические «истины» кажутся такими достигаемыми, такими «домашними!»). Но ей-богу, лучше быть незрячим в саду и чувствовать на лице солнечное тепло, веяние ветра, загадочные прикосновения листьев, слышать голоса неведомых птиц, вдыхать неуловимый аромат цветов, чем всю жизнь безысходно видеть грубые кирпичи и тусклый свет лампочки в той тесной, затхлой одиночке, куда мы сами себя замуровали!

Сдавая позиции «воинствующему материализму», мы превратились в цивилизацию, страдающую агарофобией – боязнью открытого пространства. Наше сознание боязливо замирает на границе географической карты мира или – в лучшем случае – на последней странице звездного атласа. Попытки кустарного изучения таинственных, не объяснимых традиционными способами явлений – удел третируемых одиночек. А официальное отношение к подобным явлениям сродни сакраментальной лыковской фразе – помните, в «Таежном тупике»: «Это нам не можно!» (Об этой истории много писала советская пресса: в сибирской тайге была обнаружена семья фанатиков-старообрядцев, которые почти 50 лет провели в самоизоляции от внешнего мира, «пораженного грехом».)

Именно воинствующий материализм привел к массовой примитивизации сознания и стал плодороднейшей почвой для

буйного разрастания воинствующей серости. Связанная с этим новая социальная ситуация обусловила возникновение ряда схожих теорий, в которых веками выстраданная общечеловеческая, независимая от утилитарных интересов мораль предстала сенной девкой сугубо материальных собственнических инстинктов. А человеческое общество представлялось как нечто элементарное, схематичное, легко ломаемое и переделываемое, если точно ударить по важнейшим узлам.

И все это – лишь следствие катастрофы, произошедшей внутри человеческих душ. Значит, и процесс восстановления нужно начинать с внутреннего мира человека. То есть мы по-прежнему стоим перед необходимостью выполнять третий пункт программы преобразования нашего общества – воспитание нового человека. Ведь человек разумный – это отнюдь не вершина биологического прогресса. Мы же видим, что может сотворить холодный, жестокий разум, если вытравлена душа. На смену этому опасному виду должен прийти человек нравственный.

Имеет ли название та сила, которая движет человека вперед по этому пути? Да, имеет. Это – вера в бессмертие души.

Такая вера – это нечто большее, чем религиозность, чем страх согрешить под всевидящим «Боговым» оком. Она избавляет человека от мучительных, жадных метаний по жизни, от разрушительных попыток во что бы то ни стало добиться всего, что почитается за ценности, пока не надвинулось небытие.

Потому что будет продолжение. Потому что земное бытие – это только этап большой эстафеты, в которой эстафетным факелом служит человеческая душа. И у каждого этапа своя суть, свое предназначение, пусть неясное и даже, может быть, не познаваемое для нас.

К вере в бессмертие души не обязательно идти через религию в ее традиционном понимании. Ведь все существующие религии – это всего лишь условные языки для общения с Высшим Разумом (а точнее – с Высшей Нравственностью).

Далеко не всем нашим современникам доступна такая степень условности. Наше сознание стало слишком предметным, слишком конкретным: нам несверно представляется, что вера – это убежденность, что Христос действительно жил, был распят и воскрес.

Но ведь есть еще, скажем, вера в параллельные миры, в астрологию, в экстрасенсов, в приметы, в Барабашку, наконец! Вы

замечаете, как наши души тянутся ко всему чудесному, необъяснимому, ко всему, что доказывает, что мир вокруг нас (и внутри нас) гораздо более сложен и многообразен, чем наши традиционные представления о нем. И, значит, наша жизнь и наша смерть – тоже более сложны и более значительны, чем мы их воспринимаем.

Следовательно, нужно не отмахиваться от стремления к чудесному, не отсекал его холодным скальпелем точных знаний, а всячески поощрять и развивать, постепенно увеличивая вместимость массового сознания: от гороскопов и Барабашки – к канонам Высшей Нравственности. Да и, по-моему, человек, поверивший в Барабашку, уже стал немного добрее.

Для меня, например, материализм – большее мракобесие, чем, к примеру, вера в переселение душ, уже хотя бы потому, что вера, пусть и не имеющая конкретных подтверждений, избавляет человека от маниакального страха смерти, а материализм этот страх только усугубляет.

Конечно, мы должны изучать наш материальный мир и все действующие в нем законы с целью его материального совершенствования, но мы должны и постоянно обращаться к чему-то большему. Потому что и сам человек – это нечто большее, чем его материальная оболочка.

Именно поэтому я верю, что выход, избавление для нашей несчастной страны ближе, чем кажется. Ведь если видеть только материальное несовершенство нашей действительности – то можно действительно сойти с ума от отчаянья – ситуация кажется просто непоправимой. Однако духовный потенциал каждого народа накапливается и воздействует на материальный мир по своим, особым законам. Это энергия особого рода. Она может преображать жизнь, а может нести ужас разрушения – все зависит от силы нравственных полей, способных сделать ее управляемой.

В нас этой энергии – на тысячу солнц. Или на тысячу ядерных взрывов.

КОЗЛОВ Руслан Васильевич – родился в 1957 году в Новороссийске. Там же начал работать в городской газете. Учился в Ростовском-на-Дону университете. Затем работал в Ленинграде в молодежной газете «Смена». Сейчас работает в еженедельнике «Собеседник».

ПРЕМИИ ИМЕНИ К.А.ЕЛЕНСКОГО **для переводчиков польской литературы**

В третью годовщину смерти К.А.Еленского, замечательного эссеиста и влюбленного в свое дело переводчика, учреждена премия его имени для переводчиков польской литературы. От продажи бумаг покойного Константы Еленского в библиотеку Йельского университета получено 75 000 франков. Личные взносы (Чеслава Милоша, Яна Лебенштейна и Ренаты Горчинской) увеличили эту сумму до 90 тыс. франков. Постановлено присудить девять премий по 10 тыс. франков каждая — пять в этом году, четыре в следующем.

Жюри в составе: Рената Горчинская, Густав Герлинг-Грудзинский, Кшиштоф Помян — присудило в текущем году премии за переводы польской литературы на следующие языки.

На французский язык

ТЕРЕСА ДЗЕДУШИЦКАЯ (THERESE DOUCHY) — переводчица Бруно Шульца, Казимежа Брандыса, Юзефа Чапского, Густава Герлинга-Грудзинского.

КШИШТОФ ЕЖЕВСКИЙ — переводчик, в частности, Витольда Гомбровича, Анджея Кусьневича, Чеслава Милоша.

На сербско-хорватский язык

ПЕТАР ВУИЧИЧ — список его переводов польской прозы и поэзии так длинен, что ограничимся недавно изданной в Белграде книгой Збигнева Херберта «Варвар в саду».

На русский язык

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ — переводчица поэзии Милоша и Херберта, а также «Иного мира» Герлинга-Грудзинского.

На английский язык

ЛИЛЛИАН ВАЛЛЕ — американская переводчица трех томов «Дневника» Гомбровича.

«Культура» (Париж), 1990, №7/514-8/515

Редакция «Континента» рада также сообщить, что зам. главного редактора журнала Наталья Горбаневская вместе со всеми участниками демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади против оккупации Чехословакии: Вадимом Делоне (посмертно), Константином Бабицким, Ларисой Богораз, Владимиром Дремлюгой, Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом — удостоена почетного гражданства города Праги.

Петр Манолов

РАЗМЫШЛЕНИЯ С ПРИПИСКАМИ

От автора: Ностальгия по горбу

Многие из нас – как только что оперированные. Не смеют выпрямиться, чтобы не почувствовать отсутствие верблюжьего горба. Я тоже один из этих людей, но одновременно обладаю чувством времени. К сожалению, сейчас оно работает не на меня и не на мое возвращение в Болгарию.

Оппозиция не хочет меня по причинам, близким к живковским; БКП не хочет меня, потому что сменила шкуру свою и имя, но не сменила свой нрав; другие силы не хотят меня по другим соображениям.

Но я вышел из этого болота с кипой рукописей высотой 0,80 м, за которые я воевал, и не время ли открыть рюкзак?

Итак, эссе, которое выбираю, озаглавлено «Размышления с приписками», написано оно при свечах, поскольку в конце 1987 года Болгария имела самую высокую продукцию электроэнергии в мире. Опубликовано эссе в самиздатском журнале «Слухи» тиражом в 50 экземпляров – тираж огромный для государства со 160 тысячами милиционеров. Некоторые факты из этого эссе уже ушли в историю, по другим ведутся расследования, а по третьим следствие заведет г-н Будущее.

После Пасхи 1989 г. натиск на мою семью стал невыносимым. У меня была какая-то закалка по части литературных интриг, но все мы трое не могли существовать нормально с двумя, а то и четырьмя охранниками за спиной. Спокойствие мы обретали, только когда входили в близкие храмы Богородицы, св. Марины и св. Параскевы Пятницы. У выхода нас всегда на улице ждали охранники, и мы прогуливали их больше месяца по центральной улице в Пловдиве, по кафе и особенно по продуктовым магазинам, чтобы охранники увидели, как наши соотечественники воюют за полкило сыра. А потом дни кончались новыми угрозами жизни сына, непрерывным дежурством возле дома и телефонными ругательствами всякого рода.

В день, когда мы заказали билеты в Париж, охранники из областного управления милиции устроили себе маленький праздник, который называли «День Манолова». Я совсем не против региональных праздников, но мне кажется, что с этого праздника проблемы охранников не кончились, а начались.

И вот сейчас я в Париже!

Париж просыпается с похмелья вчерашней свободой и препоясывает себя офицерским поясом, спеша к Строю, спеша к Строю, который еще мог бы участвовать в битве за сложное вселенское Добро!

Иначе говоря, Париж – отнюдь не плохой город для ссылки!

– Ты ведь Али, почему ты хочешь, чтобы тебя звали Алешей?

– Чтобы не пришлось снова менять имя, когда Болгария станет советской республикой.

(Из разговора крестного отца с крестным сыном в январе 1985 года в окрестностях г. Котела)

Мудрецы, идеологи всех возможных доктрин, главы правительств, явные и тайные сторонники больших и малых империй, масоны, члены разных тайных и явных обществ, стратеги разведывательных служб, панслависты, шпионы, проповедники туманных замыслов и влияний, слепые исполнители чужой воли и глазастые хитрецы, обыкновенные доносчики, живые тибетцы и духи мертвых египтян, французы, англичане, японцы, датчане, баски, известные и еще не известные племена и народы!

До тех пор, пока вы существуете на планете Земля, наверно, будет существовать и Болгария. Болгары должны отстаивать это хотя бы для того, чтобы не быть безродными, или даже только для того, чтобы каждый из болгар будущих поколений мог сказать, откуда он родом.

Те, кто в прошлом предлагал присоединить Болгарию к советским республикам, хорошо это знали, но знание это их не оправдывает и не вычеркивает из списка безродных.

А те, кто сегодня хочет сделать из этого народа народ трактирщиков, официантов, таксистов и мастеров по ремонту домашних электрических приборов и лишить его способности к масштабному и перспективному экономическому мышлению,

тоже собираются попасть в список безродных. Не останутся вне этого списка и другие, кто завтра не постесняется распродать иностранцам эту землю, эти предприятия вместе с людьми, работающими на них.

ПРИПISKA: *Тот, кто привык продавать невыгодно для своего народа Востоку, разве будет продавать иначе Западу? Наши взаимоотношения с СССР необходимо излагать при полной свободе слова и мысли, вне зависимости от политической погоды. Так что ни у меня и ни у кого из моих соотечественников не должно быть оснований стыдиться и бояться этой темы.*

На нашей планете два многонациональных колосса: США и СССР. В одном из них каждый человек, прежде чем назвать свое национальное, религиозное или расовое происхождение, ставит на первое место имя колосса, где живет и действует, а о своем региональном происхождении вспоминает, только если ему придется посетить землю своих предков.

Что касается другого колосса, мне думается, что люди в нем замыкаются в своей национальной принадлежности и чем сильнее стремление замесить их в одно месиво, тем больше сопротивляются они подобному замешиванию, словно в этом смешении народы ощущают что-то нечистое и недоброе для себя. В этом втором колоссе как будто считается вопросом гордости и чести подрывать усилия центральной – далекой и как бы абстрактной власти.

Почему так получается на деле, я не знаю, однако в обоих колоссах делаются попытки стереть, уничтожить национальное, подчинить его чему-то всеобъемлющему, стремящемуся, со своей стороны, сделать малые региональные конфликты ненужными и невозможными, словом – небольшие национальности многонациональных колоссов пока учатся общежитию.

ПРИПISKA: *Проблема эта очень глубокая и обширная, и я, сознаюсь, не готов плыть в этом океане, так как знаю о нем постольку-поскольку (из неполных морских карт литературы и из деформированной информации), поэтому ограничусь Болгарией и Советским Союзом. Освещение этих вопросов в естественном свете ослабит напряжение между нами, и мы сможем принимать друг друга открыто, спокойно и от всего сердца, без подозрительности и неприязни, без злорадства и цинизма, т.е. наши отношения будут действительно отношениями людей к людям.*

От Колымы до Дубровника народы страдают одинаковыми болезнями: апатией и отсутствием вкуса к жизни, и вот почему всякое «парфюмирование» действительности портит ее запах.

Коммунизм в течение десятилетий ставил себе на службу идеи старого русского империализма, и нечего удивляться, что люди отворачиваются от них.

В новейшей истории Болгарии бывали периоды, когда теперешнее политбюро разводило такую бесценную просоветскую (прорусскую) пропаганду, что в итоге получался обратный эффект, и поэтому, но не только поэтому нужно непрерывно освещать и предавать гласности наши взаимоотношения.

ПРИПISKA: Помню, как в конце мая 1986 года в Пловдиве прошла встреча с группой писателей из «Литературной газеты». Помню и сколько тревог стоила она организаторам: заполнить зал до последнего места, обеспечить присутствие публики, раздав чиновникам из отдела культуры нумерованные билеты, чтобы потом требовать с них отчета за каждое незаполненное место. Помню еще, что спрашивал некоторых нумерованных интеллектуалов, не обмолвились ли хоть словом Распутин или Окуджава о Чернобыльской катастрофе. И у меня не вызвало приятных чувств то, что об этом ничего не было сказано; а в то самое время, когда Окуджава тербил струны своей гитары, врачи-гинекологи в болгарских больницах уже вырывали первые студенистые зачатки людей...

Пусть отныне и навсегда никто не надеется достигнуть такого «совершенства», чтоб радоваться своим палачам и психопатически выкрикивать перед смертью их имена, как поступали жертвы Джугашвили. Может быть, душевный строй или средиземноморский климат, чередование тепла и холода или же электрические вибрации земель, на которых мы обитаем, доселе предостерегали нас, болгар, от подобных провалов в психике.

В давние времена наши предки успели отвоевать эту горсть земли, и она не раз возбуждала аппетиты многих завоевателей. Владели мы другими людьми и большей территорией, чем сегодня (а радости от этого не было), но и нами владели. И при каждом владычестве были наши люди с прислужничеством в крови. В годы византийского владычества они старались быть византийцами, во времена турецкого – отуречивались, во время Второй мировой войны онемечивались, а сегодня существует громадное множество обрусевших.

Радостно то, что вместе с этой прослойкой ожило и очень неподатливое болгарское население, любящее свой планетарный дом, жаждущее жить по-болгарски, не угрожая другим народам.

ПРИПISKA: *Если гласность настоящая, при ней не может быть запрещенных тем и проблем!*

Над болгарско-русскими отношениями тяготели и тяготеют махинации посредников русского имперского и советского сталинского (то есть опять имперского) влияния, а нашу страну давно не проветривали настоящим, свежим воздухом. И для того, чтобы мы взаимно могли пользоваться словами «братья» и «братский», надо постоянно поддерживать чистоту нашего братства, потому что любая фальшь в терминах о кровной близости неизменно хуже открытой вражды.

Ведь нет такого нормально мыслящего человека, чтобы посчитать возможным и допустимым пролить столь много юношеской крови и истратить миллиарды рублей в Афганистане, а тем временем оставить Болгарию безмятежной, как райский сад для национальных девиц, и еще считать естественным внедрение сотен и сотен просоветских деятелей во всех сферах общественной, политической, экономической и культурной жизни и по всей иерархии средств массовой информации, от рядовых редакторов вплоть до верхушки пирамиды.

Эти полки бесчисленной рати вышли и выйдут на пенсию, возлеза на хребте этого же народа, еще называющегося болгарским.

Вряд ли найдется хоть один из моих соотечественников, который бы не был свидетелем непрестанно совершаемых опытов доверить лидерство в материальной и духовной сфере «мальчикам», получившим свое образование в СССР, «советским зятьям» или людям, всегда и в любом случае восхваляющим все русское и советское.

Эти «надышанные» (дышащие внушенными постулатами) мальчики и девочки (многие из которых уже дедушки и бабушки) бушевали и продолжают бушевать, становясь незыблемыми трупами на пути естественного духовного развития. Кое-кто из них пытался играть заранее обреченную двойственную игру, но большей частью эти мальчики никогда не принадлежали к болгарскому народу. Не принадлежат они ни к советским народам, ни к русскому народу. Они только вводят в заблуждение и отрав-

ляют здоровье отношений двух народов, обладающих естественной склонностью и имеющих все основания для искренней и прочной дружбы. И так как миссия этих «мальчиков» не только бессмысленна, но и вредна, то усилия по их дорогостоящему внедрению, содержанию и вытаскиванию наверх столь же результативна, как труд Сизифа в подземном царстве.

А в сущности, кто и для чего выковывает их, этих кругленьких мальчиков? Они копошатся среди жизни, пытаются руководить духом, будучи сами бездуховны, только размахивают словесами о социальной справедливости, но она им вовсе не к лицу, и они озираются идейно-подозрительно, как «читаки» (басурманы), но по всему видно, что они безыдейны; им помогают занять места вожаков, однако за ними не идет никто, кроме небольшой, прополотой, больной сапом и безродностью кучки. Последнее, что остаётся этим «мальчикам», – занять должности «артельщиков», чтобы быть ближе к кухне (ведь кормиться же надо!). А там уже они сразу превращают чистый воздух в зловоние.

Присутствие или отсутствие этих больных вертячкой овец – небольшая потеря для болгарского народа. В каждом народе бывают такие, нормально их наличие и в болгарском. Кто действительно термит ущерб – это русский интернационализм, потому что во всех случаях эти «мальчики» оскорбительны для тех, чьему делу они прислуживают.

***ПРИПИСКА:** Прошу извинить мои эмоциональные слова, но я не мог бы считать себя человеком, тем более поэтом своего народа, если не спрашиваю и не ищу ответа на эти и на множество других наболевших вопросов!*

Ибо что пользы для вас, люди из СССР, от того, что вертушки дружески настроенных к вам народов укомплектованы из подобных приживальщиков? Они сеют и будут сеять фальшь, неискренность. Были годы, когда эта неискренность становилась прямо мерзкой. Более того, те, кто ее сеял, ожидали даже, что им воздадут должное как национальным героям. Ту же игру играли между собой и власти, следовательно, бессмыслие было крайним и всеобщим.

***ПРИПИСКА:** Нельзя обходить эти вещи, потому что они и дальше будут отравлять и нас, и вас.*

Выдающиеся творцы, гении – дети мира, талантливые – дети своих народов, а посредственность – дитя шпионства.

Неискренние взаимоотношения между социалистическими государствами и строгий запрет на критику между ними породили особую прослойку интеллигентов, не вполне лишенных национальной принадлежности, даже, возможно, обладающих и некоторым количеством патриотизма, но подходящих к чужой духовности, экономике, культуре, к чужим идеям, делам, техническим достижениям, управлению и пр. с улыбкой льстецов и жуликов.

Дальше эти интеллигенты замечают, что, кроме всего прочего, их поведение прибыльно; тогда они пристращаются к выгодам, устанавливают связи с «коллегами» в других странах, и в самое скорое время эта прослойка набухает, разрастается, становясь межгосударственной и международной. Появляются настоящие сонмы хитрецов – весьма наднациональные, весьма коррумпированные, весьма продажные.

ПРИПISKA: Недавно один такой «мальчик» (посредственный поэт и еще более посредственный драматург, быстро поднявшийся по политико-литературной и иерархической лестнице) сообщил в первичную партийную организацию при Союзе писателей в Пловдиве, что П. Манолов ходил в американское посольство. А разве госбезопасность (если она действительно государственная, а не частная) спрашивает с него, маменькиного сынка, почему он ездит в Москву каждый месяц!

Если когда-нибудь будет опубликован список таких писак, станет видно, что в преобладающем большинстве одаренность этих творцов-массовиков чуть выше средней, зато они обладают даром одевать свой конформизм в одежды сдержанного воспитания, лукавой заботы о человеке и отрежиссированной задушевности.

Литература, как и музыка, и драматургия, и живопись, может обойтись и без этих творцов. И именно потому, что все искусства (включая и искусство управлять) обойдутся и без них: они не дорожат ничем, готовы жертвовать всем только для того, чтобы бродить туда-сюда, где уютнее, спокойнее, приятнее, чем на рабочем столе подлинного таланта.

Эти бродящие в конце концов не могут прослыть никем и ничем иным, кроме как духовной нечистью. И до тех пор, пока интеллигенция не научится распознавать их дурной запах, она так и останется провинциальной интеллигенцией. Большие проблемы мира будут недоступны для нее или, в лучшем случае, не будут ей ни по мерке, ни к лицу.

Плутовская интеллигенция разговаривает со своим народом, подмигивая, ибо самопожертвование не присуще ей. Не случайно она самый заклятый сторонник материальной доктрины: «Всё здесь, в этом мире! Живи и перехитряй всех! Будь безжалостным внутри и утонченным снаружи!» Эти заветы из морального кодекса плутов относятся не только к искусству, культуре и политике – плутовство рассеяно по всему общественному организму.

Радостно все-таки, что оно не создает и не определяет настоящих отношений между людьми. Плуты всякого рода произрастали и будут произрастать, как бурьян, всегда с тяготением к какой-нибудь чужбине; они будут населять и страну по имени Болгария. Но эта прослойка везде и всегда останется гнилым местом, лишним придатком, не обогащающим ни культуру, ни цивилизацию.

Пока я перепечатывал части этого текста, шло телевизионное состязание между советскими и болгарскими многознайками. Хорошее начинание для отдыха беспроблемных людей, однако не очень ли дорого оно по отношению к тратящейся на передачу энергии? Не лучше ли эту энергию использовать, скажем, для того, чтобы пролить свет на отношения между двумя нашими государствами?

Не найти болгарина, которому не хотелось бы в какой-нибудь из этих передач узнать размеры нашей задолженности Советскому Союзу и в чем точно мы задолжали? Погашаем ли мы свои долги или влезаем в новые? Так как, если не погашаем, это будет означать, что наше экономическое положение хуже, чем у соседней Румынии.

Короче говоря, мы хотим знать свои счета. Пусть и нам будет предоставлено право ясно понять и знать, зачем мы влезли в долги и почему у нас плохое состояние. Неужели этот народ – ни к чему не годный, ленивый, пропащий, спившийся? А может быть, кучка никудышников, неспособных управлять, делает долги напропалую?

Мы хотим знать, насколько велики наши долги и странам Запада. За что задолжали им. Там хоть нет идеологических тайн, по крайней мере, не должно быть. Мы хотим также знать, не достигают ли эти наши долги суммы личных сбережений некоторых болгар в западных банках?

Гласность нам нужна по ряду причин. Мы уже не можем себе позволить, чтобы во главе государства стояли люди с такими

преступными тайнами. Сверхунизительно для болгарского народа скрывать от него вещи, известные другим народам и правительствам.

ПРИПISKA: *Немалая часть болгарского населения подслащивает свободное время «проблемными» передачами болгарского телевидения. Люди возвращаются с работы, усаживаются против телевизоров и допускаются в predetermined спор с привидениями. Большинство этих привидений наяву оказываются тертыми обманщиками, способными в течение десятилетий брызгать, лить на нас полугласность, которая втрое отвратительнее наглої лжи.*

При подобной таинственности мы неизбежно наталкиваемся на попытки разных управляющих батраков поставить болгарский народ в какую-то категорию, а поскольку народы не подлежат распределению по категориям, в конце концов выходит, что в низшую категорию управляющие зачисляют самих себя.

Отныне, с февраля 1988 года и в дальнейшем, нам уже не придется так регулярно видеть на экране «своих» умильных правителей, которые, может быть, и научатся несколько правильнее произносить «СССР, социализм, коммунизм», но наверняка постараются еще и застраховать себя в качестве пожизненных дальновидных, удобных и «мудрых» руководителей. Удобных – да, но не для своего народа!

Многие наблюдения и факты говорят, что болгары – народ практичный, и это еще одна причина, чтобы они знали свои счета лучше. А с другой стороны, это поспособствует росту надежд у детей этого вымирающего, исчезающего народа – это ведь касается его будущего!

Осведомленность об этих вещах принесет пользу не только болгарскому народу, но и советским народам – они не будут думать, например, что кормят и индустриализируют нас, что развивают нашу экономику, что мы висим у них камнем на шее и т.д., и т.д.

ПРИПISKA: *Простите поэта, но на планете Земля он болгарин, и один, запертый в своем государстве, как в скотобойне, он уязвим, как лысый еж, и вооружен только отчаянием и словами проклятья тем, кто причиняет зло.*

Мы, болгары, можем многому научиться у других народов и будем радоваться и гордиться, если и они научатся чему-нибудь

у нас. Но для этого необходимо прежде всего равноправие и очень трезвые, объективные средства массовой информации. Как мне известно, после Второй мировой войны эти средства оплачиваются трудящимися-болгарами, а были такие годы, когда наши информаторы были похожи на взъерошенных собачонок, истерически лающих на каждый проходящий и непроходящий караван.

Итак, не пора ли уже этому народу взять толстый грифель и сверить свои счета, чтобы спросить с некоторых телевизионных наглецов, чьи деньги они растрачивают?

Я не верю, что среди болгар найдется такой, кто мог бы искренне радоваться вторжению советских войск в Афганистан. Если и возможны отдельные единицы, то или они стерегут таким образом свою кормушку, или же они просто уцелевшее отродье из тех подхалимов, что восхищались давнишними османскими завоеваниями на территории Средиземноморья.

Я не верил в то, что среди моих соотечественников найдутся люди, которые способны злорадствовать по поводу трагедии утонувшего корабля «Адмирал Нахимов», однако увидел таких людей, и мне стало плохо, потемнело в глазах от этого злорадства.

***ПРИПИСКА:** И так как поэту невозможно обойти подобные вещи, ибо его предназначение – видеть рану от выстрела, прежде чем взведен курок, я не только смею, не только вправе, но и должен говорить об этих вещах. А иначе – чтоб отсох язык у того, кто назовет меня антирусским и интисоветчиком!*

Религия разума, овладевающая миром, заставляет и нас, болгар, как можно скорее привыкнуть обсуждать во весь голос все эти проблемы, выбросить из своих рядов и родов несостоятельных чужеземных глашатаев. Иначе наш национальный климат будет отравлен теми надышанными «мальчиками», которые ради всползания вверх по иерархии будут снова и снова делать попытки флиртовать с чувствами между народами и вести болгарский народ в направлении, противоположном тому, по которому пошли другие народы.

Будущие формы межгосударственных границ ставят перед людьми нашей планеты более высокие требования к гостеприимству. Оно будет приобретать все более нравственный характер за счет политического. После того, как люди добьются взаимооговоренных прав и сводов, прочно утвердятся условия

чистоты взаимоотношений, вызывая презрение и насмешку над шпионством, героизированным пошлой идеологической литературой. Ведь, в отличие от артефактов, до сих пор народы отвергали и выносили вон, за пределы своей отчизны, самые некачественные идеи, не имеющие поддержки и сторонников в том месте, в котором и для которого они возникли.

ПРИПISKA: *Немало вещей приводят меня к заключению, что современная цивилизация опирается больше на скользкое плечо шпионства, чем на разум мыслителей-гуманистов.*

Все эти размышления касаются не только отношений между народами Болгарии и СССР. На нынешнем этапе планетарной общности эти проблемы в одинаковой степени значимы для взаимоотношений между большими и небольшими народами. Материальные доктрины, охватившие человечество, обесмысливают естественную, здравую любовь к родине и ко всему родному, подвергают ее эрозии, и современный человек как бы чувствует себя причастным к некой всеобщей империи, религии, философской системе до тех пор, пока не обнаружит и не осознает, что им ловко манипулировали, делали его безродным, душили в нем родовое чувство, чтобы наконец он оказался одиноким и беспомощным.

И чем нам утешаться, на что мы еще можем надеяться, если не на то, что наша замкнутость, наше заточение в себе и наши страдания, навязанные нам феодальные порядки и менталитет привели к тому, что у нас крепче пускала корни духовность, которую уже можно взращивать.

И дай Бог, чтобы неприязнь, омсрзение к пустым словесам, среди которых мы росли, помогли нам стать трезвыми и мудрыми, дай Бог не зря надеяться, что Большая ложь, среди которой мы жили, превратила нас в непоколебимых защитников правды и разума, дай Бог, чтоб пена идеологических попугаев навсегда стекла с наших земель и вод, дай Бог, чтоб минувшее время сделало из нас непримиримых врагов безродности и безмыслия!

МАНОЛОВ Петр родился в г. Садово в 1939 году. Окончил философский факультет Софийского университета, работал по разным специальностям. После «Пражской весны» поселился на безлюдном берегу Черного моря, недалеко от мыса Эмона, где работал на маяке. В Болгарии вышли два сборника стихов, другие поэтические сборники ходили по издательствам как беспризорные, а два киносценария были приняты, но их отказались снимать.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»
(Сорок девятый год издания)
Книга 178. 368 стр.

ПРОЗА. В.ГУСЕВ. Вмятина. Н.ДЕМЧИК. Сплю и вижу. Трагикомедия. О.МАКСИМОВА. Времена года. С.ГОЛЛЕРБАХ. Профессор Каспар и истины искусства. У океана. Н.ТЭФФИ. Саул. Е.ЗАМЯТИН. О литературе и искусстве. Публикация А.Тюрина. Б.ЕЗЕРСКАЯ. Ссылка. С.ЛЕВИЦКИЙ. Достоевский – наш современник. Л.ДОЛГОПОЛОВ. Поэт и время. В.КРЕЙД. Марина Цветаева и «Современные записки».

СТИХИ. И.ЧИННОВ, В.ПЕРЕЛЕШИН, В.ТОЛМАЧЕВ, М.ЮПП, П.ВЕГИН, М.ХЛЕБНИКОВА, Е.ПОЛУЕКТОВА, О.МОЖАЙСКАЯ. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ. А.ДАВЫДОВ. Зеленая комната. Публикация О.Давыдовой-Дакс. Письма М.ОСОРГИНА М.ВИШНЯКУ. Публикация Д.Фине и Т.Осоргиной-Бакуниной.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА. А.ГЕРШКОВИЧ. История с «Моцартом и Сальери». М.ХАЗАНОВА. Письма советских читателей.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ. О.АШЕР. К столетию со дня рождения М.Драй-Хмары. Два неизвестных письма К.БАЛЬМОНТА С.РАХМАНИНОВУ. Публикация Ж.Шерона. Э.ШТЕЙН. Письмо в редакцию.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ. М.Раев. Памяти Б.САПИРА. Д.Антонов. Памяти М.РОЗАНОВА.

БИБЛИОГРАФИЯ. Ю.ОСТЕРФЕЛЬД. Р.Скрынников. Смута в России в начале XVII века. Иван Болотников. Д.БРЭДЛИ. R.W.Thurston. Liberal City, Conservative State: Moscow and Russia's Urban Crisis, 1906-1914. В.КРЕЙД. Стихи забытого футуриста. (И.Терентьев. Собрание сочинений).

Указатель содержания «Нового журнала», кн. 171-177.

Цена №177 – 12,5 долл. П
пересылка в США – 1,50 долл., за границу – 2,50 долл.
Подписная цена на 1990 год (за 4 книги)
для университетов и организаций – 50 долл.
(пересылка в США – 6 долл., за границу – 10 долл.).
Подписная цена в год за 4 книги для отдельных лиц – 40 долл.
(Пересылка в США – 6 долл., за границу – 10 долл.)
Заказы направлять в редакцию «Нового журнала»:
THE NEW REVIEW, 611 Broadway, #842,
New York, N.Y. 10012.

Гётц Хиллиг

ЦАРАПИНЫ НА ОБРАЗЕ «СВЯТОГО»

Некоторые результаты историко-биографического макаренковедения

Антон Семенович Макаренко считается и за пределами СССР одним из выдающихся педагогов этого столетия. Однако конкретные обстоятельства, при которых произошла его канонизация, еще недостаточно выяснены. Одно очевидно: в возведении Макаренко в ранг классика педагогики решающую роль сыграла его вдова – Галина Стахивна Макаренко (1892-1962). Она являлась членом «Комиссии по увековечению памяти А.С. Макаренко», организованной президиумом Союза писателей СССР после смерти Макаренко, и заведовала «Лабораторией по изучению педагогического наследия А.С. Макаренко» при Институте теории и истории педагогики АПН РСФСР, существовавшей в 1943-1951 гг.

Сведения о жизни и деятельности Макаренко до 60-х годов основывались прежде всего на двух вышедших еще в сталинское время работах Е.Н. Медынского и Е.З. Балабановича. Галина Стахивна снабдила биографов, которые пришли ей весьма кстати, достоверными и сфабрикованными материалами. Тогда стремились представить Макаренко выдающимся советским педагогом, а также пропагандировать его и за пределами СССР; в его биографии многое замалчивалось и сглаживалось. Это привело к возникновению недостоверного образа Макаренко и – как писал (на основании наших исследований) киевский литератор Б. Хандрос – «иконы, на которую молились»¹⁾.

Подготовка научной биографии Макаренко – что, кстати, является с самого основания лаборатории «Макаренко-Реферат» при Марбургском университете в 1968 году одной из основных задач нашей работы по изучению жизни, творчества и междуна-

родного значения советского педагога и писателя – впервые была названа советским ученым Л.Ю. Гординым (АПН СССР) одной из самых важных и «самых ближайших» перспектив макаренковедения, в осуществлении которой «важная роль будет принадлежать международному сотрудничеству»²⁾.

В этой статье мне хотелось бы сообщить о некоторых результатах исследований Марбургской лаборатории. Они касаются прежде всего политически обусловленных табу и искажений, допущенных советским макаренковедением.

1. Социальное происхождение

Антон Семенович Макаренко (род. 1/13 марта 1888 г.) вырос не в семье бедного рабочего (как он сам пишет в «Книге для родителей» в 1937 г., а также в своей повести «Честь» 1937-1938 гг., и как без перепроверки перенимают его биографы), а в семье квалифицированного ремесленника (маляра), работавшего в одной из железнодорожных компаний (Южные железные дороги). Его отец – как мастеровой со специальным образованием и с сознанием своей социальной принадлежности – находился вместе с другими служащими и рабочими железных дорог в относительно привилегированном по сравнению с другими группами трудящегося населения предреволюционной России положении. У железнодорожников были свои поселки, которые снабжались электрическим током, свои школы (от начальных училищ до вузов), клубы, врачи, аптеки, больницы и т.п.

Отец А.С. Макаренко, который, вопреки поздним высказываниям педагога, не был неграмотным, поначалу служил простым рабочим, потом стал бригадиром и наконец мастером и руководителем малярного отдела в одной из новых больших мастерских по ремонту железнодорожных вагонов Южных дорог (в Крюкове – посад на Днестре, являющийся частью города Кременчуга). По поручению администрации этой компании он побывал в 1912 году в Германии в составе делегации специалистов для закупки стали и красок. За заслуги перед народом и отечеством он был отмечен почетным в Российской империи званием – личным почетным гражданством.

Обо всем этом мы узнали сначала от брата А.С. Макаренко Виталия. А позднее мы обнаружили в советских архивах также и документы, подтверждающие эти факты³⁾.

2. «Родственник за границей»

Виталий Семенович Макаренко (1895-1983) играл важную роль в жизни педагога: после Октябрьской революции Антону удалось устроить своего брата, служившего офицером во время мировой войны, учителем в Крюковском железнодорожном высшем начальном училище, которым он руководил (с 1917 по 1919 год). Там Виталий ввел в преподавание физкультуры и внешкольные занятия (сначала против воли своего явно антимилитаристски настроенного брата) военизированные элементы – такие, как строевая подготовка и маршировка со знаменем под звуки духового оркестра.

Этим были созданы основательные предпосылки для частичной военизации быта, а тем самым и дисциплинирования, как это позднее практиковалось А.С. Макаренко в руководимых им учреждениях (колония им. М. Горького, коммуна им. Ф.Э. Дзержинского) и что послужило поводом для упрека в том, что он сам был «полковником».

То обстоятельство, что Виталий Семенович вследствие своей личной ситуации как бывший офицер царской армии в 1919 году присоединился к контрреволюционным белым войскам и уехал после их поражения за границу, создало его брату в сталинское время немало политических трудностей. Но об этом, также как и о том факте, что у А.С. Макаренко были брат и три сестры, в советской макаренковедческой литературе до последнего времени нельзя было ничего прочесть – «белогвардейцу», очевидно, не было места в биографии советского педагога, взятого за образец!

До конца 20-х годов, т.е. пока это было возможно с политической точки зрения, А.С. Макаренко состоял в переписке со своим братом. Но впоследствии он избегал упоминания о брате, причем как открыто, так и в своих личных записках. Хотя два раза ему все-таки пришлось раскрыть историю своей семьи, а именно при поступлении на работу в НКВД и при вступлении в партию. Оба документа пока не опубликованы.

Так, в анкете специального назначения работника НКВД УССР от 17 ноября 1935 года он писал: «Мой брат, Виталий Семенович Макаренко, род. 1895 г., с августа 1919 года был в армии Деникина – подпоручиком, сейчас в эмиграции. (...) ...местожительство мне неизвестно, связи не имею»⁴. И в анкете всту-

пающего кандидатом в члены ВКП(б) от 15 февраля 1939 г. говорится: «Брат Виталий (род. 1895 г.) прапорщик военного времени, был в армии Деникина, до 1928 года был в эмиграции в Париже, с 1928 г. сведений о нем не имею»⁵⁾.

В действительности у Виталия было звание поручика, а последнее известие от него Антон получил шестью годами позже, чем он писал во второй анкете. Здесь дело идет о запросе от 11 июня 1934 года из г. Ницца по адресу: «Харьков. Коммуне им. Дзержинского, U.R.S.S.» Текст этой открытки написан почерком В.С. Макаренко, но от чужого имени: «Товарищи! Сообщите что-нибудь о судьбе Антона Семеновича Макаренко». На открытке, которая хранится в макаренковском фонде ЦГАЛИ СССР, стоит штамп «Харьков 51. 19.6.34»⁶⁾.

Стремление Макаренко скрыть тот факт, что его брат эмигрировал за пределы родины, вполне объяснимо. В то время, когда советское правительство видело чуть ли не в каждом гражданине иностранного агента (процессы против «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков» в 1930-31 гг.), лица с «родственными за границей» не могли не опасаться репрессий.

Благодаря «обнаружению» В.С. Макаренко, которого мы в 1970 году разыскали в доме для престарелых в г. Йере в южной Франции и убедили написать его воспоминания о совместно проведенных с Антоном Семеновичем годах детства и юности⁷⁾, исследователи получили важный источник, которым в последнее время все чаще и чаще пользовались также и те авторы в СССР, которые сделали его некогда «нежелательным лицом».

3. Попадья-любовница

Одна из самых захватывающих, а также самых щекотливых глав в воспоминаниях В.С. Макаренко об интимной стороне жизни брата – его связь с женой крюковского священника Дмитрия Ивановича Григоровича – Елизаветой Федоровной. Эта связь, во многом похожая на гражданский брак, просуществовала до 20-х годов. Она была возможна благодаря терпимому отношению к ней священника – кстати, ходили слухи и о том, что он был импотент. Всю эту историю, как можно заключить из воспоминаний Виталия Семеновича, А.С. Макаренко положил в основу своего первого рассказа «Глупый день», написанного в 1914 году. «В рассказе я изобразил действительное событие: поп ревну-

ет жену к учителю (...)), – так он напишет позже в статье на смерть М. Горького⁸⁾, которому он направил в свое время рассказ для публикации.

И несмотря на все эти подтверждения, связь А.С. Макаренко с Е.Ф. Григорович советские макаренковеды по-прежнему обходят молчанием. Так, при публикации воспоминаний В.Ф. Гороновича, одноклассника В.С. Макаренко по реальному училищу, было опущено следующее место: «Познакомился я с Антоном Семеновичем на квартире своего дяди (sic!) – священника Григоровича Дмитрия Ивановича, где он бывал как друг дома приблизительно в 1909-1910 годах, когда я сам был еще учеником Кременчугского Александровского реального училища (КАРУ). Антон Семенович был дружен с женой дяди Елизаветой Федоровной (по «Педагогической поэме» она именуется Екатериной Григорьевной). Она ушла от попа домой и стала его другом жизни почти на 20 лет. Антон Семенович не венчался с ней, не записывался позже в загсе, не хотел, видимо, компрометировать себя (она и дочь попа – поповна, и жена попа – попадьа)»⁹⁾.

Сама Григорович по профессии была учительницей и руководителем школы. Первоначально пост заведующего колонией им. Горького был предложен ей, но она отказалась от него в пользу Макаренко.

4. Национальное самосознание

Вопросом о национальном самосознании Макаренко советское макаренковедение до сих пор не занималось. Частично на рассмотрение его было наложено табу, о чем свидетельствует тот факт, что соответствующие источники не были опубликованы или по крайней мере были оставлены без внимания.

Макаренко, как известно, прожил почти всю свою жизнь на Украине, но, с другой стороны, его всегда тянуло в Россию, прежде всего в Москву, куда он регулярно ездил и куда в конце концов переехал.

Он вырос в семье, в которой говорили по-русски. «Отец родился в Харькове, а в Харькове говорили на самом красивом русском языке». А родные матери «были выходцы из Орловской губернии», то есть из России, пишет В.С. Макаренко¹⁰⁾.

Литература, которую читал молодой А.С. Макаренко и которая сформировала его, была, как достоверно свидетельствует

его брат, исключительно русскоязычной: книги, журналы и альманахи, т.е. произведения русских авторов (прежде всего писателей, а также историков и философов) или переводы соответствующих произведений с европейских языков. Бесспорными кумирами Макаренко в литературе были, как известно, два современных ему русских писателя – Чехов и Горький. Русский язык и литература были его основной педагогической специальностью.

В соответствии с дореволюционным русским законом ребенка присваивалась национальность матери. Самое первое известное нам свидетельство о своей национальности Макаренко дал в сентябре 1922 года: в (русскоязычной) анкете Наркомпроса УССР для «сотрудников учреждений для дефективных детей Харьковской области». В графе «национальность» он написал: «Русский»¹¹⁾. И это как раз соответствует свидетельству его брата Виталия, который подтвердил в одном из писем в адрес Марбургской лаборатории: «Несмотря на свое украинское происхождение, Антон был 100% русским»¹²⁾.

Однако всего лишь два года спустя в анкете на украинском языке для «сотрудников детучреждений соцвоса», т.е. главного комитета социального воспитания Наркомпроса УССР, его тогдашнего начальства, Макаренко – в том же самом месте и в той же должности, т.е. будучи заведующим колонией им. М. Горького под Полтавой – написал (в сентябре 1924 г.): «Украинец»¹³⁾.

В первые годы советской власти, как говорится в Кодексе законов о народном просвещении УССР от 22 ноября 1922 года, «решительно отвергая всякую искусственную украинизацию, как и русификацию», обеспечивается «населению всех наций и национальных меньшинств, населяющих Украину, воспитание и обучение на их родном языке». Под «нациями» подразумевались в данном случае украинцы и русские. Далее говорится: «Языки – украинский как язык большинства населения Украины, в особенности на селе, и русский как язык большинства в городах и общесоюзный – имеют в УССР общегосударственное значение и должны преподаваться во всех учебно-воспитательных учреждениях Украинской Советской Социалистической Республики»¹⁴⁾.

Это равенство украинского и русского языков уже несколько месяцев спустя было упразднено: декретом Совнаркома УССР «О мероприятиях по украинизации учебно-воспитатель-

ных и культурно-просветительных учреждений» от 17 июля 1923 года предписывалось «закончить перевод учреждений социального воспитания на украинский язык» к 1 августа 1924 года¹⁵⁾.

Об этом факте Макаренко как заведующему одной из двух трудколоний Наркомпроса Украины напомнил циркуляр от 2 августа 1924 года. В этом циркуляре ему, между прочим, предлагается конкретно: «С 1/VIII вести делопроизводство колонии на украинском языке, заказы, ведомости, приказы, ордера, расчеты, педагогические дневники, характеристики и т.п., а также вести на украинском языке и междугородную переписку. Собрания детей должны проводиться на украинском языке. (...) Также украинский язык следует преподавать всем воспитанникам (украинский язык – обязательная дисциплина).»¹⁶⁾.

Очевидно, чтобы не потерять свою должность заведующего одного из центральных, подчинявшихся непосредственно украинскому правительству учреждений, Макаренко в этой ситуации все же решил в официальных документах назвать себя украинцем. При этом он, видимо, имел в виду судьбу своего почитаемого учителя А.К. Волнина, директора Полтавского учительского института, которого уволили одновременно с тремя другими преподавателями-русскими летом 1917 года, т.е. во время подобной форсированной украинизации воспитательных и учебных учреждений на Украине (директором института был назначен украинец)¹⁷⁾.

Своего решения называть себя украинцем Макаренко не изменил и в дальнейшем, даже в последние годы своей жизни в Москве.

Его собственное критическое отношение к украинизации и в частности к переходу на преподавание на украинском языке явствует из двух писем к Горькому. 16 июня 1926 года (т.е. уже в Куряже под Харьковом) Макаренко извиняется за «шершавые письма» его новых «хлопцев» – «плоды обучения на "родном" языке»¹⁸⁾, и в письме от 14 марта 1927 г. говорится: «...трудно переучивать наших запущенных ребят, а кроме того, режет нас украинизация: хлопцы городские, по-украински никогда не говорили, сейчас вокруг них, даже в селе, все говорят по-русски, читают книги исключительно русские, а учатся исключительно на "родном языке"»¹⁹⁾.

В письмах Макаренко содержатся указания на его постоянную ориентацию на Россию и прежде всего на Москву. В одном

из них (5 октября 1932 г.) он доверительно сообщил Горькому (и это, очевидно, побудило составителей собраний его сочинений из АПН СССР с соответствующим доверием обойтись с данным местом из письма и не опубликовать его!): «И еще одно – мне надоела Украина, ибо я всегда был просто русским человеком. А Москву люблю»²⁰⁾

5. Политические взгляды молодого Макаренко

«Решающее влияние» революционных событий 1905 года на Макаренко, собственная политическая активность его в тот период – все, что приписывается Макаренко со времени выхода в свет монографии Е.З. Балабановича «А.С. Макаренко» в 1951 году (и что, стало быть, не было известно вдове Макаренко, когда она писала в 1941 году свою программную статью «Жизнь, полная труда и исканий»²¹⁾), – пока еще не подтверждено достоверными доказательствами. Своим «главным свидетелем» в отношении этих и других заслуг Макаренко в должности народного учителя в Крюковском начальном училище Балабанович считает тогдашнего начальника Макаренко М.Г. Компанцева, который рассказал об этом в (неопубликованном) дополнении к своим вышедшим в 1944 году воспоминаниям²²⁾.

В своей рукописи «Еще о А.С. Макаренко» Компанцев среди прочего описывает, как он и Макаренко якобы «выписали себе в 1905 году большевистскую легальную газету "Новая жизнь" и были ее внимательными читателями». Но не в пользу данного утверждения говорит то, что этот петербургский печатный орган выходил лишь в течение пяти недель и был запрещен цензурой 3 декабря 1905 г.

Убедительное объяснение того, почему об этих политических интересах молодого Макаренко стало известно лишь после его смерти, дает В.С. Макаренко. Он тоже свидетельствует, что А.С. Макаренко был в контакте с российским революционным движением, но он говорит о социал-революционных (эсеровских), а никаких не большевистских настроениях брата. После того, как партия социалистов-революционеров (ведущая социалистическая партия России до 1905 года) была в 1918 году оттеснена большевиками на задний план, лишена реальной государственной власти, а потом и запрещена – после всего этого Макаренко, конечно, остерегался и в своих произведениях, и в авто-

биографических сведениях обнаружить эти в высшей степени подозрительные «грехи юности».

По свидетельству брата, когда А.С. Макаренко было 15-16 лет, он через одного своего товарища по Кременчугскому городскому училищу, Цалова, получил доступ к литературе эсеров. Литературу эту, вспоминает В.С. Макаренко, Антон «приносил под рубашкой и читал тайком от отца, который ненавидел революцию и революционеров». А позже – очевидно, 18-19-летним юношей – он поддерживал эту оппозиционную партию, которая опиралась не только на рабочих, учащихся и студентов, но и на провинциальную интеллигенцию (учителей, врачей, агрономов, техников, адвокатов и т.д.), а также и на служащих – прежде всего железнодорожных и почтовых; непродолжительное время А.С. Макаренко являлся кандидатом в члены партии эсеров²³).

Тот факт, что А.С. Макаренко позднее (приблизительно к 1910 году) собрал вокруг себя кружок крюковских интеллигентов, в котором велись в основном литературные дискуссии, не противоречит свидетельству В.С. Макаренко. После поражения революции 1905-1907 гг. всем социалистическим партиям пришлось пережить резкое сокращение количества их членов, «также и интеллигенция поубавила свою активность, предпочла аполитичность и удалилась в "башню из слоновой кости"»²⁴). Даже то обстоятельство, что А.С. Макаренко в связи с заявлением о приеме в ВКП(б) от 15 февраля 1939 года в анкете на вопрос: «Состоял ли в других партиях (каких, когда, где)» ответил: «Нет»²⁵), – даже это, по-моему, не исключает возможности, что он в свое время принадлежал к партии эсеров. В те годы упоминание об этом могло привести к аресту или даже расстрелу.

6. «Восторженное приветствие» Октябрьской революции

Все же можно исходить из того, что Макаренко и после этого «отступления» был за политические и общественные преобразования, что он приветствовал начавшийся в России в 1917 году после свержения царизма (Февральской революции) процесс демократизации. Все высказывания Макаренко о его приверженности Октябрьской революции, на которые ссылаются в советском макаренковедении, относятся к 1936-1937 гг. Кроме того, в них Макаренко не выражал прямо своего мнения по политическим вопросам, и поэтому ценность их небольшая. Самое изве-

стное из этих высказываний, которые якобы свидетельствуют о том, что Макаренко «восторженно встречал» захват власти большевиками²⁶⁾, выглядит полностью так:

«Учительская моя деятельность была более или менее удачна, а после Октября передо мной открылись невиданные перспективы. Мы, педагоги, тогда так опьянели от этих перспектив, что уже и себя не помнили и, по правде сказать, много напутали в разных увлечениях. К счастью, в двадцатом году мне дали колонию для правонарушителей. Задача, стоявшая передо мной, была так трудна и так неотложна, что путать было некогда»²⁷⁾.

После того, как произошла Октябрьская революция, которая на Украине не сразу привела к установлению власти большевиков, здесь буржуазной Центральной Радой была провозглашена Украинская Народная Республика. В это время (1917-1919 гг.) Макаренко занимал выжидательную позицию. Подтверждением тому является его, кажется, ничем особенно не омрачаемая деятельность во время гражданской войны в качестве директора школ (сначала в Крюкове, а потом в Полтаве) в обстановке часто менявшейся здесь власти – «красные», украинские националисты, немецко-австрийские оккупационные власти, сторонники гетмана Скоропадского, атамана Григорьева, «белые».

В 1939 году, когда Макаренко хотел вступить в ВПК(б) и ему задали вопрос о том, какая у него была политическая точка зрения тогда, когда власть перешла к «белой» армии Деникина, он ответил: «Я был против деникинщины, но активной борьбы против него не вел, занимался педагогической работой»²⁸⁾. С этим любопытно сравнить высказывание Макаренко, сделанное им в ранних автобиографических записях в целях самозащиты и принимаемое на веру советскими макаренковедом. В этих документах Макаренко пишет: «Приход деникинцев и разрушение ими школы и ее отдельных трудовых организаций заставили меня в августе 1919 года переехать в Полтаву»²⁹⁾. «С весны 1919 г. из учеников училища организовал с.-х. коммуну и за это при Деникине уволен»³⁰⁾. Полтава же была уже 29 июля 1919 года взята деникинскими войсками (раньше, чем Крюков, который был взят 10 августа)³¹⁾, так что А.С. Макаренко, по свидетельству брата, в спешке покинул 10 августа 1919 года Крюков и поехал в Полтаву, к своей подруге Е.Ф. Григорович – поменял один «белый» город на другой. В Полтаве он взял на себя руководство одним из городских начальных училищ.

Летом 1920 года, т.е. через полгода после окончательного установления советской власти в Полтаве, Макаренко в качестве члена правления профсоюза учителей русских школ составил две докладные записки о реорганизации работы губернского сектора соцвоса, организовал праздник, посвященный открытию детского дворца, и участвовал в реорганизации общеобразовательных школ в трудовые.

Несмотря на такую педагогическую деятельность, можно говорить о некоторой сдержанности Макаренко по отношению к тем явлениям, которые происходили в советских республиках. Об этом свидетельствует прежде всего одно высказывание – оно ни разу не цитировалось полностью в советском макаренковедении.

Относится это высказывание к 1922 году, когда Макаренко подал заявление о зачислении на курсы повышения квалификации в Москве (Центральный институт организаторов народного просвещения им. Е.А. Литкенса). В этом документе, озаглавленном «Вместо коллоквиума», после описания его знаний «в области политической экономии и истории социализма» говорится:

«По политическим убеждениям – беспартийный. Считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития, но полагаю, что, пока под социологию не подведен крепкий фундамент научной психологии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм»³²⁾.

Это высказывание во всех советских собраниях произведений Макаренко опущено; однако цитируется оно в работах украинского литературоведа М.Ф. Гетманца, но всегда в сокращенном, грубо искажающем содержание виде (последний раз в адрес автора этой статьи в качестве доказательства искренней всерьез Макаренко «в идеи Октября, в социализм, в нового человека»): «Считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития...»³³⁾.

7. Чтение работ Ленина

Показателем тех изменений, которые претерпели политические взгляды Макаренко при советской власти, можно считать

систематическое изучение, прежде всего с точки зрения педагогики, трудов Ленина. Свидетельства этому имеются начиная с 1928 года. Распространенное среди советских макаренковедов предположение, что Макаренко еще с 1920 года глубоко изучал речь Ленина на 3-м съезде комсомола «Задачи союзов молодежи» и что «отдельное издание речи В.И. Ленина было настольной книгой Макаренко, к которой Антон Семенович неоднократно обращался»³⁴⁾, кажется неправдоподобным уже потому, что выписки оттуда он сделал лишь в 1925 году или еще позже, и к тому же не из самой речи, а из брошюры Н.К. Крупской «Заветы Ленина в области народного просвещения», которая была опубликована ею после смерти мужа в 1924 году и где мы встречаем много цитат из работ Ленина³⁵⁾.

Самым ранним высказыванием Макаренко, содержащим ссылку на Ленина, является уже упоминавшееся заявление по поводу учебы в Москве в 1922 году, к которому приложены оценки его знаний по разным предметам. В этом документе среди прочего говорится: «В области политической экономии и истории социализма штудировал Туган-Барановского и Железнова. Маркса читал отдельные сочинения, но «Капитал» не читал, кроме как в изложении. Знаком хорошо с трудами Михайловского, Лафарга, Маслоva, Ленина»³⁶⁾.

То, что имя Ленина оказалось в этом ряду последним, само по себе очень странно. Невольно возникает вопрос: а читал ли Макаренко к этому моменту вообще что-либо из работ Ленина, да и считал ли он таким уж необходимым приводить имя Ленина в данном списке? Ведь здесь есть и такие фамилии, как Михайловский (народник и один из «предтеч» эсеров), Маслов (меньшевик) – работы которых Макаренко, надо думать, читал еще до Октябрьской революции, но знакомством с ними к тому времени уже не стоило щеголять.

Недавно украинская преподавательница немецкого языка Л.Ф. Цыбулько попыталась оспорить этот мой тезис. Она указала на то, что Макаренко названных четырех авторов систематизировал на основе дат их рождения³⁷⁾. На первый взгляд, такой подход может показаться логичным. Но для того, чтобы расположить этих авторов в таком порядке, необходима как минимум малая энциклопедия.

Сближение Макаренко с коммунистической идеологией произошло, совершенно очевидно, во второй половине 20-х го-

дов. То есть это относится к тому времени, когда началось массовое вступление в компартию сначала рабочих, а потом и служащих. Решающей в этом смысле была встреча Макаренко с Галиной Стахивной Салько, впоследствии его женой, членом партии с 1918 года. Через нее он познакомился с другими украинскими коммунистами.

Г.С. Салько была к этому времени председателем комиссии по делам несовершеннолетних правонарушителей Харьковского округа. Макаренко познакомился с ней в начале 1927 года, когда приступил к реализации своего плана по слиянию всех детдомов и колоний округа в один «трудкорпус». Любовь к этой женщине – как свидетельствуют опубликованные и частично цитированные письма А.С. Макаренко – была не только сильным личным чувством, но также и творческим импульсом; об этом свидетельствует его интенсивная работа в данный период над «Педагогической поэмой».

В двух из этих писем упоминается и имя Ленина. Так, в очень экспрессивном и вместе с тем очень поэтичном письме от 2 июля 1927 года написано: «Мой мир – мир организованного созидания человека. Мир точной ленинской логики, но здесь столько своего, что это мой мир...»³⁸⁾. А 26-27 сентября 1928 г. Макаренко пишет: «Много читаю Ленина и прямо в восторг прихожу. (...) Он тоже на нашей стороне»³⁹⁾. При этом речь идет о том времени, когда Макаренко уже освободили от руководства колонией им. Горького и он решил написать на основе опыта, приобретенного в этой детколонии, «Педагогическую поэму».

Эта последняя цитата, которая имеет, по-моему, главное значение в определении отношения Макаренко к Ленину, в советском макаренковедении до сих пор не приводилась. Это наверняка связано с тем, что в начале 50-х годов – в ходе односторонней «сталинизации» Макаренко – приведенное письмо цитировалось Е.З. Балабановичем в «исправленном» виде («Много читаю Сталина...») и соответственно комментировалось: «В этот переломный, трудный момент Антон Семенович с еще большей настойчивостью углубился в сокровищницу идей марксизма-ленинизма, в труды товарища Сталина. (...) Произведения товарища Сталина еще крепче утвердили Макаренко на его революционном новаторском пути»⁴⁰⁾

8. Панегирики Сталину

Работы Макаренко начала 30-х годов содержат и критические замечания об отдельных отрицательных явлениях советского быта (правда, все они были изъяты из собраний его сочинений, вышедших посмертно). В отличие от этих работ, его беллетристические произведения и прежде всего публицистика, которая относится ко времени первого показательного процесса в Москве (август 1936) и подготовительной кампании к выборам в Верховный Совет СССР (октябрь 1937), изобилуют панегириками в адрес коммунистической партии и «нашего чудесного рулевого – гениального Сталина». В большинстве своем эти свидетельства лояльности можно рассматривать как необходимость вынужденного приспособления к обстоятельствам, возникшим после убийства Кирова (декабрь 1935) и смерти Горького (июнь 1936). Последний был, как известно, покровителем Макаренко.

Первый из этих панегириков появился сразу после того, как были обнародованы смертные приговоры всем 16 обвиняемым в первом московском процессе – в киевской газете «Літературна газета» от 29 августа 1936 г., органе Союза писателей Украины. В этой статье, озаглавленной «Всенародный вирок» («Всенародный приговор»), Макаренко определенно одобряет приговоры, вынесенные в Москве, и пишет в заключение: «Наша мысль сейчас безраздельно устремлена к защите товарища Сталина. Хочется в особенно горячих и необычайно сердечных, живых словах передать ему нашу взволнованную любовь, наше еще не успокоившееся волнение»⁴¹⁾.

Судя по газетным сообщениям тех дней, Макаренко тогда выступил на двух специально по этому поводу созданных собраниях киевских писателей, где он принял участие и в общественном осуждении еврейского писателя по фамилии Шаевич, которого обвиняли в «троцкизме»⁴²⁾.

Особенно много ссылок на Сталина и партию можно обнаружить в тех работах Макаренко, которые были написаны им во время кампании по подготовке к первым выборам в Верховный Совет СССР после принятия новой («сталинской») конституции 1936 года. Сразу после того, как началась предвыборная кампания (11 октября 1937), в Москве, в местных и центральных газетах появилось также несколько статей Макаренко⁴³⁾, которые и послужили основанием – прежде всего для западногерманских

ученых – для того, чтобы считать Макаренко «адептом большевистской и сталинской идеологии»⁴⁴⁾.

Особо стоит упомянуть здесь две статьи о предвыборных собраниях в Сталинском избирательном округе Москвы. Эти статьи были напечатаны в центральных газетах – в «Известиях» и «Литературной газете» (обе от 26 октября 1937). Характерно, что обе публикации не вошли ни во второе, «десталинизированное» издание самого авторитетного до сих пор семитомника «Сочинений» Макаренко, ни в последнее восьмитомное издание его «Педагогических сочинений». Речь идет о двух статьях: «Наше знамя!» и «За дорогое будущее, к которому ведет Сталин». В них говорится о «чувстве благодарности к коммунистической партии, неразрывном с чувством благодарности к товарищу Сталину», «одному из величайших гениев человеческой истории, обладающему невиданным еще в мире авторитетом, возглавляющему столь же невиданное по глубине и единодушию движение трудящихся масс не только нашей страны, но и всего земного шара».

К сожалению, пока что не удалось обнаружить личные записи Макаренко, из которых можно было бы узнать, как он относился в действительности к случившемуся, в особенности к событиям 1936-1937 годов. Правда, в записных книжках Макаренко есть отдельные интересные в этом отношении высказывания. Одно из них относится к тогдашнему разжиганию истерии шпиомании:

«Таня – это несчастное существо. Ей десять лет. (...) ...это дитя с отцом ведет такой разговор:

– Теперь надо быть бдительным. Нужно ловить шпионов и смотреть.

– За кем же ты будешь смотреть?

– За всеми. И за тобой, и за мамой.

– Ну, разве я могу быть шпионом?

– А, конечно, можешь быть».

(Осень 1938)⁴⁵⁾

До сих пор единственным опубликованным высказыванием Макаренко относительно массовых арестов того времени является его ответ на вопрос одного из участников обсуждения «Книги для родителей» 9 мая 1938 года. Вопрос был поставлен так: «Если отец арестован, нужно ли у ребенка вызывать чувство не-

ненависти к отцу?» Ответ Макаренко является довольно туманным и одновременно очень банальным – его можно понимать и как конформизм самого худшего вида, и даже как частичное одобрение происходившего.

«Если ребенок маленький, он забудет, но если он сознательный и политически разбирается, нужно, чтобы он считал этого отца врагом своим и своего общества. Нужно воспитывать логику, что не только он хорош потому, что он отец. Конечно, воспитывать специально чувство ненависти не нужно, потому что это может расстроить ребенку нервы и измочалить его, но вызывать чувство отдаленности, чувство, что это враг общества, нужно, иначе быть не может, иначе ваш ребенок останется в таком разрыве: с одной стороны – враг, с другой стороны – отец. Тут нельзя никаких компромиссов допускать»⁴⁶⁾.

9. На службе в ГПУ и НКВД

Один из наиболее часто встречающихся в макаренковедении тезисов гласит, что все достижения Харьковской коммуны им. Дзержинского, в том числе увеличение производства электроинструментов и малоформатных фотокамер, являются личной заслугой Макаренко. Действительность же выглядела иначе: превращение этого детского учреждения ГПУ Украины в фабричный комплекс, для которого определяющими были прежде всего экономические показатели, где основой производства все в большей степени становились наемные рабочие, никакого отношения к коммуне не имевшие, и где воспитанники стали со временем меньшинством (этот процесс активно проводился правлением коммуны), – это превращение происходило против воли Макаренко. Круг же его обязанностей и прав становился все меньше и меньше – сначала он был заведующим всей коммуной, но с 1932 года стал начальником педагогической части и одновременно «помощником» часто менявшихся начальников коммуны. Столкновения с начальством приводили все чаще к попыткам уйти из коммуны, чтобы начать дело на новом месте. Однажды он даже хотел взять с собой всех воспитанников и перевести коммуну им. Дзержинского в Ленинград (осень 1929), но это было запрещено правлением коммуны⁴⁷⁾.

Когда в июне 1935 года на основе постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» в наркомате внутренних дел УССР, как и в

других республиках, создается специальный отдел по руководству трудовыми колониями (ОТК), Макаренко назначается на должность помощника начальника отдела и переезжает в Киев. Предшествовали этому два важных события: в июне 1934 года столица СССР была перенесена из индустриального центра республики Харькова в историческую столицу Украины Киев, в июле того же года ГПУ было распущено и его прежние функции были переданы НКВД.

На основании своей деятельности в коммуне, а также в ОТК, Макаренко ценил чекистов как хороших организаторов. В третьей части «Педагогической поэмы» (1935) он, как известно, описывает коллектив чекистов как «настоящее содружество», которое он долго искал.

Напечатанные только в последние годы фотографии изображают Макаренко в военной форме и со знаками различия в звании сержанта НКВД⁴⁸⁾. Эту форму он также носил, когда в октябре 1936 года в Москве встретился с читателями «Поэмы». Как следует из стенограмм этих мероприятий (на Первом московском подшивниковом заводе им. Кагановича и в Московском областном пединституте), Макаренко в НКВД обрел своего рода «новую педагогическую родину»⁴⁹⁾.

При Ежове, т.е. в период массовых репрессий, Макаренко приложил большие усилия, чтобы уволиться с должности помощника ОТК и навсегда уйти из системы НКВД.

После переезда в Москву (1937) Макаренко стремился не привлекать внимания к своей деятельности в украинском НКВД. Так, он никогда не говорил публично о своей работе в ОТК. Этой же традиции следует и его первый биограф Е.Н. Медынский в своих книгах о Макаренко, написанных в 40-х годах. В своих московских докладах и выступлениях Макаренко всегда говорил о 16-ти (а не о 15-ти, как было на самом деле) годах работы в колонии им. Горького и коммуне им. Дзержинского⁵⁰⁾ (кстати, о последней он, как правило, не говорил, что она является учреждением системы ГПУ-НКВД). Наконец, в 37-м томе «Большой советской энциклопедии», вышедшем весной 1938 года, ни словом не упоминается о деятельности Макаренко в органах госбезопасности. В этом тексте, в основе которого лежат личные данные, отобранные, конечно же, самим Макаренко, о его деятельности в годы советской власти сказано лишь следующее: «В 1920 организовал под Полтавой трудовую колонию им. М. Горького,

которой руководил 8 лет. Затем вел руководящую работу по организации других детских трудовых коммун и колоний на Украине»⁵¹⁾.

10. Демонстрация политической «бдительности»

В феврале 1937 года Макаренко вместе с семьей переселился из Киева в Москву. В своей первой московской публикации – отклике на постановление пленума ЦК ВКП(б), который был напечатан в «Литгазете» от 10 марта 1937 года, – Макаренко вносит предложение привлекать в будущем к сотрудничеству в Союзе писателей СССР (членом которого он был с 1934 года) также и беспартийных. Очевидно, что он имеет в виду самого себя – как раз в это время врачи запретили ему заниматься какой-либо систематической деятельностью. Далее он признается:

«Ощущение моей связи с партией, ощущение моего гражданского и человеческого, политического и нравственного единства с ней давно затушевало и нивелировало звучание слова "беспартийный". И поэтому решения, подобные решению последнего пленума, принимаешь как решения моей партии, моего коллектива, моей страны. И я глубоко горжусь тем, что в его подготовке есть и моя доля, есть участие и моей работы, и моей страсти, и моей мысли»⁵²⁾.

3 марта 1937 года Сталин выступил на этом пленуме ЦК с пресловутой речью «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников», в которой он провозгласил и заранее оправдал новые меры по борьбе с мнимыми троцкистскими элементами и направляемыми из-за границы «заговорщиками». Ко времени написания своей статьи Макаренко, видимо, не был знаком с этой речью – она была опубликована в «Правде» лишь 29 марта 1937 года.

Свою политическую «бдительность» в это время Макаренко проявлял не только в статьях на актуальные внутривнутриполитические события, но и в рецензиях на беллетристические новинки, в которых поднимались злободневные вопросы. Здесь стоит вспомнить прежде всего «разнос», который Макаренко учинил произведению начинающей ленинградской писательницы Натальи Гирей «Шестьдесят восьмая параллель». В повести изображается один из «трудлагерей» НКВД по «перевоспитанию» политических и уголовных преступников. Рецензия была напечатана

в «Литгазете» от 15 июля 1937 года под заголовком «Вредная повесть». Последние строки этой рецензии звучат как политический донос:

«Книга сделана настолько неудачно, с таким нарушением законов перспективы, с таким преобладанием вражеских тонов и вражеских слов, с таким завуалированным советским горизонтом, с такими подозрительными сравнениями и с такой холодностью, что, при всем моем желании быть снисходительным к молодому автору, я не могу быть снисходительным»⁵³⁾.

Из-за этой рецензии повесть Н. Гирей была заново обсуждена и признана «враждебной» на специально созванном заседании ленинградских писателей и издательских работников. Сообщение об этом заседании было опубликовано в «Литгазете» от 31 июля 1937 года под заголовком «Враждебная книга». В сообщении подчеркивалось, что Макаренко в своей рецензии «убедительно доказал, что повесть Н. Гирей – дурнопахнущее произведение, клеветнически искажающее социалистическую действительность». Тем самым, сообщалось далее в публикации, стало возможным вскрыть «фашистско-кулацкое нутро произведения»⁵⁴⁾.

Ярлыки вроде «дурнопахнущий» и «фашистско-кулацкий» означали в то время обычно одно: арест и ссылку – если не расстрел. О дальнейшей судьбе Н. Гирей до сих пор ничего не известно.

С начала февраля до начала марта 1939 года – т.е. непосредственно перед 18-м съездом ВКП(б) и за несколько недель до его внезапной кончины – количество высказываний Макаренко на внутривнутриполитические темы, подкрепленных цитатами из речей Сталина, снова возрастает. Вскоре он напишет заявление с просьбой о приеме в партию. Вне всякого сомнения, побудительной причиной этой вновь возникшей «тесной связи с партией» было неожиданное награждение Макаренко орденом Трудового Красного Знамени. Награжден он был за заслуги в развитии советской литературы.

Написанная в то время, но опубликованная лишь посмертно статья «О коммунистической этике» содержит и некоторые высказывания Макаренко относительно «чисток» предшествовавших лет. Делает он их, интерпретируя требования Молотова – «поднять большевистскую бдительность во всей работе по строительству коммунизма», что, по мнению Макаренко, отно-

сится «не меньше, чем ко всякому иному делу, к делу воспитания». Он указывает на то, что «в последние годы мы имели случай убедиться в том, что некоторые люди, которые особенно многословно декларировали свою революционность, оказались тайными врагами революции». Далее Макаренко требует принять меры для обнаружения «вредительства» именно в области воспитания и в этой связи пишет:

«Эффективность враждебного вмешательства в области народного воспитания может быть очень большой, и здесь ее трудно обнаружить. Вредительство на заводе или в шахте рано или поздно обнаруживается в явлениях материального характера, которые можно всегда точно назвать и квалифицировать. Вредительство в области воспитания может быть скрыто надолго, так как результаты воспитания появляются очень медленно и всегда в более или менее спорных формах»⁵⁵).

Аналогичный призыв доносить – на этот раз в области литературы – содержится в статье «Литература и общество», которая была опубликована в «Литгазете» 5 февраля 1939 года вместе с указом президиума Верховного Совета СССР от 31 января о присуждении правительственных наград определенным писателям и материалами о награжденных:

«Я отвечаю за то, что в своей работе я буду честен и правдив, чтобы в моем художественном слове не было искажения перспектив и обмана. Там, где я вижу победу, я должен первым поднять знамя торжества, чтобы обрадовать бойцов и успокоить малодушных и отставших. Там, где я вижу прорыв, я должен первым ударить тревогу, чтобы мужество моего народа успело как можно раньше прорыв ликвидировать. Там, где я вижу врага, я должен первым нарисовать его разоблачающий портрет, чтобы враг был как можно раньше уничтожен»⁵⁶).

К вопросу об «уничтожении врагов» Макаренко вернулся еще раз во время выступления перед харьковскими студентами 9 марта 1939 года. На вопрос одного из слушателей: «Если неисправимых нет, то как Вы смотрите на высшую меру наказания – расстрел?» Макаренко отвечает вначале уклончиво, рассказывая при помощи поучительного примера о «высшей мере наказания» в коммуне им. Дзержинского – исключении из коллектива. Потом он все же переходит к существу вопроса – ликвидации действительных или мнимых политических противников и по существу совершенно неожиданно, пугающе хладнокровно приносит

в жертву интересов коллектива жизнь «врага», т.е. отдельного человека.

Стенограмма этого выступления хранится в ЦГАЛИ СССР, и в ней такие строки:

«И, конечно, и расстрел в нашей стране совсем не значит, что тот человек, которого расстреляли, почему-либо неисправим, наверное, с ним еще можно возиться, но коллективный опыт, коллективное требование, коллективный гнев, – вот что нас прежде всего интересует. Мы уничтожаем таких врагов, хотя возможно, что они как-нибудь могли прожить, и, уничтожая их, мы усиливаем наше требование к человеку, и наше уважение к коллективу, и наши надежды, и нашу ненависть к врагам»⁵⁷⁾.

В советской печати эти строки никогда не публиковались без купюр и без «смягчения» их смысла⁵⁸⁾

11. Макаренко – «классовый враг»

Двумя с половиной годами раньше Макаренко сам был объявлен «врагом». Это событие, долгое время известное лишь отдельным советским исследователям, позволяет рассматривать поведение Макаренко в годы террора в новом свете. Свидетельства данного события находятся в личном деле педагога и писателя, которое хранится в архиве МВД УССР. Об этом заявил Н.Н. Окса в конце апреля 1989 года на международном макаренковедческом симпозиуме в Марбурге, вызвав тем самым укор со стороны своего коллеги В.В. Кумарина, который сказал, что он «распорядился» этим архивным материалом не «по-хозяйски» и без «достоинства»⁵⁹⁾.

5 сентября 1936 года Макаренко, будучи уже помощником начальника отдела трудколоний НКВД Украины в Киеве, приехал в Харьков, чтобы принять участие в празднике по случаю очередного выпуска воспитанников коммуны им. Дзержинского. В своей речи (в соответствии с вариантом, опубликованным в 1952 году) он призвал своих бывших питомцев, вступающих в самостоятельную жизнь, оставаться «прежде всего большевиками (партийными и непартийными)». Свой главный завет Макаренко формулировал так: «...будьте в каждый момент вашей жизни верными сынами партии, прежде всего держите наше большевистское единство, держите крепко дисциплину, будьте энергичными последователями нашего гениального Сталина.

Всегда помните, что железная дисциплина, полное единство нашей жизни, наших стремлений и усилий только и может привести к победе. И потом всегда увидите, что против политики нашей партии стояли всегда шкурничество, эгоизм, глупые мысли, невежественные "убеждения", неуважение интересов коллектива»⁶⁰⁾.

После московского показательного процесса эти слова следует рассматривать как предупреждение об опасности оппозиционных настроений.

Обращение Макаренко к коммунарам-выпускникам в тот же день было рассмотрено на закрытом заседании партийной ячейки коммуны им. Дзержинского. На основе решения партийной ячейки ее секретарь Огий 7 сентября 1936 года написал письмо секретарю парткома НКВД Украины Крауклису. В нем среди прочего говорилось, что Макаренко, «касаясь отношения коммунаров к оппозиции», «выразился» перед рабочими, коммунарами, инженерами и управляющим персоналом – а это около тысячи человек – «буквально следующим образом: "Все мы работаем под руководством партии и товарища Сталина. И если товарищ Сталин сделает хоть тысячу ошибок, а один, имя которого не хочу называть, поведет вас по правильной дороге, то все же надо идти за товарищем Сталиным"⁶¹⁾. Не подлежит сомнению, что под этим «одним» имелся в виду Троцкий.

Высказывания Макаренко, которые он сделал перед коммунарами-выпускниками, характеризовались в письме Огия как «контрреволюционные мысли», «антисоветские заявления», «выступление классового врага». Получатель письма Крауклис наложил на донос Огия резолюцию от 13 сентября 1936 г.: «Тов. Стрижевскому. Как только Кандыба сядет в ОТК, мы через некоторое время М. удалим. Я не верю этому контрреволюционеру ни на грош. Это враг».

Опубликованный в 1952 г. текст речи Макаренко, обращенной к выпускникам-коммунарам, в отличие от стенограмм его других выступлений, необыкновенно короткий. Однако в доносе это характеризуется как «пространная, деловая и толковая речь». Из этого обстоятельства, а также из того, что Макаренко обычно держал свои речи свободно, по коротким конспектам, следует то, что вышеназванный текст написан самим Макаренко после выступления в качестве защиты самого себя.

Однако Макаренко не был арестован, даже не снят с работы. В его судьбу вмешался тогдашний нарком внутренних дел

Украины В.А. Балицкий. Спустя некоторое время Макаренко выехал в Москву.

В июле 1937 года Балицкий был арестован и через 4 месяца расстрелян. Доносчики сразу воспряли духом и направили дело на Макаренко в столицу. Но его не арестовали и на этот раз. По рассказу одного из доверенных лиц жены Макаренко, она получила из Киева своевременную информацию и сумела найти заступничество у писателей Шолохова и Фадеева, которые просили за него самого Сталина⁶²⁾.

Макаренко не был репрессирован. Он умер естественной смертью 1 апреля 1939 года.

Таковы некоторые результаты исследовательской деятельности Марбургской лаборатории, которые явятся вкладом в опыт реконструкции жизни и творчества Макаренко и тем самым будут способствовать демифологизации и дегероизации образа Макаренко, избавлению его от легендарных черт для того, чтобы показать действительное значение советского педагога. Сотрудники Марбургской лаборатории разделяют при этом точку зрения английского ученого из Бирмингемского университета Джона Данстана, который написал в 1981 году:

«То, что в конечном счете имеет значение, – это достижения Макаренко, а не то, что некоторые из его современников думали о нем. Любому, о ком после смерти можно с полным основанием утверждать, что он был ведущим в теории и практике педагогики в течение более чем 30 лет, и кто по-прежнему оказывает на нее большое влияние, обеспечено место в пантеоне, и обнаружение отдельных слабостей не может свергнуть его с пьедестала. Кроме того, именно святые с некоторыми недостатками наиболее ясно говорили миру о положении человечества»⁶³⁾.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Мостославский А. Приглашение к Макаренко. – «Учительская газета», №27 от 3 марта 1988 г.

2) Гордин Л.Ю. Послесловие к юбилею. – «Советская педагогика», 1988, №8, с. 58-64.

3) Например: ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 1099.

4) ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 350.

5) ИМЛИ, рукоп. отдел, ф. 114, оп. 1, д. 5, л. 3.

6) ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 607.

7) Макаренко В. Мой брат Антон Семенович. Воспоминания, письма. Марбург, 1985.

8) Макаренко А. Максим Горький в моей жизни. ПС 4, 12.

9) Архив лаборатории «Макаренко-Реферат».

10) См. прим. 7, с. 155.

11) ЦГАОР УССР, ф. 166, оп. 2, ед. хр. 1687, л. 94.

12) См. прим. 7, с. 79.

13) ЦГАОР УССР, ф. 166, оп. 4, ед. хр. 937, л. 46.

14) Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины, 1922, 49. (Введение: основные положения, параграфы 23, 25).

15) То же, 1924, 29, с. 896.

16) ЦГАОР УССР, ф. 166, оп. 4, ед. хр. 912, л. 331.

17) ЦГИА УССР, ф. 707, оп. 311, ед. хр. 6, лл. 3, 12, 19.

18) ПС 1, 234.

19) Там же, 238.

20) Макаренко А.С. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1971, т. 5, с. 446.

21) Макаренко Г. Жизнь, полная труда и исканий. – «Учительская газета», №39 от 30 марта 1941 г.

22) Компанцев М.Г. Из воспоминаний об Антоне Семеновиче Макаренко. – «Начальная школа», 1944, №5-6, с. 4-6. (Дополнение к этим воспоминаниям хранится в ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 476.)

23) См. прим. 7, с. 177.

24) Hildermeier M. Die sozialrevolutionaere Partei Russlands. Koln, 1978, s. 309.

25) См. прим. 5.

26) Морозова Н.А. А.С.Макаренко. Семинарий. Изд. 2-е, Л., 1961, с. 81.

27) ПС 4, 12.

28) См. прим. 5, л. 5; также в: ПС 8, 128.

29) ПС 1, 8.

30) ПС 8, 124.

31) Радянська енциклопедія історії України, т. 2, Київ, 1970, столб. 501; т. 3, 1971, столб. 413.

32) Яковлева Р.И. «Реферат» А.С. Макаренко. – «Исторический архив», 1961, №2, с. 228-229.

33) Гетманец М.Ф. С установкой на историзм. – «Советская педагогика», 1989, №4, с. 150-153 (здесь – 152).

34) Балабанович Е. А.С.Макаренко. Очерк жизни и творчества. М., 1951, с. 37.

35) ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 189.

36) ПС 1, 10.

37) Цибулько Л.Ф. «Нова біографія» А.С. Макаренка. – «Радянська школа», 1988, №10, с. 87-90 (здесь – с. 89).

38) Вопросы теории и истории педагогики. Под ред. А.В. Ососкова. М., 1960, с. 12; также в: ПС 8, 30.

39) Восстановление этого места из письма Макаренко произведено на основании двух цитат, указанных в книге Е. Балабановича (см. прим. 34), с. 38, 56.

40) См. прим. 34, с. 56.

41) Факсимиле в: Makarenko A. Gesammelte Werke. Marburger Ausgabe, Bd. 7, Ravensburg, 1976, s. 208.

При переводе этой статьи, вышедшей в 1936 г. на украинском языке, на русский для первого издания семитомника «Сочинений» (т. 7, М., 1952, с. 13-14) смысл этих двух предложений стал еще более определенным: «Наша мысль сейчас безраздельно устремлена к одной цели – грудью стать за товарища Сталина. Мы хотим в горячих и необычайно сердечных, живых словах передать ему нашу взволнованную любовь, наше еще не успокоившееся волнение». См. также машинопись (на русском языке): «Все наши мысли и чувства сейчас страстно устремлены к одной цели – оберегать товарища Сталина. Хочется в каких-то особенно горячих, идущих от самого сердца искренних живых словах передать ему всю силу нашей взволнованной любви и неуспокоившееся еще наше волнение» (ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 110).

42) «Літературна газета», №39 от 23 августа 1936 г.; №40 от 29 августа; «Литературная газета», №48 от 27 августа 1936.

43) Макаренко А.С. Сочинения, т. 7, М., 1952, с. 23-31, 36-38; факсимиле этих статей в: Gesammelte Werke, Marburger Ausgabe, Bd 9, Ravensburg, 1979, s. 2-11.

44) Wittig H.E. Das Werk A.S.Makarenkos in westlicher und ostlicher Sicht. (Творчество А.С. Макаренко глазами исследователей на Востоке и на Западе). – «Moderne Welt», 1959/60, s. 399-409 (здесь – с. 399); сходное также у: Г. Мёбус, В. Настайнчик и др.

45) Архив лаборатории «Макаренко-Реферат».

46) ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 173, л. 36-37; см. также ПС 7, 156-157.

47) «А.С. Макаренко» (кн. 10), Львов, 1978, с. 136.

48) ПС 7 вслед за с. 192; Hillig G. (Hrsg.) Hundert Jahre Anton Makarenko. Neue Studien zur Biographie. (Столетие Антона Макаренко. Новые исследования к биографии). Bremen, 1988, s. 221, 223.

49) См.: Moskau, Oktober 1936. Edition der Protokolle zweier Begegnungen A.S. Makarenkos mit Lesern des «Pädagogischen Pöems» (Москва, октябрь 1936 года. Издание протоколов двух встреч А.С. Макаренко с читателями «Педагогической поэмы». Hrsg: G. Hillig. Marburg, 1987.

50) В советских изданиях произведений Макаренко «16 лет» заменено в большинстве случаев на «15 лет».

51) БСЭ, т. 37, М., 1938, с. 729.

- 52) ПС 7, 18.
- 53) ПС 7, 64.
- 54) Вич Л. Враждебная книга. Письмо из Ленинграда. – «Литературная газета», №41 от 31 июля 1937 г.
- 55) Макаренко А.С. Сочинения. Т. 5, М., 1951, с. 401-402.
- 56) ПС 7, 209-210.
- 57) ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 187, л. 33-34.
- 58) ПС 4, 363-364.
- 59) Кумарин В.С. Уроки Марбурга. – «Учительская газета», №58 от 16 мая 1989.
- 60) Макаренко А.С. Сочинения. Т. 7, М., 1952, с. 454.
- 61) Архив МВД УССР. Личный отдел А.С. Макаренко.
- 62) Дополнительные штрихи к портрету А.С. Макаренко. Беседа Г. Хиллига с В.В. Кумариным. Марбург, 2 ноября 1988 г. Марбург, 1989, с. XLII.
- 63) Dunstan J. Demythologizing Makarenko. – «Slavic and European Education Review», 1981, 2, в. 27-32 (здесь – с. 32).

ХИЛЛИГ Гётц родился в 1938 году в г. Ксмниц в Германии. Закончил Франкфуртский университет, с 1965 года работает в Марбургском университете. С 1968 года – руководитель лаборатории «Макаренко – Реферат». Проблемами Макаренко и его педагогики занимается с 1963 года. Член редколлегии «Марбургского издания» собрания сочинений А. Макаренко.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Николай Терентьев

«НАХОДИМ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫМ»

На тихой улице Чаплыгина, вблизи Чистых прудов, стоит дом 15. На его фасаде закреплен уникальный знак-эмблема: тюремное окно, в которое врывается луч света.

В начале 30-х годов здесь жили члены Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев – бывшие народовольцы, эсеры, социал-демократы, члены других революционных организаций, активно боровшиеся против царизма. Были среди жильцов дома даже участники Парижской коммуны. Были, разумеется, и большевики...

В 1935 году общество, созданное в первые годы советской власти, было ликвидировано. А спустя два года многие его члены вновь стали узниками.

Ныне они, безвинно пострадавшие от сталинского террора, реабилитированы. Увы, посмертно.

Но в некоторых квартирах этого дома живут еще их дети, внуки, правнуки. Автор этой заметки – один из них. Благодаря поддержке Моссовета и участию общественности год назад нам удалось открыть музей. В его фондах – волнующие документы, рукописи, фотографии, рассказывающие о судьбах русских революционеров.

Уже в 20-е годы многие из них были старыми людьми, отошедшими от активной общественной деятельности. Однако Сталин окружил этих людей стеной подозрительности только за то, что не были они большевиками. А скоро начались и репрессии...

В 1927 году Общество и его журнал «Каторга и ссылка» (см. №36 за 1927 г., стр. 234-236) получили анкету-вопросник редакции еженедельника «Либерте» – органа французских анархистов-коммунистов. Ответы на анкету были напечатаны за подписью старосты Общества Ем. Ярославского и его заместителя С.Корочкина.

В о п р о с : «Известно ли вам, что ГПУ имеет право административного суда, т.е. без защитников, без свидетелей, не предавая гласности ни обвинения, ни приговора?»

О т в е т : «Мы не отрицаем, что ГПУ имеет право суда, но мы находим это вполне правильным, т.к. ГПУ включено в систему советского государства как орган пролетарской диктатуры. Только злейших врагов обычно предают гласности. Предварительные следствия часто не могут быть преданы гласности до окончания, т.е. до вынесения приговора».

В о п р о с : «Думаете ли вы, что это административное и тайное судилище, ускользающее от контроля рабочих, полезно для революции?»

О т в е т : «В ГПУ работают преданнейшие и вернейшие представители советской власти, вышедшие из рядов рабочих и крестьян. ГПУ подотчетен в конечном счете избираемым всеми трудящимися съезду Советов, органу советской власти».

В о п р о с : «Известно ли вам, что назначенные таким путем наказания являются по существу бессрочными, ибо по окончании официального срока они автоматически возобновляются простым постановлением ГПУ?»

О т в е т : «ГПУ призвано быть стражем советского государства. Если оно убеждено и имеет точные сведения, что данное лицо, хотя бы и отбывшее тот или иной срок наказания, опасно для государства, оно обязано это лицо изолировать».

В о п р о с : «Что думаете вы об этих мероприятиях, применяемых через 6 лет после окончания гражданской войны? Одобряете ли вы их?»

О т в е т : «...Пока не уничтожены классы, мы сохраним органы государственной власти, государственного принуждения».

Надо сказать, что с протестом по поводу этих ответов, составленных без участия членов Центрального совета Общества, без обсуждения на общем собрании, выступила тогда группа бывших народовольцев, 61 человек. Но что мог дать этот протест?

Позднее, в 1932 году, В.Н. Фигнер в письме Ем. Ярославскому писала: «Не зная современного метода политического расследования дел, в которых на карте стоит свобода и жизнь человека, не зная, чем вызываются признания подследственных ви-

новности своей при полном отсутствии ее, Общество, втянутое в политику, ставится в необходимость давать резолюцию, одобряющую деятельность ГПУ, и, увы, дает одобрительную санкцию».

* * *

Прохожие часто останавливаются перед домом №15 на улице Чаплыгина, чтобы получше рассмотреть и понять: что означает знак и зачем он на этом доме – в тюремное окно врывается луч света?

Дом был построен в 1930 году жилищно-строительным товариществом «Политкаторжанин» в Машковом переулке (с 1942 Н улица Чаплыгина).

Просматриваю журнал «Каторга и ссылка» за 1925 год. В одном из номеров фотография Мальцевской тюрьмы в Акатуе... А ведь подлинник находится у нас в домашнем архиве. Моя бабушка, Надежда Терентьева, первые годы бессрочной каторги (1907-1911) отбывала в женской Мальцевской тюрьме. Рисунок Мальцевской тюрьмы был сделан Н.Х., политкаторжанином, в 1908 году. Так подлинник попал в Музей политкаторжан, открытый в ноябре 1988 года на ул. Чаплыгина, 15~~7~~ туда, где жили политкаторжане. Тюрма написана акварелью на ватмане, сейчас в рамке под стеклом его можно видеть в музее.

В 1989 году от Б.П. Фабричного, сына П.И. Фабричного, поступили номера журнала «Каторга и ссылка». На одной из страниц первого номера фотография: женщины – политкаторжанки Акатуя, освобожденные февралем 17-го: Н. Терентьева, А. Биценко, М. Спиридонова и др.

Первый номер журнала сам по себе является уникальным. Выпущенный в 1921 году (в год создания «Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев») в 500 экземплярах, журнал сразу же стал библиографической редкостью.

Значок политкаторжанина серебряный с эмалью, на котором изображение эмблемы «Общества бывших политкаторжан». Значок музеем подарили братья Вишняковы – П.В. Вишняков и Д.В. Вишняков, сыновья политкаторжанина Владимира Гавриловича Вишнякова, которому он принадлежал.

В годы первой русской революции он был членом московской военной организации партии большевиков, потом, до фев-

раля 17-го, находился в ссылке в Енисейской губернии. В 1938 году его опять арестовали, но он выжил и снова вернулся в наш дом.

При вступлении в члены Общества бывших политкаторжан выдавался членский билет.

Небольшая книжечка, на первой странице которой помещалась фотография ее владельца с указанием срока отбывтия царской каторги или ссылки. Ниже – подпись старосты общества, и на остальных страничках – выдержки из устава «Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев».

Внимание посетителей привлекает цветистый альбом, на последней странице которого сургучная печать с царским гербом, – это рабочая тетрадь узника Александровского централа П.Н. Фабричного, датированная 1913 годом. По окончании срока пребывания такие тетради выдавались на руки за подписью тюремного начальства и с печатью.

Павел Никитич Фабричный в 1904-1905 гг. служил в армии. Член ПСР. За революционную деятельность в 1906 году был осужден к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывал в Александровском центре до февраля 1917 года. Беспартийный. В 20-30-е годы работал в артели «Технохимик». В 1938 году вновь арестован. Приговор – десять лет без права переписки.

Изданный в Лондоне двойной портрет с автографом В.Н. Фигнер, который она подарила Л.В. Фрайфельду в 1911 г. Этот уникальный экспонат подарен музею В.Л. Фрайфельдом, его сыном. Политкаторжанин Л.В. Фрайфельд был врачом и до февраля 1917 г. жил с семьей в эмиграции в Цюрихе. Там же находился В.И. Ленин. В.Л. Фрайфельд рассказывает, как однажды его, десятилетнего мальчика, отец подвел к В.И. Ленину и сказал: «Познакомься, Володя, это Владимир Ильич»...

В наш фонд поступают не только редчайшие книги, фотографии, но и происходят встречи с людьми, которые могут поделиться своими воспоминаниями.

Фотография 1913 года: большевики-кооператоры в г. Киренске. Среди них большевик с 1903 года, путиловский рабочий М.И. Бублеев. Михаил Иванович в 20-30-е годы избирался делегатом районных и городских партконференций. Эти подлинные документы (мандаты) передала музею его племянница М.М. Бублеева, коренная жительница нашего дома.

Биографический справочник «Политическая каторга и ссылка», изд-во политкаторжан, М., 1930; М., 1934. Издание справочника было декретировано съездом Общества политкаторжан. Исключительная точность биографических сведений членов Общества политкаторжан периода 1905-1917 гг. помогает выверить «приблизительные» свидетельства родственников и многое другое.

Биобиблиографический справочник деятелей революционного движения России, который издательство политкаторжан предполагало выпустить в 10 томах. Работа по его изданию не была завершена в связи с роспуском Общества. Два тома (изданных в Москве в 1928 году) с автографом народовольца Геденовского получены от В.Л. Фрайфельда.

Можно привести немалый список редких книг и альбомов, изданных до 1917 года и после. Можно посмотреть редкие фотографии, связанные с каторгой и ссылкой дореволюционного периода, и фотографии 20-30-х годов, рассказывающие о жизни Общества и работе его членов в годы советской власти.

* * *

Узники царских тюрем в 1937-1938 гг. стали узниками сталинских лагерей.

Борис Николаевич Добронравов родился в Москве. Воспитывался в детском приюте. Член ПСР с 1904 года. В 1905 году участвовал в московском вооруженном восстании, в баррикадных боях, у баррикад близ Красных Ворот был арестован.

В 1906 году Б.Н. Добронравов осужден Московским военно-окружным судом на 10 лет каторги. Наказание отбывал в 1906-1911 гг. в Бутырках, в 1911-1915 гг. – в Ярославском центре. На поселении в Енисейской губернии работал по корчевке леса.

Письма, письма, письма... Их много. Письма с этапа и из лагерей 1938-1940 г. к жене и сыну. Это документы, свидетельства о человеке, который растерялся от собственной невинности и, став бессмысленной жертвой, погиб в лагере. Ф.Б. Добронравов письма отца сохранил и передал их музею в ноябре 1988 года.

16.02.38 г.

Я очень далеко от Вас, почти у самого Владивостока. Случилось так, что несмотря на мою полную невинность, меня

все же осудили. Но не надо отчаиваться. Пройдет это страшное время, и мы скоро снова будем вместе.

Я считаю, что уехал в дальнюю командировку, как на Сахалин, и мое дело будет пересмотрено, и я освобожусь, т.к., по-моему, произошло недоразумение.

ДВК ст.Уссури

*Бамлаг НКВД 19 отделение –
колонна 39*

Пожелтевший от времени мандат. Выдан М.Д.Закгейму. В 1921-1922 гг. начальник эвакопоезда, снаряженного в помощь голодающим Поволжья. Только за первый рейс было вывезено и размещено 835 детей. Начальник эвакуационного отдела Москвы наградил поезд блестящим приказом, отметив его образцовую работу в первом рейсе: при очень скромных возможностях, очень тяжелой обстановке и условиях жизни персонала поезд дает значительно лучшие результаты, чем другие поезда Главсанупра и Наркомпроса. «Это можно объяснить только одним: качественным составом персонала, его полным бескорыстием и преданностью гуманнейшему делу», – отмечает журнал «Каторга и ссылка».

М.Д. Закгейм родился в 1885 году. С 1904 года – член с.-р. максималистов. В 1906 году арестован. До суда в 1906-1908 гг. находился в Петропавловской крепости. В 1908 году приговорен по делу 44-х максималистов к 15-ти годам каторги. Каторгу отбывал в 1910-1917 гг. в Шлиссельбурге. Беспартийный. Членский билет общества №598. В 20-30-е годы – сотрудник издательства Всесоюзного общества политкаторжан.

В 1938 году М.Д. Закгейм был арестован – 10 лет без права переписки, что означало расстрел. Здесь же справка от 1956 года о посмертной реабилитации.

* * *

Вернувшись из ссылки в 1956 году, Ирина Константиновна Каховская, потомок знаменитого декабриста, сразу же посетила своих друзей в Москве на улице Чаплыгина, 15. Она рассказывала, что последние дни своего заключения в Орловской тюрьме И. Каховская, А. Измайлович и М. Спиридонова (подруги по Нерчинской каторге) были неразлучны.

В ту сентябрьскую ночь 1941 года Спиридонову и еще несколько каторжан вывели из камер. Под утро Каховскую и Измайлович неожиданно вызвали: «Свещами!» Проходя тюремный двор, они увидели сваленную у стены одежду М. Спиридоновой.

Приведен далеко не полный перечень документов, фотографий, книг, писем, неопубликованных воспоминаний, которые входят в основной фонд музея политкаторжан. О работе с массовыми экскурсиями и отдельными посетителями рассказывают «Книга регистрации посетителей» и «Книга отзывов». «Большая заслуга музея в том, – пишет в книге отзывов кандидат технических наук, дважды лауреат Государственной премии В.В. Калашников, – что положено начало историческим изысканиям в области жизни и деятельности бывших политкаторжан».

Об организации музея те, кто интересуется отечественной историей, неоднократно писали, что «это дело очень нужное и важное», которое заполняет «белые пятна нашей истории революционного периода 1905-1917 гг. и периода сталинских репрессий 1937-1938 гг.» И в то же время задаются вопросы во время экскурсий, в письмах о том, кто они – политкаторжане, к каким партиям принадлежали, какова их дальнейшая судьба и т.п.

О них мало что известно. Книги и журналы издательства политкаторжан давно стали библиографической редкостью; кроме того, много книг и документов пропало в конце 30-х годов. Часто спрашивают также, что стало с музеем «Каторга и ссылка», еще существовавшим в 30-е годы?

В музее хранилась деревянная шкатулка с двойным дном, где лежала рукопись, судьба которой в некотором смысле символична: посланная в 1910 году из Горного Зерентуя политкаторжанином А.А.Яковлевым (он погиб на французском фронте в Первую мировую войну), она путешествовала по России и за границей свыше 14 лет, пока в 1924 году наконец не попала к адресату – А.В. Якимовой-Диковской (она была членом исполнительного комитета «Народной воли». По процессу 20-ти была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. По коронационному манифесту 1896 года срок был сокращен. Возглавляла музейную комиссию Общества. С 1930 по 1941 год жила в доме №15 в Машковом переулке). В 1935 году музей с библиотекой и архивом был ликвидирован. Шкатулка пропала бесследно...

В политической жизни России после февраля 1917 года замелькали сотни имен, ставших общезвестными. Многие из них

дала каторга и ссылка. Но из тысяч бывших каторжан и ссыльных (рабочих, крестьян, матросов, солдат и небольшой по сравнению с ними группой интеллигенции) одни ушли на отдых к родным местам, другие отошли в сторону, стали безмолвными зрителями великих событий.

Как считали бывшие политкаторжане, их объединению в первые годы революции «мешала напряженность и острота политической борьбы, которая разметала бывших товарищей по каторге и ссылке по различным враждующим лагерям».

Но все же у них установился обычай праздновать день своего освобождения – 12 марта. Такие встречи были в 1918, 1919, 1920 годах, но охватывали лишь небольшой круг близких товарищей. Наиболее активными и настойчивыми в деле организации Общества бывших политкаторжан оказались нерчинцы и бутырцы; они набросали проект устава Общества, ими начал издаваться сборник «Каторга и ссылка», они были ядром его первых учредителей.

12 марта 1921 года, в день 4-й годовщины освобождения из царских тюрем, в Голубом зале Дома Союзов в Москве собралось 150 человек, бывших политических каторжан и ссыльных, и на этой торжественной встрече положили основание Обществу.

В первые месяцы работать было трудно, не было средств, помещения, платного персонала. В дальнейшем совету Общества, находящемуся в Москве, удалось получить собственное помещение и от ВЦИК – средства для помощи нуждающимся.

*Зам. Пред. Сов. Нар. Ком. СССР Каменев
Зав. Упр. Дел. Нар. Ком. СССР Хлопьянкин
Секретарь Сов. Нар. Комиссаров Фотиёва
16.09.1924 г.*

УСТАВ **Всесоюзного Общества политкаторжан** **и ссыльно-поселенцев**

I. Общие положения...

II. Состав Общества, права и обязанности его членов...

7. В члены Общества принимаются... осужденные царским судом за революционную деятельность:

а) в каторгу,

б) в ссылку на поселение.

8. Не могут быть приняты в члены Общества:

а) совершившие деяния, противоречащие революционно-социалистической этике,

б) подавшие прошения о помиловании и заявления о раскаянии,

в) осужденные органами Советской власти за всякого рода выступления против нее...

*Зам. Старосты Виленский-Сибиряков
Секретарь Совета Общества Бреслав*

Какие цели и задачи ставило себе Общество в первый момент своего зарождения?

Одной из основных целей было, как сказано в его уставе, принятом в 1921 году, собирание, сохранение, разработка и опубликование материалов по истории русского революционного движения, каторги и ссылки, издание сборников, журналов, мемуаров. Ближайшей задачей – дело товарищеской взаимопомощи.

В дальнейшем общество уточнило свой устав на 1-м съезде в 1924 году, когда было основано Всесоюзное общество бывших политкаторжан и сыльнопоселенцев, но сущность основных целей и задач осталась неизменной. В этом отношении исключительное значение имела разработка архивных данных силами непосредственных участников революции. Право доступа во все архивы (судебные, жандармские и охранного отделения, находящиеся в ведении центрального архива и Истпарта), их разработка и обязательная публикация.

Первый номер журнала «Каторга и ссылка» вышел в свет 12 марта 1921 года в количестве 500 экземпляров и в продажу не поступал, сразу став библиографической редкостью.

С 1923 года литературно-издательская деятельность Общества политкаторжан расширилась, и сборник «Каторга и ссылка» превратился в периодически выходящий историко-революционный журнал.

Наряду с мемуарами революционеров разных политических эпох (В. Фигнер, Н. Морозова, М. Сажина, И. Каховской, М. Спиридоновой, П. Вороницына и др.) журнал уделял значительное внимание научно-исследовательской работе и впервые обнародовал немало архивных материалов. С 1921 по 1935 год

вышло 116 номеров. Журнал выходил под общей редакцией Вл.Д. Виленского-Сибирякова, Ф.Я. Кона и И.А. Теодоровича.

Первый редактор «Каторги и ссылки» (1923-1927) Владимир Дмитриевич Виленский-Сибиряков родился в 1888 году в Томске. Член РСДРП с 1903 года. Арестован в 1908 году, посажен в Красноярскую тюрьму. В январе 1910 года осужден за принадлежность к РСДРП на два года и восемь месяцев каторги. Наказание отбывал в 1910-1911 гг. в Акатуе, Алгачах, Зерентуе и Кутома-ре (Нерчинская каторга). После отбытия каторги был сослан в Якутию, где находился до марта 1917 года.

В.Д. Виленский-Сибиряков – активный участник революционной борьбы в Сибири. В 1920 году он был уполномоченным РСФСР на Дальнем Востоке. С 1922 года перешел на литературную работу. Был одним из редакторов «Известий ЦИК СССР». Автор книг по международным отношениям на Дальнем Востоке. Он был одним из активистов создания Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Членский билет Общества №1. Был арестован в 1937 году и погиб в лагере. Посмертно реабилитирован после 20-го съезда КПСС.

* * *

В борьбе за революцию члены Общества политкаторжан отбыли только на царской каторге 13 тысяч лет (в 1934 году Общество насчитывало около 3.000 бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев). В числе членов Общества были представители многих поколений, начиная от революционеров 60-70-х годов (народники, народовольцы), коммунаров, сражавшихся на баррикадах Парижской коммуны, и кончая более молодыми революционерами.

Среди них более 60% были беспартийными, в прошлом члены РСДРП, СДКПил (социал-демократия королевства Польши и Литвы), ЛСДРП (латышская социал-демократическая рабочая партия), ПСР (партия социалистов-революционеров), А-К (анархисты-коммунисты) и др.

«Все члены нашего Общества бывших п-н активные участники в советском социалистическом строительстве, занимают должности от наркома до рабочего у станка», – писал в 1927 году Ем. Ярославский. В те годы Общество политкаторжан игра-

ло значительную роль в общественной и политической жизни страны.

Общество обладало правами юридического лица, имело свою печать, местные отделения. Его деятельность распространялась на всю территорию СССР. Состоялось четыре съезда Всесоюзного общества политкаторжан, последний в 1931 году.

В обществе работали литературно-издательская и историческая комиссии, комиссия помощи ветеранам революции (в ее состав входили М.П. Шебалин, М.Ф. Фроленко, М.П. Сажин), организационная и хозяйственная комиссии (решали вопросы, связанные с организацией библиотек, домов отдыха, созданием подсобных хозяйств, артелей и производств, строительством жилых домов, клубов) и др.

Каждую комиссию возглавлял один из членов совета Общества. Таким образом, совет в целом руководил всей работой общества.

В 1925 году было основано «Издательство Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев». В издательстве активно сотрудничали видные деятели революционного движения: В. Виленский-Сибиряков, Л.Г. Дейч, М.Ф. Фроленко, И.А. Теодорович, В.И. Невский, известный советский историк Б.П. Козьмин и др.

Все этапы русского революционного движения, начиная от Радищева и кончая Февральской революцией, тюрьма, каторга, ссылка, царская охранка, провокация – все это нашло отражение на страницах сборников, книг издательства и впервые получило научное освещение.

В 1925 году издательство начало издавать «Историко-революционную библиотеку». В серии печатались воспоминания, исследования, документы из истории революционной России. За десять лет увидели свет 55 названий, в том числе собрания сочинений П.Н. Ткачева и В.Н. Фигнер, воспоминания М.Ф. Фроленко и Н.А. Чарушина, архив «Земли и воли» и «Народной воли», монографии В.И. Невского, Н.М. Дружинина, Б.П. Козьмина... Это была лучшая серия издательства с вводными статьями, комментариями, указателями имен.

Издательство выпускало серию «Классики революционной мысли домарксистского периода», публиковало исследования и документы о декабристах, сочинения М.А. Бакунина, исследо-

вание В.Н. Орлова «Студенческое движение Московского университета в XIX столетии», письма В.Г. Короленко и Евг. Сазонова, путеводитель «По современной Москве» (историко-революционной, художественной и культурной)...

* * *

В феврале 1935 года А. Жданов обронил фразу: «Между прочим, товарищ Сталин не знал, что мы историю партии проходим только до 1917 года», – и Сталин сделал замечание, что «с точки зрения истории партии период перед 1917 годом является предысторией». В этот период целые поколения революционеров подверглись гонениям.

Ем. Ярославский в книге «Разгром народничества» (М., 1937) писал: «Молодые члены партии и комсомольцы не всегда знают и недостаточно оценивают значение этой борьбы, когда на протяжении десятилетий наша партия, преодолевая влияние народничества, разгромила его как злейшего врага марксизма и всего дела пролетариата».

В 30-е годы были прерваны издания работ Лаврова, Ткачева, Бакунина. Начала сворачиваться работа по изданию много-томного «Библиографического словаря» (от предшественников декабристов до падения царизма). Общее редактирование словаря по постановлению Центрального совета Общества политкаторжан осуществлялось историко-литературной комиссией в составе Ф.Я. Кона, А.А. Шилова, Б.П. Козьмпна, В.И. Невско-го при секретаре комиссии Е.Д. Никитиной.

(Екатерина Дмитриевна Никитина – дочь секретаря губернского земского управления, родилась в 1885 г. в Херсоне. С 1904 г. член Московской организации ПСР. С 1905 г. – среди эсеров-максималистов. Арестована в 1906 г. и осуждена на 6 лет каторги. Наказание отбывала в Новинской тюрьме. В 1909 г. бежала в числе 13-ти. До 1917 г. жила в Париже. Беспартийная. Членский билет Общества №1490. Видный деятель Общества политкаторжан. Автор книг «По царским тюрьмам. Крепость Шлиссельбург, 1718-1905» (М., 1927), «Новинское освобождение. Побег 13 каторжанок из Московской женской тюрьмы» (М., 1932). Арестована 22 июня 1941 года. Реабилитирована посмертно.

Десять томов, по 20-25 печатных листов каждый, должны были охватить: I том – от Радищева до 1870 г.; II том – 70-е годы; III, IV тома – 80-е годы (издание было прервано); V, VI, VII тома – 80-е, 90-е и девятисотые годы – социал-демократы; VIII, IX и X тома – остальные партии – социалисты-революционеры, анархисты и др. (до 1904 г.).

Не успев расшириться, был прерван и коллективный труд по составлению карточек деятелей массового рабочего движения эпохи между двумя революциями (1905-1917 гг.).

О ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА БЫВ. ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

*Президиум Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:*

*1. Удовлетворить просьбу Пленума Центрального Совета
Общества быв. политкаторжан и ссыльно-поселенцев о ликвида-
ции Общества и принятия за счет государства всех материаль-
ных забот о членах ликвидируемого общества.*

*2. Для ликвидации Общества, передачи его имущества и раз-
работки вопросов о формах дальнейшей помощи бывшим членам
Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев создать ко-
миссию в составе гг. Акулова (председатель), Ежова, Корочки-
на, Ярославского, Петерса и Наговицына.*

*Председатель Центрального Исполнительного Комите-
та Союза ССР М. Калинин.*

*Секретарь Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР И. Акулов.*

*Москва, Кремль
25 июня 1935 г.*

Всесоюзное общество политкаторжан объединяло предста-
вителей различных партий, действовавших в истории русского
революционного движения. Среди них участники процесса
«50-ти», «193-х», «Южно-Русского рабочего союза», покушения
на Александра II... Еще больше в его рядах было участников тех
многочисленных процессов, которые имели место в период во-
енно-полевой юстиции после 1905 года.

Когда в Обществе торжественно праздновали столетие восстания декабристов и двадцатилетие первой русской революции, журнал «Каторга и ссылка» отмечал, что если в отношении первой юбилейной даты члены Общества политкаторжан «принимали участие как революционеры, связанные узами каторги и ссылки с первыми зачинателями борьбы с самодержавием, то в праздновании двадцатилетия первой революции – принимали участие как ее непосредственные участники, ибо огромное большинство членов нашего Общества являются осужденными за участие в революции 1905 года».

Одной из основных задач членов общества являлось восстановление исторической правды в отношении всей истории русского революционного движения.

Неоценима их исследовательская работа, проводимая в исторической и издательской секциях Общества, разработка архивных данных, связанных с их процессами, тем, что они непосредственно знали.

С ликвидацией в 1935 году Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, которое их объединяло, следы большинства членов Общества теряются (трудно установить даже год смерти некоторых из них). Они пропали как бы бесследно...

* * *

Несколько ночей продолжалось оборудование эшелона: на крышах вагонов устанавливали пулеметы, прожектора, протягивали провода для телефонного сообщения и принимали другие меры охраны. «Живой груз» в несколько тысяч человек был загружен в спецэшелон из товарных вагонов, заперт на замки, запломбирован и отправлен в путь.

В 1938 году политкаторжане вторично следовали по линии сибирской железнодорожной магистрали. Для тех, кто остался жив, путь в лагерь был длинным, хорошо знакомым, но неузнаваемым. По их воспоминаниям, в прежние годы по пути в ссылку железнодорожный путь тонул в зеленых массивах. Теперь же, перебравшись через «каменный пояс», лес сильно изменился, отошел от линии, а огромное пространство было окружено свежим частоколом с дозорными вышками по углам, прозванными в народе «голубятнями».

Эшелон постепенно сокращался, отцеплялись вагоны. В Иркутске их оставалось уже меньше 30.

Дальше этап продвигался по Амурской железной дороге, по заповедным зонам Бамлагерей и Амурлага. Эту дорогу в прежние годы звали «Колесуха». С 1905 года на ее строительство стали направлять политических. Нерчинск, Свободный, Благовещенск...

Письма выбрасывали на первых разъездах из вагона товарняка, уходящего все дальше на восток, через окошко или отверстие в полу, привязывая к чему-нибудь тяжелому, чтобы не унес ветер. Единственная надежда была на доброжелательность людей на воле, которые, видя в зарешеченных скотских вагонах массы людей, недоумевали, но сочувственно улыбались.

По свидетельству политкаторжан, уверенность в сочувствии к ним простых людей и особенно железнодорожников возрастала по мере приближения к «Каменному поясу», а за Уралом стала еще больше. На стоянках у вокзальных платформ намерение бросить письмо люди одобрительно или отрицательно кивали головой, в зависимости от присутствия или отсутствия конвоиров.

23 марта 1938 . г. Хабаровск

Вот уже четыре месяца, как я нахожусь вне себя. Я не знаю, что с вами, как вы живете, вы не знаете ничего обо мне.

Начну с начала: после ареста я был на другой день через Лубянку перевезен в Таганку, там просидел в кошмарных условиях месяц, и вдруг вызывают на этап. 20 декабря я был посажен в товарный... и в невыносимо-ужасных условиях 45 дней ехали на Дальний Восток.

Эта дорога останется у меня на всю жизнь. Я хотел покончить с собой, но сознание того, что могу причинить вам большие неприятности, я воздержался.

Всю дорогу я не знал, за что я арестован и к чему меня приговорили. Только приехав в Ружн..., это за Хабаровском 350 верст, нас, весь этап – 3000 человек – высадили и обращались с нами как с каторжниками, разогнали по колоннам и комлагерям. Здесь мне только сообщили, что я приговорен тройкой НКВД Моск. области к 10 годам концлагеря как контрреволюционер... Я сейчас нахожусь снова в этапе и еду не в Колыму, как я предполагал, а в г. Свободный в 8 отделение бамлагерей.

Я не знаю, что будет дальше. Нас всех политических, по 58 статье судившихся, заставляют работать на самых тяжелых работах...

Я вот уже второй месяц работаю на земляных работах. По 10-11 часов в день, одним словом, жизнь каторжная. И сравнивая каторгу, которую я отбывал при царе, – эта ужаснее...

26 марта 1938 г.

Еду сейчас по этапу из Руджи в г. Свободный. Почему переводят и что будет, не знаю. Как я и писал, жизнь моя сейчас ужасна – и голодная, и холодная, и безысходная. Нет никаких просветов... Удерживает меня в жизни – это вы...

Я ничего не знаю, что с вами. Как вы живете?

По получении этого письма напишите срочное письмо... Денег мне не посылай, я их не получу. Лучше время от времени посылай посылки и все что можно от цынки. У меня уже началась цынга... Я писал: осужден тройкой НКВД без предъявления какого-либо обвинения.

Со мной тысячи таких же, как и я. И у всех нас участь тяжелая...

Лагерь располагался в 100-120 км от населенных пунктов, вокруг сопки, непроходимые болота и тайга.

Заклученные работали близ железнодорожной линии Хабаровск – Владивосток. Когда появлялись пассажирские поезда дальнего следования, заключенные ловили взгляды, кивки и взмахи рук в открытых окнах проносящегося мимо поезда.

* * *

Из книги отзывов музея за 1989 год:

«Удивительно, ведь мы жили рядом (в прямом смысле – на улице Жуковского) и не догадывались о драматических событиях, происходящих на улице Чаплыгина, 15».

Когда начались массовые аресты, состав обитателей домов жилтоварищества, среди которых, кроме большевиков, были представители всех партий, боровшихся с царизмом: анархисты, меньшевики, максималисты, народовольцы, эсеры и другие, – стал быстро редеть.

В те зимние ночи 1937-38 гг. по вспыхнувшему вдруг свету в окне жилыцы дома знали, за кем пришли. Бывших узников царской каторги и ссылки арестовывали по биографическому справочнику политкаторжан.

С позднего вечера до утра дом напоминал поселение «на осадном положении». Раздавался стук в дверь, и если спрашивали: «Кто стучит?», то за дверью раздавался традиционный ответ жандармов всех времен: «Телеграмма! Открой!» То одни окна, то другие вдруг освещались, в них появлялись уполномоченные НКВД и конвоиры с винтовками. Всю ночь они сновали по двору. После ареста бывшие политкаторжане доставлялись на Лубянку, вглубь бывших подвалов виноторговца Бауера.

Семьи много лет ничего не знали об их судьбе – они получали стереотипные ответы: «Такой-то находится в закрытых лагерях», а после 1953 г. им отвечали: «Умер в сорок первом году». На 1941 год можно было свалить все.

Руководители НКВД – Ежов, Заковский, Берия – делали все возможное, чтобы скрыть следы своих деяний. А рядовые работники действовали главным образом по линии «конфискаций» имущества арестованных «врагов народа» и по захвату их квартир.

Следователь сам заполнял листы, подавая их лишь подписывать по мере изготовления «ответа».

Во избежание разных «эксцессов», увиденных на Лубянке, Муравин согласился подписывать все, что вздумает следователь написать, но сам писать протокол и читать его отказался.

Долго писал следователь свои листы. Затем он их подсчитал и закончил нумерацию цифрой 22. В них была изложена небылица, что Г.М. Муравин «однажды» встретился с У., который ему рассказал, что организует повстанческую группу, чтобы свергнуть советское правительство и советский строй, а затем восстановить старые порядки и т.д. У. будто бы объяснил ему, что он не должен обижаться, что его в эту организацию не принимают, так как он человек старый и слабый, да и стрелять не умеет.

«Вот примерно такая галиматья была написана в обвинении о контрреволюционной деятельности! – вспоминал Г.М. Муравин. – Нет, генерал Арбузов, прежний мой следователь, обвинявший меня в революционной деятельности в 1907 году, был умнее

не только Сеньки Смирнова, по и самих Заковских и Якубовичей. Он бы таких следователей грязной метлой да по задам...»

(Г.М. Муравин родился в 1883 году. Окончил техническое училище. Член РСДРП с 1901 г. В 1906 г. призван на военную службу. В 1907 г. был арестован в Вильмонстранде и в 1908 г. в Выборге приговорен к 10 годам каторги за принадлежность к военной организации РСДРП. Он отбывал каторгу в Петербургской пересыльной тюрьме до 1910 г., в Пскове до 1912 г. и в Шлиссельбурге – в 1912-1917 гг. Освобожден Февральской революцией из сибирской ссылки. Беспартийный. Членский билет Общества №710.)

– Муравин, а теперь мы вам дадим шпионаж.

– Что ж, пожалуйста, можно и шпионаж. Мне все равно, уже написал на «высшую», а все остальное теперь пойдет в виде бесплатного приложения. Можно и предательство Родины дать.

От проведенной в кабинете ночи было состояние полной атрофии чувств.

– Но что мне дать тебе такого шпионского?

– Гм, это так просто...

– Давай, Григорий Моисеевич, вместе придумаем такое.

– Да тут и думать нечего. Вы ведь знаете, что я работал в артели «Технохимик» Общества бывших политкаторжан плановиком-экономистом. В моем ведении была и рецептура, и калькуляция. У нас вырабатывали сухой кисель. Пишите, что я передал рецепт сухого киселя германскому правительству, возглавляемому Гитлером.

– Правильно, Григорий Моисеевич!

«Но – увидел ли он мое лицо, которое не могло не отразить насмешки, презрения и вместе с тем жалости к этому юнцу, или своим собственным умишком он догадался?»

Схватил шток и заревел:

– Насмехаешься надо мной, старикашка! Ладно, ничего больше писать не буду, хватит тебе, старикашка, и того, что написано.

Но Муравин уже не мог успокоиться и сказал ему:

– А то, что вы написали на 22 листах, – не насмешка над правдой?

И прибавил:

– Не хотите писать – пусть, не надо. Я тоже думаю, что с меня хватит.

После этого следователь стал что-то молча перечеркивать и вновь вписывать в синий бланк, на котором сверху в углу написано было красным что-то в виде резолюции.

Когда этот лист был отработан, Смирнов подал его подписать. Это оказался прокурорский ордер о том, что предъявлено следующее обвинение: «Нам достоверно известно, что вы критикуете действия правительства, советской власти в среде своих близких, родных и друзей...»

Следователь все это вычеркнул и вписал: «...Обвиняется в принадлежности к контрреволюционной повстанческой организации по 6 и 11 пунктам 58 статьи Сов. Уг. Улож.»

В 1938 г. был приговорен «тройкой» Московского областного управления НКВД к исправительно-принудительному труду в концлагерь на 10 лет.

Освобождался Г.М. Муравин и еще несколько человек в морозную зимнюю ночь 1948 года. До станции было несколько километров. Муравин обратился к начлагеря:

– Гражданин начальник! Разрешите нам переночевать в лагере?

– Запомните, гражданин Муравин: наши законы самые гуманные, мы не то что на одну ночь, мы на час не имеем права незаконно задерживать человека.

Только под утро они добрались до станции.

В 1955 г. Г.М. Муравин был реабилитирован. «...Дело, по которому вы были осуждены... прекращено за отсутствием состава преступления».

* * *

Порой по разрозненным документам, отрывочным сведениям, занимаясь в библиотеках, приходится восстанавливать биографии людей, активно участвовавших в российском революционном движении, но давно забытых. Так удалось проследить жизненный путь народовольца Василия Ивановича Сухомлина.

В 1887 г. приговорен по делу Исполнительного комитета партии «Народная воля» к 15 годам каторги. Три года он провел в Петропавловской крепости и шесть лет на Каре (каторжная тюрьма для государственных преступников в Нерчинском округе).

В 1906 г. арестован по доносу Азефа накануне поездки в Кронштадт, где готовилось восстание. Освобожден через два месяца и выслан на три года за границу. Вернулся в Россию в 1910 году. Занимался литературной деятельностью. В Первую мировую войну поступил добровольцем в армию.

С 1921 г. был членом Всесоюзного общества политкаторжан. Членский билет №256. Беспартийный. Пенсионер.

Замечание Сталина, что «если на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов», стало ин-структивным.

Арестован 9 февраля 1938 года. В.И. Сухомлину было 78 лет. В том же году расстрелян.

ШАРАГА

Глава из книги воспоминаний Печатается в сокращении

И вот мы в Таганроге. Позади – 8 или 10 дней пути, не меньше половины из которых мы провели в Ростовской тюрьме, успели познакомиться друг с другом и составить предварительное мнение, которое в дальнейшем оказалось довольно устойчивым. Так, мы поняли, что коротышка Шор, рекомендовавшийся специалистом по деревянным конструкциям, – вздорный и некомпетентный человек, что Савельев – краснобай и потому едва ли заслуживает очень уж серьезного отношения. Загадкой был Терентьев, плановик, – он и оказался впоследствии стукачом.

Везли нас в «столыпинском» вагоне, всех в одном купе. Мне-то было не привыкать, но спутникам теснота казалась невыносимой. Одну из нижних лавок уступили – по старшинству – Савельеву, над его головой расположился Копылов, хилый, молчаливый и застенчивый парень. Это сыграло весьма неприятную для Савельева роль.

Нас, по обычаю путешествий в «столыпине», выпускали в уборную дважды в сутки: утром и вечером. Умолить надзирателя выпустить лишний раз даже в случае острой нужды было не только почти невозможно, но и крайне унижительно: каждый вертухай – если не попадал на ваше счастье бывший фронтовик – считал своим долгом со вкусом поиздеваться над униженным эзком. Нельзя сказать, чтобы это ограничение было уж очень затруднительным для здорового, нормально питающегося человека, но для многих из нас оно было издевательством.

Слабым звеном оказался Копылов. Он уже однажды выклянчил внеочередную прогулку в уборную, но уж зато мордастый вертухай, как говорится, выпался на нем.

– А вы молчите! – оборвал он попытку Савельева вступить в разговор. Тот как будто почувствовал беду.

На следующий день Копылов не решился попроситься и терпел до последнего, пока струйка не полилась вниз и натекла на правый рукав мирно отдыхавшего Савельева, который в этот момент травил очередную байку. Старик с ревом вскочил, тряся рукой и понося на чем свет стоит несчастного парня, который пикнуть не смел в ответ. На шум прибежал вертухай, тот самый, мордастый. Происшествие уж так разодолжило его, что он хохотал от души. Он даже подобрел и выпустил Копылова в уборную. Он все еще хохотал, возвращая его в купе.

*

Одна из дорожных баек Савельева: еще в предвоенные годы ему пришлось уйти из авиационной промышленности, в которой он проработал больше 25 лет, лично знал еще Сикорского. Не помню, что было причиной вынужденного ухода – кажется, социальное происхождение. С тех пор он работал в городском коммунальном хозяйстве. Вероятно, он с большой теплотой говорил о годах работы у Сикорского и едва ли удерживался, чтобы не прихвастнуть знакомством с ним, – об этом можно было судить по нескольким оброненным словам; поэтому ничуть не удивительно, что им начали интересоваться. С первых дней войны он стал замечать слежку за собой, но не беспокоился, считая ее игрой воображения: в свое время он был любителем детективных романов.

Однажды к нему подошел незнакомый человек, назвавшийся председателем профкома авиационного завода. Обсудив дела, касавшиеся ремонта домов, где жили сотрудники, он спросил:

– Я слышал, вы сотрудничали с Сикорским, верно?

– Верно. Только давно.

– Сейчас у нас его представитель, в порядке помощи. Он говорит, Игорь Иванович разыскивает своих бывших сотрудников. Вы разрешите дать ему ваш адрес?

Заметив колебание Савельева, он сказал:

– Теперь можно, мы ведь союзники. У нас даже на заводе один нашелся, Петров, не знали? Сикорский вызывает его к себе, вопрос уже решен в положительном смысле. Очень выгодные условия.

Тут оголодавший на коммунальной зарплате простак не выдержал.

– Хорошо, дайте адрес, – сказал он.

На следующий день его отправили в командировку в Рязань и сняли с поезда через час после отправления. Ему предъявили обвинение в измене Родине.

*

Общежитие оказалось в бывшем цеховом корпусе. Меня отвели в довольно обширное и по-цеховому высокое помещение с двумя рядами домашнего вида коек, и показали место у окна. Время шло к вечеру, но над высоким потолком горели две сильные лампочки, при свете которых я осмотрелся. Почти на каждой койке сидел ее хозяин; я обратил внимание на то, что многие были в таких же обносах, как и я.

– Товарищ Борин, – слышалось с противоположного ряда, – вы только с этапа и, наверное, голодны. Хотите хлеба?

– Нет, спасибо, – автоматически ответил я и только тут сообразил: кто бы это мог меня окликнуть? – Нас хорошо накормили в Ростове, у меня даже остался кусок хлеба, – сказал я и отыскал глазами щедрого аборигена. Это был совершенно незнакомый мне человек, очень высокий, очень худой, черноволосый и изрядной лысиной. – Вы меня знаете?

– Разве можно, занимаясь флаттером, не знать Борина?

Это было задолго до того, как авторство решения проблемы флаттера приписали Келдышу, так что я не удивился.

– Я физик, – сказал длинный, – а здесь руковожу бригадой вибраций. Может, и вы обо мне слышали? Румер Юрий Борисович.

– Кто же о вас не слышал?! – ответил я любезностью на любезность.

Друг Ландау, соавтор теории космических ливней, брат знаменитого Осипа Румера, переводчика. Он встал, подошел к моей койке и без церемоний сел на нее. У него была развинченная походка неспортивного человека.

– Келдыш интересовался вашей судьбой, – сказал он. – Спрашивал, не встречал ли я вас в лагерях.

Выяснилось, что они базировались раньше на туполевском заводе и консультантом от ЦАГИ был Келдыш.

– Так вы работали на Андрея Николаевича?

Туполев был арестован еще до войны по дурацкому обвинению. То есть обвинение было стандартное, но распространялись слухи, что будто бы за продажу «Мессершмиту» чертежей истре-

бителя Ме-109. Уже и Туполева давно нет, а сказочка, пущенная клеветниками из НКГБ, а может быть, подброшенная самими гитлеровцами, – живет до сих пор, и я устал объяснять смакующим ее обывателям, что ни один сколько-нибудь стоящий конструктор не станет строить самолет по чертежам другого – а Вилли Мессершмит по крайней мере не уступал Туполеву как конструктор; что Ме-109 в первоначальном виде был заложен в 1935 году, когда Туполеву и не снились осуществленные в нем конструктивные и технологические возможности; все это слишком тонкая материя. Теперь я, не возносясь в эти эмпирии, спрашиваю: что еще продали немцам 8 из 12 крупнейших авиационных конструкторов – именно столько их сидело при Сталине. Если и это не доходит, задаю вопрос, какой валютой платили немцы – своей или нашей? Если немецкой, то что Туполев мог с нею сделать? Если нашей, то зачем она нужна была человеку, не ограниченному средствами, но ограниченному возможностями их использовать? Даже бывшие кагебисты не отвечают на этот вопрос.

На мой вопрос Румер ответил:

– Да, часть из нас работала на Андрея Николаевича, но наш главный всегда был вольной птицей.

– Ваш главный? Кто такой?

– Бартини.

Как говорится, час от часу не легче. Роберт Людвигович Бартини! Уже в довоенные времена о нем ходили легенды. И о полной необычайности событий жизни: сын барона Людовико Офос ди Бартини, он с юношеских лет стал боевым работником компартии и после ряда приключений в Европе вынужден был бежать в СССР. И о его необычайно смелых конструкциях: убирющееся шасси на истребителе, когда для этого еще не существовало механизмов и уборка производилась ручной лебедкой; испарительное охлаждение двигателя – намного раньше, чем его применил Хейнкель, и т.д.

– Боже мой! Какой еще сюрприз вы мне преподнесете?

– Не знаю, не знаю. Но вы же работали в ЦАГИ, вы встретите здесь нескольких ваших коллег.

Одного из них я увидел почти сразу. В спальню вошел человек, смутно мне знакомый.

– Ну вот, – произнес Румер. – Карлушу Сциларда знаете?

– Здравствуйте, Карл Иванович! – сказал я.

Да, это был Сцилард, двоюродный брат известного атомщика, венгерский коммунист, эмигрировавший в СССР в 1934 году. Прекрасный математик, он поступил на работу в ЦАГИ, где заслужил не только репутацию хорошего специалиста, но и любовь сотрудников – чистенький, аккуратный, лучащийся добротой и приветливостью. Теперь это был человек, потрепанный жизнью, по лицу уже шли морщины, пальто было поношено, шапка потерта, но голубые глаза, в которых читалась усталость, по-прежнему сияли добротой. Он взгляделся в меня, и губы его раздвинула радостная улыбка.

– Товарищ Борин!? Какими судьбами?

– Такими же, как и вы, – усмехнулся я. – Разве что вы не попадали на временные стройки.

– Не попадал, – закивал головой Сцилард. – Мне повезло, я сразу же из тюрьмы попал в спецотдел.

– Ваше счастье.

По-русски он говорил не лучше, чем 10 лет назад, – во всяком случае, акцент у него не уменьшился.

– Тут еще Петр Александрович Вальтер, – сказал он. – И Деуль. – Сюрпризы сыпались, как горох. Вальтер был крупный ученый-теоретик, член-корреспондент Академии наук, тихий и мирный кабинетный работник. Где и что он ляпнул? Деуль – опытный фан-механик, заведовал прецизионной мастерской нашего большого отдела, в которой подковывали блох. В занятой компании мне предстоит работать, подумал я.

Ложился спать я в большой тревоге, вызванной, как ни странно, тем же приятным обстоятельством. Как я буду работать среди всех этих людей? Я все растерял, все забыл, память потеряла цепкость, как специалист я сейчас круглый нуль. Дадут ли мне какое-то время на восстановление, да и сумею ли я? Не поступил ли я вообще опростчиво, сунувшись на этот спецобъект?

•

Это ощущение не покидало меня долго, а на следующее утро, когда я впервые шел на работу, достигло степени страха. Стало немного спокойней на душе, когда выяснилось, что я попадаю

в бригаду аэродинамики, под начало кротчайшего Карла Степановича, – флаттерщики были укомплектованы. Он прекрасно понимал мое состояние и сам начал с того, что предложил мне неделю на ознакомление с материалами и литературой.

– Вы только не беспокойтесь, – говорил он. – Если надо будет, позанимаетесь еще.

В нашей довольно большой комнате сидело человек 15-20, составлявших, как я узнал позже, 3 бригады: прочности, крохотная бригада вибраций и наша, аэродинамическая. В ней работал – и даже числился заместителем начальника – еще один старый цаговец, Платов; я его раньше не знал. Человек он был малоспособный, но заслуженный: то ли состоял в личной охране Ленина, то ли слушал его лекции на каких-то курсах, я никогда не мог вспомнить, что именно.

Я в растерянности сидел перед взятой в библиотеке литературой по аэродинамическому расчету. Я забыл простейшие приемы, большинство формул утратило для меня смысл. По мере того, как я глубже закапывался в материалы, растерянность переходила в расстройство, расстройство в отчаяние: мне никогда не нагнать упущенного. Я не помнил даже тригонометрических формул.

И передо мною стала вырисовываться нерадостная перспектива: надо менять профессию. Это касалось не только безнадёжности работы в спецотделе. Надо менять профессию на всю жизнь, заниматься мелким строительным проектированием или чем-нибудь вроде, не требующим ни глубоких знаний, ни большого напряжения ума. Все равно в Москве жить не придется.

Я не умею скрывать эмоций. Не только Карл Степанович, но, похоже, и сидевший в углу, что-то весело рассказывая своей помощнице Оле, Румер заметил мое состояние. Он прервал разговор с Олей, посмотрел на меня и прошлепал к моему стулу своей неспортивной походкой.

– Пойдемте.

Я вышел за ним в коридор.

– А.А., – сказал он. – Ну разве можно так? На вас лица нет. Что вы, дорогой! К нам все из лагеря попадают в таком виде. Сколько вам? 34? Уверяю, что вы очень скоро встанете на ноги.

– Вашими бы устами да мед пить, – засмеялся я, но мне было невесело. – Конечно, Юрий Борисович, нельзя так праздновать груса, но...

– Ну вот, возьмите себя в руки.

Как много значат несколько дружеских слов, сказанных вовремя! У меня немного отлегло от сердца.

*

Через несколько дней Сцилард попросил меня проверить расчет поляры самолета, сделанный вольнонаемным Ветровым, маленьким растерянным человеком в полувоенной одежде.

– Понимаете, – сказал он, запинаясь на трудных русских словах, – Игорь Петрович имеет не авиационное образование, он мог не заметить своей ошибки.

Взаимная проверка расчетов была обычной практикой в конструкторских бюро, но я понял истинную цель Карла Степановича. Вспоминать – не учить заново; как и в занятиях языком с Паулем Шмицем, следование ходу расчета вытаскивало на свет многое, казалось, навеки исчезнувшее из памяти. Это был всего первый шаг на длинном пути, который предстояло проделать, но, как всегда, это был едва ли не самый важный шаг; в устрашающей темноте вырисовывалась маленькая светлая точка.

Обстановка работы была крайне необычной для человека, протрубившего 5 лет в лагерях. Не только начальники бригад и их заместители, но и сам главный конструктор были заключенные; немногие исключения составляли те, кто успел выйти на свободу. Рядовые же исполнители были эски вперемежку с вольнонаемными; последних было много больше. Соответственно обращение режимного (объектовского) начальства и даже рядовых надзирателей в корне отличалось от лагерного: здесь были немыслимы акты произвола и даже просто грубое обращение. Вообще на таганрогском существовали и удивительные вольности, немыслимые в центре, не говоря уж о лагерях; расстояние, отделявшее жилой корпус от производственного, – метров полтора – мы проходили без конвоя!

Сторожевая овчарка Муха, находившаяся на объекте, вероятно, для отчетов начальству, дружила с нами гораздо тесней, чем со своим хозяином-собаководом, который относился к этому вполне благожелательно.

Мало того; когда я чуть присмотрелся к обстановке, выяснилась вещь, и вовсе не лезущая ни в какие рамки: жилая зона была огорожена только с двух сторон! Все чин-чином: забор из колючей проволоки, проходная, но – остальных двух сторон не существовало; уходи, куда хочешь!

Никто не уходил.

Сильно отличался и быт. Обычная человеческая постель с подушкой, отличавшейся от блина, на скромной железной койке была для меня давно неизведанной роскошью. Белье крепкое и вполне удовлетворительной чистоты. Правда, верхнее мы носили свое, т.е. по большей части лагерное, но, как я потом узнал, это было просто потому, что нас нещадно обкрадывала охрана во главе с режимным начальником объекта; по положению же мы должны были получать гражданскую одежду, включая даже галстуки. Точно так же нас обворовывала обслуга: питание нам полагалось по нормам ресторана 2-го класса. Но и то, что до нас доходило, казалось мне, лагернику, изысканным гурманством: как-никак, каждый день мясо или рыба с гарниром из вполне съедобной каши или макарон. Мы получали в день 800 г светлого кукурузного хлеба, который быстро черствел, но свежим был необыкновенно вкусен, по кусочку масла и целых 30 г сахара! Наши интересы даже не оставались без защиты: когда повара поймали на проходной с пятью килограммами масла, то его немедленно убрали от нас и перевели в заводскую столовую, где воровать было, по-видимому, трудней.

В общем, можно было жить. Но даже если бы материальные условия не отличались от лагерных, я бы сделал все, чтобы не вернуться обратно: я был среди с в о и х .

*

Так что не только стремление вернуться к родному делу ставляло меня лезть вон из кожи, общение с людьми было не менее дорого.

Первые месяцы время общения было ограничено: я корпел над книгами с утра до ночи. Пришлось начинать буквально со школьных учебников, но процесс с каждой неделей ускорялся, и я, к своему искреннему удивлению, месяцев через пять почувствовал, что достаточно твердо стою на ногах. Еще через пару месяцев я штудировал заново теорию конформных отображений, собираясь применить ее в довольно тонких расчетах.

– Видите, – говорил Юрий Борисович Румер, – не так страшен черт, как его малюют. Вы еще вернетесь к научной работе.

Несмотря на разницу в возрасте – а он был старше меня на 15 лет, – у нас с ним завязалась дружба. Он был хороший рассказчик и любил поговорить, так что вскоре я многое узнал из его

биографии. Как он в молодости изучал персидский язык, чтобы ехать в Персию, делать там революцию. Как, повзрослев и решив посвятить себя физике, был послан в числе наиболее успевающих в Геттингенский университет, завязав там множество знакомств среди профессуры и студентов, за что теперь горько поплатился. Он увлеченно рассказывал о своих коллегах из многих стран, о международных съездах и симпозиумах, в которых ему довелось принимать участие, о том, как от него много ожидал знаменитый Леви-Чивито.

– Не получилось! – со смешком говорил Юрий Борисович, разводя руками.

Скорей математик по своей сущности, чем физик, он еще на последнем курсе Геттингена учуял, что уравнения физики можно плодотворно обобщить, введя в них некую пятую координату, как в свое время Эйнштейн взял четвертую. Разница в том, что физический смысл новой координаты Эйнштейна был ясен, своей же пятой Юрий Борисович затруднялся приписать определенный смысл и понял его много позже, после ряда лет упорной работы. Тогда же...

– После окончания университета, – рассказывал Ю.Б.Румер, – я поехал представиться Эйнштейну, надеялся в беседе с ним сам понять больше. Была страшная жара, все окна и двери открыты, на кушетке в полном изнеможении лежал Эренфест, а Эйнштейн сидел, прислонясь своим громадным лбом к дверному косяку, на сквозняке, и спрашивал меня: «Так что же это за пятая координата, господин доктор?»

– Если бы я мог ему ответить: «Это действие, господин профессор», – заканчивал с тем же горьковатым смешком Юрий Борисович, – моя жизнь сложилась бы иначе.

Он представил меня Бартини, который отнесся ко мне вежливо, но сдержанно, чтобы не сказать холодно. Много спустя, когда эта холодность развеялась и сменилась искренним дружелюбием, Румер объяснил мне причину.

– У нас на объекте был Левандовский, – рассказал он, – странный человек, к которому никто не знал, как относиться. Даже преступление у него было странное. В самое злчное время, когда шли процессы, он доехал поездом до пограничной станции, вышел из вагона и пошел к границе. Его остановили: «Куда?» Он ответил: «На ту сторону». Натурально, его трах-бабах и

в сумку. Отправили в психушку – нормален. Дали 10 лет, недавно он их отсидел. Так вот, Роберт его очень не любил, терпеть не мог. И, когда я ему говорил о вас, он кивал головой и отвечал: «Да, да, Карлуша тоже его очень хвалил – но почему он так похож на Левандовского?»

Предубеждение его прошло не скоро, несмотря на честные усилия Румера и Сциларда, тоже ставшего моим близким другом. Карлушу любили, кажется, все – за незлобивость, за всегдашнее желание помочь, за постоянную готовность к доброй шутке, – и я был душевно рад, когда он предложил мне, бредя с работы:

– Саша, давай будем на «ты».

Это у нас получилось без натуги, хотя он возрастом был еще старше Румера.

Я понемногу приходил в себя: не только становился на ноги как специалист, но и отогревался душой.

*

Трудно было не обратить внимания на этого человека, на голову выше других, массивного, топающего, как слон. Сначала я сталкивался с ним только в очереди за хлебом или в дверях столовой.

– Кто он такой? – спросил я своего соседа по комнате, Владимира Ивановича Лерхендорфа, по прозвищу «Зяма», с которым у меня скоро установились приятельские отношения.

Мне стали понятны его внимательные, нагловатые глаза и манера всматриваться, будто что-то соображая. Он и вел себя с налетом нагловатости, странно для него естественной, так что она не помешала нам вскоре подружиться.

Всего на объекте было человек 80-90, и из них выкроилось две группы моих друзей, между собой, впрочем, общавшихся мало. В одну входили Юрий Борисович Румер, Карлуша Сцилард и Петр Юльевич Флейшмахер, пожилой, худой, сутулый одессит с сумрачно горящими глазами. Другая состояла из Виталия Кащенко, «Зямы» Лерхендорфа и Германа Баранова, сына казанского профессора; последний был настолько сдержан и осторожен, что непонятно было, как он попал в тюрьму. Правда, и срок у него был смехотворный – 5 лет. Такой же срок получил Лерхендорф по обвинению в доносительстве, за что его все мы сильно уважали – редкий поступок в наше время.

Параллельно с занятиями наукой я по строчке восстанавливал, что мог, из написанного в лагере и утраченного при шмонах

и этапах. Потом прошла необходимость ежевечерне сидеть над книгами, и я стал почитать понемногу друзьям из обеих компаний, находя в этом удовлетворение независимо от отзывов, которые, как всегда, были разные. Юлий Борисович одобрял, Зяма восхищался, Карлуша был равнодушен, Виталий Кащенко делал рисунки на темы моих стихов. Не обошлось без курьеза.

Наш объект имел завидную возможность пользоваться городской библиотекой. После немцев, вероятно, изрядно пощипавших личные библиотеки, там имелось немало хороших книг на разных языках, но поэзия была представлена слабо. Я завел себе особую тетрадку, в которую выписывал по памяти или из книг стихи любимых поэтов и вообще все, что пришлось по душе.

Петр Юльевич Флейшмахер набрел на эту тетрадь: она лежала открыто у меня на тумбочке. Не помню, то ли я не надписывал имен авторов, то ли П.Ю. счел их маскировкой, но однажды он сказал мне, пожевывая губами:

– Прочитал я ваши стихи.... – и он сделал гримасу, из которой явствовало, что стихи не стоят доброго слова. Я рассмеялся.

– П.Ю., да ведь там нет ни одной моей строчки!

Он состроил другую гримасу, означавшую: «Знаем мы ваши штучки!»

Я не изменил своего отношения к милейшему П.Ю. за такую диковинную оценку Блока, Ходасевича, Кузмина, но больше не пытался вести с ним разговор на литературные темы. Не в том крылись его достоинства: просто он был на редкость добрый – при всей своей хмурости, – душевный и отзывчивый человек.

*

Роберт Людвигович Бартинш, невысокого роста, но могучего сложения, со своей внешностью и повадкой римского сенатора, был кумиром многих служивших у нас девушек и отвечал им со всем пылом своего нежного сердца. Много лет спустя я узнал, что это не осталось без последствий.

Когда развеялась падавшая на меня тень Левандовского и Роберт Людвигович оттаял, мы часто беседовали с ним, встречаясь намеренно или случайно. Однажды встреча произошла в КБ – оно размещалось в громадном цеховом здании, – в широком проходе между кульманами, стоящими во много рядов справа и

слева. Я рассказывал о своем понимании решения аэродинамического стыка крыла с фюзеляжем, и он слушал, благожелательно улыбаясь; но в какой-то момент я почувствовал, что утратил его внимание.

– Да... да... да... – механически повторял он, но глаза его неотступно скользили за чем-то вдоль пола прохода. Объект обнаружить было нетрудно: пара красивых женских ног. – Извините, что вы сказали?

Я повторил свое рассуждение.

– Да, конечно, – сказал он уже вполне осознанно. – Вы вполне правы.

*

Здесь, в Таганроге, я услышал еще больше преданий о нем, чем раньше. Кое-что рассказывал и он сам, и один из этих рассказов, мне кажется, превосходно характеризует некоторые стороны его натуры.

Студентом он ездил из Милана на каникулы в Фiume, город своего детства. Там в дружеской компании, когда все были изрядно на взводе, разговор как-то зашел о рекорде, установленном неким шалым американцем: он прыгнул в воду с 36-метровой высоты.

– Ну и ну, – сказал кто-то. – Невероятно! Вот в нашей бухте скала 35 метров над водой. Разве можно себе представить, что кто-нибудь решится прыгнуть с нее?

– Я прыгну, – заявил Роберто. Но слово не воробей – тут же заключили пари и отправились всей компанией в бухту.

– Когда мы пришли, – рассказывал с улыбкой Р.Л., – и я влез на скалу, то сразу протрезвел. Смотрю вниз – дна нет. С ужасом смотрю, с мыслью: не может человек долететь живой – туда.

Он простоял два с половиной часа – и прыгнул!

Нужно ли говорить, что не в спортивном достижении – даже масштаба подвига – дело? Но человек, не решившийся на отчаянный поступок сразу, отступает.

Бартини – не отступил.

Теперь о нем написана книга – «Красные самолеты» И. Чутко, и многое стало известно широкой публике, в частности, и о его антифашистской, коммунистической деятельности, в результате которой ему пришлось бежать из Италии. Не рассказано там, что до своего побега Бартини помог бежать из тюрьмы и перейти границу некоему капитану Марио, коммунисту.

Не рассказано там и многое, что подлежало умалчиванию в брежневские времена о сталинских. Скажем, о том, как после долгого, бесплодного и мучительного следствия друзья по камере посоветовали Бартини сознаться в своей галиматье, которую на него плели.

– Ты пойми, Роберт, – убеждали они, – не сознаешься – получишь 10 лет, сознаешься – получишь те же 10. Зато будешь где-нибудь работать. А под следствием ты и так уже извелся до точки, к чему тянуть?

Роберт подумал – и сознался.

Следователь записал его показания и был очень доволен; но вскоре вызвал его снова и потребовал назвать сообщников. Бартини покрепился несколько дней – разве выдашь друзей с легким сердцем? – и назвал Гарпагона, Тартюфа, Журдена и многих других. Все вздохнули с облегчением, затянувшееся дело закрыли, Бартини получил свои 10 лет и был отправлен в общую камеру Бутырки, а потом на спецобъект в Болшево.

Первым, кто бросился к нему на шею в общей камере, был капитан Марио.

– Если бы ты знал, Роберто, как я тебе благодарен! – от души воскликнул он. – У Муссолини мне светило 25 лет. 15 из них я провел на воле, а сейчас получил только 10.

А мольеровских персонажей выделили в дело, которым, судя по всему, никто не занялся.

*

Через Болшево прошли многие. Побывали там Туполев, Петляков, Погосский, Мясищев, Путилов, Бартини, Румер, будущий академик Некрасов, Коренев, Ивенсен, полярный летчик Махоткин – всех не перечислить. Не зря материала хватило на три последовательно сменивших друг друга авиационных объекта.

Первым из них руководил Андрей Николаевич Туполев. О его конструкторском гении тоже ходили легенды, на три четверти выдуманные либо преувеличенные. Но руководитель он был действительно первоклассный и умел внушить людям не только уважение, но и любовь, несмотря на крутой нрав и вошедшую в поговорку склонность к матерной брани.

Бартини тоже попал на его объект, хотя и против своей воли. Когда ему предложили работать у Туполева, он, как всегда, спокойно, мягко ответил: «Нет».

– Вы отказываетесь работать? – спросило удивленное начальство: впервые оно столкнулось с чудачком, который не мечтает о работе на спецобъекте.

– Нет, не отказываюсь.

– Мы же и направляем вас на работу. Что вам еще нужно?

– Дайте мне КБ.

Роберт рассказывал, что начальство ошарашило его заявление. Я хорошо представляю его себе в этом разговоре, уверенного, неторопливого, никогда не повышающего голос и не ускоряющего речь. В конце концов начальство оправилось от шока. Как-никак, перед ним сидел Главный Конструктор, человек с огромным именем.

– Но сейчас у нас нет такой возможности. Вы должны понаждать...

– Ничего, я подожду.

Разговор получился долгий и бесполезный. Начальство уговаривало, и грозило, и обещало, что, мол, в дальнейшем... В конце концов потеряло терпение и решило:

– Мы вас будем выводить на работу.

– Выводите, – кротко согласился Бартини.

Он демонстративно выходил на работу в тряпье восемнадцатого срока с белоснежным вафельным полотенцем вокруг шеи. Полдня сидел за столом, набрасывая контуры своего будущего самолета, остальные полдня ходил по КБ, беседуя с друзьями. Туполев уговаривал его:

– Послушай, Роберт, давай работать вместе. Ручаюсь, через 2-3 года мы будем на воле, там ты сам себе хозяин. Неужели тогда тебе не дадут КБ?

– Нет, Андрей, спасибо, – с искренней благодарностью отвечал Бартини. – Я им сказал, что подожду, и я подожду.

– Ну, как знаешь.

Через несколько месяцев Бартини получил КБ.

•

Личность Бартини производила неотразимое впечатление. Сын барона Людовико был одним из самых простых и приветливых людей, которых я встречал, и это свойство удивительным образом сочеталось в нем с изощренностью ума и – еще более удивительно – с вельможной повадкой.

Маленький штрих: еще во время пребывания на туполевском объекте ему сказали, что некий вольнонаемный инженер всячески третирует Карлушу Сциларда, который по кротости своей натуры, усугубленной бесправным положением, не в силах дать ему надлежащий отпор.

– Хорошо, я займусь, – со всегдашним спокойствием заявил Роберт.

Он подкараулил момент, когда упоенный своей властью над жалким эзком инженерик опять привязался к Сциларду с какими-то нелепыми и грубо выраженными претензиями. Роберт подошел к нему сзади и, взяв за плечо своей мощной рукой, повернул лицом к себе.

– Если ты еще раз позволишь себе поднять голос на Карлушу, – сказал он очень тихо и отчетливо, – ты будешь иметь дело со мной. Понял? Со мной. – Для большей убедительности он показал пальцем себе на грудь. – Иди!

Этого хватило, чтобы нахал с тех пор обходил Карлушу за версту.

Таким внушительным тоном Роберт пользовался крайне редко – за полтора года работы в Таганроге это случилось лишь дважды.



Бартини с частью сотрудников перевели в Болшево. Туда начало прибывать пополнение, собранное в лагерях и тюрьмах. Мой приятель «Зяма» Лерхендорф попал в Болшево примерно за год до конца войны. Объект работал над двухмоторным транспортным самолетом Бартини (так и не осуществленным) и был полностью отгорожен от внешнего мира.

– Можно было не умыться! – с восторгом вспоминал Владимир Иванович, не склонный к излишней трате времени на гигиенические процедуры.

Когда коллектив разросся настолько, что большевские стены оказались тесны, да и проект продвинулся до стадии, на которой пора было готовить производственную базу, объект перебрали в Таганрог. Там, на территории авиационного завода, изрядно поврежденного воздушными бомбардировками, выделили несколько цеховых корпусов – в одном, поменьше, разместили общежитие, в другом – конструкторское бюро. Позднее к ним добавились несколько мастерских и макетный цех. Наша группа приехала, когда макет – в металле! – был уже запущен в производство.

Здесь надо отметить одно присущее Роберту свойство, имеющее, так сказать, две ипостаси: будучи превосходным в принципе, по сути, в конкретных условиях оно могло стать недостатком.

Он требовал, чтобы всякое дело делалось на высшем уровне и без спешки.

До конца дней он не мог принять перманентной спешки, ставшей законом в нашем социальном быту и сводящей на нет три четверти наших усилий за последние шесть десятилетий. Он понимал, что в особых условиях и на ограниченное время – скажем, в войну – спешка допустима и неизбежна, но не мог оценить того простого факта, что, став нормой общественного поведения, она навязывает всем, в том числе ему, порочную, но единственно осуществимую линию поведения.

Вот почему он решил делать макет в металле. В основе лежала очень разумная мысль.

– Я уже на опытном экземпляре нагоню с лихвой то, что потерял на макете, – говорил он. – У меня будет отработана вся оснастка. Макет – не самоцель, куда спешить с макетом?

Как оказалось потом, это мудрое (без кавычек) решение роковым образом отразилось на судьбе объекта.

*

Вся наша прибывшая группа сразу же получила назначения. Савельев стал зав. производством, Шор – начальником столярной мастерской, Терентьев попал в плановый отдел, остальные – конструкторами или расчетчиками в бригады. Гумерова, молодого татарина, занявшего койку по другую сторону от меня, направили в бригаду крыла, и он был шибко доволен своим непосредственным руководителем Германом Барановым.

– Мощный конструктор! – говорил он.

На меня он смотрел как на дядюшку и поверял мне свои небольшие огорчения и радости. Срок у него был стандартный – 10 лет, но работа в спецотделе давала надежду на более счастливую судьбу: по окончании объекта работы, при условии удачных испытаний, большие группы разработчиков могли рассчитывать на досрочное освобождение. На эту возможность он уповал больше, чем на помощь отца, который был каким-то крупным деятелем в Казани.

Вскоре после приезда мы с ним оба заболели: до объекта докатилась эпидемия гриппа. Больных набралось человек

шесть, и для нас приспособили небольшое помещение, превратив его в палату. Среди больных был старый работник объекта Маслов, желтолицый человек небольшого роста, манера держаться которого карикатурно напоминала сенаторскую повадку Бартини. Он и в больничке не расставался с многочисленными карандашными эскизами, добавляя в них всякий день что-то новое.

– Вот, – сказал он мне, когда мы познакомились поближе, – копаюсь тут с некоторыми соображениями. Хотите принять участие?

Наброски показались мне замудренными, посмотрев их, я потерял интерес; и к тому же мое ученичество продолжалось. Зато у Гумерова горели глаза, и он с напряженным вниманием вслушивался в снисходительные объяснения Маслова.

Не знаю, возник ли у них альянс, а на мои рабочие руки следующее покушение сделал Савельев. Он уже давно разглагольствовал о возможностях, которые предоставляет своим работникам спецотдел, и о том, что он намерен представить инициативный проект.

– Неужели рука дрогнет? – говорил он. – У меня опыт больше, чем у Р.Л. Еще Иггорь Иванович Сикорский со мной советовался.

Часто встречая его в КБ, я как-то осведомился, продолжает ли он возглавлять производство.

– А как же! – ответил он. – Все получили задание, каждый делает свое дело. В конце дня зайду, проверю.

Преимущества такого способа управления были, мягко говоря, сомнительны, но я не высказал своих замечаний. Савельев отвел меня в укромный уголок и вытащил из кармана свернутый трубкой ватман.

– Вот, посмотрите, – сказал он, размахивая руками. – Чем это хуже «117-го»? Хотите принять участие?

Набросок был выполнен грамотно – но не более. Бартиневский «Т-117» был подчинен четко выраженной идее, здесь таковой не просматривалось. Изображенная двухфюзеляжная схема была явно невыгодна и для транспортного самолета, и для бомбардировщика, да еще в задуманном виде причиняла немалые конструктивные трудности – я уже настолько восстановил свою квалификацию, что мог судить об этом.

– Ну, как знаете, – обидчиво сказал старик и пошел искать другого соратника.

А через некоторое время я сам увлекся «диким» проектированием. Не помню, что меня толкнуло, но взялся я разрабатывать гидросамолет с хорошими взлетными данными и вбухал в это занятие немало вечеров. Товарищи подбадривали, но вскоре я понял, что силовая установка, которой я рассчитывал обеспечить хороший взлет, чрезмерно сложна в эксплуатации – она включала два различных двигателя. Я оставил эту затею.

Вероятно, эпидемия самостийного проектирования была реакцией на лагерные годы, когда мы мечтали о своей настоящей работе, не имея надежды к ней вернуться. Что-то вроде той тоски, с которой Миша Сайков смотрел на кружащий над лагерем самолет.

*

Петр Юльевич раздобыл где-то молотого кофе – наверно, угостили вольнонаемные. Он устроил большой прием: пригласил Румера, Сциларда и меня. Карлуша прибрел с бадьей (то ли кружка, то ли кастрюля) и сказал:

– Мне польовиночку.

Посмеялись: на «польовиночку» ушел бы весь кофе – и налили столько, сколько он разумел: немножечко.

Что на свете пахнет вкуснее кофе? Особенно если ты его не пробовал 6 лет. Я ощущал некоторую неловкость перед другими, не приглашенными, – им приходилось довольствоваться этим дразнящим, разжигающим аппетит запахом. Но неловкость еще возросла, когда Румер выложил перед нами четыре аппетитные пшеничные булочки, свежие и, наверно, хрустящие.

– Олино приношение? – кивнул на них Флейшмахер. Юлий Борисович с непередаваемым выражением опустил нижнюю челюсть и ничего не ответил. Я понял ошибку Петра Юльевича и, со своей стороны, не задавал вопросов.

Но, думая об этом, я вспомнил то, что замечал не раз: долгие беседы Ю.Б. с Олей, к которым прислушивались все сидящие неподалеку. Он был блестящий рассказчик, и разговор с ним на любую тему был интересен. Великолепно изображал общих знакомых. У нас на глазах быстрый, тощий, долговязый Румер превращался в неторопливого, величавого Бартини, и невозможно было сказать, как это сделано. Я вспомнил, что очень редко

представления разыгрывались «дома»; почти всегда они происходили при Ольге и явно были адресованы ей.

Что же странного? Каждый из нас томился по женскому обществу, и любое ласковое слово было утешением. Ольгу нельзя было назвать красавицей, но она обладала тем, что дороже красоты: живостью характера, приветливостью и добротой. Я тоже не раз любовался ею, когда она хохотала лицедейству Румера, блестя своими умными глазами. Признаться, она нравилась мне все больше и больше, и внезапно выплывшее на свет соперничество с Румером могло меня только огорчить.

Дело в том, что и Ольга не осталась равнодушной ко мне.

Не знаю, что она могла во мне найти рядом с блестящим Румером. Разве что молодость: между нами было по крайней мере 20 лет разницы. Но это – из вечных тайн. Сам я казался себе серым и скучным против него. Но природа брала свое. Произошло то, на что я долго и напрасно настраивал себя в отношениях с Верочкой Тумановой: я влюбился.

Не думаю, чтобы мне удавалось скрыть это – да я и не особо старался, – но Юрий Борисович никак не переменялся ко мне. По-прежнему был весел и улыбчив, рассказывал бесчисленные истории из жизни своих друзей-ученых и помогал мне латать мои пробелы. Именно в эти дни он рассказывал, как после ареста его на Бутырском «вокзале» по ошибке пихнули в бокс, где находился его друг Ландау. Это была непростительная оплошность дежурного – подследственные, знакомые по воле между собой, не должны находиться в одном помещении.

– Он даже не поздоровался, – блестя глазами, рассказывал Румер, – а тут же шепнул мне: «Здесь стены имеют уши. Мы с вами будем разговаривать только о квантовой механике». И мы простояли часа два, разговаривая о квантовой механике.

Как известно, арест Ландау вызвал вопль научной мировой общественности. Скандал был настолько громкий, что – редкий случай! – дойдя до ушей отца народов, способствовал усилиям наших ученых, и Ландау, полумертвого, удалось вытащить из заключения через полтора года.

Ю.Б. не мог похвастать такой известностью, и ему пришлось честно отслужить назначенные ему 10 лет. Он переносил тяготы заключения не только спокойно и твердо, но и с усмешкой.

– Что поделаешь! – говорил он. – Родина-мать, которая пожирает своих сыновей.

Грешен – я не сразу поверил в искренность его неистребимого жизнелюбия.

– Знаете, А.А., – говорил он, посмеиваясь, – ведь вот уже 50 лет, а жить все так же интересно, как и в 20, ничуть не меньше!

Врешь ты, старый черт, про себя думал я, вежливо усмехаясь в ответ. Но это не была поза, как я потом убеждался много раз. Недаром к нему тянулись самые отчаянные пессимисты вроде Коли Куликова, «Шкасика», как его называли по прежней работе. Он был заядлым «душескребом» и постоянно предрекал нам, убежденно качая головой, всё худшие беды и огорчения.

– Вот увидишь, введут такой режим, что...

– Вот увидишь, загонят из Таганрога в такую дыру, что...

Многие, в том числе я, шикали на него, отмахиваясь руками и, не выдержав, истощно орали:

– Да заткнись ты, проклятый душескреб, и без тебя тошно!

И Шкастик спасался к Румеру, который не кричал, не махал руками, а походя, с усмешкой разгонял его дурные предчувствия и даже иногда заставлял улыбнуться.

Нет, мне не обидно считать себя серячком против Румера: более ярких людей мне, пожалуй, не доводилось встречать.

*

Время шло и понемногу ставило все и всех на свои места. Видно, не мне одному казалась странной манера Савельева руководить производством: месяца через три его сняли с этой должности и, чтобы подсластить пилюлю, сделали начальником бригады вооружения – для КБ, делающего транспортную машину, почти синекура.

– Ерунда, – рассуждал Ю.Б., – первую категорию питания ему оставили? Оставили. Чего еще желать человеку?

Он говорил почти всерьез: Ю.Б. любил поесть. Об инициативном проекте Савельев больше не заговаривал.

Шора вывели на чистую воду рабочие его цеха. Он имел очень туманное представление о деревообработке – должно быть, работал где-нибудь на ДОЗе бухгалтером. Говорят, Саади, когда его спросили, как он достиг такой мудрости, ответил: «Не стыдясь постоянно спрашивал обо всем, чего еще не знал». Наверно, он задавал умные вопросы и принимал не все ответы.

Шор спрашивал:

– Какое это дерево? – и удовлетворялся ответом:

– Стоерос, Исай Маркович!

Немногом дольше его на объекте удержался Терентьев, да же особые заслуги не помогли. На них-то он, впрочем, и попался. Был он мужик разбитной, хваткий, с жестковатым лицом и неприветливой улыбкой, ни с кем особенно не сближался – то ли считал так для себя удобней, то ли срабатывало инстинктивное к нему недоверие, – так, ходил себе человек в свой плановый отдел и возвращался в камеру вечером.

Обязанности цензора у нас выполнял оперуполномоченный, у него мы и получали письма. Однажды меня вызвали к нему, когда я только пришел с работы. Я поспешил, радуясь перспективе, и, стукнув разок в дверь опера, рванул ее. Немая картина. Терентьев стоял с протянутой рукой перед опером, готовым принять его донесение в открытый ящик стола. Захваченные врасплох, они не шевелились секунду, потом опер резко захлопнул ящик и спросил:

– Борин?

– Да.

– Вам письмо.

Терентьев пробкой вылетел в коридор. Я взял письмо и вышел.

– Расскажу вам кое-что интересное, – смеясь, сказал я Флейшмахеру, который что-то жарил на электроплитке у входа в камеру.

– Можете не рассказывать, – ухмыльнулся Флейшмахер. – Он сейчас прошмыгнул красный, как рак.

Похоже, что я не первый поймал его за руку. Не знаю, каким он был плановиком, но роль наседки явно у него не пошла. Он исчез с объекта черз 5-6 дней после встречи со мной у опера.

*

Я занимался аэродинамикой установки утопленного в крыле масляного радиатора, а по вечерам восстанавливал в памяти флаттерные премудрости. За истекшие годы я сильно отстал, и тут помощь Ю.Б. была бесценна; в конце концов я даже отважился на самостоятельное исследование и накропал статью о флаттере воздушных винтов.

– Скучно, как работы ЦАГИ, – сказал Ю.Б., прочитав ее. – Значит, наверно, все правильно. Да это неважно, сдавайте ее по начальству.

– Как это – неважно, Юрий Борисович? – изумился я.

– Вот так, неважно. Никуда ваша работа не пойдет. Поэтому и неважно. Важно, чтобы вас перевели на следующую категорию питания. На том значение ваших здешних работ кончается.

– Но вы же сидите вечера напролет над вашей пятимерной оптикой, – возразил я.

– Другое дело! Это – работа всерьез, на будущее. Когда меня изберут в академики, я скажу, что многим обязан таганрогскому периоду моей жизни. Не смейтесь! На воле, в Москве, я крутился колесом и едва мог уделять работе два вечера в неделю. Я едва ли подошел бы к середине работы, которую сейчас вот-вот закончу. Таковы парадоксы жизни!

– Но если бы вам сейчас предложили свободу... – начал я.

– Это тоже совсем другое дело.

•

В мастерской Деуля мне сделали модель канала маслорадиатора, которую предполагалось испытать в старенькой аэродинамической лаборатории Новочеркасского политехнического института. Свои услуги для проведения продувок предложил нам бывший до войны заведующим этой лабораторией Серафим Васильевич Константинов, приятный маленький человек лет 45, в потертой, но неизменно опрятной бархатной куртке. Теперь он был не удел: оставаясь в войну в Новочеркасске, он был вынужден работать, чтобы кормить семью; теперь его никуда не брали на работу. Узнав его историю, Бартини пустил в ход все свое влияние, чтобы добиться заключения с ним трудового договора – надо было спасать человека от голодной смерти. Я получил задание провести эксперимент и составить отчет вместе с Серафимом Васильевичем.

Он произвел исключительно приятное впечатление, появившись впервые у нас в бригаде с Карлушей; некоторые вольнонаемные оказались его учениками по институту. Он очень одобрил предложенную мной технику моделирования, и у нас сразу же установились самые сердечные отношения. Через несколько дней я выехал в командировку в Новочеркасск.

Отвыкнув за шесть лет от всех видов транспорта, кроме «воронка» и столыпинского вагона, я ощущал душевный подъем от одного факта езды в обыкновенном общем вагоне. Правда, со мной был конвоир, но он мне не мешал, благо парень попался подходящий, бывший фронтовик; никто кругом не подозревал, что он меня сторожит. В Ростове была пересадка. Я, в нарушение всех правил и инструкций, дал конвоиру один из своих двух чемоданов, который полегче, с бельем и едой, а потяжелее, с инструментом, взял себе. Чемодан этот, за неимением своего, я взял у Флейшмахера. Никуда не годился замок, он открывался дважды, пока мы шли от поезда к поезду. Мой опекун был разговорчив. Он оказался уроженцем Новочеркасска и, кажется, сам вызвался меня сопровождать. Он с таким увлечением говорил о родном городе, что я поневоле испытал сильное разочарование при виде голого городка с возвышающимся над ним на горе красно-кирпичным зданием тюрьмы. За неделю, проведенную там, я убедился, что тюрьма видна чуть не с любого места в городе; может быть, мне так не повезло, но буквально с каждой улицы, по которой я ходил, глаз упирался в ее жесткий остов.

Константинов встретил меня как родного. Он уже успел провести предварительные испытания вспомогательного устройства и теперь, получив хорошие результаты, пребывал в состоянии некоторой эйфории, хотя я ему всячески объяснял, что не вижу в этом ничего особенного. Во всяком случае, он не знал, как меня принять, куда усадить.

Мы сразу же принялись за дело. За годы войны эта маленькая старая лаборатория была запущена донельзя, а единственный человек, который мог ее восстановить, до последнего времени был не у дел. Хорошо, что я пер с собой чемодан с инструментом, а то бы мы сидели на бобах. В микроманометрах не оказалось спирта, и мы пользовались подкрашенной фуксином водой. Не нашлось ни одной микронасадки для нашего довольно тонкого эксперимента, и мы поневоле подковывали блок – сами делали насадки из тонюсенькой стальной трубки: Серафим Васильевич необычайно ловко спаивал их кусочки попарно, а я обрабатывал их рабочие концы шлифовальным бруском и обломком безопасной бритвы, полагаясь больше на глаз, который «и так пристрелямши». Потом мы раздувались от гордости по поводу тонкости и точности нашей кустарной аппаратуры.

Доставив меня утром в институт, мой страж исчезал на целый день неведомо куда, и я иной раз начинал волноваться, если в конце работы он слегка запаздывал. Но пока все обходилось благополучно. Однажды по дороге «домой» нам встретился на улице начальник тюрьмы еще с каким-то чином. Мы с конвоиром шли по разным сторонам тротуара; начальник откозырял мне, не обращая на него никакого внимания. Я поклонился в ответ и всю дорогу до тюрьмы смеялся.

– Ты что? – спросил бесхитростный малый.

– Так, вспомнил смешное, – ответил я.

*

Знакомство с начальником тюрьмы произошло двумя днями раньше. Я вернулся с работы довольно поздно, поужинал и, лежа на койке, читал перед сном. Мне, конечно, отвели персональную камеру, в которой, как я прикинул, в обычное время сидело не менее 6-8 человек. Я уже собирался отложить книгу, как дверь лязгнула и в камеру вошли два офицера.

– Не вставайте, – сказал старший из них, хотя уже от одной неожиданности я не мог шевельнуться, – мы только зашли убедиться, что вас хорошо устроили. Вам ничего не надо? Питания хватает?

Дальше его фантазия не стреляла. Я ответил, что питание получаю, видимо, по повышенной норме и его хватает с лихвой. Он не уловил сарказма, и разговор иссяк. Весь визит не занял и пяти минут. Возможно, начальник тюрьмы был неплохой мужик, но двигало им, конечно, только желание посмотреть на диковинного арестанта.

*

Однажды, придя в лабораторию ко времени, мы нашли дверь запертой. Подождали, но Серафим Васильевич не шел. Перспектива провести день в тюрьме меня не радовала.

– Что будем делать? – спросил я конвоира.

– Пошли, найдем его. Может, заболел.

– Кого? – не понял я.

– Константинова. Серафима Васильевича.

– Так ты с ним знаком?

– Кого я тут не знаю!

Мы без труда нашли одноэтажный, почти деревенский домик, в котором жил Константинов. На наш стук дверь открывала

женщина, такая молодая и хорошенькая, что я считал бы ее, несомненно, дочерью хозяина, если бы не знал их истории заранее.

Она была его студенткой в довоенные годы и полюбила этого подчеркнуто скромного одинокого человека, на верных 20 лет старше себя. Она выдержала все: увещевания родных, насмешки друзей, объяснения, что он – человек не от мира сего и никогда она не будет с ним счастлива. Своей необычайной преданностью она завоевала любовь этого отшельника и стала его женой. Она пережила с ним оккупацию и осталась с ним в послевоенные времена, когда он потерял работу. Теперь у них был ребенок лет семи.

Странно ли, что я смотрел на стоявшую передо мной женщину с сочувственным интересом? Похоже, тяжелые годы не оставили следа в ее душе – а ей и сейчас приходилось несладко. Она поздоровалась с нами открыто и приветливо.

– Вам С.В.? Он приболел. Сейчас я его позову.

Обстановка была до крайности скудной – видно, продали все, что могли. С.В. вышел с перевязанным горлом и какой-то смущенный.

– Вот, затемпературил, – сказал он. – Но теперь уже легче. Я сейчас пойду с вами.

– И не думайте, – заявил я. – Только не хватает, чтобы вы окончательно свалились. Мы сейчас же уходим. Отдыхайте, посмотрим, что завтра.

– Нет, нет!

Он засуетился, отыскивая плащ и тросточку, и только соединенными усилиями мы отговорили его.

– Черт! – выругался я, выйдя на улицу. – Неужели в тюрьму?

– Если очень хочется, – ухмыльнулся парень.

– А если не очень? Как будто у меня есть выбор!

– Ну, выбор-то невелик... Только ты на тот свет не спеши. Я ведь на твою командировку деньги получил. Тут неподалеку есть забегаловка, давай зайдем.

– Не боишься?

– Ну!

Забегаловка оказалась довольно убогим местом – комната на пять столов, жиденькие занавески на окнах, одна официантка.

– Вот, друга привел, – объяснил ей конвоир. – Всего на один день в городе, надо угостить.

– Что же вы вашего друга в лучшее место не повели? – спросила девушка с полным отсутствием патриотизма. Она принесла нам бутылку портвейна, который с долгой отвычки показался мне вполне приличным. Санька – конвоир был моим тезкой – быстро пришел в подогретое состояние и стал, явно привирая, рассказывать, как попал ночью в расположение немцев и вышел невредимым благодаря своему хладнокровию и знанию немецкого языка (он действительно знал несколько слов). Я, признаться, слушал вполуха, отдаваясь ощущению призрачной свободы – как однажды в саратовском лагере. Поэтому я, возможно, недостаточно восхитился решительным тоном приказа, который он отдал глупому немецкому солдату, а тот беспрекословно выпустил его из охраняемой зоны.

А потом пришло время закрытия кафе, и насмешливая официантка выставила нас за дверь. Что поделаешь! Под аккомпанемент болтовни моего тезки я вернулся в матушку-тюрьму, осторожно прошел вахту и лег на койку.

На следующий день Серафим Васильевич был на посту. Выглядел он скверно, и я усердно, но без результата уговаривал его вернуться домой – мол, как-нибудь с помощью Саньки справлюсь. Но у него были свои понятия о долге, и мне пришлось отступить.

Свои понятия у него были и о гостеприимстве, и об обязанностях милосердия по отношению к бедному арестанту (который к этому времени успел нагулять на спецотдельских хлебах изрядную ряшку). Себе на завтрак он приносил ломтик хлеба и кусочек вареной свеклы или моркови, которыми не насытится и ребенок. В последний день нашей работы он принес кусочек побольше и так трогательно настаивал, чтобы я разделил его с ним, что я понял: отказ будет обидой. Напрасно я объяснял, что плотно позавтракал перед уходом на работу, – он и слышать ничего не хотел; накормить арестанта было для него священным ритуалом. И как же блестели его добрые глаза, когда, поняв, что отказываться не надо, я с благодарностью принял и торжественно съел микроскопический кусочек!

•

Несмотря на задержку, вызванную болезнью Константинова, работу мы выполнили к сроку. Пора было возвращаться «до-

мой». Санька, хорошо знавший местные порядки, предупредил, что с посадкой на поезд будет нелегко: он формируется в Шахтах и в Новочеркасске приходит набитый свыше меры.

Действительно, когда мы, простясь с вездесущей тюрьмой, подошли к станции загодя, там уже толкался народ, готовясь к штурму. Мы опять поделили багаж: драгоценный чемодан с инструментом я взял себе. Мы ждали полчаса; когда поезд подходил, издали были видны пассажиры, висающие гроздьями на ступеньках вагонов. Это был вечерний рабочий поезд.

В Новочеркасске почти никто не сошел; во всяком случае, грозди только чуть поредели. Вместе с толпой мы кинулись к поезду – тут уж о конвоировании не было и речи, надо было как-то оказаться в поезде. Уцепившись одной рукой за поручень и поставив одну ногу на подножку – для другой места не было, – я оттолкнулся от земли и повис в воздухе как раз в тот момент, когда поезд отошел.

Провисеть в таком положении с тяжелым чемоданом можно было минуту, ну, полторы. Осторожно переставляя ноги по оставшимся с внешней стороны поручня сантиметрам ступенек, я умудрился подняться чуть повыше. На межвагонной площадке было как раз столько места, чтобы втиснуться одному, и я, поставив ногу на край площадки, стал с предельным усилием переносить свой вес на нее. В этот момент чемодан открылся.

Если бы у меня была секунда на размышление, инструмент погиб бы. Но сознание выключилось начисто. Бросив поручень, правой рукой я захлопнул крышку и, защелкнув замок, без тени волнения заметил, что начинаю падать, успел перехватиться за поручень площадки и даже встать на нее другой ногой.

Тогда пришел запоздалый испуг. Я стоял на площадке, вцепившись рукой в спасительное железо, и понемногу приходил в себя. Окружающие были слишком заняты каждый своим, чтобы заметить что-либо.

С конвоиром я встретился только на ростовском вокзале. Он нимало не беспокоился, потеряв меня на посадке. Но даже иллюзорного чувства свободы от поездки в одиночку я на этот раз не испытал.

Я ни слова не рассказал ему о том, что произошло.

•

Приближаясь к Таганрогу, я с удивлением ощутил в себе нечто вроде чувства возвращения домой: там были люди, которых я успел полюбить, и моя настоящая работа.

Мы удачно пересели с поезда на поезд, и вскоре после полудня были на территории завода. Группы военнопленных немцев и венгров, работавших по восстановлению цехов, направлялись на обед с конвоирами, лениво шагающими рядом – все равно никто не убежит. Они шли понуро и покорно. Санька, не сбавляя шага, врезался в толпу бредущих немцев, расшвыривая их направо и налево, бормоча немногие известные ему немецкие ругательства, – ни один не поднял головы, не выругался в ответ. Я впервые видел их вблизи, и сейчас усилилось исходящее от них впечатление безнадежности и запущенности, возникшее еще раньше, издали.

А на объекте жизнь текла, как и прежде. Карлуша и Роберт остались довольны результатами этой миссии, друзья встретили меня с радостью – это было действительно что-то вроде возвращения домой.

Среди непостижимых для лагерника странностей нашего быта была и такая: нас обслуживали городские службы быта и здравоохранения; таким образом, например, банный день был для нас источником двойного удовольствия, означая и прогулку чуть не через весь город. Мало того, в фойе бани находился пивной ларек, и удачливые зэки, у кого случаем заводились денежки, умудрялись пропустить кружечку чуть не под носом у конвоя.

Я вернулся из Новочеркасска на следующий день после банного похода, и меня повели в баню единолично: отступления от санитарного режима не разрешались. Конвоировать меня выпало хилому, но ретивому служаке, которого мы дружно не любили, – одно из гаденьких ничтожеств, без меры довольных тем, что служебное положение дает им власть оставлять мутные следы и на чистом, и на грязном. Я с наслаждением побанился и, вспомнив, что в кармане у меня завалялась десятка, на обратном пути завернул к ларьку, уверенно протянул продавцу бумажку. Он уже подставил кружку под кран, когда из-за моего плеча протянулась рука и сиплый голос произнес:

– Не наливай, ему нельзя.

Продавец развел руками и убрал кружку. Через плечо я поглядел на конвоира, на лице которого сияла торжествующая улыбка. Она-то и взбесила меня пуще всего.

Я сунул деньги в карман и широким шагом вышел на улицу. Конвоир торопливо выскочил за мной, но тут же отстал на добрых 50 метров: я шел спортивным шагом, не оборачиваясь на его

крики. Топот его сапог то затихал в отдалении, то раздавался громче, когда он пытался бегом догнать меня, выкрикивая временами приказания и угрозы, которые я пропускал мимо ушей. К половине дистанции – идти надо было не меньше четырех километров – он болтался метрах в 200-х сзади, издавая лишь изредка жалобные вопли: «Борин! Ну подожди», – которые не вызывали у меня ни малейшей жалости. Проходную мы проскочили на полном ходу, для чего вертухаю пришлось через силу нагнать меня, но на большее его не хватило: к зданию нашей вахты он отстал метров на 100. Я прошел прямо к себе на второй этаж, где Миша Мартыщенко, бывший летчик-истребитель, приветствовал меня:

– Славно ты его прокатил. Будет знать, сволочь!

Некоторое время я ожидал, не последует ли обвинение в попытке побега; но у несчастного вертухая, видно, хватило ума не жаловаться, что грозило ему лишними неприятностями.

Еще более диковинно наши отношения со здешними вертухаями высветились в столкновении здорового Корчагина с солдатиком, против которого мой хилый конвоир мог бы сойти за чемпиона мира в легком весе: его буквально шатало и заносило при ходьбе.

Этим летом арестантам нашего объекта выпало редкое счастье: начальство решило оделить желающих узкими огородными полосками на участке в полукилометре от вахты. Записались чуть не все, в том числе и те, кто никогда в жизни не брал в руки лопаты. Записался и я – как и прочие, отнюдь не ради скудных выгод, которые сулило это занятие. Впрочем, были среди нас и настоящие огородники, к числу которых относился и Корчагин.

Водили нас на огород под номинальным конвоем; иногда дежурный на вахте лениво говорил: «Ну, идите, я посмотрю отсюда».

Однажды Корчагин с другим завзятым огородником, Монаховым, пришли раньше с работы (мы всегда пересиживали) и в ожидании ужина решили покопаться на своих делянках.

– Идите, – сказал дежурный. – Там Васька болтается, он присмотрит.

Он, вероятно, и не глянул в сторону огородов, присутствия полуживого Васьки было более чем достаточно. Напрасно: он бы увидел кое-что поучительное. Правда, на некоторых делянках уже изрядно вытянулись подсолнухи, мешавшие смотреть. Вертухай Васька стоял на коленях, торопливо собирая в неболь-

шой мешок морковку, которая особенно хорошо уродилась у Корчагина. Тот издали заметил увлекшегося воришку и, предупредив жестом пожилого и непроворного Монахова, двинулся вперед быстрым неслышным шагом, приседая, как заправский разведчик, когда Васька приподнимался:

– Ты что же делаешь, б..га?!

Васька обомлел с пучком надерганной морковки в руке. Сильный удар свалил его на землю. Он пытался подняться, новые удары снова валили его. Я думаю, ненависть зэка к представителю вертухайского мира слепила его больше, чем чувство обокраденного собственника; во всяком случае, он не больше думал о последствиях, чем я, когда гнал своего несчастного конвоира по улицам Таганрога. Слава Богу, обошлось без серьезных повреждений; бедный парень только молил Корчагина никому не рассказывать об экзекуции – выгонят со службы.

– Ладно, – сказал утомившийся огородник. – Бери свою морковку и мотай отсюда, чтоб я тебя больше не видел.



Но спортивная форма далась мне совсем не даром.

После лагерной голодухи меня стало разнесить на спецотдельских харчах, тем более что за усиленными занятиями я совсем забросил гимнастику. В один прекрасный день я заметил свой округлившийся живот и, по правде говоря, испугался. Сам я и в благополучные времена не был жирным, и толстобрюхие люди вызывали во мне неприятное чувство. Я принялся за утреннюю зарядку – и опять испугался: после десяти приседаний сердце у меня билось, как овечий хвост. Было с чего прийти в уныние: все мечты выйти на волю здоровым и сильным, все, достигнутое в этом смысле за последние лагерные годы, шло насмарку.

На следующее утро, однако, я опять проделал всю последовательность упражнений, дозируя их на этот раз таким образом, чтобы не перегружать сердце. Затем каждую неделю увеличивал нагрузку, проверяя время от времени свое состояние серией приседаний или подтягиваний на турнике «до отказа». Братья-арестанты относились по-разному: кто подсмеивался, а кто – главным образом из тех, что сами занимались каким-нибудь видом физкультуры, – интересовался и сочувствовал. «Зяма» Лерхендорф, например, ежевечерне совершал пробежку на 15-20 минут, надевая даже в самые теплые вечера шерстяной свитер, чтобы

хорошо пропотеть. Я не отступился, пока не довел число приседаний до 200 подряд без малейшего неудобства для сердца. К тому времени физические упражнения стали для меня такой же ежедневной потребностью, как умывание.

Легко ли поверить: эти непосильные тяготы не воспринимались мною тогда как несчастье – скорее как тяготы, которые надо пережить. Тоска и ужас жизни нахлынули позже, когда время этих испытаний – к тому моменту далеко не столь тяжелых – превысило всякую меру.

По тем стихам, которыми зачитываются, по тем анекдотам, что рассказываются, можно судить о людях. Но самые замечательные анекдоты творила сама жизнь.

Дело в том, что в Таганроге мы пользовались «безумной» свободой: нам нарезали по сотке земли, и после работы на огородах мы выращивали картошку, репу, лук, морковь и т.п. (осенью урожай по-братски складывался и был неплохим приварком для нашей столовой).

Так вот, возвращаясь вечером с огородных работ, каждый наперебой хвалил свой овощ, доказывая его преимущество. Молчаливый Владимир Иванович Лерхендорф вдруг сказал:

– А я скажу вам, ребята, что выгоднее всего сажать...

– ...Выгоднее всего сажать инженеров...

Боюсь, что успех этого анекдота обеспечит ему бессмертие и войдет в мировой фонд тирании всех времен и народов...

Москва–Саратов–Таганрог–Москва 1950-1986

БОРИН Александр Аркадьевич (1913-1987) – авиаконструктор. С начала 30-х годов активно и плодотворно работал в области создания отечественной планерной и самолетной авиации. Уже в 1935 году в соавторстве с Е.П.Гроссманом и С.С.Кричевским опубликовал работу, принципиально решившую одну из наиболее сложных в то время проблем самолетостроения – проблему флаттера. В 1941 году арестован в Саратове, по 58-й статье получил 10 лет тюрьмы и бессрочную каторгу. В 1956 году полностью реабилитирован. Годы заключения и ссылки разрушили здоровье. Возвращаясь к жизни после очередного инфаркта, Александр Аркадьевич всякий раз все силы отдавал борьбе за восстановление поправленной справедливости и честного имени друзей. Подорванное здоровье оставило ему практически единственный доступный способ борьбы – художественными средствами рассказать о пережитом. А.А.Борин написал книгу мемуаров, подготовленную к печати его вдовой, серию рассказов о годах заключения, стихи.

Кассеты артистки В Е Р Ы Е Н Ю Т И Н О Й

Всем, кто любит русскую литературу, кому дорог русский язык, кому трудно самому читать по возрасту или по состоянию здоровья, — советуем приобрести кассеты артистки Веры Енютиной.

Обширный каталог состоит из 300 кассет.

Детский отдел: Русские народные и современные сказки, сказки Пушкина, Толстого, Мамина-Сибиряка. Библия для малышей. Рассказы из русской истории. Уроки русского языка для начинающих и иностранцев.

Отдел прозы: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев, Бунин, Набоков, Ремизов, Гоголь, Достоевский, Замятин, Зощенко, Аверченко.

Поэзия: Все русские поэты, начиная с Баратынского и кончая Пастернаком и Цветаевой.

Для любителей театра: Кассеты с отдельными сценами из пьес Шекспира, Чехова, Островского, Ибсена.

Цена кассеты — 5 ам. долл. плюс пересылка.

Каталог — бесплатно.

Чеки, заказы и вопросы посылайте по адресу:

**A.Tregoubov. 3 Pillsbury St.,
Claremont, New Hampshire 03743 USA.**

Семен Черток

БЮРОКРАТ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Снова всплыл из нетей некогда всесильный, а теперь уже почти забытый кинематографический вельможа – многолетний секретарь Союза кинематографистов СССР Александр Караганов. Его сняли с поста в мае 1986 года по единодушному требованию делегатов 5-го съезда кинематографистов. Партийный чиновник среднего звена растерялся – такого опыта у него еще не было – и побежал за помощью на другой край стола президиума, где сидели секретари ЦК КПСС. Но те развели руками, и Караганов понял, что продан. Бюрократический волк, он знал, что при смене генсеков меняется аппарат власти, но не предполагал, что это произойдет так быстро и по инициативе низов – подобной самостоятельности в его практике не встречалось. А кроме того, забыл, что такими винтиками, как он, система жертвует легко – лишь бы механизм власти остался цел. Не учел он и ставку горбачевской команды в борьбе за власть – прежние опирались на карагановых для подавления интеллигенции, новой понадобилась поддержка интеллигенции в борьбе с бюрократическим аппаратом предыдущего призыва, лично не обязанным своим выдвижением Горбачеву.

Родился Караганов в 1915 году в русской деревне, сохранившей следы татаро-монгольского нашествия – в фамилиях (карахан – черный князь), узких глазах и широких скулах ее жителей, которые без грима могли бы играть воинов Чингиз-хана или Батыя в исторических фильмах, а главное – в коварном, не знающем пощады к тем, кто оказался поперек пути, характере.

В 1934 году, когда в первую очередь принимали учиться тех, кто от станка или от сохи, поступил в ИФЛИ – московский Институт истории, философии и литературы на литературный факультет. Происхождением и внешностью вполне соответствовал поколению сталинских выдвиженцев, которые заменяли репрессированных функционеров первых лет советской власти: простоватый на вид, хитрый, осторожный и готовый ради карьеры

шагать по трупам. Может быть, и без удовольствия, но твердым шагом.

Соученица, а позже сослуживица и приятельница Караганова Р. Орлова в мемуарах «Воспоминания о непрошедшем времени» (1983), оцененных эмигрантской печатью как апологетические, пишет и о Караганове, но его подлинную суть не то не улавливает, не то не хочет до конца раскрыть. И все же сообщает подробности, позволяющие понять истоки его страха и угодливости. На одном из собраний бессменный секретарь факультетского комитета комсомола Саша Караганов сообщил, что арестован его отец (по словам Р. Орловой, не то колхозный сторож, не то завхоз), и добавил, что осуждает и отказывается от него. Ничего из ряда вон выходящего в этом не было – заявления об аресте родителей делались на каждом собрании, и Караганов свою комсомольскую репутацию и должность сохранил.

После окончания ИФЛИ в 1939 году его направили читать лекции в Сталинградский пединститут. В начале войны призвали в армию, но в октябре 1941 года он был ранен и сразу после уральского госпиталя продолжил карьеру – секретарь комитета комсомола, секретарь райкома, секретарь обкома комсомола по пропаганде. В 1944 году перебрался в Москву членом редколлегии «Комсомольской правды» и в том же году стал заместителем председателя ВОКСа – Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, полугебешной организации, пудрившей мозги иностранцам и вербовавшей среди них агентов. По должности стал ходить на правительственные приемы, с какой-то делегацией попал к Сталину.

В 1947 году хлебную и сулящую перспективы должность пришлось оставить: Караганов не упомянул в анкете арестованного отца, а НКВД в его перлюстрированных письмах от зимы 1940 года обнаружил недопонимание причин поражения Красной армии в финской кампании, и Караганова исключили из партии.

Он исчез с людских глаз на два года – писал диссертацию об англо-американской реакционной политике. Семью кормить помогал К. Симонов, тепло относившийся к его жене. Не оставили и бывшие однокашники, ставшие занимать ответственные посты в ЦК, и в первую очередь И. Черноуцан, один из руководителей отдела культуры, поддержкой которого Караганов пользовался тридцать лет. В 1949 году Караганова взяли в журнал «Театр» –

в самое бездарное время писал даже по тем временам бездарные статьи о спектаклях, посвященных Ленину, а они ставились во всех театрах, и работы было много.

В 1956 году Караганова простили, но не восстановили, а заново приняли в партию. Это позволило перейти в издательство «Искусство» – заместителем главного редактора, главным редактором и наконец директором. Одновременно стал председателем секции критики Союза писателей и, по свидетельству Р. Орловой, «на всех поворотах и поворотиках он был с теми, кто наверху», «спокойно действовал применительно к новым условиям очередных заморозков». Произносил конформистские речи, а когда студенты университета не захотели его слушать, стал спекулировать именем арестованного отца, чтобы выглядеть в их глазах не могильщиком от режима, а его мучеником. Не помогло – аудитория не купилась.

В 1964 году партия перебрала А. Караганова на кино, и это стало вершиной его карьеры – он был назначен секретарем Оргкомитета нового Союза работников кино, а в следующем году стал секретарем Союза кинематографистов, его парткомиссаром и соглядатаем. Занимался всем – от внутренних перемещений и назначений до командирования кинематографистов за границу; главное же – следил за их «идейным уровнем», в зависимости от которого распределял блага – представлял к орденам и почетным званиям, предоставлял очередь на покупку автомобиля, место в доме творчества, право вступить в жилищно-строительный кооператив и даже столик в ресторане для встречи Нового года. Власть и связи в связи с этим приобрел огромные, но пользовался ими, чтя уголовный кодекс и в соответствии с принятыми для номенклатуры среднего звена правилами. Прежде всего, для издания своих никчемных книг. Это делали и делают многие чиновники – книги тешат авторское самолюбие и приносят большие доходы, ибо номенклатуре платят за них по высшей ставке и не рассчитывая, что их кто-нибудь купит и прочитает. Но большинству «ответственных работников» их пишет «аппарат», а Караганов с его комплексом искусствоведа-идеолога писал сам. Теперь книги Караганова сданы в утиль – за все их безумные тиражи старьевщик не дает и одной «Королевы Марго», а за 22 года служения партии на ниве кинематографа Караганова не только не поблагодарили, а под улюлюканье выгнали.

И все же верноподданничества режим не забыл – его лишили должностей, пайков и других персональных привилегий, но не

отправили на пенсию, а дали скромную, но прилично оплачиваемую должность старшего научного сотрудника Института теории и истории кино Госкино СССР. Без подчиненных, секретарей, госдачи, спецполиклиники, спецгастронома и других благоменклатуры среднего звена, но с правом писать статьи об идеологической борьбе на экране, славить перестройку и гласность и выступать на ученых советах, приподнимаясь на цыпочках, чтобы казаться выше, и выбрасывая правую руку непримиримым ленинским жестом.

Комическое возникает от несоответствия поведения и уровня компетентности. Останься Караганов председателем родного сельсовета или стань вторым секретарем райкома КПСС по идеологии, он вызывал бы обыкновенную скуку. Однако в житейском плане умный и хваткий, но скованный догматическим подходом к оценке любого явления, не обладающий ни внутренней свободой, ни складом ума исследователя, Караганов полез в науку. Как оказалось теперь, не напрасно. То, что настоящие ученые над ним смеялись, было не так важно – он представлял собой тот самый тип советского псевдоученого, образованщины, который знает правила партийной игры и лабиринты служебных лестниц и быстро получает все необходимые степени и звания. Одно из правил и заключается в том, что бюрократ с идеологическим уклоном обязан эти степени и звания иметь. Для этого требуется написать несколько статей о превосходстве советской идеологии и советского искусства над буржуазным, снабдив их подходящими цитатами, в основном из речей здравствующего генсека, и собрать их в сборник. Караганов это и делал. Вот названия некоторых его трудов: «Фильмы о Ленине, о революции», «На экране великий образ», «Киноискусство в борьбе идей», «Рожденное революцией». Самые скучные и серые в советском театро- и киноведении, они подтвердили лакейскую готовность автора изгибаться вместе с изгибами партийной линии и дали ему возможность стать доктором искусствоведения и профессором – он читал лекции начинающим партаппаратчикам в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Теперь это позволило послать Караганова в не слишком почетную ссылку на должность старшего научного сотрудника захудалого ведомственного киноинститута.

После позорного изгнания из секретарей Союза кинематографистов Караганов еще пытался самоутвердиться в качестве рецензента текущего кинорепертуара газеты «Советская куль-

тура», но быстро сообразил, что проигрывает: прежде он печатал установочные статьи, которые нравились в ЦК, а здесь понадобились материалы, требующие если не таланта, то хотя бы профессиональных навыков, и от нового амплуа пришлось отказаться.

А из нетей Караганов объявился потому, что вдруг «Литературная газета» напечатала диалог о кино, в котором он выступил в своей прежней роли – бывшего идеологического руководителя Союза кинематографистов. И показал, что нисколько не изменился: тот же тон, стиль, подход. О Союзе кинематографистов: «Он должен быть в первую очередь озабочен идейно-творческим ростом мастеров экрана». Так и просится Караганов допустить его к прежней роли – помеси надзирателя с воспитателем, этакое Макаренко от кинематографа. Иная точка зрения, разумеется, «ошибочна» – карагановы знают единственно верное учение.

Что нравится Караганову из фильмов безвременья семидесятых-восьмидесятых годов? Самое худшее – напыщенный державный кинематограф, лишенный художественности: «Они сражались за Родину» С. Бондарчука по одноименному солдатскому раешнику М. Шолохова, «Освобождение» Ю. Озерова, воспевшего в ложнодокументальном сериале полководческий гений Сталина и его маршалов, «Бег» А. Алова и В. Наумова, извративший смысл и стилистику пьесы М. Булгакова.

Каким Караганов видит будущее советского кино? «Наверное, не ошибусь, если предскажу в обозримом будущем новый подъем историко-революционного фильма. Кино непременно вернется к темам, событиям, героям фильмов Каплера, Юткевича, Ромма», то есть к фильмам, означавшим моральную и художественную деградацию кинематографа – «Человеку с ружьем», «Ленину в Октябре», «Ленину в 1918 году», но применительно к нынешним требованиям режима: поменьше Сталина, побольше Бухарина, скромно, но внятно о Троцком, и все это с прежней целью – уверить зрителей в законности Октябрьского переворота и его пользе для всего прогрессивного человечества.

Если в СССР действительно идет борьба не только между борющимися за власть группировками, но и между консерваторами и реформаторами, между реакционерами и либералами, то Караганов явно находится на крайне правом фланге, поддерживая в советском кино все самое черное, бездарное и тупое.

Но знающие Караганова вспоминают его по-разному. Одни с ужасом, другие с безразличием, третьи – с признательностью: вовремя подсказал, предупредил, помог. Близко знавшая Караганова Р. Орлова так оценивает эти его «благодеяния»: «Правда, и тогда мы считали – помогает не от сердца, а от ума». Подлинные же причины кроются в специфических должностях, которые он занимал и на которых полагалось играть роль покровителя творческих работников.

У Союза кинематографистов, которым он фактически руководил, три главные функции. Первая из них снабженческая: в стране всеобщего дефицита кинематографисты должны чувствовать свою привилегированность. Вторая функция – наблюдательная: во внестудийное время кинематографисты собираются в Доме кино, обсуждают, спорят, выпивают, болтают – нередко лишнее, и все это фиксируется штатными и внештатными стукачами и микрофонами. Наконец, Союз – это место, где обиженный администрацией кинематографист изливает свои беды и где его хотя бы слушают, в редких случаях что-то для него делают, а во всех остальных только делают вид, что делают. Караганов руководил всеми делами Союза, но, как он теперь выразился, именно «идейно-творческое» лицо было его специальностью. Знал о каждом все: уровень способностей, степень связей, меру цинизма, подлости или порядочности и давал ЦК и КГБ точные характеристики. Именно ему КГБ сообщал причины, по которым того или иного кинематографиста не пускают за границу, так что обмен информацией был взаимным. И именно ему КГБ позволял ходатайствовать о пересмотре отказа в зарубежной поездке. Случаев таких был один на его, а может, и того меньше, но холодный, безразличный, рассчетливый бюрократ среднего звена вдруг начинал выглядеть горячим поборником прав членов Союза.

Это увеличивало приток посетителей и задушевных бесед с глазу на глаз. Принимал он охотно и внешне совершенно просто. Окающий говорок, вкрадчивые манеры и сочувственный взгляд создавали впечатление вполне дружеской беседы, атмосферу доверительности. Караганов давал почувствовать, что хорошо понимает коллегу, но и тот должен понять, что сейчас всем трудно, однако при «правильном» его поведении все образуется к лучшему. Наивный кинематографист не догадывался, что сидит на допросе – без протокола, но с теми же последствиями.

Живущий теперь в США бывший советский документалист просил Караганова помочь ему устроиться на работу, но проговорился, что в противном случае не исключает возможности эмиграции. Не успел он выйти, как Караганов позвонил в Госкино и предупредил о неблагонадежности своего посетителя – судьба его была решена: в Госкино ослушаться не решились, ибо Караганов мог наступать и на них.

Никто не знает нравы и методы бюрократов так хорошо, как их секретарши. Когда у пожилой секретарши Караганова спросили, почему ее шеф засиделся в кабинете допоздна, она ответила: «Значит, все подлости за день не успел сделать».

Как и все советские чиновники, Караганов прикрывался высокими словами о благе народа для обделывания своих дел и делишек – от устройства защиты диссертации глуповатой падчерицы и проталкивания сына в институт международных отношений, а потом – в журналисты-международники, до поездок с женой на служебной машине по антикварным и мебельным магазинам – любимого занятия советских нуворишей.

Но главное, для чего Караганов не жалел времени и сил, это рассовывание собственных убогих статей в советские журналы и газеты и киноиздания социалистических стран. Техническую часть выполнял «аппарат» – переводил источники, перепечатывал, брал разрешение у цензуры для отправки за границу. Но писал Караганов сам. Если будущий историк советского общества захочет понять и почувствовать «застойное» время, то лучшего образца, чем статьи и книги Караганова, ему не найти. Редакторов журналов, которые их принимали, он включал в зарубежные киноделегации, а иностранных приглашал за счет Союза в СССР. Редакционные гонорары по высшей ставке и были той частью дохода, которая оставалась в комиссионных и антикварных магазинах.

Точно так же не жалел он усилий для организации собственных заграничных поездок за государственный счет: и от Союза кинематографистов, и от каких-то липовых комитетов, по заданию которых Караганов неустанно боролся за мир и громил идеологических противников в давно уже не монолитном коммунистическом лагере. Перед каждой поездкой тяжело вздыхал и говорил сотрудникам: «Придется мне опять поехать...» Те сочувственно кивали: тяжелая работа у Александра Васильевича... За

границей находил проходимцев, которые за бесплатные приглашения в Москву носились с ним у себя дома, не забывали привозить хорошие подарки и выгодно обменять валюту. Один француз, плохо знающий советские порядки, удивился вслух: почему-то деньги меняет жена Караганова, а он в этот момент всегда выходит. В ЦК Карагановым были довольны: валютными махинациями занималась вся средняя номенклатура, но линию партии Караганов проводил верно, а по итогам поездок появлялись «правильные» статьи. То, что от них сводило скулы, Старую площадь не волновало: Караганова ценили не за литературный талант.

Были довольны им и потому, что, безошибочно учитывая малейшие изменения партийной линии, точно зная вес и значение того или иного указания и «мнения», он взял на себя роль верховного идеологического цензора по кино. Однажды Караганов вернулся с Каннского фестиваля, где первую премию получил очаровательный музыкальный фильм «Шербурские зонтики». Начисто лишенный художественного ощущения и любви к искусству, но научившийся прикладывать к нему партийные трафареты, Караганов объявил картину вредной по следующим признакам: камерная, абстрактно-гуманистическая, неклассовая и пессимистическая. Так написал о ней сам и так предложил оценивать другим. Один из рецензентов посмеялся над его оценками, сказав, что такими же пороками обладает стихотворение очень известного поэта «Я помню чудное мгновенье» – оно ограничено исключительно камерными чувствами, а его содержание интимно. Злопамятный Караганов не простил и много лет мстил этому критику.

Мстил и потенциальным женихам падчерицы, когда они отказывались от потенциального намерения или намеков на него. Сначала устраивал им повышение по службе, защиту диссертации, загранпоездки. Потом вдруг оказывалось, что несостоявшийся жених невыездной, что диссертация его ненаучна, сценарий художественно слаб, а издательство отказывается подписать с ним договор. Беда не приходила одна, и не всегда было понятно, откуда она идет.

Особенно легко Караганов обводил вокруг пальца людей честных и открытых. К ним принадлежал и А. Тарковский, сохранивший, как и многие великие, долю наивности: поверил, что Караганов для спасения «Андрея Рублева» готов сражаться на

баррикадах. Зато М. Ромм, человек без иллюзий, видел Караганова насквозь.

Однажды, намаявшись с хождением по номенклатурным чинам, он сказал друзьям, что, была б его воля, сделал бы фильм именно о них. И, фантазируя, добавил, что главным героем выбирает Караганова – бюрократа не по внешности, а по сути. На примере кино, сказал Ромм, где такая же атмосфера чиновничества, титулов, привилегий, слежки, доносов, блата, как и в любом учреждении – от домоуправления до ЦК КПСС, – можно рассказать о структуре власти и властей предрежащих. В сложном механизме подавления, где на разных ступеньках стоят секретари, председатели, зав. отделами, зав. секторами, министры, инструкторы, начальники отделов, уполномоченные, участковые, дворники, конвоиры, он приравнял Караганова к должности надзирателя над кино: передает кинематографистам полученные в ЦК указания, точно знает и сообщает, что можно и чего нельзя, следит за исполнением и докладывает о непослушных. В гипотетическом фильме это должен был быть персонаж, полностью лишенный понимания и любви к искусству, но судящий об авторах, жанрах, стиле, темах.

Трудно сказать, почему именно Караганов стал для Ромма персонифицированной советской бюрократией. Может быть, потому, что он образованнее и подлее других. А может быть, вот почему. Ромм отказался поставить свою подпись под коллективным письмом чехословацким коллегам с осуждением «Пражской весны» и лег в больницу, надеясь, что письмо тем временем уйдет. Караганов приехал к нему в загородную больницу и вернулся с подписью.

Сам Караганов оккупацию Чехословакии считал ошибкой, но прежде всего был исполнительным партийцем. Об этом разболтала его падчерица, как и о том, что в домашнем кругу он смеется над тупостью Брежнева, но на партийном собрании Союза кинематографистов Караганов выступил с речью о мудрости и дальновидности вождя, его трудоспособности и любви к искусству и устроил обсуждение его крупнейшего произведения «Малая земля».

У Караганова сильный комплекс неполноценности – из-за деревенского происхождения, маленького роста, научной и литературной беспомощности, но больше всего из-за того, что считает себя обойденным, недооцененным партией – хотел стать ее

главным идеологом, но ни в Сусловы, ни в Демичевы, ни в Медведевы не прошел. О причинах говорить трудно, потому что нравы в высшем эшелоне власти уголовные, хорошо известные по трудам А. Авторханова, Р. Конквеста, Л. Шапиро, М. Геллера и А. Некрича. Может быть, теперь Караганов понял, что ему повезло: чем выше забрался бы, тем сильнее расшибся бы при падении и вместо старшего научного сотрудника с персональной пенсией забивал бы с соседями по двору «козла» в домино. Как Каганович, ставший чемпионом многоквартирного дома.

Кинокритик Н. Кладо сказал как-то, что Караганов – это не человек, а функция. Для людей, превратившихся в функцию, переход в новое качество особенно тяжел, потому что, лишаясь власти, они осознают, что друзей у них никогда не было – были подчиненные и покровители, но первые с радостью забыли, а вторые сами не у дел. Сын не уважает, и Караганов слишком умен, чтобы не понимать причины. Машина к подъезду больше не подается. Бывший бюрократ среднего звена с прежним выражением озабоченности государственными делами на постаревшем лице выходит из дома №56 по улице Горького в Москве и идет пешком на работу в Дегтярный переулок на той же улице. Впервые за десятилетия видит реальную советскую жизнь – облезлые дома, серую толпу с авоськами, хмурые лица, пустые витрины и прилавки, понурые очереди. Печальный итог пустой, напрасно прожитой жизни, в которой, кроме интриг, и вспомнить нечего. Те, кому он был льстиво предан, выбросили его на свалку, как и многих других бюрократов среднего звена при замене деталей партийного аппарата.

Светлана Беляева

НЕВЕСЕЛЫЕ ПАРИЖСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ

Ощущение скуки не может стать началом ни книжки, ни статьи, ни вообще какого-то стоящего дела. Первые же ее симптомы являются немедленными свидетельствами безнадежности начинания. И сознаваясь в подобном вот здесь, в первых же строчках статьи, я, возможно, тем самым подписываю себе приговор. И все же сознаюсь: именно это ощущение скуки или какой-то тоскливой усталости я испытываю при мысли о нынешнем «оживлении» нашей московской культурной жизни. «Я устал уже на первой строчке», – так, кажется, писал сегодняшний кумир московской «элиты» (да уже и не только элиты, но той самой средней читающей публики, которая узнает писателя на улице) поэт-концептуалист Дмитрий Александрович Пригов. Однако очевидный успех Пригова, невзирая на эту его «усталость», внушает и мне, в свою очередь, определенные надежды. Итак, попытаюсь оправдаться.

Подобного рода признания (дескать, тоскливо и скучно) на фоне того шквала публикаций, который обрушила на слегка ошалевшего читателя советская периодика в последнее время, могут показаться либо нарочитым парадоксом, либо – того хуже – неловким кокетством. И все же это – ни то и ни другое, но признание человека, сознающего собственную обреченность, поскольку позиция разочарованного – всегда наиболее уязвима.

А роль моя в данной ситуации достаточно неприглядна. Народ кругом ликует: читатель от того, что ему дают наконец читать, писатель – от того, что ему дают публиковаться; и только унылая фигура критика напоминает чем-то фигуру «мента при исполнении», призванного наводить на этом празднике жизни должный порядок.

А между тем, внести сюда некоторый порядок действительно не мешает. Не мешает это сделать, даже если руководство-

ваться соображениями самого общего характера. В частности, тот чудовищный поток публикаций советских журналов, натиск которого вынужден выдержать читатель, вряд ли реально способствует уточнению и прояснению нынешней культурной ситуации. Самостоятельно читатель с этим справиться не способен. Если иметь в виду читателя «широкого», то слишком многие культурные пласты от него были до сих пор скрыты, и неожиданное единовременное обнаружение всех тайных механизмов их функционирования и тех результатов, к которым это функционирование привело, способны его как не вовремя напуганного (можно ли напугать вовремя?) ребенка сделать навеки идиотом. Если же иметь в виду тот тип интеллигентского сознания, который сформировался как раз под влиянием этой скрытой культуры, культуры андерграунда, то тут возникают проблемы, в известном смысле гораздо более серьезные и трудноразрешимые, нежели предыдущие. Тот культурный и социальный пласт, к которому он до сих пор относился и который до сих пор имел вполне жесткую позицию в общей структуре общества, был очень и очень специфичен. Отличался он и своею собственной, сформированной конкретной ситуацией и всею особенностью своего положения, ценностной системой и своим собственным «социолектом» социоборчества, выстраивая тем самым определенные формы жесткой репрессивной микросоциальности, могущие сопротивляться репрессивному макросоциуму. В теперешней же ситуации, когда все эти установления и границы между микро- и макросоциумом, между «официальной» культурой и культурой андерграунда, прежде незыблемые, начали расшатываться, а то и просто исчезли, от обеих сторон требуется поступиться очень многим. Очевидно, что речь здесь идет о полной смене ценностной ориентации, хотя характер процессов, проходящих сейчас среди этих социумов и на их стыке, уже пораженном диффузией, мне лично еще не вполне ясен. Вполне же ясно то, что процессы эти – вещь объективная, и сопротивляться им, как известно, бессмысленно. Однако инерция сознания с обеих сторон очень велика; у так называемого среднего советского читателя, среднего советского человека, населяющего «большой социум», она ничуть не больше, чем у тех, кого мы называем рафинированной интеллигенцией (тут следует пропу-

стить кривую ухмылочку). Возможно даже, у интеллигенции эта сила сопротивления должна быть осязаемее: она сознательно защищает свою кастовость, сознательно же ею выстроенную и выпестованную (не без кровохарканья, надо заметить), в отличие от стороны противоположной, которой это было навязано.

Помню, как 12 апреля, накануне моего отъезда в Париж, мы вместе с тем же Приговым, нынешним – как ни парадоксально это звучит – официально признанным лидером неофициального до сих пор литературного авангарда, были «пойманы» на посещении вечера советского ПЕН-Клуба. Посажены мы были самим Андреем Андреевичем Вознесенским на второй ряд и от нечего делать рассылали записочки выступавшим. Одна из них, кстати, адресатом которой был прозаик Евгений Попов (присутствие его на сцене – факт сам по себе немаловажный; там вообще из всего левого крыла СП не хватало, пожалуй, только Виктора Ерофеева – в пару к Попову), имела следующее содержание: «Почему на сцене нет замечательного поэта Дмитрия Александровича Пригова? Позор!» Подписавшись «студенты» и по-студенчески подмигнув соседу, атташе по культуре шведского посольства, Дмитрий Александрович собрался было передать записку на сцену. Однако в этот момент на ней появился Андрей Битов, первыми словами которого были: «Вот тут в зале сидит замечательный поэт Дмитрий Александрович Пригов...» Необходимость в записке, таким образом, отпала.

В этот же вечер мы оба были пристыжены посредством телефонных звонков наших товарищей и обвинены в крайней степени цинизма – нарушении законов кастовости.

Привожу этот вполне анекдотический случай в качестве вполне же подходящей иллюстрации: конечно, раньше никогда мы бы не пошли на столь «официозное» сборище, не щелбетили бы в кулуарах с Андреем Андреевичем, да и Битов с Поповым, «метропольские преступники», вряд ли, пожалуй, оказались бы на сцене. С другой стороны, как скоро мы были «одернuty» бдительными товарищами! Шутки шутками, но партийная дисциплина – штука серьезная, и забывать о ней не следует.

Подозреваю, правда, что меры, предусмотренные в отношении нарушителей этой партийной дисциплины в Москве, куда более вегетарианские, чем здесь, в эмиграции. Однако оставим зубоскальство, чтобы еще чего-нибудь не нарушить.

В этой истории есть еще один важный момент: давно зафиксированное и сотни раз клишированное мнение о Пригове как о лидере авангарда той части публики, которую мы с ним припрятали под маску «студентов», совпало с мнением, официально артикулируемым со сцены.

Бог с ним, с Приговым, возьмем кого-нибудь другого из персонажей того же рода, например, Льва Рубинштейна, почти столь же популярного нынче в Москве концептуалиста. Недавняя, вторая (!) в его жизни официальная публикация называлась: «Лев Рубинштейн. Из неопубликованного» (если не ошибаюсь, речь идет об одном из летних номеров журнала «Даугава»). Я уже не говорю о таком авторе, как Виктор Ерофеев, замечательно успешно утверждающемся в Союзе писателей, с которым он был насильно разлучен в 1979 году, ровно на десять лет, в связи с «метропольским» скандалом. Причем здесь дело даже не столько в личных качествах младшего Ерофеева, сколько в резком изменении ситуации, которой понадобился новый тип лидера.

Все эти казусы глубоко симптоматичны. Литература, авторы которой примерно до 40-60 лет сидели в глубоком подполье, не опубликовав за всю свою жизнь ни одного произведения, вдруг и буквально молниеносно оказались в роли конвенционально принятых «классиков», причем без этого сомнительного для неискушенного слуха добавления – «андерграунда». И книжки их – не те замусоленные самиздатские копии, читаемые в чад испарений котельни вперемежку с портвейном, – нет, настоящие, типографским способом изданные книжки стоят на книжных полках, дарятся друзьям и поклонникам, наконец, девушкам. Словом, жизнь начинает приобретать какие-то нормальные формы, именно н о р м а л ь н ы е, то есть принятые традиционно за культурную норму.

Казалось бы, ситуация вполне радужная и в этом смысле однозначная, психологически нами легко и охотно принимаемая. Пришли мы к тому, чего втайне (а некоторые, кто попростодушнее или кто менее застенчив, – явно) желали, – к своеобразному хеппи-энду: зло, как и полагается, наказано, добро или социальная справедливость (что в данном случае спешно идентифицируется) торжествует.

Однако дело обстоит не так просто. То, что было принято за норму официальной традицией (качество этой традиции, ее этическая оценка с точки зрения «плохо» или «хорошо» нас сей-

час не интересует), отнюдь не являлось нормой для традиции неофициальной, для традиции андерграунда. Начнем с фигуры самого автора. Тот авторский тип, который примерно к середине 70-х годов сформировался в культуре андерграунда, предполагал, что этот новый автор уже не стоял в выжидательной позиции по отношению к обществу, которое естественно должно было признать его – не столько заслуги – достоинства (таким образом, личные достоинства здесь автоматически переводятся традиционным мышлением в категорию социальных заслуг и требуют вознаграждения). Новый автор, или автор андерграунда, не только ничего этого не требовал от общества, но, напротив, был повернут к нему спиной, ориентируясь лишь на тот узкий круг единомышленников и друзей, который позволял ему в той или иной степени удовлетворять свои авторские (и социальные) амбиции. И поза эта, то есть повернутость к этому самому злосчастному обществу вполне определенным местом, очень важна. Это отнюдь не то равнодушие к социуму, о котором говорили и говорят многие адепты, например концептуализма, подчеркивая свою социальную «нейтральность» (и их нынешнее поведение – самое красноречивое этому свидетельство). Поза эта – да простят мне господа концептуалисты! – сильно смахивает на позу обиженного ребенка, отвернувшегося и изображающего эту обиду в надежде на то, что к нему подойдут и погладят по головке: не плачь, детка! И взаимоотношения обиженного и обидевшего начинаются не столько с факта обиды, сколько с реакции на нее этой условной позой, служащей сигналом: давай, утешай!

И сейчас-то как раз и наступил момент утешения. Дитяте протягивают конфетку, и оно замирает в минутной нерешительности: то ли великодушно принять и простить, то ли похныкать еще – авось, к конфетке и пряник дадут. Но как только ребенок поворачивается лицом к дающему, берет конфетку и немедленно заталкивает себе в рот, ситуация, его собственная поза и выражение физиономии немедленно меняются.

Абсолютно, на мой взгляд, аналогичные вещи происходят сейчас в нашей культуре. То, что до сегодняшнего дня называлось у нас второй культурой, андерграундом и как угодно еще (пока поговорим о метрополии), оказалось в ситуации этого самого ребенка, и его детское лукавство или его расчет ничуть не

более простодушны, чем нынешнее поведение наших почтенных авторов.

И было бы куда лучше, если все мы в большей мере отдавали бы себе отчет в том, что именно сейчас происходит. А происходит вот что. Писатель андерграунда, которому в среднем в данный момент лет 50, уже фактом своей первой, пусть даже единственной своей «официальной» публикации, автоматически обрекает себя на неразрешимый конфликт, способный привести его в конечном счете к трагедии. Изменив свою позу по отношению к социуму, он немедленно вслед за этим вынужден изменить тип отношения к миру вообще, полностью перестроить свою систему ценностей, формировавшуюся на протяжении его пятидесяти лет жизни и т.п. Способен ли сделать это взрослый, давно уже сформировавшийся человек, да еще мгновенно, как этого требует нынешняя ситуация? Очевидно, нет. Этому поколению перенести подобные катастрофы уже не под силу.

Что касается проблемы взаимоотношения метрополии и авторов эмиграции, проблемы разворачивания этих отношений в контексте сегодняшней ситуации, то в целом схема здесь сохраняется примерно та же. Однако есть любопытные и немаловажные нюансы, которые, на мой взгляд, могут послужить темой отдельного разговора.

Но это лишь один уровень конфликта, касающийся проблемы внешнего поведения автора в культуре. Существуют и другие. Ясно, что главный узел конфликта лежит не на уровне этого внешнего авторского поведения, но на уровне так называемого внутреннего поведения, поведения в пространстве текста.

Ведь значительная часть авторов андерграунда, в недрах которого и разворачивалось то явление, которое у нас принято называть несколько беспомощным термином «новая литература» (беспомощным своей неопределенностью), являют собой пример постмодернистского сознания или того, что получилось из этого понятия при проекции его на наш отечественный контекст. Таким образом, тексты их, независимо от более узкой эстетической ориентации авторов, имеют ряд общих сходных черт. Я имею в виду их рефлексивность по отношению к традиции, связанное с этим использование монтажа цитат как основного структурообразующего принципа (причем речь здесь идет не просто о введении в текст какого-то фрагмента другой структуры, но о парадоксальном столкновении этих цитат, при котором

они приобретают новый, как правило, иронический оттенок или смысл). С этим же связан и тот пафос иронии, свойственный всей этой литературе в целом, который пришел на смену пафосу оригинальности, пафосу творчества и т.д., – словом, всему тому, что так хорошо известно нам по предшествующей литературной традиции. Очевидно, что в подобного рода литературе ценится не столько оригинальность текста, сколько его композиция, возможность организации его на основе максимально полной инвентаризации используемых средств и создания в конечном счете некоей табулатуры искусства.

Все эти новые качества литературы, столь ощутимые в сегодняшней культурной ситуации, во многом объясняются изменением характера отношений автора и текста – той проблемой, которую так ревностно и горячо обсуждают последние пятнадцать лет представители нашего так называемого авангарда. Проблема эта действительно весьма важная и серьезная, однако, во-первых, не стоит забывать, что она все-таки не единственная для нашей литературы, а во-вторых, не следует выдавать те выводы, к которым пришли наши «авангардисты» уже лет пятнадцать назад, за новейшие результаты и достижения сегодняшнего художественного гения. Но в целом они, конечно, правы. Действительно, автор этой новой литературы как бы «выходит» из своего текста, отстраняясь от него (вопреки прежней «погруженности»), оказываясь, таким образом, на некоем метауровне, позволяющем ему работать сразу со многими языками и стилями. Именно такая позиция дает возможность появления двойственности точки зрения на пространство текста – точки зрения автора, реально организующего текст (точки зрения «со стороны»), и точки зрения автора-персонажа (точки зрения «изнутри»). Подобное рефлексивное раздвоение естественно предполагает и появление в тексте автокомментария к этому тексту. В таком случае следующим логическим шагом может быть появление комментария при отсутствии самого текста (в этом случае достаточно будет уже одной возможности появления текста). Причем такая доведенная до абсолютного предела «открытость» структуры текста, вплоть до его отсутствия, делает возможным существование не одного, но бесконечного множества подобного рода «комментариев» или интерпретаций. Сам же текст становится только поводом к этому множеству интерпретаций, полностью смещая все прежние ценностные акценты.

При этом изменении характера текста и изменении позиции автора по отношению к нему автоматически меняется и позиция читателя. Поскольку акцент, с одной стороны, с акта создания произведения, а с другой – со стремления интерпретировать это произведение адекватно авторской интерпретации, – переносится на максимальную полноту и разносторонность самого акта интерпретации, то читатель становится активным соучастником творческого процесса, а пафос авторства при этом очевидно стирается. Произведение для автора из его кровного «детища» становится лишь одной из возможностей, одним из бесконечного числа способов выражения чего-то большего, чем способен выразить данный конкретный текст. Неудивительно при этом, что многие авторы авангарда все время пытаются нарушить границы своего искусства, переходя от словесного ряда к ряду в первую очередь визуальному (я имею в виду, с одной стороны, изобразительное искусство, с другой – область игры, театра, всевозможные «акции» и «перформансы»).

В этом смысле весьма характерно свидетельство такого «ортодоксального» авангардиста, как, например, прозаик Владимир Сорокин. Помню, мы как-то говорили с ним о замечательном прозаике, увы, рано умершем, – Евгении Харитонове. «Меня всегда интересовали отклонения от определенного жанра литературы и от литературы вообще, – говорил Володя. – Каждый автор, балансирующий между литературой и не-литературой, решает эту проблему по-своему, привлекая для этого какой-то другой жанр. Я, например, вышел через изобразительное искусство, то есть через визуальный ряд, через визуальное отношение к тексту. А Харитонов выходит из литературы через театр; помещая себя в поле получаемого материала, получаемой реальности, он одновременно остается и актером, который действует в этой реальности, и зрителем, и режиссером. Такое «растроение» позволяет ему быть достаточно свободным и быть действительно квазилитератором. У литератора традиционного есть только одна позиция человека, создающего некоторый текст, который можно вменить только этому человеку. Тексты Харитонova можно вменить многим людям, но люди эти – различные ипостаси самого Харитонova».

Подобное признание весьма характерно для автора «новой литературы», достаточно четко характеризую и уровень его

мышления в целом, и те проблемы, которые на сегодняшний день его интересуют в культуре.

Очевидно, что постмодернистское мышление в конечном счете ориентировано на демистификацию классической культурной традиции. Использование чужих слов одновременно предполагает и высокий уровень читателя, способного следить за авторской игрой и вполне ее оценить, и одновременно освобождение читателя (и самого писателя) от авторитетного пиетета перед этой традицией.

С разрушением же статичности культурных ценностей возникает процессуальность, возникает ситуация подвижности, «перетекаемости». Культурное пространство теряет свою четкую разграниченность по «эпохам» и «стилям». Оно становится открытым, и движение путешественника в нем перестает быть односторонним, строго линейным.

Однако эти же свойства и качества «новой литературы», ее общая деструктивная направленность и определяют новый уровень конфликта для ее авторов (того самого конфликта, о котором я начала говорить выше).

Конфликт этот в значительной степени связан с их возрастом, с тем поколением, к которому они принадлежат. Это поколение 40-50-летних людей, для которых в целом существовали как ценности понятия искусства, творчества, авторства и оригинальности. Кроме того (что немаловажно!), этому поколению свойственны и пафос, и одновременно сентиментальность. Наши же герои, оказавшись в ситуации авторов, своим творчеством эти ценности фактически снимающих, очевидно должны были прийти к некоему внутреннему конфликту, снять который предстоит, по-видимому, уже следующим поколениям.

Существует и еще одно обстоятельство, которое необходимо учитывать. То, что мы подразумеваем под понятием «новой литературы», на сегодняшний день есть вполне сложившееся культурное явление, однако, по-видимому, из-за известной специфичности условий, в которых оно формировалось (а формировалось оно, как известно, в ситуации социальной подавленности, в ситуации подполья), оно до сих пор не вполне еще осознало свое место в культурно-историческом процессе, и соответственно до сих пор не имеет сложившейся канонической традиции самоинтерпретации, своего рода «защиты» в контексте культурной традиции. Поэтому сейчас, когда эта литература вышла

из своего подполья, ее авторы, теоретики и интерпретаторы пытаются максимально быстро создать определенный специфический «социолект» с тем, чтобы почувствовать себя более уверенно и основательно, чтобы оказаться «в законе». Но нужно заметить, что в отношении этой литературы создать подобного рода систему защиты достаточно трудно. И трудность эта заключается в двух немаловажных обстоятельствах. Первое – это то, что литература эта протейчна, иронична и пародийна в своей основе, что естественно лишает ее своего рода «почвы», на которую она могла бы опереться. Второе: авторы ее полагают (или пытаются внушить это и себе самим, и всем окружающим), что она, эта литература, последовательно антисоциальна по своему глубинному духу, что тоже затрудняет создание и устроение того места, той ячейки, которая могла бы быть отведена ей и в культурной традиции социума.

Мне кажется, что несоответствие между этим ложным тезисом об антисоциальности этой литературы и начавшимся сейчас активным процессом «встраивания» ее авторов в традиционную, конвенционально принятую социумом культурную ситуацию – очевидно. И было бы лучше, в первую очередь для самих этих авторов (да и для несколько растерявшегося читателя), чтобы они отдавали себе отчет в этом несоответствии. Если бы этот конфликт был наконец сформулирован, появилась бы возможность его устранения, можно было бы подумать, каким образом это несоответствие преодолеть. Однако до сих пор об этом нигде и никак не говорится – то ли оттого, что его виновники сами не вполне отдают себе отчет в том, что именно с ними происходит, искренне заблуждаясь, то ли оттого, что им по каким-то причинам приходится сознательно мистифицировать окружающих. Мне представляется последнее наиболее вероятным, поскольку заподозрить их в наивности достаточно трудно. Но в таком случае необходимо выяснить причины, заставляющие их идти на это.

Думаю, психологически все объясняется довольно просто. С одной стороны, это естественное человеческое желание взять социальный «реванш», занять в обществе те позиции, которых они многие годы были лишены, с другой – не менее естественное желание сохранить при этом позу приличного человека, поскольку в традиции нашего социума, точнее, в традиции представлений определенного круга интеллигенции, «приличным»

является тот человек, который не вмешивается в социальные и партийные дразги. Не учитывается при этом, однако, то обстоятельство, что «приличные люди» давно уже организовали свою «партию» или свои партии со своими уставами и со своей не менее жесткой партийной дисциплиной.

Сейчас же, когда «их» и «наши» партии начали самым невообразимым образом мешаться, нужно, по крайней мере, отдавать себе отчет в том, в какую игру играешь, и, приняв новый устав, отказаться от прежнего («Я разочаровался в нашей коммунистической партии, перехожу в социал-демократическую», – сказал мне на днях один бывший советский космонавт и нынешний академик, случайно встреченный мною в Париже; вероятно, сказывалось тлетворное влияние выпитого армянского коньяка и парижского воздуха).

В связи с этим мне вспомнился весьма характерный эпизод московской жизни. Однажды, сидя в ресторане «Националь», мы с нашим литературным «боссом» Андреем Вознесенским обсуждали неудачи альманахов «Весть» и «Зеркала». «Знаешь, – сказал мне Андрей Андреевич, – хорошо бы создать настоящий, элитарный сборник, где были бы действительно серьезные авторы. Ну, кого бы мы туда взяли? Конечно, тебя, меня, Витьку Ерофеева, ну... и Пригова, пожалуй». Думаю, что это анекдотическое соединение всех четырех имен в одном ряду для нынешней ситуации весьма симптоматично. Недаром все тот же Андрей Андреевич как-то совсем недавно, в апреле, удостоил своим посещением выступление Пекарского, Пригова и Рубинштейна в концертном зале Чайковского (!), высижив там, правда, только первое отделение (второму был предпочтен буфет).

Виктор Ерофеев, очутившийся с легкой руки Андрея Андреевича в этой компании «серьезных писателей» (а мне-то уж там совсем не место), однажды, после телефонного звонка Зои Богуславской и своего десятиминутного кокетливого щебета по телефону, не без известной самоиронии сказал мне: «Вот видишь, и я, кажется, попал в разряд небожителей». Так ведь кому же не хочется в этот самый разряд попасть! Однако лучше себе вовремя в этом признаться, чтобы в дальнейшем поведении не было бы возможных недоразумений и конфликтных ситуаций. Кроме того, нет нужды морочить голову окружающим, уверяя их в невинности твоих целей и намерений.

Но все это то, что касается личного поведения человека, личной человеческой этики. Когда же речь заходит о поведении целого литературного поколения (а мы говорим именно об этом), то тут дело обстоит гораздо серьезнее, поскольку оно может иметь те или иные значительные ощутимые культурные и социальные последствия, важность которых трудно переоценить. Ответственность за то, что в самом ближайшем будущем произойдет с нашей культурой и с нашим обществом, лежит именно на этом поколении, поскольку именно оно и по возрасту, и по своей культурной значимости является в данный момент доминантным и определяющим.

Очевидно, что само оно эту серьезность своей роли вполне осознаёт, однако всеобщее ликование по поводу той относительной свободы публикаций, которую оно вдруг получило, на мой взгляд, не дает ему пока возможности серьезно задуматься над теми реальными проблемами, которые эта новая ситуация, эта относительная свобода перед ним поставила. Сумеет ли оно сделать это в дальнейшем – неизвестно. Однако время дорого, все, что происходит сегодня, не может иметь ощутимых последствий завтра. И после сегодняшнего застолья и всеобщего веселья завтра, возможно, будет достаточно тяжкое похмелье.

Я совершенно не претендую на роль Сивиллы, но все же попытаюсь взять на себя некоторую смелость призвать и господ литераторов, и их восторженных поклонников к большей трезвости по отношению к самим себе и к складывающейся на сегодняшний день ситуации в нашей культуре.

А ситуация – точнее, сознательно подаваемая ее интерпретация – мне представляется неистинной. То, что сейчас выдается за так называемую «новую литературу», на самом деле таковой не является. И дело не только в том, что тот культурный менталитет, который определяет характер этой литературы, сформировался уже к концу 60-х – середине 70-х годов и для искушенного читателя отнюдь не является чем-то по-настоящему новым. Главное то, что авторы этой литературы, как я уже говорила, – это люди от 40 до 60 лет, и то обстоятельство, что они сейчас «победили» в нашей культуре, что они конвенционально приняты традицией и социумом, свидетельствует не об их новизне, но скорее об обратном. Фактом своего признания их общество автоматически засвидетельствовало их социальную и культурную безопасность, поскольку очевидно, что всякое об-

щество в основе своей глубоко консервативно. Из застенков подполья, андерграунда были выпущены те «преступники», которые по сути своей уже таковыми не являются. Поэтому стоит ли уж так ликовать по этому поводу? Стоит ли относиться к этому как к определенному социальному и культурному эксперименту со значительной степенью риска или, может быть, стоит, напротив, задуматься над тем, кто же остался невыпущенным?

Предвижу возможные возражения: да там попросту никого не осталось. У нас – полная свобода публикаций, каждый пишет, как он слышит, публикуют всех, начиная с Солженицына и кончая Мамлеевым и обоими Ерофеевыми. Любой графоман, если его не публикуют государственные издательства, может пойти в кооперативное издательство и издать себя на собственные деньги (если, конечно, бумагу достанет) и т.д. Все это так, на это наших социальных свобод хватает. Однако, помимо социальных, существуют еще и иные категории; помимо социальных свобод, существуют еще этические и эстетические. И я никогда не поверю, что в этом самом «подполье», в этом андерграунде никого на сегодняшний день уже не осталось, потому что я не вижу (или почти не вижу) той литературы, которая бы создавалась людьми моложе сорока лет. Мне могут возразить: ну, а как же, скажем, какой-нибудь поэт-натуралист Володя Друк или вот та молоденькая парочка – Юлик Гутолев с Андрюшей Туркиным?

Ни Друка, ни Туркина с Гутолевым (кстати, очень одаренных в принципе поэтов), ни еще нескольких – причем очень немногих – известных в литературных кругах действительно молодых авторов я бы не могла отнести к какому-то новому литературному поколению, поскольку все они обладают все тем же концептуальным мышлением, которое сформировалось давным-давно благодаря усилиям их старших «кумиров» и «учителей» – того же Пригова, Рубинштейна и т.п.

Что же касается молодых и при этом действительно новых авторов, которые позволили бы говорить о каком-то новом литературном поколении, обладающем своим собственным лицом, своей собственной ценностной системой и своей какой-то новой и еще не известной нам эстетикой, то мы их нигде не видим. Их как бы нет. Именно как бы; поскольку всерьез представить себе столь гигантский провал, такую жут-

кую лакуну в нашей литературе и вообще в нашей культуре невозможно.

«Андерграунд – понятие не социальное, а культурное», – сказал мне парижский художник, персонаж совершенно не парижского, но сугубо русского андерграунда, Валя Воробьев. Думаю, он был неправ. Существует подполье и социальное, и культурное. И в данном случае перед нами – пример и того, и другого. В социальном подполье пребывало то литературное поколение, которому сегодня п о з в о л и л и с ним расстаться как с навязанной ему социальной ролью и которому действительно п о з в о л и л и въехать в нашу литературу на белом коне; а в культурном подполье осталось то поколение или те отдельные персонажи поколения предыдущего, которым по каким-то причинам нет нужды принимать условия этой предложенной им игры. И вот выяснить эти причины, выяснить условия той игры, которую предпочитают они, объяснить их упорное молчание является, на мой взгляд, действительно самой серьезной задачей для нашей культуры, для наших критиков и литературоведов, которые – как это ни печально – до сих пор даже не могут справиться с систематизацией и профессиональным описанием того материала, который у них перед глазами, с той постмодернистской литературой приговых и ерофеевых, которая так активно и охотно сегодня публикуется нашими издательствами. А не могут они справиться с этим потому, что владеют, как правило, исключительно традиционным языком описания, да и то недостаточно профессионально. Между тем, всякая сколько-нибудь новая игра, которая затевается в искусстве очередным сумасшедшим или того хуже – целой компанией сумасшедших, требует от разумного критика, наблюдающего их безумную возню, введения новых эстетических понятий и категорий и соответственно – в значительной степени нового языка. Но для того, чтобы все это могло появиться, от критика или литературоведа требуется известная подвижность, готовность в нужный момент изменить привычную точку зрения. Причем для того, чтобы этот самый нужный момент вовремя угадать, требуется еще и хороший профессиональный нюх и просто высокая степень культурной интуиции и гибкости. Увы, наша критика похвастаться этим не может, поскольку упорно не желает двигаться с места, оторвать наконец свое сидалище от сроднившегося с ним стула. Именно поэтому и прав,

например, Михаил Эпштейн, говорящий в своей статье «Об авангардизме» (в кн.: М. Эпштейн. Парадоксы новизны». М., 1988, 398-399), что авангард сейчас продолжает оставаться категорией оценочной, а не понятийной. А это-то как раз и есть свидетельство того, что критики и литературоведы своей задачи в отношении этого предмета до сих пор не выполнили. И это – проблема действительно серьезная, поскольку во всех тех несуразных обстоятельствах в нашей литературе и сегодняшнем взгляде на нее, о которых я говорила выше, во многом повинны представители именно этой профессии, чья задача в культуре заключается в описании какого-то нового явления, выявлении его места в истории культуры и конкретной современной ситуации и введении всего этого в культурный обиход.

Я сейчас говорю вещи, всем очевидные и в общем-то банальные, однако то, что теоретически всем кажется как будто ясным и понятным, на деле почему-то никак не реализуется.

Существует, правда, ряд текстов, принадлежащих перу самих авторов и теоретиков «новой литературы», имитирующих как бы попытку самоинтерпретации. Однако мне они представляются сознательной или полусознательной мистификацией читателя. Дело в том, что эти тексты (статьями их назвать трудно, они пишутся авторами именно как самостоятельные «тексты»), имеющие целью как бы «донести» до традиционного сознания культурного читателя произведения этой новой литературы, определенным образом их интерпретируя, «объясняя», сами требуют специального разъяснения и интерпретации. Вот первый попавшийся мне под руку образец подобного текста: «...произошло сужение контекста до внутренних пределов художника-персонажа, до его канонизированного горизонта. Концептуалистское трансцендирование теряло в этом случае несколько степеней свободы... Да и важной метафорой того времени – начала 80-х – была идея "колобковости" как способности к "разотождествлению" с любыми социальными ипостасями. Колобок – новая ипостась художника. Будучи опустошен, он превращался в Колобка, отделяя от себя в качестве alter ego кукольного художника-персонажа», – и т.д., и т.п. Знаю, что цитировать нечто, вырванное произвольно из контекста, – прием запрещенный, однако привожу его только в качестве образца языка, используемого в подобных случаях и в подобных текстах. К содержанию у меня нет ни малейших претензий, тем более, что цитирую я здесь вполне уважаемых мною авторов – Иосифа Бак-

штейна и Андрея Монастырского, их «Диалог» для журнала «Искусство»» («Искусство», 1989, №10, с. 31). Ну что из этого московско-тартуского (или парижско-московско-тартуского?) структуралистского бреда вперемежку с кодированным языком и теми особыми образами, которые известны лишь немногим «посвященным», кто прошел в свое время кабаковскую выучку (я имею в виду художника Илью Кабакова), что изо всей этой «зауми» может понять пусть даже культурный, но недостаточно «софистицированный» читатель, незнакомый со всеми этими тайнами и особенностями жизни определенного круга московской литературно-художественной богемы 60-х – середины 70-х годов?

Кстати, помнится, одно время мы с моим другом и соавтором, московским философом Виктором Милитаревым развлекались чтением подобного рода текстов вслух (мы тогда вместе писали какие-то общие работы по теории литературного авангарда). Эффект был поразительный: текст немедленно приобретал чудовищно *комическое* звучание. Любопытствующим рекомендую попробовать, гарантировав немедленное улучшение настроения, испорченного невеселыми раздумьями о судьбах русской литературы.

Характерно, что такие «серьезные» тексты уже самопародируются внутри самой же концептуалистской традиции (а этот язык свойственен именно концептуалистам). Могу привести пример все из того же №10 журнала «Искусство» за 1989 год, столь удачно захваченного мною из Москвы. Вот он: «Сама по себе литература, разворачивающаяся на фоне потенциального и необозримого "литфонда", наполненного инвариантами всех промежуточных артикуляций, инвестирует в качестве фундатора-продюцента и затем аннулирует в качестве продукта любой шизоидальный процесс креации первого лица текста» (П. Пеперштейн. «Белая кошка». Фрагмент статьи «Зона инкриминации». – Ук. изд., с. 48). Поди разберись, где здесь действительно «серьезный» текст, а где – хулиганская пародия! Боюсь, что «нормальный», широкий читатель, на которого рассчитан журнал «Искусство», прочтет это и, отчаявшись что бы то ни было понять, забросит подальше. Конечно, в значительной степени подобные тексты и рассчитаны на такой эпатаж, однако мне представляется, что дело тут не только в этом расчете.

Факт использования языка «специального», кодированного, затрудняющего возможность его интерпретации, кажется

мне весьма неслучайным и мотивирующимся не только своеобразным изощренно-параноидальным мышлением этого круга авторов.

Социально-психологически это больше всего напоминает специфический жаргон тинейджеров-снобов, отделяющий их от компании взрослых или от компании других тинейджеров, не посвященных в таинства их «тусовки». Таким образом, подобного рода специфический «социолект» выступает в чисто невербальной и незнаменательной форме, выполняя при этом функции социального различения, сильно напоминая «гребешок» на макушке какого-нибудь юного панка или многокилограммовую амуницию металлиста.

И именно в этом смысле такой кодированный язык наших «новых» литераторов, в основном, конечно, все тех же концептуалистов, является саморазоблачением стилистики упоминавшейся мною московско-тартуской школы структурализма. Если жесткость, вычурность и зачастую бессодержательность текстов московских и тартуских ученых еще могли бы объясниться потребностью защититься от когда-то жесткой цензуры большевистской идеологии, «внешнего» цензора, то те же и даже еще более усиленные, как во всякой пародии, черты в языке нашего авангардоведения (литературы формально неподцензурной, поскольку она до последнего времени нигде официально не публиковалась), явно свидетельствует о специфической психологической игре невротического характера с собственным внутренним цензором. Недаром в обеих этих субкультурах столь популярен Ролан Барт, в концентрированном виде являющий в своих текстах все вышеназванные противоречия. Барт – человек, чуть ли не впервые в истории Нового времени открывший репрессивные функции языка и провозгласивший программу освобождения от них, сам для изложения своих «освободительных» идей пользовался письмом, которое можно счесть свободным от репрессивной социальности разве что при том специфическом взгляде на этот предмет, который присущ героям «Вальпургиевой ночи» покойного уже Венедикта Ерофеева или не менее известным героям «Шатунов» Юрия Мамлеева.

Все это вместе наводит на размышления и о потребности в появлении какой-то новой «команды» критиков, относящихся уже к тому поколению, для которого проблемы формирования

и реализации постмодернистского типа мышления в нашей литературе не являются какой-то сверхновостью и которое было бы способно взглянуть на литературу конца 60-х – 80-х годов с позиции нынешних 90-х, оценить ее рефлексивно, как некую ретроспекцию. На сегодняшний же день в нашей культурной традиции существуют лишь две точки зрения на эту проблему: одна как бы **и з н у т р и** нее – это точка зрения самих адептов «новой литературы», ее авторов, и с другой стороны – точка зрения традиционно мыслящего критика и читателя, глядящих на нее как бы **с з а д** и мысленно идентифицирующих ее с классическим каноном, разработанным предыдущей традицией. Хотелось бы надеяться на появление какой-то новой точки зрения, какой-то новой позиции, которая бы опережала эту литературу, разглядывая ее как нечто в значительной степени завершенное или завершающееся, как уже вполне на сегодняшний день отработанные культурные концепции и идеи. Одновременно эта новая точка зрения, эта новая позиция в нашей культуре могла бы дать возможность нового же видения, способности разглядеть какие-то неизвестные нам еще перспективы и дали, взять на себя смелость серьезных культурных прогнозов. Но все это прогнозирование станет возможным лишь после тщательного и трезвого, незаинтересованного, вполне отрефлектированного благодаря появлению определенной дистанции анализа состояния нынешнего и анализа нашей ближайшей по времени литературной истории.

«Мне уже достаточно давно кажется, что авангард – не окончательное решение вопроса. Обнажение приема – это не финал и не смысл литературы, а лишь один из вариантов существования в ней. Он не удовлетворяет отсутствием суггестии в этом разоблачении. Поэтому мой текст движется к обнажению приема, и одновременно при этом полном обнажении приема в текст включается элемент суггестивности, элемент читательского сопереживания, читательские эмоции. Все это в эстетическом отношении связано с доавангардной традицией. Здесь, в первую очередь, речь идет о самой природе искусства, которое в основе своей суггестивно. И поэтому, если обнажить прием и на этом остановиться, можно "пролететь" не только мимо читательского интереса, но и мимо самой природы искусства. Собственно, мне читательский интерес к моему тексту менее важен, чем понимание тех рамок самого представления об искусстве, нарушая

которые, явно гораздо больше теряешь, чем приобретаешь». Эти слова Виктора Ерофеева, сказанные им в одном из его интервью, – один из примеров попыток «выйти» из теперешнего состояния литературы одним из наиболее ярких ее персонажей. Другой вопрос – насколько это реально ему удастся или удастся. Впрочем, это один из редких авторов, обладающий действительно хорошей писательской интуицией и гибкостью. И не только писательской, но и интуицией литературоведа и критика, что лишний раз подтверждает и только что вышедший в издательстве «Советский писатель» первый самостоятельный сборник его эссе «В лабиринте проклятых вопросов», посвященный проблемам русской и французской литератур («Вот выпущу сборник и завяжу», – сказал мне Виктор, имея в виду, надо надеяться, не литературу). Однако интуитивно чувствовать эту «недостаточность» и «отработанность» авангарда – мало, нужно еще и суметь из него по-настоящему выйти. Именно поэтому хотелось бы попытаться заглянуть вперед, попытаться увидеть и очертить, зафиксировать ту перспективу, ту культурную реакцию на этот авангард, очертить хотя бы основные ее контуры и формы.

И в этом отношении мне кажутся небезынтересными совершенно иного рода попытки и иного рода опыт еще одного русского писателя – Эдуарда Лимонова, прошедшего в свое время школу московского концептуализма и относящегося к ней сейчас уже как к чему-то отыгранному и в творческом отношении для себя лично неинтересному. Я говорю здесь даже не столько о тех результатах, к которым он в конечном итоге пришел, но о самой направленности его поисков и о его отношении к существующей русскоязычной литературной ситуации. Его точка зрения показалась мне достаточно интересной и уж во всяком случае необычной на общем фоне наших писателей.

На мою просьбу дать мне свои стихи для нового сборника советской и эмигрантской литературы, который я надеюсь в ближайшее время собрать и издать в московском издательстве «ИМА-Пресс», он ответил: «Зачем же я буду давать вам свои стихи? Это все равно, что дать свою фотографию пятнадцатилетней давности» (и здесь он, возможно, оказался куда более последовательным, чем его товарищи по концептуальному прошлому). Я прекрасно знаю, что и в Москве, и в эмиграции ходят слухи о том, что, дескать, Лимонов в последнее время пишет романы на адаптированном русском языке, «под перевод», романы, якобы

вполне незамысловатые, рассчитанные на тинейджеров, гоняющих сломя голову на мотоциклах по Парижу. Не думаю, чтобы он, будучи человеком тонким и одаренным, вполне трезво осознающим свою причастность к «большой» литературе, очевидно ценящий себя как автора, мог руководствоваться в своем творчестве и в своем культурном поведении в литературе лишь соображениями конъюнктурного или прагматического, попросту – материального характера. Во всяком случае, я задала ему этот вполне откровенный, хотя, возможно, и не вполне тактичный вопрос (вопрос был задан, но, конечно, предполагалось, что искренность ответа на него совершенно не обязательна). Лимонов ответил, отчасти ускользнув от прямого ответа (на что, разумеется, имел полное право). Но все же его слова представляются мне достаточно интересными. «Очень может быть, – сказал он, – что советский читатель, особенно – читатель элитарный, очень плохо представляет себе, что именно он хочет от прозы. Я думаю, что у него до сих пор ассоциируется с прозой некий такой в е р л и б р , что он хочет чего-то очень заумного, в стиле Саши Соколова, например. Вот это для него – п р о з а . Потому что на самом-то деле вкусы его остановились именно на орнаментальной прозе. Именно потому, что его всегда нервировал и выводил из себя простой язык социалистического реализма, сформировался вот такой абсолютно испорченный вкус советского читателя, особенно – читателя интеллигентного. И у писателя – все то же самое. Когда советский писатель садится писать, он прежде всего думает: дай-ка я напишу нечто э т а к о е . Имеется в виду – не в стиле социалистического реализма... И как раз вот эту длинную, с бесконечными ответвлениями манеру растекаться по древу, присущую тому же Саше Соколову или той же Татьяне Толстой и многим еще, я нахожу очень н у д н о й и совершенно нечитабельной. Мои тексты – очень чистые и четкие. Там редко метафоры, они сделаны абсолютно экономно. Ни один мой рассказ не превышал двадцати пяти страниц. Ни один мой роман не превышал трехсот страниц. Есть и меньше... В основном – меньше. Вот и все. У нас с советским читателем разные вкусы, и мы живем с ним в разное время... Понимаете, я как-то прочел, кажется, Вунквиста, шведского путешественника, о его путешествии по Южной Америке. В Боготе, столице Колумбии,

он знакомился с местной интеллигенцией. Оказалось, что они все там пишут венки сонетов. Так вот это – та же российская захлывая ситуация...»

Полагаю, что если и не все в этом – истина, то хотя бы доля ее здесь присутствует. Существенна во всяком случае уже новизна этой точки зрения, заставляющая отвлечься от привычной нашей втянутости, погруженности в ситуацию, и взглянуть на нее со стороны как на, в общем-то, надоевшую своей затянутостью действия, ничем существенным не оправданную драму (да и драму ли? боюсь, что при ближайшем рассмотрении жанр здесь окажется куда более легкомысленным). Надоели и локальная «зацикленность» на внутренних, в общем-то уже давно определившихся проблемах, и одни и те же персонажи, размноженные толпами плагиаторов.

Лимонову эту позицию человека, глядящего со стороны, эту дистанцированность обеспечила многолетняя эмиграция и сознательная ориентация не на собственно русскую ситуацию, но на ситуацию западную, стороннюю, в которую он пытается сейчас как-то встроиться. Не знаю, чем закончится лично для него этот эксперимент, но думаю, что такой опыт русского писателя, такая прививка для русской литературы могли бы быть полезной, поскольку эта литература традиционно была слишком «зациклена» на себе самой, на специфике русского сознания и русской историко-культурной ситуации. Кстати, в определенном смысле примерно те же проблемы сейчас гораздо успешнее решаются в русском изобразительном искусстве, литература же в силу специфики своей природы, своего языка и традиционно понимаемой своей социальной и культурной функции в нашем обществе – гораздо консервативнее. Трудно с уверенностью сейчас сказать, произойдет ли когда-нибудь реальное освобождение русского сознания от этих архетипов; процесс этот уже очевидно начался, но развивается он столь медленно и болезненно, и «тормоза» пока что так безотказны, что у нетерпеливого наблюдателя готовы опуститься руки. Лимонов, в частности, обронил такую фразу: «А я совершенно и не стремлюсь принадлежать к русской литературе! Я просто н о р м а л ь н ы й писатель, нормальный не в смысле таланта, но в смысле эстетической ориентации.. И я думаю, что я не один такой русский писатель, я просто, может быть, самый заметный. Я думаю, что таких писателей будет больше».

Вот на этой несколько неопределенной ноте лимоновского пожелания я, пожалуй, и закончу (а в чем заключалось это лимоновское пожелание? сделать нормой обращение русского писателя лицом к западной традиции и отвращение, таким образом, от собственной печки? или увидеть русское сознание более открытым, феноменологичным?). «А вот и до конца, Господи, дотащился», – именно так заканчивалось стихотворение Пригова о той самой усталости, с которой я начала. Не могу сказать, что к последней строчке это чувство усталости и скуки меня оставило, но к нему очевидно присоединилось ощущение некоторого удовлетворения от того, что удалось-таки на нее пожаловаться.

Ни в коем случае мне не хотелось бы, чтобы эти мои жалобы были восприняты как инвективы в адрес каких-то конкретных авторов. Каждый из всех упоминавшихся здесь мною писателей сам по себе яркий и интересный писатель. Многих из них я хорошо знаю, чрезвычайно ценю и уж, конечно, являюсь не переменным их читателем. Но чем глубже и серьезнее задумываешься над судьбой этого литературного поколения, над выбранным им способом существования в культуре, тем сильнее сталкиваешься с более сложными проблемами. Проблемами, которые до сих пор даже не были сколько-нибудь четко сформулированы. Я говорила здесь лишь о самых основных из них, о тех, которые, на мой взгляд, со всей очевидностью вытекают из этого моего достаточно поверхностного, не претендующего на какую-то полноту и завершенность, анализа. Мне хотелось пока только открыть тему, начать тот разговор, который в будущем должен будет иметь более обстоятельное продолжение. Но кто его поддержит и кто продолжит?

БЕЛЯЕВА Светлана Юрьевна – родилась в 1961 году. Окончила факультет классической филологии ЛГУ. Публиковалась в «Русской мысли», а также в советских академических изданиях. Живет в Москве.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО КНИГА

(К 85-летию со дня рождения М. Шолохова)

Вновь петух на Руси Великой
Спозаранок мятеж трубит.
Песней пращура, словно пикой,
Туз червонный во мне пробит.

Слышу, слышу я посвист пьяный,
Вижу я бунчуки сквозь чад.
С Дона рвутся полки Степана,
Их копыта во мне стучат.

Этим восьмистишием я начинаю свой новый роман «И Аз воздам», посвященный Гражданской войне на фоне истории русского казачества от его зарождения до наших дней. В связи с работой над ним мне приходится знакомиться с огромным количеством литературы на эту тему – мемуарной, исторической, художественной. Согласитесь, пройти при этом мимо «Тихого Дона» было бы с моей стороны противоестественным, тем более что я задумал книгу по отношению к нему в известной мере полемическую; на мой взгляд, казаки, и в этом за меня свидетельствует сама их история, оказались в конце концов не только жертвами общенародной трагедии нашего времени, но до определенной степени и ее виновниками.

Заново перечитав роман, я опять, как и в первый раз, восхитился грандиозностью замысла, мощью письма и взыскующей человечностью этой книги, которым вроде бы никак не соответствует вся последующая жизнь писателя и его творчество. Вспомните: резкое снижение уровня в «Поднятой целине», банальная серость «Судьбы человека», ученическое чистописание «Они сражались за Родину», а наряду с этим – погромные юродства с высоких трибун, демонстративный конформизм в общественной деятельности, скудость мысли и мелочность поступков.

Привычная леность сознания тут же услужливо подсказывает самое удобное, внутренне комфортное объяснение столь

удручающей «эволюции»: в данном случае шолоховское имя лишь прикрывает чужое авторство. Тому способствует и ряд сопутствующих обстоятельств: почти непростительная для такой книги молодость писавшего (23 года!), его не соответствующее заложенной в романе специальной информации качество образования и, наконец, якобы очевидная разница в уровне мастерства по сравнению с созданными ранее «Донскими рассказами».

Но большинство серьезных исследователей, занимавшихся этой проблемой как на Востоке, так и на Западе, включая компьютерный анализ, сделанный в последние годы в Швеции, пришли к однозначному выводу, что при всех вариациях – возможного использования сторонних документов, чужих записей и дневников – авторство «Тихого Дона» все же в конечном счете принадлежит Михаилу Шолохову.

Не выдержала испытания временем и гипотеза принадлежности этого авторства донскому журналисту Крюкову. Да и не надо быть большим эстетом, чтобы при сличении текстов убедиться, что крюковские опусы не поднимаются над газетным потоком того времени.

Василий Аксенов как-то рассказывал мне, что Валентин Катаев, включенный когда-то в официальную комиссию по изучению проблемы авторства «Тихого Дона», в ответ на многочисленные вопросы по этому поводу однажды воскликнул в сердцах: «Ну, первую книгу не писал, ну, вторую не писал, но третью-то все-таки он написал! Вам этого мало?»

Действительно (и в этом я абсолютно убежден), не только одной лишь третьей части такого романа, но даже нескольких глав из нее любому писателю было бы вполне достаточно, чтобы навсегда остаться в истории литературы.

Так что же все-таки случилось с Шолоховым на переломе тридцатых годов, с чего начался у него излет вдохновения и таланта?

Мне кажется (может быть, я и ошибаюсь!), разгадка этого печального феномена заложена все в той же, поносимой ныне чуть ли не всеми «Поднятой целине». Уверен, что если современный читатель непредубежденными глазами перечтет эту книгу, то сможет убедиться, что не так уж она беспомощна, как пытались его убедить на протяжении последних десятилетий иные профессиональные знатоки отечественной словесности. Разумеется, она не идет ни в какое сравнение с «Тихим Доном», даже с

его не лучшими страницами, но дай-то, как говорится, Бог большинству нынешних знатоков советской деревни такого знания предмета и такого уровня письма!

Как будто бы апологетизируя коллективизацию, автор, тем не менее, рассказывает о ней такую беспощадную правду, до какой (я на этом настаиваю!) еще не поднялся ни один ее современный летописец. И кто знает, может статься, не в социальных максимах Давыдова и Нагульнова, а в размышлениях Половцева по-настоящему выражена авторская позиция тех лет?

Если же сопоставить роман с посвященным этой же проблеме письмом Шолохова, переданным его хорошей знакомой Сталину, то предположение это получает еще большую достоверность. Согласитесь, в те времена нужно было слишком близко принимать к сердцу происходящее вокруг и обладать немалым мужеством (и за меньшее головы не сносили!), чтобы написать такое письмо!

Тем более, что многие представители нашей культурной элиты, с не меньшими в ту пору именами, впоследствии сами погибшие под сталинским топором и оплаканные всеми, пели тогда панегирические гимны колхозным подвигам великого зодчего коммунизма.

Есть все основания считать, что шолоховское письмо послужило отправной точкой для появления на свет статьи Сталина «Головокружение от успехов», спасшей, при всей своей демагогичности, еще сотни и сотни тысяч крестьян от неминуемой гибели. За одно это современники и потомки должны быть по гроб благодарны писателю.

Это и оказалось его последним духовным подвигом. Не выдержав неподъемного для него груза происходящей вокруг трагедии, он внутренне капитулировал перед ней. Жизнь кончилась, началось выживание. Отсюда хмельное забытие, конформистский стриптиз, оскопление собственных текстов: необходимо было поддерживать социальный статус, а только полная переделка двадцати пяти процентов словесной ткани давала право на повторение стопроцентного гонорара при переиздании. Художник умер, в живых остался член КПСС Михаил Шолохов.

В наши дни, когда насущная необходимость коренных общественных реформ зачастую подменяется зудом лукавого реформаторства, когда иные из новоявленных политических мес-сий уже готовы вновь запустить карательный механизм ради пре-

красного и теперь уже, разумеется, демократического будущего, когда шелуха не обеспеченных практическим делом слов грозит увлечь общество к новой социальной и духовной пропасти, жизнь писателя и человека Михаила Шолохова могла бы послужить для всех нас вещим, предостерегающим уроком.

Вновь петух на Руси Великой...

НАША ПОЧТА

ИДЕИ ПАНИНА НУЖНЫ СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ

Димитрий Михайлович Панин родился в 1911 году в Москве, в семье адвоката. В 1940 году 29-летний инженер перед защитой диссертации был арестован по доносу человека, с которым делился мыслями в коридоре своей коммунальной квартиры. Последовало 16 лет тюрем, лагерей, ссылки: Лубянка, Лефортово, Вятлаг, Воркутлаг, спецтюрьма («шарашка») в Останкино, лагерь смерти в Спасске, каторжный лагерь в Экибастузе. В Вятлаге, на сороковой день неизлечимой в тех условиях болезни – пеллагрического поноса – случилось чудо: Бог услышал его молитву и спас от смерти. Дальнейшую жизнь Димитрий Панин посвятил исполнению обета, данного Богу: «постоять за выполнение Его святой воли» и тем самым помочь простым труженикам. В 1972 году он решил уехать на Запад, чтобы иметь возможность завершить свои работы, задуманные еще в заключении, и до своей внезапной смерти в 1987 году отдал им все силы.

В первый раз работа «Как провести революцию в умах», написанная еще в СССР, появилась в 1973 году на русском, а затем по-французски. Более чем за 15 лет до «перестройки» Панин считал, что «уязвимость системы в страшном грузе совершенных преступлений, ошибочных концепциях, ложных целях, бесконечных средствах угнетения населения, непрерывной эксплуатации трудящихся, неслыханном закрепощении крестьянства, отсталости экономики, не обеспечивающей основных нужд населения, разрывом между крайне низким уровнем жизни населения и богатством класса партийных бюрократов... Гражданские свободы и демократия в области политической жизни и частная собственность в области экономики – смерть режима. Лидерам системы – Ленину, Троцкому, Сталину – это стало ясным с первых дней захвата власти в стране. Поэтому была введена диктатура и заработала машина террора».

«Большинство населения, – писал он, – всем существом, а не только умом, поняло лицемерие системы и то, что руководители Кремля зашли в тупик. Низкий уровень труда порожден самим режимом как реакция тружеников на огромные нормы выработки, низкие заработки и плохие условия на производстве. В результате – паралич сельского хозяйства. Качество машин и товаров катастрофически низкое, СССР продает только сырье и оружие, технология катастрофически отстала от Запада. Новое поколение растет в вечных недостатках, в атмосфере несвободы и полной бесперспективности и, несмотря на постоянное накачивание марксизмом, находится в явной оппозиции к режиму». И далее: «Население в целом невосприимчиво больше к внутренней пропаганде, как мокрая губка к новой порции воды. И

наоборот, подобно сухой губке, оно жадно впитывает получаемую извне информацию о Советском Союзе. За немногим дело стало, чтобы воспринять идеи, помогающие освобождению от тирании» и созданию нового правительства, сформированного из подлинных представителей народа. Это было сказано Паниным задолго до гласности, когда голосовали насильно за одного кандидата в списке.

Предложенный план революции современного типа – революции в умах – против диктатуры номенклатуры опирался на микробратства, т.е. на естественно образовавшиеся и проверенные годами группки людей, полностью доверяющих друг другу. В микробратствах обсуждались все проблемы в атмосфере полной свободы. Достаточно большое число людей имело уже в своем распоряжении транзисторы, позволяющие ловить передачи западных радиостанций. Поэтому огромную роль должна была сыграть правдивая информация миллионов микробратств с помощью радиостанции сил освобождения, как называл ее Панин, находящейся за пределами страны. Цель радиостанции – разоблачить преступления режима, показать пустоту марксизма и безбожия, предложить новую философскую систему, развивающую в людях великодушие и исключаящую мстительность и сведение счетов. Ибо большинство угнетателей не виновато в своих заблуждениях из-за полученного воспитания. Постепенно произойдет объединение микробратств с помощью мостиков, перебрасываемых от одного микробратства к другому, и возможно будет перейти к стадии забастовок. Центральным местом революции в умах Панин считал всеобщую забастовку. Польские события 1980 года подтвердили правильность его анализа. «Дашь право на забастовки!» – так озаглавлено письмо Панина другу в Москву, напечатанное по-французски и по-русски в 1981 году в журнале «Выбор», издававшемся в Париже Ассоциацией «Друзья Панина». «Право на забастовки, вот чего надо добиваться в первую очередь», – писал он в этом письме – предвестнике забастовок 1989 году в Кузбассе и Воркуте, вынудивших режим уступить требованиям бастующих. И в другом письме в Москву «Дорогому другу и брату» он объяснял: «Революция в умах стремится объединить людей умственного труда и тружеников заводов, транспорта, сельского хозяйства для осуществления всеобщей забастовки, которая нанесет смертельный удар режиму». Поэтому в статье «О стратегии борьбы с режимом», напечатанной в газете «Русская мысль» в 1978 году, а затем в сборнике статей Панина «Горе – не беда», он считал, что демократическое движение диссидентов должно стать забастовочным движением.

Национальная проблема занимает особое место в плане революции в умах. «Мы, русские, в первую очередь несем огромную ответственность за катастрофу 1917 года. Наш долг вернуть свободу и тем, кто из-за нас попал в ту же западню...» Заметим, кстати, что события 1917 года в России Панин не считал революцией, ибо эволюционное развитие народа было прервано искусственно (статья «Что следует называть революцией» в книге «Мир-ма-

ятник», 1977). «Но, – пишет Панин, – не следует помогать режиму делать ставку на ненависть к русским, виновникам всех бед, и на разжигание национальной розни между другими народами». «Взаимная вражда народов и их разделение – подарок режиму в СССР». Панин считал, что власть партийных бюрократов должна быть заменена правительством из межнациональных сил, которые смогут пресечь анархию и мстительные чувства... Волеизъявление народов, проведенное в честной обстановке, будет окончательным и законным решением». На сталинской каторге Панин видел, как маленькие народности в условиях господствовавшего русского языка естественно стремились объединиться в землячества и жили мирно, пока чекисты искусственно не натравливали их друг на друга. Там, в Казахстане, чеченцы и ингуши воспитывали своих детей в уважении к своему народу и его обычаям, для чего не пускали их в безбожную школу. Главной их силой была верность религии, и они отстаивали свой народ. Неудивительно, что недавно ингуши, поддерживаемые своими соседями, потребовали установления устраненной в 1934 году их автономии в знак уважения их национального достоинства. В «Мире-маятнике» Панин ратует за установление самостоятельной государственности отдельных народов, если это отвечает их воле и экономически целесообразно. «В пределах каждого государства, – пишет он еще в 70-е годы, – национальным меньшинствам должны быть широко предоставлены автономия и права вольных городов». Но только сейчас, в 1990-м, Литва смогла твердо высказать свою волю, явив собой пример независимости для других республик.

«Род людской, – пишет Панин в своей последней рукописи «Держава созидателей», – использовал множество признаков для своего взаимного разделения: цвет кожи, вероисповедание, сословие, классы. Однако показательно, что отсутствует самое древнее деление людей на мирных, а нередко и праведных тружеников – авелей, и завистников, способных на убийство, – каинов». Исходя из этой бессмертной схемы, считал он, людей следует делить на созидателей и разрушителей, между которыми промежуточный слой неустойчивых. Созидателю требуются постоянные усилия для должного поведения, ибо в нем есть зерно разрушительного начала. И напротив, поскольку у человека свободная воля, то раскаянием, возвратом к Богу он может спасти свою заблудшую душу – каин может стать человеком доброй воли. Все, кто добровольно или по личной инициативе исполняет наиболее трудные, ответственные требования этических законов и ведет борьбу с разрушителями, все они принадлежат к созидательным жизненным силам, к людям доброй воли. Это могут быть как верующие в Бога, так и агностики или атеисты в силу своего воспитания.

Жизнью человека управляют не только законы природы, но также этические законы, исполнение которых зависит от его свободной воли. Эти законы представляют собой законы созидания общества и требуют от созидателя неустанный самосозидания души и сознания, помощи неустойчивым

для достижения ими того же уровня и решительного пресечения вредной для общества деятельности разрушителей. «Ведь Спаситель предупреждал христиан, – говорит Панин, – что носители злого начала способны не только нарушить, но и взорвать христианский мир и подвести человечество под власть богоборческой сатанинской власти».

Вопрос свободы освещен в философии Панина – теории густот. Свобода может быть высокой или низкой. Свободным следует считать действие человека, произведенное по его желанию и выбору, т.е. по решению сознания и воли. Действие, произведенное по выбору, но наперекор желанию, – полусвободно. Проявление высокой свободы имеет место, когда желание, сознание, воля слиты воедино и направлены на реализацию подвигов, требующих больших жертв. Поэтому путь к высокой свободе через длительное и упорное преодоление полусвободы требует преодоления большого сопротивления и самосовершенствования. Так же, как свободная воля человека может привести его к высокой или низкой свободе, власть государства может привести народ к духовному расцвету или к звериным нравам. Люди со злой направленностью породили идею террора и в течение веков стали вести борьбу с Церковью, духовным благородством, высоким образом мыслей. В результате, считал Панин, здание демократии осталось недостроенным. В современных демократиях все больше открыта дорога нарушениям в виде разнузданности нравов. Поэтому в обществе неизбежна власть, пресекающая преступные желания и поощряющая полезные действия. Каждое государство должно создать единство: власть – народ.

В предлагаемой Паниным философской системе доказано на основании достигнутого уровня наук, что вселенная с ее мирами, как физическим, так и трансфизическим, носителями жизни и человеком могла быть создана только творческим путем. В физическом мире отсутствует густота, способная обеспечить его саморазвитие. Во вселенной такая густота – Творец, создавший по Своему замыслу исходное сгущение, определившее миры и их дальнейшее развитие. Густота – первооснова всех вещей и явлений вселенной. Все предметы вселенной представляют собой густоты, потому и названа эта философия теорией густот. Универсальный характер густоты позволяет нарисовать убедительную картину вселенной. Понятие густоты неразрывно связано с предлагаемым объяснением пространства и времени. Пространство и время физического мира образованы из его частицы и густот, которыми управляет закон движения вещей, открытый Паниным в 1950 году: любое явление происходит вследствие разности густот. В каждую вещь, в каждое единство физического мира время и пространство входят как обязательные составные части. Там, где нет пространства, нет времени. Душа принадлежит трансфизическому миру и соответственно состоит из частиц трансфизического мира. Для создания жизни требовалась творческая густота огромного уровня. Произвольное развитие от менее совершенного к более совершенному опровергается вторым началом термодинамики и

законом движения вещей. Для устранения разрушительного энтропийного воздействия внешней и внутренней физико-химической среды на клетку требовался координирующий центр, способный обеспечить деятельность тончайших механизмов саморегулирования, репликации, усвоения, выделения. Для свершения эволюции живых существ посредством творческих мутаций требовалась Густота, обладающая разумом, волей, знаниями. Единство грандиозного Разума, Воли, Творческих возможностей и колоссального сопротивления, которое им надо было преодолеть, смогло образовать физический мир. Надо было, чтобы в него перешло огромное количество энергии, при обеспечении ее управления, из энергетического запаса вселенной для колоссального скачка от хаоса (начальной фазы Биг-Банга) к упорядочению. В физическом мире центр такого уравнивающего действия отсутствовал. Для превращения беспорядочных движений в упорядоченные, подчиняющиеся единому закону всемирного тяготения, требовалось вмешательство кого-то, подчинившего вселенную Своим законам. Развитие всех циклов мироздания протекает благодаря управлению творческой Густотой энергетическими ресурсами вселенной. В особых условиях земля оказалась способной стать колыбелью жизни. Физический мир следует рассматривать как лабораторию Творца. Пространства физического мира, которые находятся от Него на расстоянии сотен световых лет, в пустоте лежат непосредственно перед Ним. Физический мир был создан последним и дальше других миров от божественного совершенства и гармонии. По предлагаемой гипотезе, вселенная представляет собой систему, образовавшуюся в результате сгущения и разрежения частиц, возникших при сгущении пустоты. Научные открытия, считал Димитрий Панин, возможно рассматривать как узловые точки нашего познания, промежутки между ними говорят об огромных невиданных областях вселенной. Загадочность и сложность вселенной вынуждают мыслителей строить умозрительные системы, опережающие научные открытия.

«Постулаты марксизма и законы природы» (лекции, прочитанные в 1977 году в Королевском университете г. Кингстона в Канаде) включены в «Дополнение» к философии. Марксистскому пониманию материи, пространства и времени, сознания, происхождения жизни Панин противопоставляет универсальные законы природы – единственный критерий истины. В этом преимущество Панина перед другими мыслителями, ибо только на гранитном основании этих законов любое отвлеченное положение становится осязаемым, доказуемым, жизненным.

Особое место занимает в «Дополнении» новая политэкономия – «Политэкономия на энергетической основе». Господствующие, к сожалению, марксистские понятия прибавочной стоимости и эксплуатации рабочих отвечают лишь с большим приближением эпохе раннего капитализма XIX века и совершенно неприемлемы для современных экономически развитых стран. Неприложимы они и к сельскому хозяйству. Маркс не понял физиче-

ской стороны производственных процессов и полностью игнорировал роль творческих идей и открытий в производстве изделий. Для современного производства, широко использующего машины-орудия, работающие от природных источников энергии, положения Маркса неприменимы. Панин исходит из универсального закона сохранения энергии. С точки зрения затрат энергии он определяет ручную, автоматизированную, умственную работу. В новой политэкономии дано определение прибавочного труда, установлен источник оплаты экзистенциальных (бытовых) расходов работников, рассмотрены формы индустриальной и экзистенциальной эксплуатации человека человеком и обществом в странах свободного мира и в странах с тоталитарным режимом.

В 1974 году вышел по-французски «Осциллирующий мир», который по-русски был издан только в 1977 году под названием «Мир-маятник». «Развитие мира, – писал Панин, – можно уподобить размаху маятника, т.е. переходу из одного крайнего положения в другое... Успехи науки и техники, мировые войны, возросшие международные связи, вмешательство сверхдержав в жизнь других стран, наличие оружия массового уничтожения и многие другие причины вынуждают народы развиваться совместно... Но политическое и экономическое положение в странах различно. Мир охвачен жадной преуспеяния в ущерб духовным запросам. В богатых странах свободного мира уже появились признаки разложения, другие его формы существуют в странах с коммунистическим режимом». Панин считает, что в конечной точке размаха маятника (в критической точке) люди доброй воли всех стран земного шара, вооруженные сильными, научно обоснованными идеями усовершенствования общества, могут совершить решающий перелом и преодолеть надвигающийся распад. Новый размах маятника (новая осцилляция) переведет человечество на более высокую ступень духовного развития. Ни один народ в наше время не в состоянии развиваться в одиночку, ибо в состоянии его упадка только из его недр не может появиться нужное число людей доброй воли, которые не дадут остановиться миру-маятнику, несмотря на огромное сопротивление разных сил. Основы свободного мира, говорит Панин, следует совершенствовать, но не подвергать коренной ломке, тоталитарные режимы надо заменить правительствами из подлинных представителей народа, странам Третьего мира надо не просто помогать, но создать условия для их полноправного развития соответственно национальным традициям.

Христос явил пример борьбы со злом с помощью сил добра. Он показал, что великие цели достигаются применением наиболее совершенных средств. И для победы над системой насилия следует применить более совершенные средства, чем средства врага. Частная собственность – неотъемлемое право каждого человека; она обеспечивает ему свободу и независимость. Отсюда и основные принципы людей доброй воли: благородство души, право на борьбу, частная собственность незыблема, сила против насилия, цель определяет средства. В одной из своих основополагающих работ, «Созидатели и разрушители», Панин считал:

«Россия могла стать центром мирового порядка и благородного традиционного начала благодаря своему местоположению, огромным размерам, природным богатствам, даровитому выносливому народу... Крайне ответственная миссия России в мире могла быть осуществлена при сильной самодержавной власти, опирающейся на широкие слои населения. Такая власть могла иметь место в России, ибо ей исторически были присущи принципы народности, соборности и выборности местных властей. В мечте Достоевского о Москве – Третьем Риме была глубинная правда, но из-за ошибок и недомыслия правящего класса России обернулась эта мечта своей дьявольской противоположностью в виде третьего интернационала».

«Становление новой России, – пишет Панин в «Державе создателей», – требует разрешения тысяч задач, простых и сложных... В ходе налаживания жизни в стране будет идти постепенное становление общества создателей». Ибо Панин считает, что «миллионы искалеченных режимом людей нельзя просто спихнуть в систему либерального хозяйства, где маломощные предприниматели оказываются беззащитными и зачастую обречены на исчезновение. Падших, сбитых с толку, опустошенных, облившихся, возненавидевших труд и не имеющих понятия о добросовестном отношении к делу людей общество должно прежде возродить». В обществе независимых, предлагаемом Паниным, два сектора: энергии и жизни. Для очищения общества от сил зла необходим этический контроль (служба защиты). Лишь под воздействием благородного начала возможно исправление и усовершенствование мира. И поэтому в секторе жизни служба этического контроля, доверенная рыцарям духа из когорты людей доброй воли, защищает независимость и экономическую самостоятельность жизнеспособных предприятий. В этом секторе постепенно будет восстанавливаться разрушенная деревня в русле хуторских, фермерских хозяйств. Только трудолюбивые усилия крестьян-собственников, спокойных за свое будущее, при деятельной помощи государства и Палаты регулирования смогут вернуть плодородие почве, истерзанной за 70 лет владычества режима. Все мелкие предприятия войдут в сектор жизни, и возможно будет восстановить ценные ремесла и кустарные промыслы. Тяжелая, машиностроительная, обрабатывающая, военная промышленности и многие научно-исследовательские институты войдут в сектор энергии. В секторе энергии – конкуренция крупных партнеров, в секторе жизни – мелких предпринимателей. «Экономическая основа общества создателей в разделении на секторы, – считает Панин, – в рынке-конкуренции под надзором Палаты регулирования и этического контроля». Тогда «плановость быстро превратится в кошмарное воспоминание лихолетья».

Очень нужна сегодняшней России программа первоочередных экономических преобразований, предлагаемая Паниным: все жилые дома становятся собственностью жильцов, все запасы продовольствия (включая резервные) распределяются по твердым ценам среди населения, все государственные предприятия превращаются в акционерные компании с равным распределением акций между их постоянными служащими или рабочими, разрешена любая частная инициатива, бывшим колхозникам и батракам сов-

хозов раздаются земли и обобществленный скот, военная промышленность максимально переводится на гражданские нужды, широко привлекаются иностранные предприниматели для образования отделений и фирм. Ставка революции в умах, пишет Панин, – на людей, которым поручены ответственные участки не за партийный билет в кармане, а за умение и способности. К счастью, еще немало таких людей, без которых котлы взрываются; станки и машины выходят из строя, поезда сходят с рельсов. Из них будет создано ядро сил освобождения. Партийный билет – не цвет кожи, который не переменишь, и из 17 миллионов членов КПСС несколько миллионов в душе принадлежат силам освобождения. И Панин заключает: «У нас крепкая уверенность в нашем светлом будущем. Поручкой тому творческие силы могучего народа, разорвавшего свои оковы». «Борьба за Общество независимых в русле исполнения этических законов будет выковывать людей доброй воли». «...образование новой России должно быть на прочных основаниях... они должны отвечать... главным заветам Спасителя». «Единственный путь спасения человечества и его расцвета в исполнении воли Бога (высших этических законов)».

«Он жил на Западе, – писал на его смерть писатель Владимир Максимов, – не меняя выстраданных им еще на родине правил и принципов: прямой, бескомпромиссный, целеустремленный». Поэтому его лагерные записки, вышедшие на Западе на русском, французском и английском языках под названием «Записки Сологодина», занимают особое место в лагерной литературе. Это книга о победе силы духа, о победе добра над злом, где автор не просто описывает факты, но делится размышлениями с читателем, призывая его быть судьей.

«В нем было нечто от средневекового рыцаря, смолоду посвятившего себя служению Богу и Прекрасной Даме – для Панина ею была Россия – и никогда не нарушившего своих обетов», – констатировал в некрологе о нем журнал «Континент». И как можно скорее актуальные идеи философа, мыслителя, писателя, тираноборца Димитрия Панина, положившего жизнь за освобождение России, должны стать достоянием читателя его отчизны.

Исса Панина

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!
Здравствуйте!

Прошу простить, если ошибся, неправильно произнеся Ваше отчество. К сожалению, качество телевизионного приемника оставляет желать лучшего. Увы, это пока еще проблема.

Впрочем, это не помешало мне с огромным интересом смотреть передачу нового цикла «Культура русского зарубежья». К сожалению, эта тема была многие годы закрыта. А если быть точней, то ее просто как бы не существовало.

К счастью, времена изменились. Здравый смысл и разум победили. И «таинственная» дверь, ведущая за рубеж, где живут и творят многие наши соотечественники, чуть-чуть приоткрылась. Разумеется, нельзя не порадоваться и такому факту, что после стольких лет замалчивания стали печатать (наконец-то!) произведения Солженицына, Бердяева, других.

Смотря передачу, меня не покидало чувство, что я знаю Вас очень давно. Понимаю, что звучит неловко, может, даже бестактно, поэтому прошу простить. Я думал, отчего возникло это чувство. И потом понял: Вы – внутренне совершенно свободный человек. Именно – свободный...

Так что же такое – Внутренняя Свобода Человека, Свобода его Духа?

Мне сейчас ответить на этот вопрос одновременно и легко и трудно. Легко – потому что ветры перемен провентилировали мозги, трудно, потому что вся сознательная жизнь пришлось на период тоталитаризма и автократии. Вы, наверно, спросите: что значит сознательная? Постараюсь ответить. Наверно, она начинается с момента, когда ребенок впервые вступает в отношения с государством. Когда он начинает (пусть еще невольно) осознавать себя в государстве и государство в себе. Возможно, это происходит в детском саду, либо в начальных классах школы. А может быть, это происходит еще раньше, в чреве матери, когда с ее молоком, живительными соками он начинает впитывать и страх... А страх порождает неуверенность. Та в свою очередь – замкнутость, слепое повиновение и несвободу.

Тогда, если подчиниться этой цепочке, можно и своеобразно жить. Тебе приказали, прикрикнули (в детстве), подучили, подрастказали (в юности), припугнули, наконец, – глядишь, уже и думать не хочется. За тебя продумано. И ушла эта свобода, улетела. Нет ес! И не нужно! Как баран (простите за грубость!), ходишь, пыжишься... Вроде и живешь, а вроде и просто – существуешь. Страшно... К сожалению, эти мысли пришли недавно. Не хочу оправдываться, но «черные» семена застоя, зароненные еще в детстве, дали крепкие всходы. Ох, как же тяжело избавляться от всего этого! Ведь страх так прочно, надежно вошел в нутро, что выкорчевать его оттуда очень и очень непросто (вот пишу и думаю, нет ли здесь криминала. Понимаете? До какой же степени надо бояться!...).

Что меня поразило в Вас? ВЕРА и СВОБОДА. Вы бесконечно верите в ДОБРО (так мне показалось), в ЧЕЛОВЕКА, а отсюда и Ваши убеждения и Ваша правда. И это немаловажно – собственное мнение и взгляд на вещи.

Не хочу выглядеть таким бедным родственником, но всему приходится учиться заново.

«Надо быть, а не казаться», – сказал кто-то. Все верно. Так вот, большую часть своей жизни мне приходилось «казаться» самим собой. Теперь я понимаю, что это не только вина системы, но и моя вина. Что же нужно сделать для того, чтобы быть? чтобы обрести внутреннюю свободу? Чтоб можно было не только говорить, но и думать... Наверно, я слишком мрачно все

это написал, но Вы – тот человек, которому я могу доверить свою исповедь, если так можно выразиться. Конечно, я понимаю, в первую очередь, все зависит от меня самого. И не перебарывать себя нельзя! Я – актер, мне 29 лет, работаю в театре. Кроме этого, пытаюсь писать. А для этого необходимо думать по-новому, «по-свободному». Ибо говорить установками и лозунгами уже не хочется. Вот такие мысли возникли. Извините за их сумбурное изложение. Спасибо Вам, Владимир Емельянович, за откровения, за правду, за вселение надежды!

До свидания, Владимир Емельянович, желаю Вам и Вашим близким самого наилучшего, доброго.

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ БОГ!

Игорь Николаев

Великие Луки (Псковская обл.)

Писателю Владимиру Максимова

Копия: в редакцию газеты «Московская правда»

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

«Глубокоуважаемый» – это не просто клише. Я действительно глубоко уважаю Вас как писателя и общественного деятеля, разделяю Ваши философско-эстетические и этические воззрения. Писать Вам меня заставило Ваше интервью газете «Московская правда», опубликованное в этой газете 25 апреля 1990 года на страницах 3-й. Сразу же оговорюсь, что с главными из высказанных Вами положений я полностью согласна, особенно с оценкой блока патриотических движений России и общества «Память». Мне в высшей степени симпатично Ваше мнение о Науме Коржавине, с которым я знакома, и, являясь стопроцентной русской, подтверждаю, что Россию он искренне, до боли любит.

После стольких комплиментов Вы, надеюсь, разрешите мне в одном пункте Вам возразить? Речь идет о пресловутом Четвертом управлении, о котором Вы упомянули. Ведь дословно оно называлось Четвертым управлением Минздрава СССР и поглощало большую часть бюджета Минздрава. Вот и получалось: большая часть бюджета Минздрава – небольшой прослойке номенклатуры, меньшая – всему народу. Не случайно же выдающийся хирург современности Н. Амосов в прошлом году при обсуждении кандидатуры Е. Чазова на пост министра здравоохранения в Верховном Совете СССР сказал, что вопрос о Четвертом управлении – уже не социальный, а политический. И передача Четвертого управления в основном детям – была справедливым актом (кстати, его никто не разорял). Члены правительства теперь имеют свою поликлинику, но не за счет Минздрава СССР. Это же относится к критикуемому Вами лозунгу «Все отобрать, все поделить». Такого лозунга никто не провозглашает. Когда же отдельные политические

деятели призывают номенклатуру отказаться от своих привилегий, то это лишь элементарное моральное требование к руководителям разоренной страны, свыше сорока миллионов жителей которой (а сейчас подсчитали – вдвое больше) прозябают за чертой бедности.

Так что я как раз из тех читателей, которые, мягко выражаясь, не восприняли положительно эти Ваши слова (повторяю, при общем весьма положительном отношении к Вам и к Вашему интервью). Просто Вы не знаете нашу жизнь так хорошо, как знаем ее мы. А Вы не задумались над тем, почему именно «Московская правда», являющаяся одной из самых консервативных наших газет, опубликовала Ваше интервью? Да именно из-за этих слов! Задумайтесь, пожалуйста, над этим...

Извините, что не сразу написала Вам: у меня было очень много работы.

С уважением,

*Александра Попова
инвалид II группы,
кандидат исторических наук*

*4 мая 1990 г.
Москва*

Уважаемый главный редактор!

Много слышан об издаваемом Вами журнале «Континент» и той популярности, которой он пользуется среди моих соотечественников, оказавшихся в силу обстоятельств за рубежом. Литературно-художественная и политическая ценность журнала неоспорима сейчас, во время открытости и гласности. 20.04.90 по 1-й программе ЦТ в передаче «Взгляд» слушал Ваше интервью, после чего решил обратиться к Вам с просьбой о возможности систематического получения этого журнала из Франции. К сожалению, приобрести его на месте невозможно, т.к. в продажу он не поступает.

Немного о себе. Мне 62 года. Образование высшее – горный инженер. Не работаю, т.к. перенес в недавнем прошлом 2 инфаркта. Много сил и здоровья отдал работе, о чем сейчас жалею, т.к. эти «качества» до последнего времени были непопулярны для нормальной жизни в стране, где я проживаю.

И еще, мне бы хотелось прочесть Виктора Некрасова, Мандельштама, Иосифа Бродского и многих других одаренных писателей и поэтов русского зарубежья.

С уважением!

Михаил Ратчик

*23.04.90
г.Днепропетровск*

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

Получила №63-й – радуюсь, что «Континент» продолжается, несмотря на все трудности, и воплощает собою практически мысль о единстве русской литературы, откликаясь весьма оперативно на самое интересное, что появляется сейчас на нашей родине. И «Стройбат» С. Каледина, и «Одлян, или Воздух свободы» Л. Габышева, и «Незабудка» С. Залыгина, и «Людочка» В. Астафьева – несомненно, из наиболее заметных произведений прозы-89. Любопытно, что в основном это вещи (исключая повесть Залыгина) были и предметом «Круглого стола» в «Лит. обозрении» №1 сего года, где по поводу них скрещивались шпаги молодых, незнакомых мне, но, видимо, входящих сейчас в боевой возраст критиков; особенно выделялись четыре «мушкетера» – А. Архангельский, А. Василевский, А. Немзер, Е. Шкловский. Хочется думать, они бы не отклонили приглашение «Континента» выступить на его страницах – и украсили бы их. А то ведь, как поведал мне побывавший у нас в гостях Лев отечественной критики Аннинский, он теперь статей и рецензий не пишет, исключительно книги, так что одна надежда – на молодых...

Ну, а пока – позвольте Вашей слуге покорной оспорить некоторые материалы отдела критики и библиографии в №63. Вот из рецензии Ирины Муравьевой о «Людочке» В. Астафьева узнаю, что сей автор людей не любит (рецензия и называется «Искусство нелюбви»), не страдает за них и вместе с ними, полон к ним открытой безрассудной злобы и нетерпимости, что бесконечно чужда Астафьеву пастернаковская художественная формула бытия:

Мирами правит жалость,
Любовью внушна...

Но нет худа без добра – с точки зрения художественной астафьевская безлюбная проза так слаба, что «слава Богу, не может оказать на читателя разрушительного, "вредоносного" действия», да и весь рецензируемый рассказ подпадает под лаконичный приговор Станиславского: «Не верю!» На том хотелось бы Муравьевой закрыть тему, но она почему-то не закрывается (сопротивление материала?), и еще на семи с лишним страницах идут рассуждения о том, с каким адом в душе (также и с ядом) живет в селе Овсянка В.П. Астафьев, чей талант и «съежился», и одновременно «весь налился какой-то ядовитой темной кровью, как июльский комар, разжиревший от укусов».

Подкрепляются эти сильные обвинения цитатами – из Пушкина, из Толстого, Пастернака и Мандельштама – со всеми ними у Астафьева «кровный разрыв», «полное размежевание с гуманистической традицией». Когда же доходит до текстов самого Астафьева, до эпизода или сцены, должных нам проиллюстрировать это «размежевание», приходится признать, что вы-

браны они рецензенткой крайне неудачно, ибо доказывают как раз обратное – именно кровную связь. В сельской больничке, в коридоре, за печкой, умирает парень-лесоруб, погубленный нашей бесплатной медициной, – прочтем, благодаря автору, предсмертные его мысли:

«Предают, предают его живые! И не боль его, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтобы самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыхание, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством.

К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет...

Так, считает Муравьева, «могла бы написать любая экзальтированная дама», которой, хорошо бы, посоветовал кто, «на манер булгаковского Мастера: "Не пишите больше"». Экзальтированной дамы, ну хоть Анастасии Вербицкой, в свой век похвалявшейся, что ее «читают шибче Толстого», в моей библиотеке не нашлось (осталась в Москве), нашелся лишь Толстой – и это жаль, конечно, иначе б я показала наглядно, чем отличается яснополянский старец от своей хвастливой «конкуrentки». Она бы не только не смогла по недостатку таланта, но и не осмелилась бы так, как он, изобразить состояние умирающего и просто, и жестоко, описать его отчуждение от тех, кто остается жить, его к ним завистливую злобу, раздражение, ненависть. Откроем «Смерть Ивана Ильича»:

«...и прикосновения ее (жены. – Н.К.) заставляют его страдать от прилива ненависти к ней».

«Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее».

«Все равно, – говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту, – смерть. Да, смерть. И они никто не знают и не хотят знать, и не желают... Злоба душила его».

«Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру».

Какое же тут размежевание? Если концепция «ада внутри» имеет основания, она должна быть приложима ко Льву Толстому прежде, нежели к Виктору Астафьеву. К слову сказать, она и прилагалась: обижали Толстого предостаточно, вспомним хотя бы предание его громогласной анафеме царьцынским иеромонахом Илиодором пред толпою зевак и фанатиков или же молитвы Иоанна Кронштадтского, чтобы «Бог прибрал старого богохульника». Общество было шокировано. О. Иоанн оправдывался: он молился лишь за то, чтобы Господь направил графа на путь истинный. Но вот одного он все же не удостоился: ни один критик не посмел сказать ему: «Не пишите больше». Никак не проводя лестной для Астафьева параллели, все же подивимся, где очутились мы через 80 лет после смерти автора «Войны и мира»!

Однако не будем представлять Астафьева простым эпигоном классика; в ту гуманистическую традицию, от которой так решительно его отставляет Ирина Муравьева, он привнес и нечто свое, он изобразил и вторую сторону медали, именно отношение живых к обреченному умереть, и оказалось, что они не так равнодушны к его телесным и душевным страданиям и сам он гораздо больше занимает их мысли, чем могло бы ему почудиться в предсмертной тоске и сознании оставляемости.

К сожалению, рецензентка не обратила внимания, где поместил автор эпизод с умирающим парнем, безымянным и как будто не имеющим строго сюжетной связи с злоключениями Людочки: между зверским ее изнасилованием и самоубийством. Так неожиданно вклинясь в повествование, этот эпизод предстает соединяющим мостиком между двумя событиями, ненавязчиво, но и неотклонимо подготавливая нас к мысли, что первое из них не могло не завершиться вторым. Оказывается, «не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испытать чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия – пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью». В конце концов оно сузилось до тропинки в страшном этом парке «Вэпэвэрзэ», над которой навис «клыком торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш», давно замеченный Людочкой для привязывания петельки. Так-то вот она, по словам Муравьевой, «завидно легко справилась со своим бесчестьем»!

У меня впечатление, что рецензентка недооценила всей сложности такой натуры, как Людочка, хотя автор многими разбросанными по тексту замечаниями предостерегает от примитивного понимания ее характера: «И вообще она не была душой, она в уединенности своей ого-го как умела сама с собой разговаривать... Она была, как и все замкнутые люди, решительная в себе, способная на отчаянный поступок», – и т.п. Скажем, Ирина Муравьева задается вопросом, почему Людочка продолжает ходить этим же парком, где ее изнасиловали. Действительно, исходя из инерции большинства, сто девиц от этого бы воздержались. Но 101-я потому, наверно, и интересуется автора, что поступает нетривиально. К тому же, нельзя отмахнуться от того, что она туда ходит с бритвой, рассчитывая отомстить при встрече надругавшемуся над нею Стрекачу. Ну и наконец, этот «Вэпэвэрзэ» («по-человечески – парк вагонно-паровозного депо»), с вечно разрытой канавою, где пролегает горячая труба теплоцентрали, со всеми отбросами, гнилью и вонью, с трупами щенят и котят, с пятачком танцплощадки в зарешеченном «зверинце», – это ее Булонский лес, ее жизненное пространство, ей в удел доставшийся кусок родной земли, на котором она принимает все, что ни пошлет ей судьба, и который она не намерена кому-либо уступить, и это – сценическая площадка рассказа, нам предложенная, и которую у нас нет оснований от-

вергнуть. Дело, конечно, индивидуального восприятия, но все «декорации» рассказа, кажущиеся Муравьевой написанными «как-то вчерне, в торопливой панике и непрофессиональной самоуверенности», мне, напротив, представляются исполненными крепкой рукой художника, выпукло, зримо, пахуче: и вымирающая русская деревня Вычуган, где остались всего два целых дома, вся задохнувшаяся в дикоросте, с покинутыми огородами и садовыми деревьями, с коровой Олёной, привыкшей к стаду и теперь зовущей «подруг» своих по соседним пустующим селам, и обезличенное русское кладбище с рядами стандартных могил и стандартными могильными знаками – вместо крестов, и сам этот поселок вокруг депо, не город и не деревня, с бессмертными нашими лозунгами: «Слава советскому народу, народу-победителю!» и «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!» Эта экологическая обитель, окрашенная в изображении автора злой горечью и печалью, создает ощущение вязкой, цепкой, затягивающей власти над человеком, бесконечного надругательства над его судьбой и волей.

В этой обители – откуда же взяться рыцарю в белых одеждах? Кто явится мстителем за жалкую смерть Людочки, кто свершит суд и расправу над Стрекачом, как не плоть от плоти этого же страшного, бесчеловечного мира, бывший зэк с «неандертальскими буграми лба» и «пустыми глазами», в которых сквозит «всесокрушающее, жалости не знающее бешенство», человек-зверь, принимающий на себя бремя судьи и палача по праву и по обязанности отчима, единственного мужчины в семье? «Боже мой, – восклицает наша рецензентка. – Как это случилось? Как докатилась высокая и добрая русская литература до зверя-героя?..» Оно, конечно, легче всего обличать литературу, которая нам что-то не то или не так «отобразила», а если не она, не литература, «докатилась», а – жизнь? И ведь какой разбег-то был, в семьдесят лет длиною! Ведь не вчера, а еще в 1909 году записывал Толстой себе в дневник: «Люди безнадежны и сами готовят себе неизбежную гибель... В России совершается теперь нечто ужасное и совершенно исключительное, я думаю, нигде никогда не происходившее в истории...» Что же удивительного, если весь нам доставшийся катарсис, вся робко забрезжившая надежда связаны с «настоящим, не придурочным паханом», который один лишь и справился с наводящим на окрестности ужас Стрекачом, «швырнул в поганые воды сточной канавы», где тот и сварился заживо? Да уж, докатились мы до того, что радуемся – чему? Тому, что «угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напастей жившие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и возвращенного».

Рассказ «Людочка» – это даже не сигнал тревоги, это крик горечи и боли, исторгнутый в продолжение предсмертного шукшинского «Что с нами происходит?!» И странно мне, что не нашла Ирина Муравьева другого подхода и тона, как попрекать автора грехом «очернительства», как в присно-

памятные 40-е, 50-е, 60-е. «Страшно... что позволено его паническому, во всем разуверившемся сознанию проявлять себя в творчестве, сделать это запутавшееся, бессильное, оглохшее чувство бытия (!) всеобщим достоянием... Откуда эта непоколебимая уверенность в единственной угольно-черной правоте?... Милостью (к падшим. – Н.К.) не пахнет в прозе изменившегося Виктора Астафьева, злобой пахнет, накипевшим раздражением, темной желчью...»

В последней тираде мне слышится нечто знакомое. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что здесь обнаруживает себя – и намеренно притом – некий код к тому пафосу, которым воодушевлена разгромная рецензия Муравьевой. Помните? «...Ваше черное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия...» – особо памятная фраза из печально известного письма Виктора Астафьева Натану Эйдельману. А замечания об уходящем, «сжежившемся», слабеющем таланте Астафьева, многократно оброненные в рецензии, не идут ли вслед, не спешат ли подкрепить констатацией тоже недоброе предсказание Эйдельмана: «...последуете примеру Белова, одолевшего-таки злобностью свой дар и научившегося писать вполне бездарную прозу...»? Если это так, т.е. если Ирина Муравьева рецензировала рассказ, находясь под впечатлением той злосчастной переписки, – а весь словесный ряд подтверждает это, – она повинна в грехе сведения счетов, которого критик никак не может себе позволить. Невозможная, невероятная в «высокой и доброй русской литературе», та переписка получила дружную и справедливую оценку в печати российского зарубежья, и нет смысла ее касаться сегодня, когда уже одного из корреспондентов нет в живых, и сама она не имеет касательства к рассказу «Людочка», где автор не каким-то «инородцам», но именно своему народу предъявляет самые горькие и беспощадные обвинения. Вероятно, в этом случае стоило воздержаться от критики – если не было сил последовать единственно мудрой фразе из письма Астафьева: «Не отвечай злом на зло, оно и не прибавится».

Не могу также согласиться с некоторыми положениями в статье Киры Сапгир «Проза "Нового мира"». Сдается мне, ее высокая оценка романа «Одьян, или Воздух свободы» – в целом справедливая – могла бы обойтись без такого рода комплиментов: «Стиль Леонида Габышева – мастерски-лаконичный, а понимание литературного мастерства у него в крови». Если чем и интересно это произведение именно в литературном отношении, так, наверно, тем, что нет в нем ни первого, ни второго, что написано оно против всех правил прозы – как говорится, без техники безопасности. Описанное в нем – уже за пределами того, что дозволено нервной системе нормального человека, и прав тут скорее Андрей Битов, предупреждая в своем предисловии к роману: «Это страшное, это странное повествование! По всем правилам литературной науки никогда не достигнешь подобного эффекта». Еще один критик, Александр Архангельский, называет этот роман бывшего «малолетки» Габышева «самым беспомощным и самым ярким произведением 1989 года»

(Круглый стол критиков. – «Литературное обозрение», 1990, №1) – короче и точнее, пожалуй, не скажешь.

Еще менее я согласна с оценкой «Незабудки» С. Залыгина, небольшой повести в трех частях, от первого лица, о которой Кира Сапгир говорит, что в ней автор «буквально топит превосходный, трогательный и трагический сюжет», рассчитанный «на многотомный роман». Думаю, редактор толстого журнала знает, как трудны сейчас для чтения многотомные эпопеи, и коли он ухитрился свой сюжет уложить в повесть, в цепочку психологических этюдов, в том его несомненная заслуга. Я впервые читаю столь краткого Залыгина. И – добавлю – столь молодого Залыгина, не скажешь, что автору 75.

О «Незабудке» можно сказать: изнутри вещь больше, чем снаружи. Так, помнится, Честертон определил прозу Чарльза Диккенса. Вещь и выполнена в диккенсовской традиции – максимально приближена к «семейному роману», со жгучей тайной, с таинственными, таинственно возникающими и в никуда исчезающими отчимами (у Диккенса варианты – отчим или мачеха), даже с этой безымянной старухой над колыбелью младенца-рассказчика, откуда и берет начало мучительная легенда об отце-дворянине, «враге народа». Это-то тайна, составляющая очарование и суть, если угодно – философию вещи, исчезла в пересказе Киры Сапгир. Никак не разделяю ее сетований, что «возьмись за подобный сюжет Достоевский, как бы плакал и негодовал читатель», – прежде всего потому, что Достоевский за такой сюжет не взялся бы ни при какой погоде, семейный роман с тайнами – это не то, в чем проявилось его непрестанное иступление, экстаз. «Экс-тазис» – выход из состояния, а тут именно «ненормальная нормальность», опять же честертоновское определение прозы Диккенса, совершенно применимое к «Незабудке». (Любопытно, что для героини повести «такое слово, как "нормально", – слово ответ едва ли не на все случаи жизни». Это похвала применительно к себе, к окружающим, к вещам, к явлениям, к разного рода событиям и т.п.)

Повесть Сергея Залыгина «Незабудка» – о том, как ведет себя средний, «нормальный» человек в предельной по бесчеловечности ситуации. Как же он с нею справляется? К нашему ужасу – «нормально». Мать, спасающая свое еще не рожденное дитя отказом от мужа-дворянина, «врага народа», то ли подписывая, то ли не подписывая отречение, то ли глубоко запрятав, то ли отринув всякую о нем память, более всего боясь, что о ее беде и позоре узнают, – вот героиня нашей эпохи, одновременно и подвижница, и предательница, а в целом – «нормальный советский человек». Признаюсь, о таком я нигде, кроме как у Залыгина, не читала. Подробнее, с Вашего разрешения, скажу в отдельной статье.

Искренне расположенная к Вам и «Континенту»

Наталья Кузнецова

Нидерхаузен, ФРГ

ПРЕЗИДЕНТ – ТОЛЬКО ВСЕНАРОДНЫМ ИЗБРАНИЕМ!

Уважаемая редакция!

Все люди нашей страны видят, что некогда огромное и сильное государство Евразии, называемое Россией, на краю пропасти. Печать всех рангов и направлений не маскирует опасности – да, мол, мы на краю гибели. Поэтому сыплются призывы, увещевания: дескать, сплывайтесь, трудитесь, не возбраняется даже молиться Богу, да воздастся тем, кто своим горбом и своими руками подпирает социализм. Но почему-то стыдливо умалчивают о главных виновниках.

Кого мы обманываем, почему во весь голос не называют тех, по чьей милости переживаем невиданный в истории человечества кризис? Они – у каждого на языке. Это ЦК КПСС со своими функционерами на местах. И речь идет не об ошибках в руководстве страной. Не сегодня и не вчера руководители партии заметили, что идем не тем путем, но ничего не сделали, чтобы исправить намеченный курс. Главверхи всех мастей и ведомств, скоррумпированные с лидерами партии или даже под их руководством спешили разграбить богатства страны, создать у себя «теневой» капитал в сотни миллиардов рублей. Чувствуя себя бесконтрольными хозяевами, они сплавляли за рубеж не только сырье, золото, но и народные сокровища культуры.

При всем при том на протяжении семи десятилетий велось планомерное уничтожение славянских и других народов России, партия КПСС со всеми своими подручными вылила море человеческой крови, насадила узаконенный садизм, неверие в человека. Личность как неповторимое и святодавское создание подверглась ужасающей деформации, на первый план выставлялись такие качества, как лицемерие, лжесвидетельство, отречение от своего родства, лизоблюдство, прислужничество – всего подлого и низменного и не перечислишь. Ведь что отличает не только партийные форумы, но и съезды народных депутатов, где без разрекламированного плюрализма ведутся дебаты ради дебатов, но решения принимаются явно не в пользу страны и народа. А ведь и требуется-то всего ничего – признать за каждым человеком право на свое достоинство. У нас преисполнено самодовольства только начальство всех рангов, но посмотрите на рядового гражданина – он же унижен, на него повесили все грехи, за которые он не отмолится за всю жизнь. Именно – без вины виноватые...

До недавнего времени я внимательно смотрел телепередачи со съездов и сессий Верховного Совета СССР. Мне стало стыдно за председательствующих, которые практику заседаний в партийных комитетах перенесли в парламент. Депутат в их представлении – это функционер, обязанный низкопоклонствовать перед начальством. Только поэтому нередко слышишь из-за стола председательствующих окрик, грубость, давление. Особенно это ярко проявляет М.С. Горбачев, когда тот или иной депутат

выступает не по «заданному курсу». В словах генсека и председателя часто слышишь слова, унижающие достоинство человека, особенно если кто-то осмелится покритиковать медленную и не совсем удачную перестройку. Отсюда – излишняя нервозность, фразы, взятые из лексикона неудачливых политиков: «мне известно», «мне сообщили», «мне доложили», «мы хорошо осведомлены»...

Для политиков России всегда было правилом – меньше слушать доносы, но жить вместе с народом, вместе с ним нести тяготы и лишения, вместе с народом и праздновать победу. Не это ли записано в программе КПСС? Как же случилось, что все ее генсеки без исключения оказались попросту жрецами, бросавшими в жертву во имя «развитого социализма» миллионы жизней? Однако и сегодня подобные эксперименты не окончены. Народ вправе не верить чиновникам от партии – чем его кормят, во что одевают, какие еще «научные посылки» свалятся на его голову, прежде чем все мы доживем до конца XX века.

Сегодня поставлен вопрос о президентстве страны. За 72 года советской власти народу надоело смотреть на генсеков как на «помазанников» безгрешного коммунизма. А главное-то, все они – самоставленники. Народ-то их не избирал. По этой же схеме «выбирались» и председатели президиума Верховного Совета. Нынче по такой же утрамбованной дорожке вознамерились выкатить на президентский пост «самого-самого надежного и достойного». Конечно, таковым окажется М.С. Горбачев – $\frac{2}{3}$ голосов съезда депутатов составляют члены КПСС, которые помнят, кому они обязаны своим высоким положением.

Но вряд ли возликует народ, которому перестройка принесла только разруху и нищету. Если у КПСС есть хоть крохи совести, в чем я сомневаюсь, то она со всеми своими лидерами должна уйти в отставку. Позволить ей и далее экспериментировать – значит ожидать непредсказуемого. Поэтому настал час избрать президента народным референдумом, т.е. тайно, прямо и всенародно. Пусть будет два-три кандидата. И среди них – Александр Исаевич Солженицын. С моей точки зрения, это пока единственный и бесспорный кандидат на пост президента. Не беда, что ему 72 года, что возраст не по «статусу», принятому Верховным Советом СССР. Видимо, от такого «эксперимента» Россия не проиграет.

*Семен Карпов
учитель, журналист, социолог,
инвалид войны II группы*

г. Сасово Рязанской области

LATERNA MAGICA

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Союз искусств «Laterna Magica» выпускает свой первый альманах.

Мы перекидываем мост к той высочайшей цивилизации, какой являлась Россия в начале нынешнего века. Эта цивилизация была потеряна. Ей на смену пришла варварская культура, которая также, в свою очередь, была потеряна (ее последний всплеск называют временем «застоя»). Наступает новый этап эволюции – всеобщее одичание, наиболее отчетливо выраженное пещерной эстетикой авангарда.

Мы собираем под знамена Союза искусств всех тех, кому дороги традиции духовности и гуманизма, чей взор с надеждой устремлен в прошлое – живоносный источник преемственности культуры.

360 страниц. Тираж 50.000 экземпляров.

Цена 5 рублей.

Заявки направлять по адресу:

119048, Москва, ул. Усачева, 64.

Союз искусств «Laterna Magica».

Телефон: 962.46.64.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Генриха Сапгира навряд ли нужно представлять читателям русской поэзии. Один из столпов современного поэтического авангарда, изгнанный за свои стихи из Союза писателей (какая честь!), он – поэт, известный далеко за рубежами пятнадцати республик. Наконец в СССР начали выходить, пусть небольшими тиражами, поэтические сборники Сапгира. В 1989 году увидели свет две его книги – «Сонеты на рубашках» и «Стена».

«Сонеты на рубашках» уже издавались в 70-х годах, если не ошибаюсь, издательством «Третья волна» в США. Тем отраднее их видеть изданными наконец в Москве.

Стихи Сапгира – это праздник языка, я бы даже сказал – карнавал языка. Карнавал этот – чрезвычайно веселый, на котором даже такие темы, как смерть и советская действительность, оказываются на поверку не столь мрачными:

Венок обвили траурные ленты:

.....

«СКОРБИМ и ПЬЕМ – деятели искусства»

«ПРОЩАЙ ДРУЖИЩЕ – водка и закуска»

«СДОХ БАЧКА! СДОХ! СОВСЕМ ПРОПАЛ – монголы»

«УШЕДШЕМУ С ТОСКОЙ – собака Ларри»

«СВЕЖАТИНКЕ! – кладбищенские твари»

«Соседи по могиле – НОВОСЕЛУ!»

Эта легкость восприятия окружающего мира сочетается у Сапгира с постоянным этому миру удивлением. Сапгир – поэт, очарованный словами; подобно младенцу, играющему с кубиками, он строит из слов различные конфигурации, себе и читателю на диво:

Речь как река. Во всем – свои истоки

Индусская уда течет в воде

И мной разгадан смысл ее глубокий

В – влажность. О – овал. Движенье – Д.

Генрих Сапгир. Сонеты на рубашках. Москва, «Прометей», 1989.

Генрих Сапгир. Стена: стихи. Москва, «Прометей», 1989.

Стихи Сапгира наполнены пространством; они подобны просторным помещениям – в них никогда не тесно и много света, в них как бы можно жить:

Бородачи пузаны – малышня
Гуляем во дворе нарядных ясель
Лепечем и пузырится: ня! ня!
Визжит как смерть! – упал и нос расквасил

Взлез на горшок, величие храня
Всё девочек исследует – мамасик
Обиделся не поняли что – классик
Дым! Шоры! Обезьянник! злоба дня!

Для сегодняшнего «перестроечного» дня стихи Сапгира – не социальные (т.е., конечно же, социальные, но в гораздо более глубоком смысле этого понятия), но, как истинный художник, Сапгир занят проблемами эстетики (в данном случае эстетики языка, а не общественных отношений. Сапгир пишет о языке, поскольку именно за фасадом обыденного, ежедневного языка скрывается иная реальность, которую нельзя выразить словами, так как она беспредметна, но присутствие которой можно обнаружить в поэзии (и в этом смысле Сапгир, конечно же, романтик):

На том берегу – магазины и праздник
Здесь кто-то крикнул а там кто-то гукнул
Там пьяный бежит. А другой безобразник
Чернеет в траве словно жук или буква

Что всё это – кукла плакаты бараки?
Наверно какие-то тайные знаки

И если в «Сонетах» стихотворная речь содержит указание на иные реальности, то в «Стене» эти реальности – содержание и форма стихосложения.

В «Стене» язык Сапгира – обретший плоть фантазм:

Там – на страшной высоте
реют сильные линоны
длиннокрылые линоны –
тамнастра на томнасте.

Реальность фантастична, но отнюдь не абсурдна, поскольку реальность Сапгира не есть фантазмагоричная реальность советской кухни, но реальность параллельная. Сапгир открывает двери в параллельные миры

языка, за которыми сокрыты параллельные (психоделические) миры сознания и (не побоюсь этого слова) подсознания:

Из Агара ехали мордуки
чёрно-бородатые в металле
ехали шутили хохотали
.....
Каменные ядра пролетают –
слишком низко ходят наши луны –
заливая диким белым плеском
серые граниты Дакарага
и тогда сверкают как сапфиры
все три глаза старого икварка –
он стоит среди кустов солярий

Мордуки, икварки, солярии, несколько лун над горизонтом – это уже не планета Земля. Это – мир планеты Сапгира, неизвестный доселе, но вполне реальный. Замечательна именно эта «вещная» реальность фантастических стихов Сапгира. В стихотворении «Ласаночка» фантастичность языка соединяется с жестокими реалиями последней войны; эффект совершенно необычный:

...по лицу полицей размазывал сопли и кровь
Зачем паренёк утирался? Лежит за пленницей дров

...в овине сожгли всех – стариков и детишек тоже
а матерей увели кого помоложе

...часового убили – лицом в розовеющий снег
горло ему перервали – похоже не человек

А живёт моя ласаночка
в кудря-мудрявых купырях
в корамориях и шугарях – в овражине
в корневистой скважине
до сердца земли
А выходит из леса на красном закате –
девки на реке – далеко слышно

Образы войны в итоге – лишь страшный сон. Реальность – это лес, красный закат, девки на реке, ласаночка и – бесконечность пространства.

Сапгир – поэт мягкий и добро-душный (от доброты души). В его стихах нет философского патологизма, как у Козлова, безвыходного абсурда, как у Пригова, или экзистенциальной отчужденности, как у Лимонова. По

мягкости он иногда напоминает такого от него отличного поэта, как А. Кушнер. Может быть, потому, что Сапгир, как и Кушнер, – поэт старшего поколения, один из немногих, у кого еще сохранилось доброжелательное отношение к миру:

И все же затеям уныло
мы внукам своим из могил
«она его (жизнь) не любила
а он её втайне любил»

Подобные отношения в наши мрачные дни нужно приветствовать, как нужно приветствовать выход в свет сборников поэта Генриха Сапгира.

А. Иннокентьев

«НАЦИОНАЛИЗМЫ МОЕЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ»

«Годом охотника» назвал Чеслав Милош свою новую книгу в память книжки, которую любил в свои школьные годы. «Автором ее был Владзимеж Корсак, никогда не числившийся среди литераторов, но известный среди любителей природы, особенно той, первобытной красотой которой славилась земля бывшего Великого Княжества». Земли бывшего Великого Княжества Литовского – тот ареал, куда мысли здесь рожденного нобелевского лауреата возвращаются в последние годы постоянно. Этим землям в первую очередь, а затем уже судьбам Польши, Центральной Европы и, в конечном счете, мира посвящен этот своеобразный дневник, который Чеслав Милош вел между 1 августа 1987 и 30 июля 1988 года.

«Год охотника» скорее напоминает поэтические сборники Милоша последних лет, где стихотворная ткань свободно переходит в прозаические воспоминания или даже изыскания по истории того же Великого Княжества Литовского (нередко со включением документов на «русском», т.е. белорусском языке, – официальном языке Великого Княжества Литовского до его окончательного поглощения Польшей), нежели книги его прозы и публицистики. Форма дневника позволяет поэту и принять отчасти форму мемуаров, и не принять ее до конца: вспоминать не последовательно, не хронологически, а в связи с «сиюминутными» стимулами воспоминания. В такую структуру сегодняшние размышления над сегодняшними проблемами вписываются естественно.

Czeslaw Milosz. Rok myśliwego. Paryż, Instytut Literacki, 1990.

«Литвин» Милош обладает поразительной, иногда прямо вызывающей независимостью от польских патриотических клише, довольно часто затуманивающих действительность. Примером тому может служить его апология (не побоимся этого слова) Юзефа Мацкевича, в которой он смыкается с представителями молодого поколения поляков, жадно расхватывающих книги Мацкевича – бестселлеры подпольного книжного рынка (по крайней мере, пока таковой существовал), и резко расходится с патриотическими критиками и клеветниками Мацкевича. Посвященная Мацкевичу статья «Конец Великого Княжества Ли товского» (на печатанная в юбилейном, 500-м выпуске парижской «Культуры», а затем по-русски в 61-м «Континенте») была извлечена Милошем именно из этого «охотничьего» дневника еще до его публикации, разумеется, с опущением дневниковых дат и отдельных текущих заметок. Из книги можно было бы извлечь еще целый ряд «статей», но читать дневник подряд оказывается куда интереснее. Например, эссе о Ярославе Ивашкевиче, талантливом поэте, а в послевоенные годы прислужнике коммунистического режима, прерывается такой записью:

«Два дня тому назад смотрел фильм Бертолуччи 'Последний император'. Это фильм о благотворном влиянии тюремной педагогики, которая даже бывшего императора и коллаборанта японцев способна за десять лет чистки мозгов превратить в добродетельного гражданина. То есть гимн во славу *исправительно-трудовых лагерей* (курсивом здесь и далее – по-русски в тексте. – Н.Г.) в их китайском варианте. Помню фильм «*Путевка в жизнь*» о замечательных педагогах из НКВД. Но американская публика, очарованная постановочной роскошью, даже не замечает преподносимого ей тезиса и усраивает только, что японцы были бяки и что коллаборанты были *гуманно* наказаны».

Притом запись эта появляется отнюдь не при описании падения Ивашкевича в объятия коммунистов, но посреди рассказа о ранних стихах Ивашкевича, которые юный Милош ценил – и нынешний Милош по-прежнему ценит – выше, чем стихи других поэтов группы «Скамандер». Но и дойдя до коллаборантства Ивашкевича, Милош судит о нем не в рамках стереотипов: «Когда я читаю слова недоумения по поводу предательства писателей, перешедших на сторону захватчиков, думаю, что случай Ярослава, по крайней мере, ясен, ибо его выбор можно считать сознательно циничным и сознательно оппортунистическим. Он заведомо полагал, что, коллаборируя, надо платить, и готов был платить, т.е. готов был принять унижения и не ссылаясь на честь». Не будь тут доли иронии, описание можно было бы принять за оправдание коллаборантства. Но ирония относится в еще большей мере к тем, кто коллаборировал, «ссылаясь на честь».

Вспоминая события и людей на склоне восьмого десятка своей жизни, Чеслав Милош прежде всего стремится понять их, для самого себя объяснить. Говоря о многолетнем пребывании Ивашкевича на посту председателя Союза писателей, Милош отмечает: «Он вываливался в грязи, но я не слышал, чтобы он кому-нибудь делал свинства, наборот, он помогал и защи-

шал. То есть, как кажется – ибо не мне это оценивать, – его политика спасения чего только можно, не задаром, а за цену, иногда весьма неприятную, оказывалась действенной».

Но не случаен и прямой переход в дневнике от Ивашкевича к Мацкевичу. У обоих: у первого на Украине в начале советской власти, у второго в Вильно в начале оккупации – был опыт встречи с коммунизмом. А выводы – прямо противоположные.

Не случайно и то, что большое место в дневнике Милоша – отдельные ли рассказами или упоминаниями – занимают люди с восточных окраин Польши, «кресов», не только те, кого поэт знал в Вильно, но и уроженцы Украины. «Кресовая» психология у одних размывает, у других укрепляет склонность к национализму, на этих-то землях и возникшему. Милоша национализм отталкивает, а поскольку он поляк, то польский в особенности.

«По существу, Германия и Польша около 1820 года были рассадниками политического романтизма, или, более приземленно, национализма. (...)»

Виленские романтики, если применить к ним критерии позднейшего национализма, были еще национально шаткими. Они страстно любили народ, но народ говорил по-литовски или по-белорусски. Однако написанным по-польски книгам воспитанников Виленского университета предстояло выкристаллизовать два национализма, польский и литовский, как и способствовать, благодаря поэзии, рождению украинского и белорусского национализма.

Чтобы признать язык критерием чьей-то принадлежности к группе, противостоящей другим группам, потребовался немалый переворот. Человечество обходилось без таких отчетливых разграничений, а тем более, без идеи нации, жаждущей иметь собственное государство».

Уже это, пока еще чисто теоретическое рассуждение может вызвать возмущение польских (а поскольку мы потрудились перевести, и не только польских) националистов, даже в том благородном случае, когда они называются просто патриотами. Но Милош еще и делает «геополитические» выводы, на наш взгляд, идеально верные, но такие, что мало кто из поляков посмел бы произнести вслух:

«Если бы после 1-й мировой войны точно соблюдали принцип самоопределения наций, восточная граница Польши прошла бы по линии Керзона. Забуду на мгновение о реальном соотношении сил – так или иначе, соседями будут Польша, Литва, Белоруссия и Украина.

И после 2-й Мировой войны принцип самоопределения продиктовал бы нынешнюю восточную границу даже в случае такого полного превосходства западных союзников, при котором не наступил бы сговор в Ялте. Польша означала бы узкую полосу вдоль Вислы, слишком плотно населенную, чтобы это оставляло какие-то шансы.

Ни одно западное правительство не додумалось бы до такого, как Сталин: выселить миллионы немцев из их многовековых поселений и отдать эту территорию полякам. Тем самым можно сказать, что Польша существует по воле и милости Сталина. (...)»

В 1945 году коммунисты были правы: Польша могла либо существовать в форме, приданной ей и гарантируемой Советским Союзом, либо перестать существовать. Когда Якуб Берман в книге Торанской «Они» кричит, что, если бы не коммунисты, от Польши осталась бы лепешка, то слегка привирает, поскольку в 1939 году они отнюдь не собирались защищать территорию, но его правоту следует признать в пределах того, что ни одно правительство, созданное в результате свободных выборов, не получило бы Западных земель в подарок от Старшего Брата».

Эта запись датирована 20 декабря 1987 года – ее резкость стала особенно уместной весной 1990-го, когда в Польше под флагом защиты границы по Одеру–Нейсе, поставленной под угрозу (довольно мнимую) воссоединением Германии, разгорелась антинемецкая кампания, яростью не уступавшая коммунистической борьбе с «реваншистами», а «правительство, созданное в результате [почти] свободных выборов», заявило, что не следует выводить из Польши советские войска, являющиеся гарантом его западной границы! К этой ненормальной ситуации вполне можно применить более раннюю запись Милоша:

«Национализмы моей части Европы весьма патологичны. Я не могу доверять мысли, порожденной унижением и попытками побежденных найти утешение».

Не будем только думать, что национализм восточнее былых территорий Великого Княжества Литовского менее патологичен и порожден иными причинами. И мы потерпели поражение, хотя от «врагов унутренних», семь десятков лет переживали унижение и готовы искать утешения в мыслях о собственной чистоте и величии. Или, другой полк, предаваться душераздирающему национальному мазохизму, который выходит то ж на то ж: что, мол, и грязнее нас, и более великих грешников, и такой, как у нас, рабской психологии мир еще не видывал! Жаль, что нету у нас такого Милоша, который между воспоминаниями юности, военных и послевоенных лет, рассказами о поездках по Америке, размышлениями о поэзии не прекращает охоты на горестные националистические слабости и заблуждения своих соотечественников.

Н. Горбаневская

ПОД ЗНАКОМ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Альманах называется – «Латерна Магика». По черному полю обложки летит серебряный ангел с волшебным фонарем. Аллегория прочитыва-

Латерна Магика. Литературно-художественный, историко-культурный альманах. Москва, «Прометей», 1990. Главный редактор Владимир Ерохин.

ется легко: стремление нести свет. И происхождение его – неземное. Свет в душе.

Читающая публика в России за последние пять лет привыкла ко многому. То, о чем и шепнуть решались не всякому, заполнило страницы периодики. Самиздат смешался с госиздатом, вчерашние ревнители устоев – с диссидентами. Застойный лед сковывал пучину массового сознания – и вдруг она забурилась, выбрасывая на поверхность то, чему и положено в таких случаях всплывать. Демоны глухонемые покинули Россию, приведя легион других, темных и лукавых бесов – провинциальных, скабрезных и властолюбивых. Сталина сделали козлом отпущения и за усы (за рога?) вывели из стен истории. Темные дебри первобытной души выплеснулись в печать, назвавшись литературным авангардом. Зашевелился, ополчаясь, добротный запечный патриотизм.

Ко времени ли появился «незримый пастырь» со светильником – образ наивно-прямолинейный, вычурный и старомодный? О чем поведает городу и миру собеседник с экзотическим названием? Прочтем редакторское «Предупреждение»:

«Союз искусств "Латерна Магика" выпускает свой первый альманах. Мы перекидываем мост к той высочайшей цивилизации, какой являлась Россия в начале нынешнего века. Эта цивилизация была потеряна. Ей на смену пришла варварская культура, которая также, в свою очередь, была потеряна (ее последний всплеск называют временем застоя). Наступает новый этап эволюции – всеобщее одичание, наиболее отчетливо выраженное пещерной эстетикой авангарда. Мы собираем под знамена Союза искусств всех тех, кому дороги традиции духовности и гуманизма, чей взор с надеждой устремлен в прошлое – живородящий источник преемственности культуры».

Мысль парадоксальна, но ясна: двигаться в культуре можно только попятно, выверая каждый свой шаг работой предшественников. И в ситуации культурного разрыва (или взрыва) – перекидывает мост. Катастрофической точкой для гуманитарных ценностей нашего века стал 1914 год. Зло совершило массивный прорыв в мир. Все остальное происходило по инерции – инерции обвала. Последующая эпоха, сравнимая с нашествием варваров, была чудовищно жестокой, хотя она и имела свою неповторимую эстетику (вспомним Маяковского, Мухину, Мейерхольда). Молодые культуры пахнут зверем и травами, но человек, личность в них ничего не значат: действует «коллективное бессознательное». Логика сползания, обратной эволюции (деградации) цивилизаций с неизбежностью ведет «передовой отряд» искусства к кострам дикарей: сопоставим рок-музыку и ритмы языческих плясок, выставки московского «авангарда» и изображения на стенах пещер. Шаманские пляски, казавшиеся взыванием божества, оказывались служением примитивным духам хаоса. (Впрочем, в пещерах были сделаны такие открытия, как огонь, лук, топор и, может быть, колесо.) Молодые культуры имеют свой особый, пряный аромат, но они лишены сладости, зрелости и полноты,

вечернего блеска угасающих культур. Что осталось нам от той великой закатной цивилизации, о которой мы можем судить по уцелевшим зданиям и изданиям? Ее живые носители, противопоставившие стихии разрушения свой неспешный и негромкий труд, воплощенный, в частности, и в этой книге.

Альманах «Латерна Магика» открывают «Старые песни» Ольги Седаковой – поэта, который сегодня продолжает традиции русского «Серебряного века»; их потаенное, как путь ручья, звучание, возвращает нас к традиции Рильке:

На горе зеленой сады играют
и до самой воды доходят,
как ягнята с золотыми бубенцами –
белые ягнята на горе зеленой.

Это стихи-медитации, покаянные и созерцательные, исцеляющие душу, как молитва.

Проза Василия Моксякова, с его замысловато-простодушным языком, погружает нас во внутренний мир простого русского человека, который сумел сохранить и честь свою, и сердечную доброту. Герой его повести «Часть души» (из книги «Русские ночи») – кладбищенский рабочий – услышал подземный стук. Кинулся он с товарищами откапывать свежую еще могилу и спас несчастного, чей сон был подобен смерти. Тот человек от перенесенного ужаса потерял память и душой стал как младенец. И оставили его могильщики жить у себя в сторожке. «По очереди ходить учили». И всем им «душевное улучшение случилось и смягчение жизни. Злость, что ли, спала, совесть ли прорезалась, поди разбери...» Даже пить меньше стали. Так ведь и раньше совесть у них была, а злость вся – от жизни окаменелой. Есть в повести и притчи почти лесковские: про картежника Вовку Шершавого, которого на фронте «карты выручили: попала нуля в колоду да увязла в ней»; про старого коммуниста, который на том свете побывал, после чего вернул партбилет «по принадлежности». И потайка народная, привычная уже: «Нельзя врача... Кто их знает, как власть рассудит. Все выйти может, мы уж сами как-нибудь, а там видно будет». И народный здравый смысл. И Бог, которого они не забыли.

Особое, может быть, стержневое место занимает в альманахе цикл стихов Елены Огневой «Страсти Господни». Е.А. Огнева была искусствоведом и иконописцем, одним из основателей союза искусств «Латерна магика». Стихи пришли к ней в последние годы жизни, и выражалось в них то, что составляло суть этой жизни, – глубокая христианская вера. Стихи странные, несколько футуристические, стихи-стигматы: личное, до совпадения боли сопереживание Христу. Стихи-фрески, по определению О. Ерохиной: «Документально и ярко, и страшно – изнутри: изнутри страдающего Господа,

изнутри – и в ужасе, в страхе и возможности отречения, в горестном оцепенении – учеников. Тогда – и сквозь века, через всю историю человечества, ученичества (человечество, так трудно обучающееся христианству)...

Путь человечества к Богу – тема многолетних исследований протоиерея Александра Меня. В этом альманахе он поместил главу из своей книги «Магизм и единобожие» – о магическом мирозерцании первобытного человека. Выдающийся филолог-византинист Сергей Аверинцев публикует здесь свои стихотворные переводы с немецкого – Рильке, Готфрида Бенна – и с латыни – безымянного средневекового автора.

В этом сборнике впервые напечатана глава из философской рукописи Андрея Белого «История самосознающей души», над которой он работал в Москве в 1923-1929 годах. Впервые на русском языке – начало книги воспоминаний первой жены Максимилиана Волошина Маргариты Сабашниковой: «Зеленая змея» – о детстве в старой России, с трогательными и экзотическими сегодня чертами быта дореволюционной Москвы. Написанные в эмиграции по-немецки, они великолепно переведены М.Н. Жемчужниковой. Впервые в русском переводе – знаменитая речь Джорджа Орвелла «Литература и тоталитаризм», произнесенная им на Би-Би-Си в апреле 1941 года.

Лия Владимирова – русский поэт, живущий в Израиле, – представлена книгой в книге («Связь времен») – стихами ностальгическими, исполненными глубокого драматизма и тоски по культуре в изломанном, противоречивом мире:

То не скорбная страна
Пробуждается на час,
То последняя вина
Надвигается на нас.

И цветет чертополох
По раздольям вековым,
И не верит светлый Бог
Темным свечкам восковым.

И кадит, кадит, кадит
Над пожарищами дым...
Слышишь, колокол гудит
Не по мертвым, по живым.

Примечательна публикация в русском переводе главы из книги Карла Кенига «Брат зверь» – о вечных странствиях угрей и лососей, идущих на нерест в Саргассово море и верховья северных рек. Антропософский подход этого автора раскрывает неявный духовный и творческий смысл животного царства, воплощенный замысел Бога о всем живом.

Нетривиальный взгляд на личность и дела императора Павла I отличает очерк Генриха Роутси «Российский Гамлет» (из книги «Ожидающая культура»). Царь, традиционно считавшийся сумасшедшим, предстает здесь как здравомыслящий человек, ставший жертвой интриг и противоборства эзотерических духовных сил.

Недавно умерший прозаик и драматург Венедикт Ерофеев участвовал в «Латерна Магика» своим эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика»: советский человек, терзаемый метафизической тоской в реальности, полной насилия и лжи, находит надежду и опору в исповеди «реакционному» до мозга костей философу-идеалисту.

Альманах «Латерна Магика» культивирует благородство, интерес к духовности на всех уровнях бытия, человеческую личность, сохраняющую свое достоинство и внутренний аристократизм вопреки обстоятельствам.

И. Соковин

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В СВЕТЕ РАМПЫ

Современники удивлялись тому, что под протестом против преследований евреев наряду с И. Тургеневым, А. Островским, Н. Чернышевским стояло имя знаменитого актера московского Малого театра М. Щепкина: известно, что основоположник русского сценического реализма от общественной деятельности был далек. Объяснение дала израильский театровед Виктория Левитина: великий артист сделал исключение для этого письма, потому что сохранил благодарную память о том, что в его выкупе из крепостной зависимости участвовала еврейская община города Ромны.

В. Левитина напоминает, что русский театр начался с еврейской темы: с Библией в руках царь Алексей Михайлович следил за спектаклем «Артаксерксово действо», которым в 1672 году открылся первый придворный театр в России. В сценическую интерпретацию библейского сказания об Эсфири – истории счастливого спасения персидских евреев от уничтожения – были вставлены реплики из древнееврейского языка. С тех пор персонажами придворных театров на долгое время стали герои древнего Израиля: Юдифь, Соломон, Давид, Иосиф...

Книга В. Левитиной – открытие новой, до сих пор еще не известной театроведению темы, в которой соединилась история русского театра, российского еврейства и самой России, потому что образ еврея в искусстве был

Виктория Левитина. Русский театр и евреи. Кн. I, II. Иерусалим, «Библиотека Алия», 1989.

и остается индикатором отношения общества к своим согражданам-евреям, одним из критериев (наряду с отношением к крепостному праву, самодержавию и др.), определявших уровень общественного сознания. За чисто театральной по внешним признакам темой открывается одна из острейших российских проблем в ее театральном осмыслении.

Полнота привлечения материала поразительна: мемуары и монографии, диссертации и документы, переписка и периодика, опубликованные источники и архивные находки. На такие книги уходят годы, и они становятся делом жизни. Может быть, эта увлеченность темой объясняет недостаток работы, являющийся продолжением ее достоинств, – эмоциональность изложения материала, мешающая бесстрастному по своей природе научному анализу. То, что украшает публицистику и памфлет, снижает качество академического исследования.

Разумеется, подвижники еврейской темы в русском искусстве заслуживают восхищения, а те, для кого сценический образ еврея становился лишним поводом унизить и без того угнетенных, – осуждения; но В. Левитина театральные события, начавшиеся в конце XVII столетия и закончившиеся в начале нынешнего, воспринимает как современные, те или иные стародавние обстоятельства – как сегодняшние, без необходимой исторической дистанции. Она интересно рассказывает о юдофильстве знаменитого актера и руководителя Современного театра Н. Ходотова, о юдофобстве не только Суворина и его театра, но и иных из тех, кто были властителями дум целых поколений. Но недовольна она и А. Островским, потому что «в обширном творчестве писателя, охватывающем почти все слои России, которое можно считать драматургической энциклопедией жизни страны третьей четверти XIX века, ни одного еврейского персонажа нет...» На нет и суда нет – каждый автор пишет о том, что ему интересно и что он знает, в том числе и В. Левитина, и такие упреки бессмысленны.

Избранный автором угол зрения и метод порой сужают ее кругозор настолько, что эстетические категории заменяются чисто идеологическими, система образов, составляющих искусство театра, превращается в тезис, словесную формулировку; такой подход ведет к упрощенчеству, и разница между Гоголем, Достоевским и Чеховым оказывается чисто тематической. Между тем, история искусства свидетельствует о том, что антисемитизм вдохновлял на прекрасные произведения так же, как и куда более благородные и возвышенные идеи и чувства, и обличительный пафос сам по себе ничего не объясняет: ключ нужно искать в категориях не только м.л., эстетических, но и художественных.

Но то, что В. Левитина не заглаживает острых углов, не обходит знаменитых имен, показывая их отношение к преслед. этому национальному меньшинству, делает ее труд достоверным. История каждого народа знает темные и светлые страницы, и книга В. Левитиной построена на параллелях; рядом с теми, кто не видел в евреях людей, всегда находят тех, кто

рые даже в атмосфере погромного психоза не поддались общему настроению, проявили мужество и сохранили честь: Соловьев, Пирогов, Тимирязев, Короленко, Веселовский, Гарин-Михайловский... В. Левитина рассказывает о равных им по душевным качествам драматургах, режиссерах, актерах.

Имя драматурга Евг. Чирикова помнят теперь только специалисты, а в свое время его драма «Еврей», ставшая ответом русского театра на кровавые погромы конца прошлого века, обошла в постановке П.Н. Орленева и с его участием сцены Берлина, Лондона, Нью-Йорка, Осло. Со спектаклем по этой пьесе объехал всю Россию Новый театр, в Москве в театре Корша ее ставил известный режиссер Н. Синельников, в Киеве она шла в русском театре Соловцова, в украинском театре в ней играли Н. Заньковецкая, в Тифлисе роль главного героя Нахмана исполнял Э. Мейерхольд.

Имя другого драматурга – Леонида Андреева знают все, но в начале века его популярность могла сравниться разве только со славой М. Горького. Еврейскую тему Л. Андреев ощущал как собственную, как безвинную вину своего народа. Эта тема проходит через его пьесы «К звездам», «Анатэма», «Упрямый попугай», материал которых позволял размышлять о судьбах русского еврейства и ставить этические проблемы общечеловеческого звучания.

Центральный персонаж пьесы «К звездам», ставившейся в театре В.Ф. Комиссаржевской в Петербурге, в московском Художественном, Э. Мейерхольдом в Финляндии, в Териоках, – еврей-ученый, профессор Лунц. В его характере много общего с Нахманом в чириковских «Евреях», но Нахман признаёт единственным выходом из их положения сионизм и мучается от того, что не все его понимают, а Лунц – приверженец космополитизма, прекраснодушной теории безнационального существования. Оба эти взгляда и поныне продолжают спорить между собой, придавая историческому исследованию В. Левитиной современное звучание.

Но современность ее труда прежде всего в том, что еврейский и вообще национальный вопрос в советское время обострился. Если царская цензура запрещала те или иные пьесы и еврейские сюжеты, но сама тема не считалась запретной, то с 1948 года еврейские персонажи были запрещены в течение сорока лет, а теперь разрешены так, чтобы за ними не ощущались жизненные реалии: государственный антисемитизм и вскормленные им общественные настроения, насильственная ассимиляция и массовое движение евреев за отъезд из СССР. Поэтому хотелось бы увидеть продолжение труда В. Левитиной – книгу «Советский театр и еврей».

В. Левитина рассказывает, что еврейский вопрос сыграл в дореволюционном русском театре важную роль, введя в него национальную тему, расширив его кругозор, углубив его исконную традицию сочувствия и сострадания угнетенным. Если бы сегодняшний советский театр не был ограничен рамками гласности и смог бы свободно обсуждать национальные проблемы, это оживило бы его, вернуло ему интерес зрителей, способствовало

его обновлению, возвращению сценическому искусству его важнейшего свойства – злободневности. К такому выводу приводит историческое исследование Виктории Левитиной.

Семен Черток

КОРОТКО О КНИГАХ

Яков Айзенштат

«КТО УБИЛ ЗОЮ ФЕДОРОВУ»

И ДРУГИЕ ОЧЕРКИ МОСКОВСКОГО АДВОКАТА

Иерусалим, «Кахоль-Лаван», 1989

«Кто убил Зою Федорову» – сборник очерков уголовных и гражданских дел из практики московского адвоката, приоткрывающий еще одну страницу советского беззакония и бесправия, о которых сейчас так много говорят советская пресса и телевидение. Очнувшееся общество впервые в открытую заговорило о преступлениях прошлого, вспомнило о хищениях, взяточничестве, злоупотреблениях «сильных» мира сего, о несправедливости давно минувших лет, но даже с опозданием на десятилетия эта правда необходима для очищения общества, для осознания того зла, которое ему было причинено системой тоталитаризма.

Книга Якова Айзенштата – рассказ о работе советских правоохранительных органов в 70-80-е годы. Автор записок проработал в Московской коллегии адвокатов двадцать один год. В своих очерках он излагает подлинные уголовные и гражданские дела, в рассмотрении которых принимал участие в качестве адвоката.

Среди клиентов Айзенштата было немало «отказников», добивающихся разрешения выехать в Израиль и в другие страны. Оказывая им юридическую помощь (за восемь лет этой деятельности Айзенштат помог тысячам людей), автор подвергся преследованиям и сам оказался «в отказе» на несколько лет.

Выехав в Израиль, Яков Айзенштат впервые получил возможность рассказать о своей двадцатилетней деятельности в Московской коллегии адвокатов, о своем участии в крупных уголовных процессах по делам о хищениях, убийствах, разбойных нападениях, взятках, мошенничестве, изнасилованиях.

В книге 39 очерков, и уже по их названиям можно судить, что автор рассказывает в них о самых типичных случаях правонарушений, характерных для советской системы: «Расхитители из министерства внешней торговли», «Взятки за поступление в институт», «Дома терпимости в Москве», «Попытка сжечь себя у американского посольства в Москве», «Любовница канадского бизнесмена», «Кое-что из жизни советской элиты», «Подлинная история о том, как судили Михаила Булгакова», «Еврейский адвокат в Москве». Речь идет о язвах советской системы, которые благодаря гласности общество начало вскрывать.

«Многолетняя адвокатская практика позволяет наглядно на многих живых примерах показать разрыв, явное несоответствие между тем, что

утверждает советская пропаганда, и тем, что происходит в жизни, – пишет Айзенштат в предисловии к своей книге, – показать вмешательство партийно-государственного аппарата во все, роль и значение партийно-государственной элиты в жизни общества, пороки советской экономической системы, повсеместное пьянство, фарисейство в сексуальных вопросах, рост преступности среди несовершеннолетних, взяточничество повсюду».

Социалистическая законность – порождение режима тоталитарного государства, где официально провозглашенные права и свободы граждан в действительности попираются и нарушаются на каждом шагу. Организация и порядок деятельности советского суда определяется не законодательством, а партийно-государственным аппаратом.

О.М.

Михаил Моргулис
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРАСНУЮ ПЛАНЕТУ
(22 ДНЯ НА ЗАДВОРЬЕ ГОРБАЧЕВА)
Виктор Букс, США, 1989

Михаил Моргулис – главный редактор издательства «Славянская евангельская пресса» Иллинойса, где он возглавляет публикацию христианской литературы на русском языке. Рассказы и статьи Моргулиса публиковались в СССР, во Франции, США, Англии. Эмигрировав из Советского Союза десять лет назад, он продолжает считать себя русским писателем.

В своей новой книге Михаил Моргулис попытался описать Россию такой, какой он увидел ее после десятилетней разлуки. Эту встречу автор сравнивает с возвращением первой любви. «У каждого из нас, – пишет он, – была первая любовь, хотя мало кто связал с ней навсегда свою жизнь. И несмотря ни на что, нежный аромат юности и эта первая любовь остаются с нами на всю жизнь. Мы снова влюбляемся, мы связываем свою жизнь с другими, растим детей, но когда нам случается снова встретиться с первой любовью, сердце убыстряет свое биение, так же, как в прежние времена».

Такой встречей стала для Моргулиса встреча с Россией, о ней эта книга. Автор приезжает в СССР с группой христиан, чтобы своими глазами увидеть, что принесли гласность и перестройка стране и как они отразились на жизни верующих. Но путешествие Моргулиса – не только в СССР, но и по воспоминаниям, чувствам, эмоциям, которые пережил автор, оказавшись снова на «Красной планете».

В одном из своих рассказов Моргулис как-то писал: «Что такое память? Это река слез с островками счастья». И свои воспоминания о детстве автор называет возвращением к реке воспоминаний: годы войны, полное лишений послевоенное детство, слезы одиннадцатилетнего мальчика, услышавшего о смерти Сталина, вступление в комсомол. Впечатления от увиденного сегодня перемежаются потоком воспоминаний о прошлом.

Самое важное для автора – увидеть сегодняшнюю Россию не глазами иностранца и гостя, а такой, какой ее видят сегодня люди, живущие там. И Моргулис достигает своей цели, описывая многочисленные встречи с друзьями, знакомыми, официальными представителями власти, духовными лицами, а кроме того, случайные знакомства с людьми на улице, разговоры с таксистами и милиционерами, священниками и верующими в церквях. Именно эти встречи и помогли автору понять характер современных перемен.

В своей книге автор постарался донести до нас голоса всех своих собеседников, «это голоса современной России, – считает автор, – это голос народа, который творит сейчас свою историю и судьбу, от которой зависит и судьба всего мира»...

Путешествие Моргулиса стало своего рода христианской миссией по советским городам. Кроме семисот Библий и другой религиозной литературы, которую привезли Моргулис и члены группы в СССР, они повсюду несли слово Божие советским людям, проповедуя, выступая, разговаривая с верующими. И, приглашая читателя этой книги совершить путешествие на «Красную планету», автор говорит: «Молитесь за эту великую страну с ее трагичным прошлым и неизвестным будущим».

Ольга Миронова

Станислав Лесневский
ГОЛУБЫЕ ВРАТА
М., 1989.

Два очерка о городах, глубинных остатках еще не загубленной Руси, и два очерка о поэтах, которых многие годы всеми силами старались то стереть из памяти людской, то ошельмовать... Вот и вся книжка...

Лесневский пишет: «Как легко забыть! И как трудно вспомнить, как трудно восстановить нить преемственности!» Это верно, касается ли это архитектуры и пейзажа, изуродованных теми, кто «брал милости у природы» грабительским образом, касается ли это А.А. Ахматовой, творчество которой после полных запретов и до последних – нет, не лет, а месяцев – выдавалось дырявым: ведь исключить из книг поэта «Реквием» – это все равно, что Блока издать без «Поля Куликова»!

И вот очерк о «Реквиеме» – поставленный автором в конец книги – видится главным в ней: именно это резание по живой ткани творчества и смотрится страшной параллелью к резанию по живой ткани России: Оптина Пустынь и Козельск (очерк «Два берега») или Малоярославец (очерк «Голубые врата») так же изморожены, как творчество Ахматовой или Клычкова. Но если Ахматову даже в самые мрачные годы не смогли никакие ждановы вычеркнуть из литературы, то Сергея Клычкова им-таки удалось уничтожить не только физически, а и стереть, словно его никогда и не было. И справедливо говорит очеркист, что Клюев и Клычков, как и Есенин,

– не какие-то отдельные для всей русской литературы «крестьянские поэты», а просто интегральная часть того Серебряного века, который был неповторимым поэтическим чудом, необъяснимым феноменом в мировой поэзии. И как печально, что приходится еще кому-то доказывать (а ради этого и написан очерк о Клычкове), что эти поэты – «не деревенская околица, а драгоценное достояние серебряного века». И то, что соседи и друзья – Сергей Клычков и Осип Мандельштам были гранями все той же, единой русской поэзии, – ой как хочется кому-то забыть. А то, что Есенина как-то выпустили к читателю, а его учителя Ключева – нет, и они, «мистические», а значит, «реакционные», были из литературы и из жизни вычеркнуты? И кто же вычеркивал их? Так сказать – «а судьи кто?»

Об этом, к сожалению, С. Лесневский не говорит... А ведь ждановщина – это не просто злая воля малограмотного хама Жданова, и даже не серость, столь милая Сталину, – это ведь та самая воинствующая люмпен-пролетарщина, которая и вправду, не только демагогически, есть фундамент любого фашизма (нац.-соц. **р а б о ч а я** партия, рабочие корпорации в муссолиниевской Италии, «его величество рабочий класс» в сталинской пропаганде).

Короче, бессмертный герой песен Галича – Клим Петрович Коломийцев – вот имя главного мракобеса! Зовись он ждановым или дымшицем, пролеткультовец он или какой-нибудь лесючевский – все одно. Это он поселил ремесленное училище в Оптиной Пустыни, это он из кожи лез, чтобы Сергея Клычкова больше никогда не вспомнили...

Как жаль, что, приводя страшные примеры из жизни (скорее умирания) таких древнейших русских городов, как Козельск, не называет Лесневский, не выкапывает из-под времени имена тех, **к т о л и ч н о** приказывал изгадить козельские храмы или памятники 1812 года в Малоярославце! Как писал Галич (по другому поводу), «мы поименно вспомним всех, кто поднял руку».

Но как жутко звучат даже проходные, незаметные фразы в этих очерках: «бродил... мимо домиков, хозяева которых **е щ е** держат коров»! Правда, провинциализм в худшем смысле этого слова – главная черта тупо-консервативных местных властей – очеркистом отмечен, но вскользь. А ведь решение задачи, которую он себе поставил, – обратить внимание читателей на то, что надо что-то срочно делать, – было бы куда более трепещущим, отыщи он и назови поименно всех вандалов, которые, как бы ни прикрывались они партийными приказами сверху, и сами ведь ведали, что творят!

«Мне кажется, что стряхнуть безразличие к своей социальной судьбе и отрешиться от безразличия к высшим духовным ценностям – задача единая». Сформулировав это, Станислав Лесневский логически не может не прийти к необходимости разыскать, раскопать варваров, назвать их. А то, что гибель памятников национальной культуры – всегда результат соприкосновения общества с любым видом национал- или интернационал-социализма, это и без формулировки следует из очерков. Ведь и архитектор и его

творение, и поэт и его создание – триумф личности над безликостью, индивидуальной неповторимости стиха, пейзажа, храма над коллективистской «корбюзьяной». Этот вывод, составляющий одну из основ философии Н. Бердяева, все более и более властно пробивается в нашу сегодняшнюю публицистику.

И заключающий книжку очерк о «Реквиеме» Ахматовой – тоже ведь доказывает, что всеобщее горе выразили ее стихи лишь потому, что все они неповторимо индивидуальны, что не какая-то вообще абстрактная мать, а она, Анна Андреевна, она, конкретная и живая, становится плакальщицей за всех матерей, дети которых к тому самому 37-му году уже порой два десятилетия, как ушли за решетки, а порой только-только... И «победа художника, человека и самого времени над злом», как говорит об этом очеркист, еще, кажется мне, не наступила: ведь не все еще архивы открыты, не все палачи поименованы... Но прав Лесневский, что «Реквием» – выражение «массовой души огромного бедствия». И, добавим, именно в силу индивидуальности его творца.

Василий Бетаки

В. Ражников

**КИРИЛЛ КОНДРАШИН РАССКАЗЫВАЕТ
О МУЗЫКЕ И ЖИЗНИ**

М., «Советский композитор», 1990

Д.м. Паперно

**ЗАПИСКИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО МУЗЫКАНТА А. ПОСТСКРИПТУМ**

Париж, «АМГА», 1987

Мемуаров, освещающих советскую музыкальную жизнь, не так уж много, поэтому каждый выход новой книги в этом жанре – всегда событие. Воспоминания Дмитрия Паперно – пианиста и педагога, вышедшие вторым дополненным изданием три года назад – пример классических музыкальных мемуаров. Сказать, что они написаны живо и увлекательно – значит ничего не сказать. Паперно пишет блестяще, его память пунктуальна и эмоциональна, поэтому текст так богат фактологией. Ценность книги именно в том, что мемуарист стремится донести до читателя все признаки и особенности советской музыкальной «ауры», стремится рассказать и раскрыть «кухню» культуры. Перед читателем развернута уникальная по хронологии охвата панорама музыкальной жизни страны – 20-70-е годы, представлена целая галерея портретов, среди которых – Давид Ойстрах и Александр Гольденвейзер, Владимир Софроницкий и Мстислав Ростропович, Генрих Нейгауз и Григорий Гинзбург, Лев Оборин и Самуил Фейнберг... Может быть, эта книга, написанная уже там, в Америке, несколько сентиментальна, но это и под-

купает читателя, ибо автор не комплексуется по поводу собственных чувств, рожденных «воспоминанием» собственной жизни. Эта черта вызывает у читателя, как справедливо заметил в послесловии к книге Мстислав Ростропович, ощущение доверительности разговора. Возможно, поэтому, взявши книгу в руки, от нее трудно оторваться, ибо всегда неловко прерывать разговор с приятным и интересным собеседником.

Приблизительно тот же хронологический период освещают мемуары Кирилла Кондрашина. Книга издана на средства состава труппы В. Ражникова. Заслуги последнего в сохранении материала, надиктованного Кондрашиным на магнитофонную пленку, неоценимы. Составителем проделана также громадная работа по текстовому воплощению мемуаров. Однако несколько корбит то, что составитель счел возможным вынести свое имя в качестве автора на титульный лист, на котором значится: «В. Ражников. "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни"».

Сам текст книги представляет собой как бы гигантское, 300-страничное интервью, в котором интервьюер направляет поток нахлынувших на маэстро воспоминаний. Направляет иногда умело и тонко, но иногда и не совсем удачно, прерывая столь ценную во всяких мемуарах нить подробностей. Однако в целом книга сделана удачно, и запечатленные в ней факты бесценны. Психологическая достоверность портретных характеристик, трезвый анализ мотиваций взаимоотношений между музыкантами и чиновниками от искусства, тонкий, но предельно понятный и четкий анализ разного рода произведений с точки зрения дирижерской техники – все это усиливает рассказ. В книге, в частности, великолепно отражен процесс превращения Большого театра в официоз, что неизбежно, причем мгновенно, парализовывало творчество и сказывалось на взаимоотношениях между артистами. Этот откровенный рассказ о разращении театра и по сей день звучит более чем актуально, он выявляет истоки того кризиса, который начался с конца 30-х годов и который сегодня проявляется в творческом бесплодии театра. Блестяще – и жестко – оценивается стиль работы и стиль мышления многих звезд советской музыкальной сцены, таких, как Самосуд, Рейзен, Козловский. Бесценны для истории отечественной культуры страницы, посвященные Голованову, Небольсину, Суку, Хайкину, Шостаковичу, Лемешеву, Мейерхольду, Немировичу-Данченко и многим другим. Мемуары Кондрашина искрятся остроумием и сильны своей трезвостью, за каждым рассказанным анекдотом таится боль.

Представляемые воспоминания Кирилла Кондрашина и Дмитрия Паперно как бы дополняют друг друга, этим текстам присуще некое драматургическое начало – читатель находится в постоянном напряжении и сопереживании, и перед ним постепенно из подробностей и деталей складывается судьба. Эти страшные, выстраданные рассказы загадывают нам загадку: как в советских условиях может еще возникать желание творить, желание «делать» искусство?

К.Х.

Журнальный «бум» не коснулся журнала «Театр». Он по-прежнему обладает довольно узкой (в масштабах читательского интереса к журнальной периодике) и в то же время устойчивой читательской аудиторией. Видимо, специфика профессиональной принадлежности, наряду с относительно небольшим тиражом и высокой ценой, выводят его из сферы массового чтения. Тем не менее, отдельные публикации журнала за первое полугодие 1990 года представляют интерес не только для профессионалов.

Волна открытой публицистичности, захлестнувшая современные литературно-художественные журналы, докатилась и до «Театра». Появившаяся в этом году новая рубрика с довольно претенциозным названием «Свобода слова» предоставила свои страницы Г. Старовойтовой (№1), В. Шостаковскому (№2), Н. Коржавину (№3), М. Захарову (№4) и др.

Однако все же не текущая публицистика, а вопросы культуры (и, разумеется, театра) составляют основное содержание журнала. В разделе «История» – это прежде всего материалы, подготовленные к юбилеям Н. Эрзмана, Б. Пастернака (№3), С. Михоэлса (№4). Во 2-м номере публикуются дневники М. Булгакова за 1923-1926 годы. Значительная часть 1-го номера посвящена В. Мейерхольду (к 50-летию со дня смерти). Здесь – и биографические материалы, и документы, связанные с его арестом и гибелью, а также статьи о театральных работах режиссера.

Кризис, в котором пребывает ныне современный советский театр, отчетливо вырисовывается в статьях, посвященных текущим театральным премьерам. Внимание, проявленное авторами журнала к таким заметным явлениям театрального сезона Москвы, как «Крутой маршрут» по мемуарам Е. Гинзбург в «Современнике» (№2), «Я бедный Сосо Джугашвили» В. Коркии в Театре МГУ (там же), «Поминальная молитва» по произведениям Шолом-Алейхема в Театре им. Ленинского комсомола (№3), «Пир во время чумы» в Театре на Таганке (там же), не рассеивает этого впечатления. Попытки журнала писать о провинциальном театре лишь усугубляют это впечатление.

Характерная деталь. В 4-м номере был напечатан список новых театральных студий Москвы и Ленинграда (в этих городах их насчитывается уже более трехсот!). Но что же из себя они представляют, что нового появилось (или не появилось) благодаря им в современной театральной жизни? Ответа на эти и другие подобные вопросы журнал, к сожалению, не дает.

Так называемые проблемные статьи о современной драматургии, о режиссерских исканиях, о жизни оперы и балета, о вопросах театрального образования лишь подтверждают ощущение глубокого кризиса этого жанра.

В разделе «Библиотека мировой драматургии» опубликованы «Москва» Андрея Белого (№1), пьеса П. Вайса «Троцкий в изгнании» (№4). По-

следнюю предваряет статья самого Троцкого «Нация и культура». В журнале опубликованы также пьесы Ф. Горенштейна «Споры о Достоевском» (№5), В. Гавела «Уведомление» (№5), В. Войновича и Г. Горина «Кот домашний средней пушистости» (№5), пьесы В. Арро, Ю. Щекочирина, Б. Шеффера (Польша).

Очень сильное впечатление производят дневники Олега Даля (№2 и №5, начало в №12 за 1989 г.), публикацию которых подготовила вдова замечательного актера. Хотелось бы, конечно, чтобы подобные вещи печатались в наиболее полном виде.

В 6-м номере в разделе «Почта редактора» отражен маленький скандалчик, разыгравшийся в связи с публикацией в 3-м номере за прошлый год пьесы В. Войновича «Трибунал». Факт этой публикации через год с лишним стал известен членам Военно-научного (!) общества при Центральном доме Советской армии им. Фрунзе, которые направили в адрес редакции гневное письмо с требованием осудить пьесу.

Со 2-го по 6-й номер печаталась книга В. Буковского «...И возвращается ветер», на которую, кстати, до сих пор не появилось ни одной рецензии. Разумеется, редакция предпослала публикации свое предисловие, в котором, в частности, говорится: «Оценка [Буковским] ряда событий и конкретных исторических фигур – прежде всего В.И. Ленина – кажутся крайне субъективными и во многом наивными...», но «судьба автора книги вызывает уважение». Специально для «Театра» написано и предисловие самого Буковского, из которого приведем заключительные фразы: «Общество не пошло за нами, не осознало ни своей свободы, ни своей ответственности, а получивши гласность сверху в качестве подарка, так и не знает, на что бы такое употребить ее. Впрочем, разве мы рассчитывали на победу? Да нет, мы просто выполняли свой долг. Несчастлива страна, где простая честность воспринимается в лучшем случае как героизм, в худшем – как психическое расстройство. В такой стране земля не родит хлеба. Горе тому народу, в котором иссякло чувство достоинства. Дети его рождаются уродами. И если не найдется в той стране хотя бы горстки людей, да хоть бы и одного, чтобы взять на себя общий грех, никогда не вернется ветер на круги своя».

Кирилл Хохлов

Москва

НАША АНКЕТА

«СУМАСШЕДШИМ МОЖНО БЫТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ»

Интервью с Венедиктом Ерофеевым
ведет Леонид Прудовский

ОТ РЕДАКЦИИ. *Разумеется, не всем это предсмертное интервью с писателем придется по нраву: одних оттолкнет в нем откровенный эпатаж, других – «тьма низких истин», третьих – вызывающая откровенность. Но, согласимся, на смертном одре человек и писатель такого масштаба имеет право не только сказать все, что он думает о себе и мире, но и быть выслушанным.*



– Родился в 1938 году, 26 октября. Родители были: грустная мамочка и очень веселый папочка. Он был начальник станции. Он все ходил и блядовал, ходил и блядовал, и, по-моему, кроме этого, ничем не занимался.

– А мамочка?

– А мамочка переживала.

– Тут запереживаешь.

– Еще бы, ебена мать. И вот папенька блядовал, блядовал, блядовал, блядовал и доблядовался до того, что на него сделали донос. И папеньку в 38-м году, когда я родился, только и видели. И действительно, папеньку

мы увидели только в 54-м. Естественно, по 58-й статье. Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол.

– *Честно говоря, трудно представить, что были люди, которые в открытую ругали советскую власть.*

– А почему бы и нет – на этой маленькой станции, да еще в поддании. На станции Пояконда в районе Полярного круга.

– *А куда ж его сослали из-за Полярного круга?*

– В том-то и дело – в Крым.

– *Действительно в Крым?*

– Шутка. Его сослали всего-навсего на 12 или там на 10 тысяч километров к востоку.

– *Значит, ты рос безотцовщиной? И вы так с мамой и жили на этой крохотной станции?*

– Нет, меня перетащили в детский дом г. Кировска Мурманской области, и там я прозябал.

– *А маменька-то куда делась?*

– Маменька сбежала в Москву.

– *И тебя бросила?*

– Да.

– *А с какого момента ты себя помнишь?*

– В средней школе я уже писал. Сочинения.

– *А самые первые в жизни ощущения?*

– Самые первые воспоминания почему-то самые траурные. Покойная мать сказала всем старшим братьям и сестрам – подойдите к кровати и попрощайтесь с ним. Со мной то есть.

– *Почему?*

– А все – врач. Он сказал: пиздец. Очень, очень умный врач. Это был 41-й год, значит, мне было два с половиной года. Очень умный врач.

– *Значит, в школе ты учился в детском доме. И, конечно, самые светлые воспоминания?*

– Ни одного светлого воспоминания. Сплошное мордобитие и культ физической силы. Ничего больше. А тем более – это гнуснейшие года. 46-47-й. В сорок седьмом, например, доходили слухи, что в Мурманске мясо продают на рынке, но в этом мясе находили человеческие ногти.

– *Я помню, правда, это уже было в 50-х и в Москве, так вот, ходили слухи, что из детей варят мыло.*

– Короче, все это невыносимая мудозвонщина, и я твоим слухам не удивляюсь ничуть.

– *Веничка, а амнистию 1953 года ты никак не запомнил?*

– Очень запомнил, потому что я в это время учился в 8-м классе, а весь Кольский полуостров был переполнен этими лагерями, одним словом, мы больше видели колючей проволоки, чем чего-нибудь другого. И до 10-го класса. И вдруг их отпустили. И тут скверный, дурашливый народ пустил слухи... и в самом деле, вот эти отпущенные на волю – как их тогда называли, бандиты – они действительно вели себя не лучшим образом, но этот слух был настолько искусственно раздут, чудовищно раздут в 53-м году, я тогда переходил из 8-го класса в 9-й, вот это было время на Кольском полуострове совершенно чудовищное. Во всяком случае, мать нас загоняла в дом с наступлением сумерек, а ночи там осенью наступают сам понимаешь когда.

– *Значит, мамочка к тому времени вернулась?*

– Вернулась. Я в детском доме учился до 8-го класса.

– *И как ты ее принял?*

– Ну что, мать. Иначе она не могла.

– *Веня, а ты в детдоме был среди тех, кого били или – кто бил?*

– Я был нейтрален и тщательно наблюдателен.

– *Насколько это было возможно – оставаться нейтральным?*

– Можно было найти такую позицию, и вполне можно было, удавалось занять вот эту маленькую и очень удобную позицию наблюдателя. И я ее занял. Может быть, эта позиция и не вполне высока, но плевать на высоту.

– *А сочинять ты начал в детдоме или уже в школе?*

– Начал еще до поступления в школу.

– *И что же ты в таком нежном возрасте сочинял?*

– «Записки сумасшедшего».

– *Кто же был сумасшедшим?*

– Ну, я, конечно.

– *Что – в шесть лет?*

– А сумасшедшим можно быть в любое время.

– *Каково же это – в шесть лет ощущать себя сумасшедшим?*

– Очень интересно.

– *То есть ты себя так ощущал или создал такую маску?*

– Разумеется, маску. К сожалению, эти глупые матушки – они ничего не сохраняют. Вот молодец моя сестра Тамара Ва-

сильевна, которая сохранила все мои письма с 55-го года до 88-го. Вот это она молодчага. А первая теща вообще ставила на мои рукописи сковородки с разной хуетенью.

– *Веня, а ты не можешь сейчас вспомнить содержание этих записок?*

– Это знает только одна моя матушка. Убей меня бог, не помню. Первое осмысленное писание началось с 56-го года, тогда, когда я кончал 1-й курс МГУ. Вот тогда началось то, что я бы сейчас немножко уделал, немножко бы...

– *А оно сохранилось?*

– Сохранилось. Но я попросил человека, у которого это все лежит – это пять толстых тетрадей, – чтобы он до моей кончины не издавал.

– *Хорошо ли это, Ерофеев?*

– Хорошо. Потому что там так много того, что не годится, так много непечатного, если так, по-русски говорить...

– *Непечатного по языку или по стилю?*

– Все эти дураки – Алешковские, Лимоновы – они плетутся в хвосте, да причем еще в двадцатилетнем хвосте...

– *А кто-нибудь, кроме того друга, это читал?*

– Нет, не читали. Однокашники, правда, читали...

– *То есть нельзя сказать, что это оказало какое-то влияние на Лимонова и Алешковского?*

– Упаси бог! Просто это хронологически опережает, но никакого влияния...

– *Вернемся назад. После 7-го класса ты уже учился в обычной школе?*

– С 8-го по 10-й я уже учился в общей школе.

– *Большая разница?*

– Большая. Но я ее одолел. Представь себе, у нас был 10-й «А», и 10-й «Б», и 10-й «В», и 10-й «Г». Я учился в 10-м «К» и единственный из всех десятых получил золотую медаль. У нас были дьявольски требовательные учителя. Я таких учителей не встречал более, а тем более на Кольском полуострове. Их, видно, силой туда загнали, а они говорили, что по зову сердца. Мы понимали, что такое зов сердца. Лучшие выпускники Ленинградского университета приехали нас учить на Кольском полуострове. Они, блядючи, из нас вышибали все, что возможно. Такой требовательности я не видел ни в одной школе потом.

– *Может быть, это и дало тебе такую образованность?*

– Возможно, возможно:

– *Ерофеев, ты – широко образованный человек. Я сомневаюсь, чтобы у родителей была хорошая библиотека, сомневаюсь, что и в детдоме она была, и в школе...*

– Я наблюдал за своими однокашниками – они просто не любят читать. Ну вот, скажем, есть люди, которые не любят выпивать. Поэтому выделиться там было нетрудно, потому что все были, как бы покороче сказать... ну, мудаки. Даже еще пониже, но – чтобы не оскорблять слуха... Таков был основной контингент. А когда я кончал 10-й класс, в это время на Ленинских горах воздвигли этот идиотский монумент на месте клятвы Герцена и Огарева. И я решил туда к нему припасть. Я Герцена до сих пор уважаю...

– *За что же – не за то ли, что он был одним из диссидентов?*

– Я когда читаю переписку Маркса с Энгельсом, всякое дурное слово об Александре Герцене мне прямо душу щекочет. Я уважаю его не за диссидентство, а за то, что он – блестящий мыслитель и блестящий человек, и его любят все, в этом сходятся все, начиная от Кайсарова до Аверинцева, от Айхенвальда до Эйхенбаума. Если в отношении Радищева есть маленький спор, то Александр Герцен не вызывает возражений. И правильно делает, что не вызывает.

– *И у тебя – при твоём критическом уме?*

– И у меня не вызывает. Я вот недавно прочел второй том, настолько молодчага парень, что разеваешь... все разеваешь.

– *А как же Петр Чаадаев?*

– Что говорить о Петре Чаадаеве, когда его только-только издали. А этот мудак Урнов говорит, что есть произведения, которые набальзамированы долговечностью, неиздаваемостью. Он, мудак, хотя бы взял в образец Радищева или Александра Грибоедова, Петра Чаадаева – неужели они настолько живучи, что набальзамированы? Долгим запретительством – как он говорил: что есть произведения, набальзамированные долгим запретительством, а иначе их бы не читали.

– *Как ты относишься к такой поразительной в российской истории вещи, что такой верноподданный человек, как Александр Грибоедов, стал выдающимся сатириком? Написал такую блистательную сатиру на весь строй, как «Горе от ума»?*

– Мало того: он еще дружил с самыми подоночными людьми в России, и это, как говорит советская власть, ни для кого не

секрет. Ни для кого не секрет, что он был большой друг Николая Греча и Фаддея Венедиктовича Будгарина.

– *Что это, свойство таланта – диктовать пишущей руке, даже несмотря на убеждения?*

– Черт его знает.

– *А каково жить в России с умом и талантом?*

– Можно. Можно тут жить. Если приложить к этому усилия. То есть поменьше ума выказывать, поменьше таланта, и тогда ты прекрасно выживешь. Я это за собой наблюдал, и не только за собой.

– *Как же? Насколько я знаю, ты никогда на продажу не шел.*

– Еще бы!

– *А искушения были у тебя?*

– Ни разу. Со мной этого не случилось. Я как раз из числа мудаков неискушаемых и неискушенных.

– *Хорошо. Не покупали. Но напугать-то пытались. Я это знаю определенно.*

– Ну, мало ли что. Это было в 50-х годах.

– *И в 70-х было. Помнишь, ты скрывался от призыва в армию...*

– Не в этом дело. Весна 62-го года. Приходит человек и говорит: «Вы Ерофеев?» – «Да». – «Вам нужны пистолеты?» Представь, город Владимир. Я лежу в похмелюге. Мне надо похмелиться во что бы то ни стало, а тут этот мудак спрашивает: «Так вам нужны пистолеты?» Я говорю: «На кой ляд мне ваши пистолеты! Дайте мне грамм пятьдесят похмелиться, а потом поговорим о пистолетах» А он не отстает: «Нет, вы скажите, вы Ерофеев или не Ерофеев?» – «Ерофеев, мать вашу!» – «Ага. Значит, вам нужны пистолеты».

– *Веничка, а как ты оказался в МГУ?*

– Как только я кончил 10-й класс и как только мне вручили из... сколько там было 10-х классов, хрен его упомнит, и я из 10 «К» получил золотую медаль, вот и двинул, и впервые в жизни пересек Полярный круг, только в направлении с севера на юг... И вот я на семнадцатом году жизни впервые увидел высокие деревья, коров увидел впервые...

– *Что же у вас, кроме эзков, там водилось?*

– Кроме эзков, ничего не водилось... А тут увидел я корову – и разомлел. Увидел высокую сосну и обомлел всем сердцем... И вот 55-й год. Там с медалью было только собеседование, и этот

мудак так меня доставал, но достать не смог. Я ему ответил на все вопросы, даже которые он не задавал. И он показал мне на выход. Что ему еще оставалось? А этот выход был входом в университет. На филологический.

– *А как же потом ты во Владимире оказался?*

– Это уже нескромный вопрос.

– *Насколько нескромный?*

– Потому что между МГУ и институтом был кочегаром, приемщиком посуды, милиционером.

– *В таких случаях обычно пишут стюардом и репортером.*

– До этого не дошло.

– *А писать осознанно начал в МГУ?*

– Писать начал в университете. И отличные вещи...

– *За что и был изгнан?*

– Нет, нет! Там не было никакой скверны, никакой политики... была какая-то иная струя, которая будоражила всех...

– *А кто читал это?*

– Читали мои знакомые, и этого довольно.

– *А из-за чего выгнали?*

– Я просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары. И скучно было, да и незачем. Я приподнимался утром и думал, пойти на лекцию или семинар, и думаю: на хуй мне это надо, – и не вставал и не выходил. То есть у меня было... ну, не созерцательная система...

– *Скажи, а ты не вставал от самопогружения или после вчерашнего?*

– Какое там переживание вчерашнего! Просто я, видимо, не вставал, потому что слишком вставали все другие. И мне это дьявольски не нравилось. Ну, идите вы, пиздюки, думал я, а я останусь лежать, потому что у меня мыслей до хуища.

– *А вот эта знаменитая песня «Проснись, вставай, кудрявая...» – она тебя не будоражила?*

– Будоражила. Потому что я очень люблю Дмитрия Шостаковича.

– *И все равно не вставал?*

– И все равно – брал себя в руки и не вставал.

– *За это и был вышиблен – сколько же можно не вставать?!*

– Вышиблен был в основном военной кафедрой. Я этому подонку майору, который, когда мы стояли более или менее навывтяжку, ходил и распинаясь, что выправка в человеке – это самое

главное, сказал: «Это – фраза Германа Геринга: "Самое главное в человеке – это выправка". И между прочим, в 46-м году его повесили».

– *А насколько к моменту вышибания из Университета была велика в народе твоя популярность?*

– К тому моменту она ограничивалась двумя-тремя комнатами, и, честно говоря, отнюдь не 19 государствами.

– *Не искушали ли тебя? Не нашептывали ли, что коли пишешь, то надо печататься?*

– Нет. Среди них были такие, вроде чуть-чуть видящие, вроде Володи Муравьева – опять же мой однокурсник.

– *То есть удивительно приличная у вас подобралась публика?*

– Да. Немножко на царскосельскую, на кюхельбеккерскую такую, в несколько заниженном варианте. Я там представлял что-то вроде барона Дельвига.

– *То есть ты был такой же толстый?*

– Нет, наоборот. Я не был толст, а во всем остальном...

– *А скажи, вот мы сейчас вздыхаем, что не осталось таких понятий, как честь и совесть. В этом вашем братстве были такие понятия?*

– Вот в том-то и дело. Нас и презирали за то, что в нас уживались... вся эта ненавистная братия – я забыл их фамилии, и, значит, их фамилии ни к чему. Никто и никогда не вспомнит их фамилий. Все остальные смотрели на нас, как на зачумленных детей.

– *То есть именно на присутствие в вас этих понятий?*

– Хотя бы поэтому.

– *Муравьев, кто еще – может быть, кого еще вспомнишь?*

– Они немного переродились... ну, хотя бы Катаев... не из тех Катаевых.

– *Хорошо. Произошло изгнание из МГУ широко известного в узких кругах писателя. Как-то это на общественном мнении отразилось?*

– Ничуть. Я ушел тихонько, без всяких эффектов. Вот спустя пять лет я уходил из Владимирского, каждый человек, который со мной встречался, задавал вопрос, где продается водяра, – в этом магазине есть, а в этом нет – этот человек подлежал немедленному исключению из пединститута. Вот до какой степени я был опасен, а всего-навсего я говорил то, что это – пародия на

«Москва – Петушки». Я в сущности говорил только о водяре. Решительно только о водяре и больше ни о чем. Ну почему к книге придрались? Почему ее изымали при всяком обыске? Немыслимые люди эти большевики.

– *Веничка, а что делал ты после исхода из Университета, когда тебя, естественно, выкинули из общежития?*

– Я с тех пор сменил примерно 12 профессий.

– *А где жил?*

– Господи, жил в Тамбове, в Ельце, в Брянске – это можно называть все города. И золотое кольцо, и не золотое.

– *То есть из Москвы ты уехал сразу?*

– Ну, естественно. Короче: я бы так и исцвёл на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмурь глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем – и попал в город Петушки. Это было в 59-м году. Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведений был Владимирский пединститут.

– *И поступил с ходу?*

– Еще бы! А золотая медаль?

– *А собеседование?*

– Там его практически не было. Какое там, на хуй, собеседование.

– *Теперь расскажи: как же ты разложил Владимирский пединститут настолько, что даже имя твое стало запретным?*

– Да. Они сейчас извиняются. Мне одинаково смешно вот это вот – извинения Бельгии перед глупой оплошностью Голландии... Почему-то Бельгия приносит извинения за Голландию. Вот точно так же мне смешно, когда владимирская газета «Комсомольская искра» печатает обо мне более или менее мутные биографические данные, хотя та же самая газета весной 1962 года требовала выдворения меня за пределы города Владимира и Владимирской области навсегда. Всякий человек, встречающийся с Венедиктом Ерофеевым, подлежит немедленному выдворению из Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского. И вообще с территории.

– *То есть ты попал в персоны нон-грата?*

– Хорошо бы еще в персоны нон-грата. То есть человек, который кивнул бы мне при встрече, уже сам стал бы персоной нон-грата. А хрен ли обо мне говорить.

– *Чем же ты их все-таки так достал? Все же Владимир близко к столице. Что они так напугались-то?*

– Вот этого я не знаю. Я немножко их понимаю. Все-таки, когда я стал жениться, приостановили лекции на всех факультетах Владимирского государственного педагогического института им. Лебедева-Полянского, и сбежалась вся сволота. Они все сбежались. Потом они не знали, куда сбежаться, потому что не знали, на ком я женюсь – опять же было неизвестно. Но на всякий случай меня оккупировали и сказали мне: «Вы, Ерофеев, женитесь?» Я говорю: «Откуда вы взяли, что я женюсь?» – «Как? Мы уже все храмы... все действующие храмы Владимира опоясали, а вы все не женитесь». Я говорю: «Я не хочу жениться». – «Нет, на ком вы женитесь – на Ивашкиной или на Семаковой?» Я говорю: «Я еще подумаю». – «Ну, мать твою, он еще думает! Храмы опоясали, а он еще, подлец, думает!» Это апрель 62-го.

– *Но ведь времена-то на дворе еще либеральные...*

– Какие либеральные! Вот опять я повторил этого мудака, не знаю, жив он или нет, лучше бы не жив. Вот этот декан филологического факультета, который отсидел... сколько он отсидел – я забыл, но во всяком случае не меньше 15 лет отсидел, сволота. И мне в лицо заявил: «Я очень сожалею, Ерофеев, что сейчас не прежние времена. Я бы с вами обратился гораздо более круто». Вот тут-то я понял, с кем имею дело – с каким вонючим дерьмом, и...

– *Веничка, и все же чем ты их так напугал?*

– Понятия не имею. Я лежал себе тихонько, попивал. Народ ко мне... в конце концов получилось так, что весь институт раскололся на две части. Вот так, если покороче, то есть, как говорили девушки, тогда одиозно очень поверхностные, называл вещи своими именами, весь институт раскололся на попов и на... Там было много вариаций, но в основном на попов и комсомольцев. Этак я оказался во главе попов, а там глав-зам-трампапам оказался во главе комсомольцев моим противником, и у нас даже выходило... «Подходите, – говорил человек (не помню фамилию), – подходите, только без рукоприкладства». За мной стоит линия, за ними тоже линия. Мы садимся, это я предлагаю садиться за стол переговоров, чтобы избежать рукоприкладства и все такое. Они говорят: давай, садимся. И вот мы садились и пили сначала сто грамм, потом по пятьдесят, потом по сто пятьдесят, потом... и понемногу, ну, набирали...

– А что же вы пили, Веничка?

– Не помню. Какую-то бормотуху. Ну, во всяком случае, вырабатывали какую-то общую терминологию...

– Попы с комсомольцами?

– Попы с комсомольцами садились тихонько... Ну, одним словом, они занимались делом. А я сидел и чувствовал себя человеком, который предотвратил кровопролитие.

– Признаться, трудно представить тебя в роли предводителя религиозной общины. Поэтому мне представляется, что название «попы» следует понимать достаточно условно.

– Конечно, конечно. Потом вот, например, характерно – в том же 62-м году девочка, которая была в разряде «попов», – я сидел в саду и дышал воздухом, – а она ко мне подскочила и сказала: «Ой-ёй-ёй, я сейчас убегаю, потому что, если меня увидят, то все – мне в институте не быть». Так что тут все очень запутанно.

– Писал ли ты, Веничка, во Владимире?

– Еще как писал. Даже наоборот, когда поступил во Владимирский пединститут, мне сказали: «Венедикт Васильевич, если вам не на что будет жить, то у нас есть "Ученый вестник" Владимирского пединститута, и мы вам охотно предоставим страницы». Но я, как только охотно сунул им в эти страницы всего две статьи о Генрике Ибсене, они заявили, что они методологически никуда не годятся.

– А что значит – методологически?

– Я и не стал спрашивать. Еще бы я стал спрашивать, ебена мать! Они сказали: это опять же никуда не годится. Неужели человек не понимает, чего он городит?

– А прозу писал?

– Тогда – нет. Писал тогда исключительно о скандинавах, потому что я был тогда ослеплен вот этой скандинавской моей литературой. И только о ней писал.

– Отчего же ты был ими так очарован?

– Потому что они – мои земляки.

– А кто конкретно из скандинавов?

– Ну как это – кто конкретно? Опять же Генрик Ибсен, Кнут Гамсун в особенности. Да я, в сущности, и музыку люблю только Грига и Яна Сибелюса. Тут уже с этим ничего не поделаешь.

– Когда же ты впервые стал писать беллетристику – после тех тетрадей? Что – был большой перерыв?

– Нет, не большой перерыв, просто... зимой семидесятого, когда мы мерзли в вагончике, у меня явилась мысль о поездке в Петушки, потому что ездить туда было запрещено начальством, а мне страсть как хотелось уехать. Вот я... «Москва – Петушки» так начал. И примерно в последних числах января, а кончил примерно второго-третьего марта.

– *А между тетрадями и «Петушками» было еще что-нибудь?*

– Да, ну, конечно, было. Вот это... черт, ее надо восстановить и возделать...

– *Рукопись хоть существует?*

– Вот часть рукописи доставили люди из Гуся-Хрустального.

– *Это тоже такая же грустная...*

– Отнюдь. Мне она не нравится, и правильно сказала одна очень такая литературная женщина, что это-таки подделка под Пильняка. Вот ведь что. А как это – подделка под Пильняка, которого я до сих пор не читал ни строчки?

– *По-моему, Ерофеев не может ни под кого подделаться, так же как никто не может подделаться под Ерофеева. Как хоть называется?*

– «Благая весть».

– *Веничка, литературные дамы читают, а широкие круги миролюбивой общественности до сих пор – нет. Хорошо ли это?*

– Ну, ее надо получше обделать, потому что там много... как бы это... кто умеет выражаться помягче...

– *А в каком году ты ее написал?*

– В 63-м.

– *А между 63-м и 70-м было что-нибудь?*

– Вот тут был провал. Я слишком жил: кино, бабье и эт цетера.

– *Хорошо. «Петушки» написаны. Как же они стали известны народу? Откуда народ вокруг тебя появился?*

– Ну вот, допустим, Слава Лён. Я, допустим, сажу во Владимире в окружении своих ребятнишек и бабенок, и вдруг мне докладывает Вадя Тихонов: «Я познакомился в Москве с одним таким паразитом, одной такой сволотою». Я говорю: «С каким паразитом, с какой такой сволотою?» Он говорит: «Этот паразит, эта сволота сказала мне, – то есть Ваде Тихонову, – что

даст... уплатит 73 рубля (почему 73 – непонятно) за знакомство с тобой». То есть со мною. Ей-богу.

– *То есть Лён прочел «Петушки».*

– Ну да. Я удивился, а Лёну Губанов сказал: «Вот если Вадя Тихонов, который хорошо с ним знаком...» – вот тогда он и залепился со своими 73 рублями.

– *А ты еще не был тогда знаком со смогистами?*

– Абсолютно!

– *То есть ты как бы в безвоздушном пространстве существовал?*

– Почему в безвоздушном?

– *Ну, если брать эту московскую культурную среду, ты о ней ничего не знал?*

– Об этом понятия не имел. И тут мне Владислав Лён предложил 73 рубля за одно только знакомство.

– *И благодаря ему ты стал известен в мире?*

– Не благодаря ему. Благодаря совсем другим людям, которые сейчас уехали. Эти люди, которым я обязан, живут теперь в Тель-Авиве... и так далее.

– *Лён утверждает, что это он передал «Петушки» на Запад и благодаря ему они были опубликованы.*

– Как всегда, врет.

– *Раз они за кордоном и им ничего не грозит, то не грех их и упомянуть.*

– Отчего бы, действительно. Во-первых, это Виталий Степин, потом Михаил... поэт, который при всех регалиях приходил ко мне в больницу... Михаил...

– *Веня, а почему на твоей афише (вечера в ДК МГУ) написано: 20 лет творческой деятельности. Ведь гораздо больше.*

– Плевать! Пусть что пишут, то и пишут. Пусть напишут: «Десятилетие графа Толстого»... Поэт... женщина очень хорошая... опять забыл фамилию... надо бы спросить у девки. Михаил Генделев и Майя Каганская.

– *И впервые было опубликовано в израильском альманахе...*

– «Ами».

– *А ты-то знал, что готовится публикация?*

– Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: «А ты знаешь, что, Ерофеев, тебя издали в Израиле». Я решил, что это очередная его шуточка, и ничего в ответ не сказал. А потом действи-

тельно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

– В 72-м издали?

– В 73-м.

– А как складывались материальные отношения с издателями за границей – ведь потом издавали еще во многих странах?

– Это действительно очень большой вопрос. Например, Англия и Соединенные Штаты... Два издательства в Соединенных Штатах не платят ни копейки по той причине, что они купили – Соединенные Штаты – они купили у Британии... А Британия купила у Парижа... То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

– Замечательно! А вот есть такая организация – называется ВААП.

– Она есть, но ее вот эти деяния не распространяются. Только на страны Варшавского пакта, а вот на страны НАТО не имеют даже малейшего влияния.

– Ерофеев, погоди. Эта организация дерет со своих клиентов жуткие проценты и могла бы нанять самых лучших адвокатов. Кто-нибудь из них к тебе обратился: «Давай, Ерофеев, мы будем защищать твои права»?

– Ни разу не было ко мне такого обращения. Было только в случае с Венгрией и с Болгарией.

– Здесь они сами обратились?

– Это уже по пьесе.

– Ерофеев, а как ты сам отнесся к своей всемирной известности?

– Какой провокационный вопрос.

– Нормальный вопрос, Веня, нормальный.

– То ли еще будет.

– Ощущаешь ли ты себя великим писателем?

– Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, это – более или менее мудозвоиство.

– Ерофеев, а если бы тебе предложили определить свое место в пантеоне великих, куда бы ты себя поставил: между Гомером и Эпиктетом или...

– Между Козьмой Прутковым и Вольтером.

– А кто все-таки впереди?

– Козьма Прутков.

– *Хорошо. Вернемся в 69-й год на кабельные работы. Ерофеев пишет «Петушки». Делился ли ты с коллективом? Давал ли читать бессмертные страницы товарищам по профессии и одобрили ли бы они твои писания?*

– Наоборот. И хорошо, что я не давал им этих записок. Они говорили: «Ты что, Ерофеев, хочешь в институт поступать – все равно ни хуя, ни за что не поступишь! Сейчас туда только по бла-ту берут. Только по бла-ту. Только по бла-ту». А я свесился с верхней полки и говорю: «Ну неужели только по бла-ту?» А они мне говорят: «То-о-олько по бла-ту!» Вот как обстояло дело.

– *А насколько биографичны бессмертные твои записки?*

– Почти...

– *Скажи, ты действительно никак не мог попасть на Красную площадь, а всегда попадал на площадь Курского вокзала?*

– Да-да-да! И между прочим, вот меня обычно спрашивают об этих сценах в «Петушках», вот хотя бы с этим дурачком контролером. А ведь действительно, я ведь стоял зимой, зимой тряся весь от холода, стоял, и у меня была в грудном кармане эта самая бутылка... бутылка... ну, известно чего. Бормотуха – 0,8. И когда вошел контролер, один контролер сразу последовал туда, а этот остановился и сказал: «Ва-аш билетик! Ва-аш билетик!» Я говорю: «Нет у меня билетика. Нет у меня билетика». И он тогда внимательно присмотрелся, а я тогда неосторожно поставил эту свою 0,8... «А это – что у тебя?» Я говорю: «Да это – так просто».– «Это как то есть так? А ну-ка вынь!» Я вынул, и он тут же немедленно сделал: бум-бум-бум-бум-бум-бум. И мне протянул: «Езжай дальше, молодой человек». Как они не понимают, из чего делаются литературные произведения? То есть вот из такого... такой малости.

– *А правда ли, что ты, будучи бригадиром на кабельных работах, ввел пресловутые графики?*

– Еще как! Это Вадим Тихонов – свидетель.

– *Ерофеев, я знаю, что одно из твоих бессмертных творений ты потерял то ли в электричке, то ли еще где. Может быть, можно попытаться отыскать?*

– Едва ли. Потому что то ли одна, то ли две МГУшные экспедиции ездили по линии Москва – Петушки с тем, чтобы найти, и ничего подобного они... Они смотрели и по левую, и по правую сторону очень внимательно и ничего не обнаружили.

– *А что это было за произведение?*

– Ну, я вообще не люблю называть жанры. Ну, просто – «Шостакович».

– *Не биографическое же эссе?*

– Еще бы! И то – Шостакович там присутствовал только самым косвенным образом. Там как только герои начали вести себя, ну... как сказать... Вот, у меня этот прием уже украден – как только герои начали вести себя не так, как должно, то тут начинаются сведения о Дмитрие Дмитриевиче Шостаковиче. Когда родился, кандидат такой-то, член такой-то и член еще такой-то Академии наук, почетный член, почетный командор легиона. И когда у героев кончается этот процесс, то тут кончается Шостакович и продолжается тихая и сентиментальная, более или менее, беседа. Но вот опять у них вспыхивает то, что вспыхивает, и снова продолжается: почетный член... Итальянской академии Санта-Чечилия и то, то, то, то... И пока у них все это не кончается, продолжается ломиться вот это. Так что Шостакович не имеет к этому ни малейшего отношения.

– *А вдруг откликнется тот, кто это нашел? Расскажи подробнее, когда это было и как это выглядело?*

– Это – две черные тетради и четыре записные книжки.

– *А в чем все лежало?*

– Все это было в сетке. Я могу назвать точно – вот это знойное самое лето. 72-й год. Знойное лето под Москвою. Я когда увидел пропажу, я весь бросился в траву, и спал в траве превосходно. Представь себе, что это было за лето, когда можно было ночевать в нашей траве.

– *А почему «Шостакович», а не «Хренников»?*

– Тихон Хренников – очень хороший человек.

– *Чем же?*

– Мне у него нравятся ранние песни.

– *Одна или все?*

– Все.

– *Тогда действительно – хороший человек.*

– Очень славный малый.

– *Старый хрен Тихонов и молодой Тихон Хренников – очень старая шутка.*

– Причем, заметь, мною же изобретенная в 56-м году.

– *Ладно. Хрен с ним, с Хренниковым. Давай лучше вспомни поточнее: какого цвета была сетка? Может быть, вспомнишь?*

– Трудно установить, потому что сетка была не моя, а была моего знакомого из Павлова Посада. И потом там были две бутылки, что и соблазнило.

– *Бормотухи?*

– Да. Что и соблазнило тех, которые покусились. Я бы на их месте поступил бы гуманнее.

– *Не знаю, как ты на их месте, а я бы...*

– Я бы тоже, пожалуй. Я бы тоже.

– *Ты оставил в электричке?*

– Господи, откуда мне знать? Я проснулся в электричке с совершенно угасшим светом, и я сидел один в вагоне, и причем в тупике.

– *А что же ты пил, Веничка, что дошел до такого?*

– Еб твою мать – он задает мне вопросы какие! Он ведет допрос, как самый неумелый из следователей.

– *Как это? Я веду допрос по всем правилам. Как завещали отцы и деды.*

– Хуёво ты ведешь допрос.

– *Пил ли ты в этот день коньяк?*

– Еще как!

– *А зубровку?*

– Пил и зубровку.

– *Зверобой и охотничью, и полынную, и померанцевую, и кориандровую... весь ностальгический набор.*

– Очень жалко «Дмитрия Шостаковича», потому что, когда я писал, действительно спрашивал сосед: «Ерофеев, ты чего опять какую-то блядь приводил?» Я говорю: «Какую же это я приводил блядь?» – «Ну как же, ты всю ночь смеялся!» Я говорю: «Почему же, ну... я просто так...» – «Я человек бывалый. Я человек бывалый. Так я тебе и поверил, так я тебе и поверил, что ты – просто так. Опять какую-нибудь блядь приволок».

– *А где ты жил тогда?*

– На станции Электроугли.

– *Снимал угол?*

– Какой там – снимал угол, когда крысы бегали из угла в угол.

– *Значит, «Дмитрий Шостакович» – 72-й, а «Розанов»?*

– «Розанов» попозже на год. 73-й. И то меня пригласил человек, который возглавлял журнал «Евреи и мы».

– *«Евреи в СССР?»*

– Нет...

– *«Страна и мир» есть...*

– «Евреи в СССР», по-моему. Он еще приехал ко мне, я снимал маленький дом в Болшево, он ко мне приехал и демонстрировал мне вот эту желтую звезду... и все такое. И с ним была целая публика с этими желтыми звездами, а в ответ у меня в этот день были люди слишком православно настроенные, там... ну, известная заваруха. Рождественская заваруха 73-го года.

– *То есть уже тогда общество «Память» существовало?*

– Оно тогда у меня на глазах возникало.

– *И они у тебя в доме встретились?*

– В том-то и дело. Все встретились у меня в доме: и воинствующие иудаисты... забыл я фамилии... Воронель, который был главным редактором «Евреи в России», и вот эти вот, которые их ненавидели...

– *Не произошло ли у них конфликта?*

– Маленький был, но я исполнял роль вот этого маленького...

– *Арбитра? Ты им говорил: «Брек!»?*

– Я им этого не говорил, но они поняли.

– *Ерофеев, а родная советская власть – насколько она тебя полюбила, когда слава твоя стала всемирной?*

– Она решительно не обращала на меня никакого внимания. Я люблю мою власть.

– *За что же особенно ты ее любишь?*

– За всё.

– *За то, что она тебя не трогала и не сажала в тюрьму?*

– За это в особенности люблю. Я мою власть готов любить за все.

– *А что больше нравится тебе в твоей власти: ее слова, ее уста, ее поступь и поступки?*

– Я все в ней люблю. Это вам вольно рассуждать о моей власти, ебена мать. Это вам вольно валять дурака, а я дурака не валяю, я очень люблю свою власть, и никто так не любит свою власть, ни один гаденыш не любит так мою власть.

– *Отчего же у вас невзаимная любовь?*

– По-моему, взаимная, сколько я мог заметить. Я надеюсь, что взаимная, иначе зачем мне жить?!

– *Хорошо. Между «Розановым» и «Вальпургиевой ночью» 13 лет. Что-то было в этом промежутке?*

– Какое кому собачье дело?! Кому какое пидютское собачье дело, было чего-нибудь или не было. Это – вторгаться в интимные отношения.

– *Но от тебя, как от Шекспира, ждут новых эпохальных произведений...*

– Это я понимаю. Я если чего-нибудь пишу, то эпохальное, как говорит мэтр Тихонов.

– *Кстати, ты замечательно создал образ Тихонова. Твой друг Вадя так прочно вошел в наш фольклор, а кстати, сам Вадя подозревает, что он настолько остроумен и гениален?*

– Он не подозревает. За него приходится придумывать даже вот эти штуки, вроде: «Двадцать шесть бакинских комиссаров – ты бы смог слопать?»

– *Так это ты Вадю изобразил в «Вальпургиевой ночи»?*

– Вадю стоит везде изобразить. Во Владимире, когда мне сказали: «Ерофеев, больше ты не жилец в общежитии». И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: «Ерофейчик. Ты Ерофейчик?» Я говорю: «Как то есть Ерофейчик?» – «Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?» Я говорю: «Ну, в конце концов, Ерофейчик». – «Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище».

– *А кстати, история с пистолетами тогда же произошла?*

– Да, да, да.

– *Это когда ты уже у Вадя жил?*

– Да.

– *А зачем этот человек считал, что тебе нужны пистолеты?*

– А вот хрен его знает. Но тут удивляться нечему. За день до этого меня останавливал один парень с физико-математического факультета, вернее, я его остановил и спросил: «Там, внизу, есть водяра, хоть какая-нибудь?» Он говорит: «Есть. Есть "Российская"». Так вот, на следующий день торжественное собрание, ей-богу, торжественное собрание вот этого вот физико-математического факультета этого парня исключает. Человек уже на 4-м курсе, ебена мать.

– *То есть человек с пистолетами решил, что тебе придется отстреливаться?*

– Нет, просто слава моя была такова, что все думали, что мне нужны пистолеты.

– Трудно поверить, что о Ерофееве шла слава, как об извозчике Комарове или Ваньке Каине.

– Больше. Девушка... как звать эту девушку... Ивашкина...

– Ерофеев, ты заявил «Вальпургиеву ночь» как первую часть трилогии, а у меня на дне рождения сказал, что заканчиваешь вторую часть.

– Мало ли чего по пьянке не брякнешь. Ебёнасть.

– А может, все-таки напишешь?

– Ну, не знаю. Это надо мне за город поехать и печку затопить.

– Ну, давай я тебе дачу найду.

– Я сам найду и сам...

– Ладно, Венчик. Последний вопрос. Кто из советских литераторов или политических деятелей оказал на тебя наибольшее влияние?

– Если говорить о влиянии, то культуртрегерское – Аверинцев, Аверинцев.

– А Лотман?

– Лотман пониже, как говорят дирижеры. И Муравьев. Я знаю, о чем говорю, ебёна мать!

– А из политических деятелей?

– Аракчеев и Столыпин. Если хорошо присмотреться, не такие уж они разные.

– В таком случае, сюда бы Троцкого...

– Упаси бог. Этого жидяру, эту блядь, я бы его убил канделябром. Я даже поискал бы чего потяжелее, чтобы его по голове хуякнуть.

– А кого из членов большевистского правительства ты бы не удавил?

– Пожалуй, Андропова.

– Душителя диссидентов?

– Нет, он все-таки был приличный человек.

– Не кажется ли тебе странным, что за 70 лет единственный приличный человек – и тот начальник охранного отделения?

– Ничего странного. Наоборот. Хороший человек. Я ему даже поверил. Потом он снизил цены на водяру – четыре семьдесят. Подумаешь там, танки в Афганистане...

– Ну, танки Брежнев ввел.

– Плевать, кто вводил и куда. Этого уже народ не помнит. Но то, что водка стала дешевле!..

К О Н Т И Н Е Н Т — C O N T I N E N T
Годовая подписка (4 номера)
Abonnement pour 1 an (4 numéros)

Фамилия (Название учреждения) (Nom ou établissement):

.....
.....

Адрес (Adresse):

.....
.....

Оплату произвожу (Je fais le paiement):
приложенным чеком во франках (par chèque en francs) ☐
почтовым переводом (par mandat postal) ☐
банковским переводом (par ordre bancaire) ☐

Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):
200 francs fr. — 60 DM — 32 \$ USA (air mail — 40 \$)

Заполненный талон просим направлять по адресу
(Veuillez envoyer votre talon rempli à l'adresse):

Association des Amis de la revue «Continent»,
16 rue Lauriston, 75116 Paris, France

Платеж — по тому же адресу или в банк
(Payement à la même adresse ou à la banque):
Les Amis de la revue «Continent», compte 3.726130.8,
Société Générale, Agence Kléber, 45 av. Kléber,
75116 Paris, France

Для подписчиков в США и Канаде
(For the subscribers in USA and Canada):
Continent-USA, Edward D. Lozansky
3001 Veasey Terrace, N.W., Washington, D.C. 20008,
USA



ПОЖЕРТВОВАНИЯ

в фонд Ассоциации друзей «Континента»

В. Батуро (Австралия)	30 долл.
Г. Брайман (США)	100 долл.
Ф. Берман (США)	200 долл.

Редакция благодарит всех, независимо от суммы пожертвования: всякая лепта помогает журналу выжить.

Редакция журнала «Континент» извещает своих читателей и подписчиков, что достигнуто соглашение о выпуске тиража «Континента» в Москве. Редакция подписала контракт с кино- и издательским концерном (кооперативом) «Аверс». Московское издание «Континента» намечено начать с № 67. «Аверс» также берет на себя издание сборников материалов из прежних номеров «Континента» за все годы его существования.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

Он родился в Уфе, вырос в Ленинграде, стал писателем и умер в Нью-Йорке.

Он один из первых написал нам в Германию в 1983 году большое письмо, и с тех пор мы переписывались. А встретились мы в Вене в 1987 году на международном писательском форуме. Приводимая мной записка Сергея Донатовича – ответ на мою, о том, что одного из участников этого форума, молодого и талантливого писателя, вечером «забыли» взять с собой на одно из свободных мероприятий.

«Милая Наташа! Мне кажется, ничего драматического не произошло, хотя, надо сказать, известная сословность в ходе таких конференций действительно проявляется. Короче, виновные будут расстреляны. Литература продолжается!!! Ваш рыцарь Довлатян».

Да, литература продолжается, но уже без Сергея Довлатова, писателя, который никогда не умел писать о том, чего не видел, не пережил сам. Стиль его – современный, близкий к разговорному, ироничный – принадлежит только ему одному: верный слепок личности автора. Хотя и писал он о так называемой «чернухе», его вещи странным образом внушают читателю заразительное чувство жизнерадостности, безудельности, надежды.

«Истинное остроумие куда ближе к добродушию, чем мы предполагаем». Эти слова Шеридана как нельзя лучше характеризуют природу юмора Довлатова.

Литература продолжается. Возвращаются на родину его произведения. Сам он уже никогда не вернется в свой Питер.

Наталья Кузнецова

Редакция журнала «Континент» выражает глубокое соболезнование родным и близким ушедшего от нас писателя.